

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1965

8



1965

# Н(О)ВЫЙ М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLI

№ 8

Август, 1965 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИЗ ЛИТОВСКИХ ПОЭТОВ. Альфонсас Малдонис. Мой сосед Адам.— Юстинас Марцинкявичюс. Вечер атомная бомба.— Эдуардас Межелайтис. Кордильеры.— Владас Шимкус. Тополя. Перевел Юрий Левитанский	3
М. БУЛГАКОВ — Театральный роман (С послесловием В. Топоркова)	6
ВЛ. КОРНИЛОВ — Три стихотворения	101
В. ГУСЕВ — Рыбный день, рассказ	103

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. А. АНТИПЕНКО — Тыл фронта	116
Академик И. М. МАЙСКИЙ — Борьба за второй фронт. Из записок посла. Окончание	166

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

К. БУКОВСКИЙ — Малые города	188
-----------------------------	-----

### В МИРЕ НАУКИ

Е. ФЕЙНБЕРГ — Обыкновенное и необычное (Заметки о развитии современной науки)	207
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А АНИКСТ — «Носороги» в Нью-Йорке	230
-----------------------------------	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	246
Сергей Львов. Библиотека, которой еще нет. — Юрий Полетика. Никогда! — Ю. Рюриков. Пагубные тенета. — И. Борисова. В лоисках прошлого. — С. Розанова, В. Фридлянд. Тургеневский том «Литературного наследства».	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	260
<b>Е. Скрипилев.</b> Серьезный вклад в историческую науку.— <b>Вл. Тендряков.</b> Знакомьтесь — Ломоносов, Франклин, Резерфорд, Лавжевен.— <b>И. Юньев.</b> Краеведы-энтузиасты.— <b>Г. Макаров.</b> У обочины.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	270
КОРОТКО О КНИГАХ	277
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

---

## ИЗ ЛИТОВСКИХ ПОЭТОВ

АЛЬФОНСАС МАЛДОНИС

★

### *Мой сосед Адам*

Адам сыскал жену себе по нраву —  
копать картошку, хлеба печь годится.  
Адам доволен ею и по праву  
женою работающею гордится.

Шесть сыновей родить они успели.  
За шестерых — тревоги и волнения.  
Но каждый год по новой колыбели  
он тащит с чердака для пополнения.

Его цена на ситец занимает.  
За манною крупой он в лавку ходит.  
Жену как бы шутя он обнимает,  
а шутка у него всерьез выходит.

Но так или иначе, он все боле  
судьбой доволен, продолжатель рода,  
косец, и жнец, и пахарь в своем поле,  
и рядовой работник огорода...

Когда я бьюсь,  
чтоб чувствам дать название,  
исчеркивая трудную страницу,  
об этом ясном думаю призванье —  
рожать детей, выращивать пшеницу.

---

ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС

★

### *Вечер: атомная бомба*

Не знаю точно,  
много ли тротила  
приходится  
на каждого из нас,  
но знаю точно:  
столько,

сколько есть,—  
 достаточно  
 для каждого из нас...

Я дома.  
 Я один.  
 Сижу.  
 Курю.  
 А за окном темно.  
 Вечерний час,  
 и надо свет зажечь —  
 вот эта кнопка,  
 она темнеет смутно  
 у дверей.

Смешно,  
 но я боюсь —  
 а вдруг взорвется!  
 Не правда ли,  
 смешно —  
 а вдруг взорвется?  
 Нет, лучше подожду —  
 жена вернется,  
 и дочь домой вернется,  
 и тогда  
 я, как бы возвратясь  
 в матриархат,  
 смогу пожить  
 хоть несколько еще  
 тысячелетий.

---

ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

★

### *Кордильеры*

Парю над Андами, над бездной  
 необозримых Кордильер —  
 подобно господу, небесный  
 пересекаю интерьер...

Уже я полетом по горло сыт —  
 не дни я лечу, а годы.  
 Вверху надо мною небо висит,  
 внизу подо мною — горы.  
 То глиной окрашены, то песком,  
 лежат они, полосаты —  
 подобные тигру, перед броском  
 глядящему из засады.  
 А сверху, прямо над головой,  
 подвешенный к небосводу,  
 пейзаж неммыслимо голубой  
 изображает воду.  
 И гор мозаика, и закат

соперничают друг с другом,  
и небо к вечеру — как плакат  
с оранжевым полукругом.  
Квадраты зелени и песка,  
что чуть потемнели с краю —  
как будто шахматная доска,  
где сам я с собой играю.  
А небо — небо вверху висит,  
осточертев до смерти.  
Я господу-богу нанес визит —  
мне хочется земной тверди!  
Сейчас утихнет моторов гром,  
и там, у рыжих подножий,  
я опущусь на аэродром,  
словно архангел божий...  
Хотя я вымотался и скис  
в томительном перелете  
и выгляжу, словно плохой эскиз,  
набросанный в самолете, —  
но я брожу и гляжу вокруг,  
забывая про Кордильеры,  
и чувствую негром себя,  
что вдруг  
сбежал со своей галеры.

---

**ВЛАДАС ШИМКУС**

★

*Тополя*

У той дороги возле пашни,  
у окаймляющей поля,  
они, как взорванные башни,  
валились наземь, тополя.

А мужики, что их валили,  
не рассуждали — в этот час  
пила, которой мы пилили,  
сама и думала за нас...

Когда-нибудь, иными днями,  
о, мы поплатимся за ту  
над засыхающими пнями  
зияющую пустоту!

И ощутив тогда в смятении,  
как не хватает душным днем  
шуршанья листьев. легкой тени, —  
вновь тополя садить начнем.

*Перевел Юрий Левитанский.*



---

---

М. БУЛГАКОВ

★

## ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

### ПРЕДИСЛОВИЕ

**П**редупреждаю читателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого отношения и достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах.

Как раз в день самоубийства Сергея Леонтьевича Максудова, которое произошло в Киеве весной прошлого года, я получил посланную самоубийцей заблаговременно толстейшую бандероль и письмо.

В бандероли оказались эти записки, а письмо было удивительного содержания.

Сергей Леонтьевич заявлял, что, уходя из жизни, он дарит мне свои записки с тем, чтобы я — единственный его друг — выправил их, надписал своим именем и выпустил в свет.

Странная, но предсмертная воля!

В течение года я наводил справки о родных или близких Сергея Леонтьевича. Тщетно! Он не солгал в предсмертном письме: никого у него не осталось на этом свете.

И я принимаю подарок.

Теперь второе: сообщаю читателю, что самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел, оставаясь тем, чем он и был — маленьким сотрудником газеты «Вестник пароходства», единственный раз выступившим в качестве беллетриста и то неудачно: роман Сергея Леонтьевича не был напечатан.

Таким образом, записки Максудова представляют собою плод его фантазии, и фантазии, увы, больной. Сергей Леонтьевич страдал болезнью, носящей весьма неприятное название — «меланхолия».

Я, хорошо знающий театральную жизнь Москвы, принимаю на себя ручательство в том, что ни таких театров, ни таких людей, какие выведены в произведении покойного, нигде нет и не было.

И, наконец, третье и последнее: моя работа над записками выразилась в том, что я озаглавил их, затем уничтожил эпитафию, показавшийся мне претенциозным, ненужным и неприятным.

Этот эпитафия был:

«Коемуждо по делом его...» —

и, кроме того, расставил знаки препинания там, где их не хватало.

Стиль Сергея Леонтьевича я не трогал, хотя он явно неряшлив. Впрочем, что же требовать с человека, который через два дня после того, как поставил точку в конце записок, кинулся с Цепного моста вниз головой.

## ЧАСТЬ I

## ГЛАВА 1

## Начало приключений

Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить захотелось.

В сером новом моем костюме и довольно приличном пальто я шел по одной из центральных улиц столицы, направляясь к месту, в котором никогда еще не был. Причиной моего движения было лежащее у меня в кармане внезапно полученное письмо. Вот оно:

«Глубокопочитаемый Сергей Леонтьевич! До крайности хотел бы познакомиться с Вами, а равно также переговорить по одному таинственному делу, которое может быть очень и очень небезынтересно для Вас.

Если Вы свободны, я был бы счастлив, чтобы Вы пришли в здание Учебной сцены Независимого Театра в среду в 4 часа.

С приветом К. Ильчин».

Письмо было написано карандашом на бумаге, в левом углу которой было напечатано:

«Ксаверий Борисович Ильчин,  
режиссер Учебной сцены  
Независимого Театра».

Имя Ильчина я видел впервые, не знал, что существует Учебная сцена. О Независимом Театре слышал, знал, что это один из выдающихся театров, но никогда в нем не был.

Письмо меня чрезвычайно заинтересовало, тем более что никаких писем я вообще тогда не получал. Я, надо сказать, маленький сотрудник газеты «Пароходство». Жил я в то время в плохой, но отдельной комнате в седьмом этаже в районе Красных ворот, в Хомутовском тупике.

Итак, я шел, вдыхая освеженный воздух и размышляя о том, что гроза ударит опять, а также о том, каким образом Ксаверий Ильчин узнал о моем существовании, и как он разыскал меня, и какое дело может у него быть ко мне. Но сколько я ни раздумывал, последнего понятия не мог и наконец остановился на мысли, что Ильчин хочет поменяться со мною комнатой.

Конечно, надо было Ильчину написать, чтобы он пришел ко мне, раз у него дело ко мне, но надо сказать, что я стыдился своей комнаты, обстановки и окружающих людей. Я вообще человек странный и людей немного боюсь. Вообразите, входит Ильчин и видит диван, а обшивка распорота и торчит пружина, на лампочке над столом абажур сделан из газеты, и кошка ходит, а из кухни доносится ругань Аннушки.

Я вошел в резные чугунные ворота, увидел лавчонку, где седой человек торговал нагрудными значками и оправой для очков.

Я перепрыгнул через затихающий мутный поток и оказался перед зданием желтого цвета и подумал о том, что здание это построено давно-давно, когда ни меня, ни Ильчина еще не было на свете.

Черная доска с золотыми буквами возвещала, что здесь Учебная сцена. Я вошел, и человек маленького роста, с бороденкой, в куртке с зелеными петлицами немедленно преградил мне дорогу.

— Вам кого, гражданин? — подозрительно спросил он и растопырил руки, как будто хотел поймать курицу.

— Мне нужно видеть режиссера Ильчина, — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал надменно.



Человек изменился чрезвычайно, и на моих глазах. Он руки опустил по швам и улыбнулся фальшивой улыбкой.

— Ксаверия Борисыча? Сию минуточку-с. Пальтецо пожалуйста. Калошек нету?

Человек принял мое пальто с такой бережностью, как будто это было церковное драгоценное облачение.

Я подымался по чугунной лестнице, видел профили воинов в шлемах и грозные мечи под ними на барельефах, старинные печи-голландки с отдушниками, начищенными до золотого блеска.

Здание молчало, нигде и никого не было, и лишь с петличками человек плелся за мной, и, оборачиваясь, я видел, что он оказывает мне молчаливые знаки внимания, преданности, уважения, любви, радости по поводу того, что я пришел, и что он хоть и идет сзади, но руководит мною, ведет меня туда, где находится одинокий, загадочный Ксаверий Борисович Ильчин.

И вдруг потемнело, голландки потеряли свой жирный беловатый блеск, тьма сразу обрушилась — за окнами зашумела вторая гроза.

Я стукнул в дверь, вошел и в сумерках увидел наконец Ксаверия Борисовича.

— Максудов,— сказал я с достоинством.

Тут где-то далеко за Москвой молния распорол небо, осветив на мгновение фосфорическим светом Ильчина.

— Так это вы, достолюбезный Сергей Леонтьевич! — сказал, хитро улыбаясь, Ильчин.

И тут Ильчин увлек меня, обнимая за талию, на такой точно диван, как у меня в комнате, даже пружина в нем торчала там же, где у меня,— посередине.

Вообще и по сей день я не знаю назначения той комнаты, в которой состоялось роковое свидание. Зачем диван? Какие ноты лежали растрепанные на полу в углу? Почему на окне стояли весы с чашками? Почему Ильчин ждал меня в этой комнате, а не, скажем, в соседнем зале, в котором в отдалении смутно в сумерках грозы рисовался рояль?

И под воркотню грома Ксаверий Борисович сказал зловеще:

— Я прочитал ваш роман.

Я вздрогнул. Дело в том...

## ГЛАВА 2

### Приступ неврастении

Дело в том, что, служа в скромной должности читальщика в «Пароходстве», я эту свою должность ненавидел и по ночам, иногда до утренней зари, писал у себя в мансарде роман.

Он зародился однажды ночью, когда я проснулся после грустного сна. Мне снился родной город, снег, зима, гражданская война... Во сне прошла передо мною беззвучная вьюга, а затем появился старенький рояль и возле него люди, которых нет уже на свете. Во сне меня поразило мое одиночество, мне стало жаль себя, и проснулся я в слезах. Я зажег свет — пыльную лампочку, подвешенную над столом. Она осветила мою бедность — дешевенькую чернильницу, несколько книг, пачку старых газет. Бок левый болел от пружины, сердце охватывал страх. Я почувствовал, что я умру сейчас за столом; жалкий страх смерти унижил меня до того, что я простонал, оглянулся тревожно, ища помощи и защиты от смерти. И эту помощь я нашел. Тихо мяукнула кошка, которую я некогда подобрал в воротах. Зверь встревожился. Через секунду

зверь уже сидел на газетах, смотрел на меня круглыми глазами, спрашивал: что случилось? Дымчатый тощий зверь был заинтересован в том, чтобы ничего не случилось. В самом деле, кто же будет кормить эту старую кошку?

— Это приступ неврастения,— объяснил я кошке,— она уже завелась во мне, будет развиваться и сгложет меня. Но пока еще можно жить.

Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно в пяти этажах не светило, я понял, что это не дом, а многоярусный корабль, который летит под неподвижным черным небом. Меня развеселила мысль о движении. Я успокоился, успокоилась и кошка, закрыла глаза.

Так я начал писать роман. Я описал сонную вьюгу. Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля. Это не вышло у меня. Но я стал упорен.

Днем я старался об одном: как можно меньше истратить сил на свою подневольную работу. Я делал ее механически, так, чтобы она не задевала головы. При всяком удобном случае я старался уйти со службы под предлогом болезни. Мне, конечно, не верили, и жизнь моя стала неприятной. Но я все терпел и постепенно втянулся. Подобно тому, как нетерпеливый юноша ждет часа свидания, я ждал часа ночи. Проклятая квартира успокаивалась в это время. Я садился к столу. Заинтересованная кошка садилась на газеты, но роман ее интересовал чрезвычайно, и она норовила пересесть с газетного листа на лист исписанный. И я брал ее за шиворот и водворял на место.

Однажды ночью я поднял голову и удивился. Корабль мой никуда не летел, дом стоял на месте, и было совершенно светло. Лампочка ничего не освещала, была противной и назойливой. Я потушил ее, и омерзительная комната предстала передо мною в рассвете. На асфальтированном дворе воровской, беззвучной походкой проходили разноцветные коты. Каждую букву на листе можно было разглядеть без всякой лампы.

— Боже! Это апрель! — воскликнул я, почему-то испугавшись, и крупно написал: «Конец».

Конец зиме, конец вьюгам, конец холоду. За зиму я растерял свои немногие знакомства, обносился очень, заболел ревматизмом и немного одичал. Но брился ежедневно.

Думая обо всем этом, я выпустил кошку во двор, затем вернулся и заснул — впервые, кажется, за всю зиму — сном без сноведений.

Роман надо долго править. Нужно перечеркивать многие места, заменять сотни слов другими. Большая, но необходимая работа!

Однако мною овладел соблазн, и, выправив первых шесть страниц, я вернулся к людям. Я созвал гостей. Среди них было двое журналистов из «Пароходства» — рабочие, как и я, люди, — их жены и двое литераторов. Один — молодой, поражавший меня тем, что с недосыгаемой ловкостью писал рассказы, и другой — пожилой, выдавший виды человек, оказавшийся при более близком знакомстве ужасной сволочью.

В один вечер я прочитал примерно четверть своего романа.

Жены до того осовели от чтения, что я стал испытывать угрызения совести. Но журналисты и литераторы оказались людьми прочными. Суждения их были братски искренни, довольно суровы и, как теперь понимаю, справедливы.

— Язык! — вскрикивал литератор (тот, который оказался сволочью). — Язык — главное! Язык никуда не годится!

Он выпил большую рюмку водки, проглотил сардинку. Я налил ему вторую рюмку. Он ее выпил, закусил куском колбасы.

— Метафора! — кричал он, закусивши.

— Да,— вежливо подтвердил молодой литератор,— бедноват язык. Журналисты ничего не сказали, но сочувственно кивнули, выпили. Дамы не кивали, не говорили, начисто отказались от купленного специально для них портвейна и выпили водки.

— Да как же ему не быть бедноватым,— вскрикивал пожилой,— литература не собака, прошу это заметить! Без нее голо! Голо! Запомните это, старик!

Слово «старик» явно относилось ко мне. Я похолодел.

Расходясь, условились опять прийти ко мне. И через неделю опять были. Я прочитал вторую порцию. Вечер ознаменовался тем, что пожилой литератор выпил со мною совершенно неожиданно и против моей воли брудершафт и стал называть меня «Леонтыч».

— Язык ни к черту! Но занятно! Занятно, чтоб тебя черти разорвали (это меня)! — кричал пожилой, поедая студень, приготовленный Дусей.

На третьем вечере появился новый человек. Тоже литератор, с лицом злым и мефистофельским, косою на левый глаз, небритый. Сказал, что роман плохой, но изъявил желание слушать четвертую и последнюю часть. Была еще какая-то разведенная жена и один с гитарой в футляре. Я почерпнул много полезного для себя на данном вечере. Скромные мои товарищи из «Пароходства» попривыкли к разросшемуся обществу и высказали и свои мнения.

Один сказал, что семнадцатая глава растянута, другой — что характер Васеньки очерчен недостаточно выпукло. И то и другое было справедливо.

Четвертое и последнее чтение состоялось не у меня, а у молодого литератора, искусно сочинявшего рассказы. Здесь было уже человек двадцать, и познакомился я с бабушкой литератора, очень приятной старухой, которую портило только одно — выражение испуга, почему-то не покидавшее ее весь вечер. Кроме того, видел няньку, спавшую на сундуке.

Роман был закончен. И тут разразилась катастрофа. Все слушатели, как один, сказали, что роман мой напечатан быть не может по той причине, что его не пропустят.

Я впервые услышал это и тут только сообразил, что, сочиняя роман, ни разу не подумал о том, будет ли он пропущен или нет.

Начала одна дама. Сказала она так (потом я узнал, что она была тоже разведенной женой):

— Скажите, Максудов, а ваш роман пропустят?

— Ни, ни, ни! — воскликнул пожилой литератор.— Ни в каком случае! Об «пропустить» не может быть и речи! Просто нет никакой надежды на это. Можешь, старик, не волноваться — не пропустят.

— Не пропустят! — хором отозвался короткий конец стола.

— Язык... — начал тот, который был братом гитариста, но пожилой его перебил.

— К чертям язык! — вскричал он, накладывая себе на тарелку салат.— Не в языке дело. Старик написал плохой, но занятный роман. В тебе, шельмец, есть наблюдательность. И откуда что берется! Вот уж никак не ожидал! Но... содержание!

— М-да, содержание...

— Именно содержание,— кричал, беспская няньку, пожилой,— ты знаешь, чего требуется... Не знаешь? Ага! То-то!

Он мигал глазом, в то же время выпивал. Затем обнял меня и расцеловал, крича:

— В тебе есть что-то несимпатичное, поверь мне! Уж ты мне поверь. Но я тебя люблю. Люблю, хоть тут меня убейте. Лукав он, шельма, с

подковыркой человек! А? Что? Вы обратили внимание на главу четвертую? Что он говорил героине? То-то!..

— Во-первых, что это за такие слова...— начал было я, испытывая мучения от его фамильярности.

— Ты меня прежде поцелуй,— кричал пожилой литератор,— не хочешь? Вот и видно сразу, какой ты товарищ! Нет, брат, не простой ты человек!

— Конечно, не простой,— поддержала его вторая разведенная жена.

— Во-первых...— начал опять я в злобе, но ровно ничего из этого не вышло.

— Ничего не во-первых! — кричал пожилой.— А сидит в тебе достоевщина! Да-с! Ну, ладно, ты меня не любишь, бог тебя за это простит, я на тебя не обижаюсь. Но мы тебя любим все искренно и желаем добра! — Тут он указал на брата гитариста и другого неизвестного мне человека с багровым лицом, который, явившись, извинился за опоздание, объяснив, что был в Центральных банях.— И говорю я тебе прямо,— продолжал пожилой,— ибо я привык всем резать правду в глаза: ты, Леонтьич, с этим романом даже не суйся никуда. Наживешь ты себе неприятности, и придется нам, твоим друзьям, страдать при мысли о твоих мучениях! Ты мне верь! Я человек большого, горького опыта, знаю жизнь. Ну вот,— крикнул он обиженно и жестом всех призвал в свидетели,— поглядите, смотрит на меня волчьими глазами. Это в благодарность за хорошее отношение! Леонтьич! — взвизгнул он так, что нянька за занавеской встала с сундука.— Пойми! Пойми ты, что не так велики уж художественные достоинства твоего романа... (тут послышался с дивана мягкий гитарный аккорд)... чтобы из-за него тебе идти на Голгофу. Пойми!

— Ты п-пойми, пойми, пойми!..— запел приятным тенором гитарист.

— И вот тебе мой сказ,— кричал пожилой,— ежели ты меня сейчас не расцелуешь, встану, уйду, покину дружескую компанию — ибо ты меня обидел!

Испытывая невыразимую муку, я расцеловал его. Хор в это время хорошо распелся, и маслено и нежно над голосами выплывал тенор:

— Т-ты пойми, пойми...

Как кот, я выкрадывался из квартиры, держа под мышкой тяжелую рукопись.

Нянька с красными, слезящимися глазами, наклонившись, пила воду из-под крана в кухне.

Неизвестно почему я протянул няньке рубль.

— Да ну вас,— злобно сказала нянька, отпихивая рубль,— четвертый час ночи! Ведь это же адские мученья!

Тут издали прорезал хор знакомый голос:

— Где же он? Бежал? Задержать его! Вы видите, товарищи!..

Но обитая клеенкой дверь уже выпустила меня, и я бежал без оглядки.

### Г Л А В А 3

#### Мое самоубийство

— Да, это ужасно,— говорил я сам себе в своей комнате,— все ужасно. И этот салат, и нянька, и пожилой литератор, и незабвенное «пойми», вообще вся моя жизнь.

За окнами ныл осенний ветер, оторвавшийся железный лист громыхал, по стеклам полз полосами дождь. После вечера с нянькой и гитарой много случилось событий, но таких противных, что и писать о них не хочется. Прежде всего я бросился проверять роман с той точки зрения,

что, мол, пропустят его или не пропустят. И ясно стало, что его не пропустят. Пожилой был совершенно прав: об этом, как мне казалось, кричала каждая строчка романа.

Проверив роман, я последние деньги истратил на переписку двух отрывков и отнес их в редакцию одного толстого журнала. Через две недели я получил отрывки обратно. В углу рукописей было написано: «Не подходит». Отрезав ножницами для ногтей эту резолюцию, я отнес эти же отрывки в другой толстый журнал и получил через две недели их обратно с такою же точно надписью: «Не подходит».

После этого умерла кошка. Она перестала есть, забилась в угол и мяукала, доводя меня до иступления. Три дня это продолжалось, на четвертый я застал ее неподвижной в углу на боку.

Я взял у дворника лопату и зарыл кошку на пустыре за нашим домом. Я остался в совершенном одиночестве на земле, но, признаюсь, в глубине души обрадовался. Какой обузой для меня являлся несчастный зверь!

А потом пошли дожди, у меня опять заболело плечо и левая нога в колене.

Но самое худшее было не это, а то, что роман был плох. Если же он был плох, то это означало, что жизни моей приходит конец.

Всю жизнь служить в «Пароходстве»? Да вы смеетесь!

Всюкую ночь я лежал, тараща глаза в тьму крошечную, и повторял: «Это ужасно!» Если бы меня спросили: «Что вы помните о времени работы в «Пароходстве?» — я с чистою совестью ответил бы: «Ничего».

Калоши грязные у вешалки, чья-то мокрая шапка с длиннейшими ушами на вешалке — и это все.

— Это ужасно! — повторял я, слушая, как гудит ночное молчание в ушах.

Бессонница дала себя знать недели через две.

Я поехал в трамвае на Самотечную-Садовую, где проживал в одном из домов, номер которого я сохраняю, конечно, в строжайшей тайне, некий человек, имевший право по роду своих занятий на ношение оружия.

При каких условиях мы познакомились — неважно.

Войдя в квартиру, я застал моего приятеля лежащим на диване. Пока он разогревал чай на примусе в кухне, я открыл левый ящик письменного его стола и выкрал оттуда браунинг, потом напился чаю и уехал к себе.

Было около девяти часов вечера. Я приехал домой. Все было, как всегда. Из кухни пахло жареной бараниной, в коридоре стоял вечный, хорошо известный мне туман, в нем тускло горела под потолком лампочка. Я вошел к себе. Свет брызнул сверху, и тотчас же комната погрузилась в тьму. Перегорела лампочка.

— Все одно к одному, и все совершенно правильно, — сказал я сурово.

Я зажег керосинку на полу в углу. На листе бумаги написал: «Сим сообщаю, что браунинг № (забыл номер), системы такой-то, я украл у Парфена Ивановича (написал фамилию, № дома, улицу, все как полагается)». Подписался, лег на полу у керосинки. Смертельный ужас охватил меня. Умирать страшно. Тогда я представил себе наш коридор, баранину и бабу Пелагею, пожилого и «Пароходство», повеселил себя мыслью о том, как с грохотом будут ломать дверь в мою комнату и т. д.

Я приложил дуло к виску, неверным пальцем нашарил собачку. В это время снизу послышались очень знакомые мне звуки, сипло заиграл оркестр и тенор в граммофоне запел:

Но мне бог возвратит ли все?!

«Батюшки! «Фауст»! — подумал я. — Ну, уж это действительно вовремя. Однако подожду выхода Мефистофеля. В последний раз. Больше никогда не услышу».

Оркестр то пропадал под полом, то появлялся, но тенор кричал все громче:

Проклинаю я жизнь, веру и все науки!..

«Сейчас, сейчас, — думал я, — но как быстро он поет...»

Тенор крикнул отчаянно, затем грохнул оркестр.

Дрожащий палец лег на собачку, и в это мгновение грохот оглушил меня, сердце куда-то провалилось, мне показалось, что пламя вылетело из керосинки в потолок, я уронил револьвер.

Тут грохот повторился. Снизу донесся тяжкий басовый голос:

— Вот и я!

Я повернулся к двери.

#### ГЛАВА 4

#### При шпаге я

В дверь стучали. Властно и повторно. Я сунул револьвер в карман брюк и слабо крикнул:

— Войдите!

Дверь распахнулась, и я окоченел на полу от ужаса. Это был он, вне всяких сомнений. В сумраке в высоте надо мною оказалось лицо с властным носом и разметанными бровями. Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит острие черной бороды. Берет был заломлен лихо на ухо. Пера, правда, не было. Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель.

Тут я разглядел, что он в пальто и блестящих глубоких калошах, а под мышкою держит портфель. «Это естественно, — помыслил я, — не может он в ином виде пройти по Москве в XX веке».

— Рудольфи, — сказал злой дух тенором, а не басом.

Он, впрочем, мог и не представляться мне. Я его узнал. У меня в комнате находился один из самых приметных людей в литературном мире того времени, редактор-издатель единственного частного журнала «Родина» Илья Иванович Рудольфи.

Я поднялся с полу.

— А нельзя ли зажечь лампу? — спросил Рудольфи.

— К сожалению, не могу этого сделать, — отозвался я, — так как лампочка перегорела, а другой у меня нет.

Злой дух, принявший личину редактора, проделал один из своих нехитрых фокусов — вынул из портфеля тут же электрическую лампочку.

— Вы всегда носите лампочки с собой? — изумился я.

— Нет, — сурово объяснил дух, — простое совпадение, я только что был в магазине.

Когда комната осветилась и Рудольфи снял пальто, я проворно убрал со стола записку с признанием в краже револьвера, а дух сделал вид, что не заметил этого.

Сели. Помолчали.

— Вы написали роман? — строго осведомился наконец Рудольфи.

— Откуда вы знаете?

— Ликоспастов сказал.

— Видите ли... — заговорил я (Ликоспастов и есть тот самый пожилой), — действительно я... но... словом, это плохой роман.

— Так,— сказал дух и внимательно поглядел на меня.

Тут оказалось, что никакой бороды у него не было. Тени пошутили.

— Покажите,— властно сказал Рудольфи.

— Ни за что,— отозвался я.

— По-ка-жи-те,— раздельно сказал Рудольфи.

— Его не пропустят...

— Покажите.

— Он, видите ли, написан от руки, а у меня скверный почерк. Буква «о» выходит, как простая палочка, а...

И тут я сам не заметил, как руки мои открыли ящик, где лежал злополучный роман.

— Я любой почерк разбираю, как печатное,— пояснил Рудольфи,— это профессиональное.— И тетради оказались у него в руках.

Прошел час. Я сидел у керосинки, подогревая воду, а Рудольфи читал роман. Множество мыслей вертелось у меня в голове. Во-первых, я думал о Рудольфи. Надо сказать, что Рудольфи был замечательным редактором и попасть к нему в журнал считалось приятным и почетным. Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня хотя бы даже и в виде Мефистофеля. Но, с другой стороны, роман ему мог не понравиться, а это было бы неприятно... Кроме того, я чувствовал, что самоубийство, прерванное на самом интересном месте, теперь уже не состоится и, следовательно, с завтрашнего же дня я опять скажусь в пучине бедствий. Кроме того, нужно было предложить чаю, а у меня не было масла. Вообще в голове была каша, в которую к тому же впутывался и зря украденный револьвер.

Рудольфи между тем глотал страницу за страницей, и я тщетно пытался узнать, какое впечатление роман производит на него. Лицо Рудольфи ровно ничего не выражало.

Когда он сделал антракт, чтобы протереть стекла очков, я к сказанным уже глупостям прибавил еще одну:

— А что говорил Ликоспастов о моем романе?

— Он говорил, что этот роман никуда не годится,— холодно ответил Рудольфи и перевернул страницу. («Вот какая сволочь Ликоспастов! Вместо того, чтобы поддержать друга и так далее...»)

В час ночи мы выпили чаю, а в два Рудольфи дочитал последнюю страницу.

Я заерзал на диване.

— Так,— сказал Рудольфи.

Помолчали.

— Толстому подражаете? — сказал Рудольфи.

Я рассердился.

— Кому именно из Толстых? — спросил я.— Их было много. Алексею ли Константиновичу, известному писателю, Петру ли Андреевичу, поймавшему за границей царевича Алексея, нумизмату ли Ивану Ивановичу или Льву Николаевичу?

— Вы где учились?

Тут приходится открыть маленькую тайну. Дело в том, что я окончил в университете два факультета и скрывал это.

— Я окончил церковноприходскую школу,— сказал я, кашлянув.

— Вон как,— сказал Рудольфи, и улыбка тронула слегка его губы. Потом он спросил: — Сколько раз в неделю вы бреетесь?

— Семь раз.

— Извините за нескромность,— продолжал Рудольфи,— а как вы делаете, что у вас такой пробор?

— Бриолином смазываю голову. А позвольте спросить, почему все это...

— Бога ради,— ответил Рудольфи,— я просто так.— И добавил: — Интересно, человек окончил приходскую школу, бреется каждый день и лежит на полу возле керосинки. Вы — трудный человек! — Затем он резко изменил голос и заговорил сурово: — Ваш роман Главлит не пропустит, и никто его не напечатает. Его не примут ни в «Зорях», ни в «Рассвете».

— Я это знаю,— сказал я твердо.

— И тем не менее я этот роман у вас беру,— сказал строго Рудольфи (сердце мое сделало перебой),— я заплачу вам... (тут он назвал чудовищно маленькую сумму, забыл какую) за лист. Завтра он будет перепечатан на машинке.

— В нем четыреста страниц! — воскликнул я хрипло.

— Я разниму его на части,— железным голосом говорил Рудольфи,— и двенадцать машинисток в бюро перепечатают его завтра к вечеру.

Тут я перестал бунтовать и решил подчиниться Рудольфи.

— Переписка на ваш счет,— продолжал Рудольфи, а я только кивал головой, как фигурка,— затем: надо будет вычеркнуть три слова на странице первой, семьдесят первой и триста второй.

Я заглянул в тетради и увидел, что первое слово было «апокалипсис», второе — «архангелы», и третье — «дьявол». Я их покорно вычеркнул; правда, мне хотелось сказать, что это наивные вычеркивания, но я поглядел на Рудольфи и замолчал.

— Затем,— продолжал Рудольфи,— вы поедете со мною в Главлит. Причем я вас покорнейше прошу не произносить там ни одного слова. Все-таки я обиделся.

— Если вы находите, что я могу сказать что-нибудь...— начал я мямлить с достоинством,— то я могу и дома посидеть.

Рудольфи никакого внимания не обратил на эту попытку возмущения и продолжал:

— Нет, вы не можете дома посидеть, а поедете со мною.

— Чего же я там буду делать?

— Вы будете сидеть на стуле,— командовал Рудольфи,— и на все, что вам будут говорить, будете отвечать вежливой улыбкой...

— Но...

— А разговаривать буду я.— закончил Рудольфи.

Затем он попросил чистый лист бумаги, карандашом написал на нем что-то, что содержало в себе, как помню, несколько пунктов, сам это подписал, заставил подписать и меня, затем вынул из кармана две хрустящих денежных бумажки, тетради мои положил в портфель, и его не стало в комнате.

Я не спал всю ночь, ходил по комнате, смотрел бумажки на свет, пил холодный чай и представлял себе прилавки книжных магазинов. Множество народу входило в магазин, спрашивало книжку журнала. В домах сидели под лампами люди, читали книжку, некоторые вслух.

Боже мой! Как это глупо, как это глупо! Но я был тогда сравнительно молод, не следует смеяться надо мною.

## ГЛАВА 5

### Необыкновенные события

Украсть нетрудно. На место положить — вот в чем штука. Имея в кармане браунинг в кобуре, я приехал к моему другу.

Сердце мое екнуло, когда еще сквозь дверь я услышал его крики: — Мамаша! А еще кто?..



Глухо слышался голос старушки, его матери:

— Водопроводчик...

— Что случилось? — спросил я, снимая пальто.

Друг оглянулся и шепнул:

— Револьвер сперли соседи, вот гады!

— Ай-ай-ай,— сказал я.

Старушка мамаша носилась по всей маленькой квартире, ползала по полу в коридоре, заглядывая в какие-то корзины.

— Мамаша, это глупо! Перестаньте по полу елозить!

— Сегодня? — спросил я радостно. (Он ошибся, револьвер пропал вчера, но ему почему-то казалось, что он его вчера ночью еще видел в столе.) — А кто у вас был?

— Водопроводчик! — кричал мой друг.

— Парфеша, не входил он в кабинет,— робко говорила мамаша,— прямо к крану прошел...

— Ах, мамаша! Ах, мамаша!

— Больше никого не было? А вчера кто был?

— И вчера никого не было! Только вы заходили, и больше никого.

И друг мой вдруг выпучил на меня глаза.

— Позвольте,— сказал я с достоинством.

— Ах! И до чего же вы обидчивые, эти интеллигенты! — вскричал друг.— Не думаю же я, что это вы сперли.

И тут же понесся смотреть, к какому крану проходил водопроводчик. При этом мамаша изображала водопроводчика и даже подражала его интонациям.

— Вот так вошел,— говорила старушка,— сказал «здравствуйте», шапку повесил и пошел...

— Куда пошел?

Старушка пошла, подражая водопроводчику, в кухню, друг мой устремился за нею, я сделал одно ложное движение, якобы за ними, тотчас вернулся в кабинет, положил браунинг не в левый, а в правый ящик стола и отправился в кухню.

— Где вы его держите? — спрашивал я участливо в кабинете.

Друг открыл левый ящик и показал пустое место.

— Не понимаю,— сказал я, пожимая плечами,— действительно загадочная история. Да, ясно, что украли.

Мой друг окончательно расстроился.

— А все-таки я думаю, что его не украли,— сказал я через некоторое время,— ведь, если никого не было, кто же может его украсть?

Друг сорвался с места и осмотрел карманы в старой шинели в передней. Там ничего не нашлось.

— По-видимому, украли,— сказал я задумчиво,— придется в милицию заявлять.

Друг что-то простонал.

— Куда-нибудь в другое место вы не могли его засунуть?

— Я его всегда кладу в одно и то же место! — нервничая, воскликнул мой приятель и в доказательство открыл средний ящик стола. Потом что-то пошептал губами, открыл левый и даже руку в него засунул, потом под ним — нижний, а затем уже с проклятием открыл правый.

— Вот штука! — хрипел он, глядя на меня.— Вот штука!.. Мамаша! Нашелся!

Он был необыкновенно счастлив в этот день и оставил меня обедать.

Ликвидировав висевший на моей совести вопрос с револьвером, я сделал шаг, который можно назвать рискованным,— бросил службу в «Вестнике пароходства».

Я переходил в другой мир, бывал у Рудольфи и стал встречать писателей, из которых некоторые имели уже крупную известность. Но все это теперь как-то смылось в моей памяти, не оставив ничего, кроме скуки, в ней, все это я позабыл. И лишь не могу забыть одной вещи — это знакомства моего с издателем Рудольфи, Макаром Рвацким.

Дело в том, что у Рудольфи было все: и ум, и сметка, и даже некоторая эрудиция, у него только одного не было — денег. А между тем азартная любовь Рудольфи к своему делу толкала его на то, чтобы во что бы то ни стало издавать толстый журнал. Без этого он умер бы, я полагаю.

В силу этой причины я однажды оказался в странном помещении на одном из бульваров Москвы. Здесь помещался издатель Рвацкий, как пояснил мне Рудольфи. Поразило меня то, что вывеска на входе в помещение воззвела, что здесь «Бюро фотографических принадлежностей».

Еще страннее было то, что никаких фотографических принадлежностей, за исключением нескольких отрезков ситцу и сукна, в газетную бумагу завернутых, не было в помещении.

Все оно кишело людьми. Все они были в пальто и шляпах, оживленно разговаривали между собой. Я услышал мельком два слова — «провокола» и «банки», — страшно удивился, но и меня встретили удивленными взорами. Я сказал, что я к Рвацкому по делу. Меня немедленно и очень почтительно проводили за фанерную перегородку, где удивление мое возросло до наивысшей степени.

На письменном столе, за которым помещался Рвацкий, стояли нагроможденные одна на другую коробки с кильками.

Но сам Рвацкий не понравился мне еще более, нежели кильки в его издательстве. Рвацкий был человеком сухим, худым, маленького роста, одетым для моего глаза, привыкшего к блузам в «Пароходстве», крайне странно. На нем была визитка, полосатые брюки, он был при грязном крахмальном воротничке, а воротничок при зеленом галстуке, а в галстуке этом была рубиновая булавка.

Рвацкий меня изумил, а я Рвацкого испугал, или, вернее, расстроил, когда я объяснил, что пришел подписать договор с ним на напечатание моего романа в издаваемом им журнале. Но тем не менее он быстро пришел в себя, взял принесенные мною два экземпляра договора, вынул самопишущее перо, подписал, не читая почти, оба и подпихнул мне оба экземпляра вместе с самопишущим пером. Я уже вооружился последним, как вдруг глянул на коробки с надписью «Килька отборная астраханская» и сеткой, возле которой был рыболов с засученными штанами, — и какая-то шемящая мысль вторглась в меня.

— Деньги мне уплатят сейчас же, как написано в договоре? — спросил я.

Рвацкий превратился весь в улыбку сладости, вежливости. Он кашлянул и сказал:

— Через две недели ровно, сейчас маленькая заминка...

Я положил перо.

— ...или через неделю, — поспешно сказал Рвацкий, — почему же вы не подписываете?

— Так мы уж тогда заодно и подпишем договор, — сказал я, — когда заминка уляжется.

Рвацкий горько улыбнулся, качая головой.

— Вы мне не доверяете? — спросил он.

— Помилуйте!

— Наконец в среду, — сказал Рвацкий, — если вы имеете нужду в деньгах.

— К сожалению, не могу.

— Важно подписать договор,— рассудительно сказал Рвацкий,— а деньги даже во вторник можно.

— К сожалению, не могу.— И тут я отодвинул договоры и застегнул пуговицу.

— Одну минуточку, ах, какой вы! — воскликнул Рвацкий.— А говорят еще, что писатели непрактичный народ.

И тут вдруг тоска изобразилась на его бледном лице, он встревоженно оглянулся, но вбежал какой-то молодой человек и подал Рвацкому картонный билетик, завернутый в белую бумажку.

«Это билет с плацкартой,— подумал я,— он куда-то едет».

Краска проступила на щеках издателя, глаза его сверкнули, чего я никак не предполагал, что это может быть.

Коротко говоря, Рвацкий выдал мне ту сумму, которая была указана в договоре, а на остальные суммы написал мне векселя. Я в первый и в последний раз в жизни держал в руках векселя, выданные мне. За вексельною бумагой куда-то бегали, причем я дождался, сидя на каких-то ящиках, распространявших сильнейший запах сапожной кожи. Мне очень польстило, что у меня векселя.

Дальше размыло в памяти месяца два. Помню только, что я у Рудольфи возмущался тем, что он послал меня к такому, как Рвацкий, что не может быть издатель с мутными глазами и с рубиновой булавкой. Помню также, как екнуло мое сердце, когда Рудольфи сказал: «А покажите-ка векселя», и как оно стало на место, когда он сказал сквозь зубы: «Все в порядке». Кроме того, никогда не забуду, как я приехал получать по первому из этих векселей. Началось с того, что вывеска «Бюро фотографических принадлежностей» оказалась несуществующей и была заменена вывескою «Депо медицинских банок».

Я вошел и сказал:

— Мне нужно видеть Макара Борисовича Рвацкого.

Отлично помню, как подогнулись мои ноги, когда мне ответили, что Макар Борисович Рвацкий... за границей.

Ах, сердце, мое сердце!.. Но, впрочем, теперь это не важно.

Кратко опять-таки: за фанерною перегородкой был брат Рвацкого. (Рвацкий уехал за границу через десять минут после подписания договора со мною — помните плацкарту?) Полная противоположность по внешности своему брату, Алоизий Рвацкий, атлетически сложенный человек с тяжкими глазами, по векселю уплатил.

По второму через месяц я, проклиная жизнь, получил уже в каком-то официальном учреждении, куда векселя идут в протест (нотариальная контора, что ли, или банк, где были окошечки с сетками).

К третьему векселю я поумнел, пришел ко второму Рвацкому за две недели до срока и сказал, что устал.

Мрачный брат Рвацкого впервые обратил на меня свои глаза и буркнул:

— Понимаю. А зачем вам ждать сроков? Можете и сейчас получить.

Вместо восьмисот рублей я получил четыреста и с великим облегчением отдал Рвацкому две продолговатые бумажки.

Ах, Рудольфи, Рудольфи! Спасибо вам и за Макара и за Алоизия! Впрочем, не будем забегать вперед, дальше будет еще хуже.

Впрочем, пальто я себе купил.

И наконец настал день, когда в мороз лютый я пришел в это же самое помещение. Это был вечер. Стосвечовая лампочка резала глаза нестерпимо. Под лампочкой за фанерной перегородкой не было никого из Рвацких (нужно ли говорить, что и второй уехал!). Под этой лампочкой стоял в пальто Рудольфи, а перед ним на столе, и на полу, и под

столом лежали серо-голубые книжки только что отпечатанного номера журнала. О, миг! Теперь-то мне это смешно, но тогда я был моложе.

У Рудольфи сияли глаза. Дело свое, надо сказать, он любил. Он был настоящий редактор.

Существуют такие молодые люди, и вы их, конечно, встречали в Москве. Эти молодые люди бывают в редакциях журналов в момент выхода номера, но они не писатели. Они видны бывают на всех генеральных репетициях во всех театрах, хотя они и не актеры. Они бывают на выставках художников, но сами не пишут. Оперных примадонн они называют не по фамилиям, а по имени и отчеству; по имени же и отчеству называют лиц, занимающих ответственные должности, хотя с ними лично и не знакомы. В Большом театре на премьере они, протискиваясь между седьмым и восьмым рядами, машут приветливо ручкой кому-то в бельэтаже, в «Метрополе» они сидят за столиком у самого фонтана, и разноцветные лампочки освещают их штаны с раструбами.

Один из них сидел перед Рудольфи.

— Ну-с, как же вам понравилась очередная книжка? — спрашивал Рудольфи у молодого человека.

— Илья Иваныч! — прочувственно воскликнул молодой человек, вертя в руках книжку. — Очаровательная книжка, но, Илья Иваныч, позвольте вам сказать со всею откровенностью: мы, ваши читатели, не понимаем, как вы с вашим вкусом могли поместить эту вещь Максудова.

«Вот так номер!» — подумал я, холодея.

Но Рудольфи заговорщически подмигнул мне и сказал:

— А что такое?

— Помилуйте! — восклицал молодой человек. — Ведь, во-первых... Вы позволите мне быть откровенным, Илья Иванович?

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказал, сияя, Рудольфи.

— Во-первых, это элементарно неграмотно! Я берусь вам подчеркнуть двадцать мест, где просто грубые синтаксические ошибки!

«Надо будет перечитать сейчас же», — подумал я, замирая.

— Ну, а стиль! — кричал молодой человек. — Боже мой, какой ужасный стиль! Кроме того, все это эклектично, подражательно, беззубо как-то. Дешевая философия, скольжение по поверхности... Плохо, плоско, Илья Иванович! Кроме того, он подражает!

— Кому? — спросил Рудольфи.

— Аверченко! — вскричал молодой человек, вертя и поворачивая книжку и пальцем раздирая слипшиеся страницы. — Самому обыкновенному Аверченко! Да вот я вам покажу. — Тут молодой человек начал рыться в книжке, причем я, как гусь, вытянув шею, следил за его руками, но он, к сожалению, не нашел того, что искал.

«Найду дома», — думал я.

— Найду дома, — посулил молодой человек, — книжка испорчена, ей-богу, Илья Иванович. Он же просто неграмотен! Кто он такой? Где он учился?

— Он говорит, что кончил церковноприходскую школу, — сверкая глазами, ответил Рудольфи, — а впрочем, спросите у него сами. Прошу вас, познакомьтесь.

Зеленая гниловатая плесень выступила на щеках молодого человека, а глаза его наполнились непередаваемым ужасом.

Я раскланялся с молодым человеком, он оскалил зубы, страдание исказило его приятные черты. Он охнул и выхватил из кармана носовой платок, и тут я увидел, что по щеке у него побежала кровь. Я остолбенел.

— Что с вами? — вскричал Рудольфи.

— Гвоздь, — ответил молодой человек.

— Ну, я пошел,— сказал я суконным языком, стараясь не глядеть на молсдого человека.

— Возьмите книги.

Я взял пачку авторских экземпляров, пожал руку Рудольфи, отклонился молодому человеку — причем тот, не переставая прижимать платок к щеке, уронил на пол книжку и палку,— задом тронулся к выходу, ударился локтем об стол и вышел.

Снег шел, крупный елочный снег.

Не стоит описывать, как я просидел всю ночь над книгой, перечитывая роман в разных местах. Достоинно внимания, что временами роман нравился, а затем тотчас же казался отвратительным. К утру я был от него в ужасе.

События следующего дня мне памятны. Утром у меня был удачно обокраденный друг, которому я подарил один экземпляр романа, а вечером я отправился на вечеринку, организованную группой писателей по поводу важнейшего события — благополучного прибытия из-за границы знаменитого литератора Измаила Александровича Бондаревского. Торжество умножалось и тем, что одновременно чествовать предполагалось и другого знаменитого литератора — Егора Агапенова, вернувшегося из своей поездки в Китай.

И одевался и шел я на вечер в великом возбуждении. Как-никак это был тот новый для меня мир, в который я стремился. Этот мир должен был открыться передо мною, и притом с самой наилучшей стороны,— на вечеринке должны были быть первейшие представители литературы, весь ее цвет.

И точно, когда я вошел в квартиру, я испытал радостный подъем.

Первым, кто бросился мне в глаза, был тот самый вчерашний молодой человек, пропоротивший себе ухо гвоздем. Я узнал его, несмотря на то, что он был весь забинтован свежими марлевыми бинтами.

Мне он обрадовался, как родному, и долго жал руки, присовокупляя, что всю ночь читал он мой роман, причем он ему начал нравиться.

— Я тоже,— сказал я ему,— читал всю ночь, но он мне перестал нравиться.

Мы тепло разговорились, при этом молодой человек сообщил мне, что будет заливная осетрина, вообще был весел и возбужден.

Я оглянулся — новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была громадная, стол был накрыт на двадцать пять примерно кувертов; хрусталь играл огнями, даже в черной икре сверкали искры; зеленые свежие огурцы порождали глуповато-веселые мысли о каких-то пикниках, почему-то о славе и прочем. Тут же меня познакомили с известнейшим автором Лесосековым и с Тунским — новеллистом. Дам было мало, но все же были.

Ликоспастов был тише воды, ниже травы, и тут же как-то я ощутил, что, пожалуй, он будет рангом пониже прочих, что с начинающим даже русокудрым Лесосековым его уже сравнивать нельзя, не говоря уже, конечно, об Агапенове или Измаиле Александровиче.

Ликоспастов продрался ко мне, мы поздоровались.

— Ну что ж,— вздохнув почему-то, сказал Ликоспастов,— поздравляю. Поздравляю от души. И прямо тебе скажу: ловок ты, брат. Руку бы дал на отсечение, что роман твой напечатать нельзя, просто невозможно. Как ты Рудольфи обработал, ума не приложу. Но предсказываю тебе, что ты далеко пойдешь! А поглядеть на тебя — тихоня... Но в тихом...

Тут поздравленья Ликоспастова были прерваны громкими звонками с парадного, и исполнявший обязанности хозяина критик Конкин (дело происходило в его квартире) вскричал: «Он!»

И верно: это оказался Измаил Александрович. В передней послышался звучный голос, потом звуки лобзаний, и в столовую вошел маленького роста гражданин в целлулоидовом воротничке, в куртке. Человек был сконфужен, тих, вежлив и в руках держал, почему-то не оставив ее в передней, фуражку с бархатным околышем и пыльным круглым следом от гражданской кокарды.

«Позвольте, тут какая-то путаница...» — подумал я: до того не вязался вид вошедшего человека со здоровым хохотом и словом «расстегаи», которое донеслось из передней.

Путаница, оказалось, и была. Следом за вошедшим, нежно обнимая за талию, Конкин вовлек в столовую высокого и плотного красавца со светлой вьющейся и холеной бородой, в расчесанных кудрях.

Присутствовавший здесь беллетрист Фиалков, о котором мне Рудольфи шепнул, что он шибко идет в гору, был одет прекрасно (вообще все были одеты хорошо), но костюм Фиалкова и сравнивать нельзя было с одеждой Измаила Александровича. Добротнейшей материи и сшитый первоклассным парижским портным, коричневый костюм облекал стройную, но несколько полноватую фигуру Измаила Александровича. Белье крахмальное, лакированные туфли, аметистовые запонки. Чист, бел, свеж, ясен, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол:

— Га! Черти!

И тут порхнул и смешок и аплодисмент и послышались поцелуи. Кой с кем Измаил Александрович здоровался за руку, кой с кем целовался накрест, перед кой-кем шутливо отворачивался, закрывая лицо белой ладонью, как будто слеп от солнца, и при этом фыркал.

Меня, вероятно принимая за кого-то другого, расцеловал трижды, причем от Измаила Александровича запахло коньяком, одеколоном и сигарой.

— Баклажанов! — вскричал Измаил Александрович, указывая на первого вошедшего. — Рекомендую. Баклажанов, друг мой.

Баклажанов улыбнулся мученической улыбкой и от смущения в чужом большом обществе надел свою фуражку на шоколадную статую девицы, державшей в руках электрическую лампочку.

— Я его с собой притащил, — продолжал Измаил Александрович, — нечего ему дома сидеть. Рекомендую: чудный малый и величайший эрудит. И вспомните мое слово: всех нас он за пояс заткнет не позже, чем через год! Зачем же ты, черт, на нее фуражку надел? Баклажанов!

Баклажанов сторел со стыда и ткнулся было здороваться, но у него ничего не вышло, потому что вскипел водоворот усаживанья и уж между размещающимися потекла вспухшая лакированная кулебяка.

Пир пошел как-то сразу дружно, весело, бодро.

— Расстегаи подвели! — слышал я голос Измаила Александровича. — Зачем же мы с тобою, Баклажанов, расстегаи ели?

Звон хрустала ласкал слух, показалось, что в люстре прибавили свету. Все взоры после третьей рюмки обратились к Измаилу Александровичу. Послышались просьбы:

— Про Париж! Про Париж!

— Ну, были, например, на автомобильной выставке, — рассказывал Измаил Александрович, — открытие, все честь по чести, министр, журналисты, речи... между журналистов стоит этот жулик, Кондюков Сашка... Ну, француз, конечно, речь говорит... на скорую руку спичшко... Шампанское, натурально. Только смотрю. Кондюков надувает щеки, и не успели мы мигнуть, как его вырвало. Дамы тут, министр! А он, сукин сын!.. И что ему померещилось, до сих пор не могу понять! Скандалище колоссальное. Министр, конечно, делает вид, что ничего не замечает,

но как тут не заметишь... Фрак, шапокляк, штаны тысячу франков стоят — все вдребезги!.. Ну, вывели его, напоили водой, увезли...

— Еще! Еще! — кричали за столом.

В это время уже горничная в белом фартуке обносила осетриной. Звенело сильнее, уже слышались голоса. Но мне мучительно хотелось знать про Париж, и я в звоне, стуке и восклицаниях ухом ловил рассказы Измаила Александровича.

— Баклажанов! Почему ты не ешь?..

— Дальше! Просим! — кричал молодой человек, аплодируя.

— Дальше что было?

— Ну, а дальше сталкиваются оба эти мошенника на Шан-Зелизе, нос к носу! Табло! И не успел он оглянуться, как этот прохвост Катькин возьми и плюнь ему прямо в рыло!..

— Ай-яй-яй!

— Да-с... Баклажанов! Не спи ты, черт этакий!.. Нуте-с, и от волнения — он неврастеник ж-жуткий — промахнись, и попал даме, совершенно неизвестной даме, прямо на шляпку!

— На Шан-Зелизе?!

— Подумаешь! Там это просто. А у ней — одна шляпка три тысячи франков! Ну, конечно, господин каксь-то его палкой по роже... Скандалище жуткий!

Тут хлопнуло в углу, и желтое «абрау» засветилось передо мной в узком бокале. Помнится, пили за здоровье Измаила Александровича.

И опять я слушал про Париж.

— Он, не смущаясь, говорит ему: «Сколько?» А тот ж-жулик! — Измаил Александрович даже зажмурился. — «Восемь, говорит, тысяч!» А тот ему в ответ: «Получите!» И вынимает руку и тут же показывает ему шиш!

— В Гранд-опера?!

— Подумаешь! Плевал он на Гранд-опера! Там двое министров во втором ряду.

— Ну, а тот? Тот-то что? — хохоча, спрашивал кто-то.

— По матери, конечно!

— Батюшки!

— Ну, вывели обоих, там это просто...

Пир пошел шире. Уже плыл над столом, наслаивался дым. Уже под ногой я ощутил что-то мягкое и скользкое и, наклонившись, увидел, что это кусок лососины, и как он попал под ноги — неизвестно. Хохот заглушал слова Измаила Александровича, и поразительные дальнейшие парижские рассказы мне остались неизвестными. Я не успел как следует задуматься над странностями заграничной жизни, как звонок возвестил прибытие Егора Агапенюва. Тут уж было сумбурновато. Из соседней комнаты слышалось пианино, тихо кто-то наигрывал фокстрот, и я видел, как топтался мой молодой человек, прижав к себе даму.

Егор Агапенюв вошел бодро, вошел размашисто, и следом за ним вошел китаец, маленький, сухой, желтоватый, в очках с черным ободком. За китаецем — дама в желтом платье и крепкий бородатый мужчина по имени Василий Петрович.

— Измаша тут? — воскликнул Егор и устремился к Измаилу Александровичу.

Тот затрясся от радостного смеха, воскликнул:

— Га! Егор!.. — и погрузил свою бороду в плечо Агапенюва.

Китаец ласково улыбался всем, но никакого звука не произносил, как и в дальнейшем не произнес.

— Познакомьтесь с моим другом китаецем! — кричал Егор, отцеловавшись с Измаилом Александровичем.

Но дальше стало шумно, путано. Помнится, танцевали в комнате на ковре, отчего было неудобно. Кофе в чашке стоял на письменном столе. Василий Петрович пил коньяк. Видел я спящего Баклажанова в кресле. Накурено было крепко. И как-то почувствовалось, что пора, собственно, и отправиться домой.

И совершенно неожиданно у меня произошел разговор с Агапеновым. Я заметил, что, как только дело пошло к трем часам ночи, он стал проявлять признаки какого-то беспокойства. И кое с кем начинал о чем-то заговаривать, причем, сколько я понимаю, в тумане и дыму получал твердые отказы. Я, погрузившись в кресло у письменного стола, пил кофе, не понимая, почему мне щемило душу и почему Париж вдруг представился каким-то скучным, так что даже и побывать в нем вдруг перестало хотеться.

И тут надо мною склонилось широкое лицо с крупнейшими очками. Это был Агапенов.

— Максудов? — спросил он.

— Да.

— Слышал, слышал, — сказал Агапенов, — Рудольфи говорил. Вы, говорят, роман напечатали?

— Да.

— Здоровый роман, говорят. Ух, Максудов! — вдруг зашептал Агапенов, подмигивая. — Обратите внимание на этот персонаж... видите?

— Это с бородой?

— Он, сн, деверь мой.

— Писатель? — спросил я, изучая Василия Петровича, который, улыбаясь тревожно-ласковой улыбкой, пил коньяк.

— Нет! Кооператор из Тетюшей... Максудов, не теряйте времени, — шептал Агапенов, — жалеть будете. Такой тип поразительный! Вам в ваших работах он необходим. Вы из него в одну ночь можете настричь десяток рассказов и каждый выгодно продадите. Ихтиозавр! Бронзовый век! Истории рассказывает потрясающие! Вы представляете, чего он там в своих Тетюшах насмотрелся! Ловите его, а то другие перехватят и изгадят.

Василий Петрович, почувствовав, что речь идет о нем, улыбнулся еще тревожнее и выпил.

— Да самое лучшее... идея! — хрипел Агапенов. — Я вас сейчас познакомлю... Вы холостой? — тревожно спросил Агапенов.

— Холостой... — сказал я, выпучив глаза на Агапенова.

Радость выразилась на лице Агапенова.

— Чудесно! Вы познакомьтесь и ведите вы его к себе ночевать! Идея! У вас диван какой-нибудь есть? На диване он заснет, ничего ему не сделается! А через два дня он уедет.

Вследствие ошеломления я не нашелся ничего ответить, кроме одного:

— У меня один диван...

— Широкий? — спросил тревожно Агапенов.

Но тут я уже немного пришел в себя. И очень вовремя, потому что Василий Петрович уж начал ерзать с явной готовностью познакомиться, а Агапенов начал меня тянуть за руку.

— Простите, — сказал я, — к сожалению, ни в каком случае не могу его взять. Я живу в проходной комнате в чужой квартире, а за ширмой спят дети хозяйки... — Я хотел добавить еще, что у них скарлатина, потом решил, что это лишнее нагромождение лжи, и все-таки добавил: — И у них скарлатина.

— Василий! — вскричал Агапенов. — У тебя была скарлатина?



Сколько раз в жизни мне приходилось слышать слово «интеллигент» по своему адресу. Не спорю, я, может быть, и заслужил это печальное название. Но тут я все же собрал силы, и не успел Василий Петрович с молящей улыбкой ответить: «Вы...» — как я твердо сказал Агапенову:

— Категорически отказываюсь взять его. Не могу.

— Как-нибудь,— тихо шепнул Агапенов,— а?

— Не могу.

Агапенов повесил голову, пожевал губами.

— Но, позвольте, он же к вам приехал? Где же он остановился?

— Да у меня и остановился, черт его возьми,— сказал тоскливо Агапенов.

— Ну, и...

— Да теща ко мне с сестрой приехала сегодня, поймите, милый человек, а тут китаец еще... И носит их черт,— внезапно добавил Агапенов,— этих деверей. Сидел бы в Тетюшах...

И тут Агапенов ушел от меня.

Смутная тревога овладела мною почему-то, и, не прощаясь ни с кем, кроме Конкина, я покинул квартиру.

## ГЛАВА 6

### Катастрофа

Да, эта глава будет, пожалуй, самой короткой. На рассвете я почувствовал, что по спине моей прошел озноб. Потом он повторился. Я скорчился и влез под одеяло с головой, стало легче, но только на минуту. Вдруг сделалось жарко, потом опять холодно и до того, что зубы застучали. У меня был термометр. Он показал 38,8. Стало быть, я заболел.

Совсем под утро я попытался заснуть и до сих пор помню это утро. Только что закрою глаза, как ко мне наклоняется лицо в очках и бубнит: «Возьми», а я повторяю только одно: «Нет, не возьму». Василий Петрович не то снился, не то действительно поместился в моей комнате, причем ужас заключался в том, что он наливал коньяк себе, а пил его я. Париж стал совершенно невыносим. Гранд-опера, и в ней кто-то показывает кукиш. Сложит, покажет и спрячет опять. Сложит, покажет...

— Я хочу сказать правду,— бормотал я, когда день уже разлился за драной нестираной шторой,— полную правду. Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен. Я в него не пойду. Он — чужой мир. Отвратительный мир! Надо держать это в полном секрете. Тссс!

Губы мои высохли как-то необыкновенно быстро. Я неизвестно зачем положил рядом с собою книжку журнала. С целью читать, надо полагать. Но ничего не прочел. Хотел поставить еще раз термометр, но не поставил. Термометр лежит рядом на стуле, а мне за ним почему-то надо идти куда-то. Потом стал совсем забываться. Лицо моего сослуживца из «Пароходства» я помню, а лицо доктора расплылось. Словом, это был грипп. Несколько дней я проплавал в жару, а потом и температура упала. Я перестал видеть Шан-Зелизе, и никто не плевал на шляпку, и Париж не растягивался на сто верст.

Мне захотелось есть, и добрая соседка, жена мастера, сварила мне бульон. Я его пил из чашки с отбитой ручкой, пытался читать свое собственное сочинение, но читал строк по десяти и оставлял это занятие.

На двенадцатый примерно день я был здоров. Меня удивило то, что Рудольфи не навестил меня, хотя я и написал ему записку, чтобы он пришел ко мне.

На двенадцатый день я вышел из дому, пошел в «Депо медицин-

ских банок» и увидел на нем большой замок. Тогда я сел в трамвай и долго ехал, держась за раму от слабости и дыша на замерзшее стекло. Приехал туда, где жил Рудольфи. Позвонил. Не открывают. Еще раз позвонил. Открыл старичок и поглядел на меня с отвращением.

— Рудольфи дома?

Старичок посмотрел на носки своих ночных туфель и ответил:

— Нету его.

На мои вопросы, куда он девался, когда будет, и даже на нелепый вопрос, почему замок висит на «Депо», старичок как-то мялся, осведомился, кто я таков. Я объяснил все, даже про роман рассказал. Тогда старичок сказал:

— Он уехал в Америку неделю тому назад.

Можете убить меня, если я знаю, куда девался Рудольфи и почему он исчез. Куда девался журнал, что произошло с «Депо», какая Америка, как он уехал — не знаю и никогда не узнаю. Кто таков старичок, черт его знает!

Под влиянием слабости после гриппа в истощенном моем мозгу мелькнула даже мысль, что не видел ли я во сне все — то есть и самого Рудольфи, и напечатанный роман, и Шан-Зелизе, и Василия Петровича, и ухо, распоротое гвоздем. Но по приезде домой я нашел у себя девять голубых книжек. Был напечатан роман. Был. Вот он.

Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. Так что ни у кого не мог и справиться о Рудольфи.

Съездив еще раз в «Депо», я убедился, что никакого «Депо» там уже нет, а есть кафе со столиками, покрытыми клеенкой.

Нет, вы объясните мне, куда девались несколько сот книжек? Где они?

Такого загадочного случая, как с этим романом и Рудольфи, никогда в моей жизни не было.

## ГЛАВА 7

Самым разумным в таких странных обстоятельствах представлялось просто все это забыть и перестать думать и о Рудольфи и об исчезновении вместе с ним и номера журнала. Я так и поступил.

Однако это не избавляло меня от жестокой необходимости жить дальше. Я проверил свое прошлое.

— Итак,— говорил я самому себе, во время мартовской вьюги сидя у керосинки,— я побывал в следующих мирах. Мир первый: университетская лаборатория, в коей я помню вытяжной шкаф и колбы на штативах. Этот мир я покинул во время гражданской войны. Не станем спорить о том, поступил ли я легкомысленно или нет. После невероятных приключений (хотя, впрочем, почему невероятных — кто же не переживал невероятных приключений во время гражданской войны?), словом, после этого я оказался в «Пароходстве». В силу какой причины? Не будем таяться. Я лелеял мысль стать писателем. Ну и что же? Я покинул и мир «Пароходства». И, собственно говоря, открылся передо мною мир, в который я стремился, и вот такая оказия, что он мне показался сразу же нестерпимым. Как представлю себе Париж, так какая-то судорога проходит во мне и не могу влезть в дверь. А все этот чертов Василий Петрович! И сидел бы в Тетюшах!.. И как ни талантлив Измаил Александрович, но уж очень противно в Париже. Так, стало быть, остался я в какой-то пустоте? Именно так.

Ну что же, сиди и сочиняй второй роман, раз ты взялся за это дело, а на вечеринки можешь и не ходить. Дело не в вечеринках, а в том-то

вся и соль, что я решительно не знал, о чем этот второй роман должен был быть? Что поведать человечеству? Вот в чем вся беда.

Кстати, о романе. Глянем правде в глаза. Его никто не читал. Не мог читать, ибо исчез Рудольфи, явно не успев распространить книжку. И мой друг, которому я презентовал экземпляр, и он не читал, уверяю вас.

Да, кстати: я уверен, что, прочитав эти строки, многие назовут меня интеллигентом и неврастеником. Насчет первого не спорю, а насчет второго предупреждаю серьезным образом, что это заблуждение. У меня и тени неврастения нет. И вообще раньше, чем этим словом швыряться, надо бы узнать поточнее, что такое неврастения, да рассказы Измаила Александровича послушать. Но это в сторону.

Нужно было прежде всего жить, а для этого нужно было деньги зарабатывать.

Итак, прекратив мартовскую болтовню, я пошел на заработки. Тут меня жизнь взяла за шиворот и опять привела в «Пароходство», как блудного сына. Я сказал секретарю, что роман написал. Его это не тронуло. Одним словом, условился, что буду писать четыре очерка в месяц, получая соответствующее законом вознаграждение за это. Таким образом, некоторая материальная база намечалась. План заключался в том, чтобы сваливать как можно скорее с плеч эти очерки и по ночам опять-таки писать.

Первая часть была мною выполнена, а со второй получилось черт знает что! Прежде всего я отправился в книжные магазины и купил произведения современников. Мне хотелось узнать, о чем они пишут, как они пишут, в чем волшебный секрет этого ремесла.

При покупке я не шадил своих средств, покупая все самое лучшее, что только оказалось на рынке. В первую голову я приобрел произведения Измаила Александровича, книжку Агапенова, два романа Лесосекова, два сборника рассказов Флавиана Фиалкова и многое еще. Первым делом я, конечно, бросился на Измаила Александровича. Неприятное предчувствие кольнуло меня, лишь только я глянул на обложку. Книжка называлась «Парижские кусочки». Все они оказались знакомыми мне от первого кусочка до последнего. Я узнал и проклятого Кондюкова, которого стошнило на автомобильной выставке, и тех двух, которые подрались на Шан-Зелизе (один был, оказывается, Помадкин, другой — Шерстяников), и скандалиста, показавшего кукиш в Гранд-опера. Измаил Александрович писал с необыкновенным блеском, надо отдать ему справедливость, и поселил у меня чувство какого-то ужаса в отношении Парижа.

Агапенов, как выяснилось, успел выпустить книжку рассказов за время, которое прошло после вечеринки, — «Тетюшанская гомоза». Нетрудно было догадаться, что Василия Петровича не удалось устроить ночевать нигде, ночевал он у Агапенова, тому самому пришлось использовать истории бездомного деверя. Все было понятно, за исключением совершенно непонятого слова «гомоза».

Дважды принимался я читать роман Лесосекова «Лебеди», два раза дочитывал до сорок пятой страницы и начинал читать с начала, потому что забывал, что было в начале. Это меня серьезно испугало. Что-то неладное творилось у меня в голове: я перестал или еще не умел понимать серьезные вещи. И я, отложив Лесосекова, принялся за Фиалкова и даже за Ликоспастова и в последнем налетел на сюрприз. Именно читая рассказ, в котором был описан некий журналист (рассказ назывался «Жилец по ордеру»), я узнал продранный диван с выскочившей наружу пружиной, промокашку на столе... Иначе говоря, в рассказе был описан... я. Брюки те же самые, втянутая в плечи голова и волчьи глаза... ну, я,

одним словом! Но, клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не лживый, не карьерист, и чепухи такой, как в этом рассказе, никогда не произносил! Невыразима была моя грусть по прочтении Ликоспастовского рассказа, и решил я все же взглянуть со стороны на себя поостроже и за это решение очень обязан Ликоспастову.

Однако грусть и размышления мои по поводу моего несовершенства ничего, собственно, не стоили по сравнению с ужасным сознанием, что я ничего не извлек из книжек самых наилучших писателей, путей, так сказать, не обнаружил, огней впереди не увидел, и все мне опостылело. И, как червь, начала сосать мое сердце прескверная мысль, что никакого, собственно, писателя из меня не выйдет. И тут же столкнулся с еще более ужасной мыслью о том, что... а ну, как выйдет такой, как Ликоспастов? Осмелев, скажу и больше: а вдруг даже такой, как Агапенов? Гомоза? Что такое гомоза? Все это чепуха, уверяю вас!

Вне очерков я много проводил времени на диване, читая разные книжки, которые по мере приобретения укладывал на хромоногой этажерке, и на столе, и попросту в углу. Со своим собственным произведением я поступил так: уложил оставшиеся девять экземпляров и рукопись в ящик стола, запер их на ключ и решил никогда, никогда в жизни к ним не возвращаться.

Вьюга разбудила меня однажды. Вьюжный был март и бушевал, хотя и шел уже к концу. И опять, как тогда, я проснулся в слезах. Какая слабость, ах, какая слабость! И опять те же люди, и опять дальний город, и бок рояля, и выстрелы, и еще какой-то поверженный на снегу.

Родились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. Ясно было, что с ними так не разойтись. Но что же делать с ними?

Первое время я просто беседовал с ними, и все-таки книжку романа мне пришлось извлечь из ящика. Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, шурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная — как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно — горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра, и не раз я жалел, что кошки уже нет на свете и некому показать, как на странице в маленькой комнатке шевелятся люди. Я уверен, что зверь вытянул бы лапу и стал бы скрести страницу. Воображаю, какое любопытство горело бы в кошачьем глазу, как лапа царапала бы буквы!

С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля. Правда, если бы кому-нибудь я сказал бы об этом, надо полагать, мне посоветовали бы обратиться к врачу. Сказали бы, что играют внизу под полом, и даже сказали бы, возможно, что именно играют. Но я не обратил бы внимания на эти слова. Нет, нет! Играют на рояле у меня на столе, здесь происходит тихий перезвон клавишей. Но этого мало. Когда затихает дом и внизу ровно ни на чем не играют, я слышу, как сквозь вьюгу прорывается и тоскливая и злобная гармоника, а к гармонике присоединяются и сердитые и печальные голоса и ноют, ноют. О, нет! Это не под полом! Зачем же гаснет комнатка, зачем на страницах выступает зимняя ночь над Днепром, зачем выступают лошадиные морды, а над ними лица людей в папахах? И вижу я острые шашки, и слышу я душу терзающий свист.

Вон бежит, задыхаясь, человек. Сквозь табачный дым я слежу за ним, я напрягаю зрение и вижу: сверкнуло сзади человечка... выстрел... он, охнув, падает навзничь, как будто острым ножом его спереди ударили в сердце. Он неподвижно лежит, и от головы растекается черная лужица.

А в высоте — луна, а вдаль — цепочкой — грустные красноватые огоньки в селенье.

Всю жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу... А как бы фиксировать эти фигурки? Так, чтобы они не ушли уже более никуда?

И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать?

А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцветивается. Она мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу: картинка первая. Я вижу вечер, горит лампа; бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу — напевает. Пишу: «Напевает».

Да это, оказывается, прелестная игра! Не надо ходить ни на вечеринки, ни в театр ходить не нужно.

Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу третьей ночи я понял, что сочиняю пьесу.

В апреле месяце, когда исчез снег со двора, первая картинка была разработана. Герои мои и двигались, и ходили, и говорили.

В конце апреля и пришло письмо Ильчина.

И теперь, когда уже известна читателю история романа, я могу продолжать повествование с того момента, когда я встретился с Ильчиным.

## ГЛАВА 8

### Золотой конь

— Да,— хитро и таинственно прищуриваясь, повторил Ильчин,— я ваш роман прочитал.

Во все глаза я глядел на собеседника своего, то трепетно озаряемого, то потухающего. За окнами хлестала вода. Впервые в жизни я видел перед собой читателя.

— А как же вы его достали? Видите ли, книжка... — Я намекал на роман.

— Вы Гришу Айвазовского знаете?

— Нет.

Ильчин поднял брови, он изумился.

— Гриша заведует литературной частью в Когорте Дружных.

— А что это за Когорта?

Ильчин настолько изумился, что дождался молнии, чтобы рассмотреть меня.

Полоснуло и потухло, и Ильчин продолжал:

— Когорта — это театр. Вы никогда в нем не были?

— Я ни в каких театрах не был. Я, видите ли, недавно в Москве.

Сила грозы упала, и стал возвращаться день. Я видел, что возбуждаю в Ильчине веселое изумление.

— Гриша был в восторге,— почему-то еще таинственнее говорил Ильчин,— и дал мне книжку. Прекрасный роман.

Не зная, как поступают в таких случаях, я отвесил поклон Ильчину.

— А знаете ли, какая мысль пришла мне в голову? — зашептал Ильчин, от таинственности прищуривая левый глаз.— Из этого романа вам нужно сделать пьесу!

«Перст судьбы!» — подумал я и сказал:

— Вы знаете, я уже начал ее писать.

Ильчин изумился до того, что правой рукой стал чесать левое ухо и еще сильнее прищурился. Он даже, кажется, не поверил сначала такому совпадению, но справился с собою.

— Чудесно, чудесно! Вы непременно продолжайте, не останавливаясь ни на секунду. Вы Мишу Панина знаете?

— Нет.

— Наш заведующий литературной частью.

— Ага...

Дальше Ильчин сказал, что ввиду того, что в журнале напечатана только треть романа, а знать продолжение до зарезу необходимо, мне следует прочитать по рукописи это продолжение ему и Мише, а также Евлампии Петровне, и — наученный опытом — уже не спросил, знаю ли я ее, а объяснил сам, что это женщина-режиссер.

Величайшее волнение возбуждали во мне все проекты Ильчина.

А тот шептал:

— Вы напишете пьесу, а мы ее и поставим. Вот будет замечательно! А?

Грудь моя волновалась, я был пьян дневной грозой, какими-то предчувствиями. А Ильчин говорил:

— И знаете ли, чем черт не шутит, вдруг старика удастся обломать?! А?

Узнав, что я и старика не знаю, он даже головою покачал, и в глазах у него написалось: «Вот дитя природы!»

— Иван Васильевич! — шепнул он. — Иван Васильевич! Как? Вы не знаете его? Не слыхали, что он стоит во главе Независимого? — И добавил: — Ну и ну!..

В голове у меня все вертелось, окружающий мир меня волновал чем-то. Как будто в давних сновидениях я видел его уже, и вот я оказался в нем.

Мы с Ильчиным вышли из комнаты, прошли зал с камином, и до пьяной радости мне понравился этот зал. Небо расчистилось, и вдруг луч лег на паркет. А потом мы прошли мимо странных дверей, и, видя мою заинтересованность, Ильчин соблазнительно поманил меня пальцем внутрь. Шаги пропали, наступило беззвучие и полная подземная тьма. Спасительная рука моего спутника вытащила меня, в продолговатом разрезе просветлело искусственно — это спутник мой раздвинул другие портьеры, — и мы оказались в маленьком зрительном зале мест на триста. Под потолком тускло горели две лампы в люстре, занавес был открыт, и сцена зияла. Она была торжественна, загадочна и пуста. Углы ее заливал мрак, а в середине, поблескивая чуть-чуть, высился золотой, поднявшийся на дыбы конь.

— У нас выходной, — шептал торжественно, как в храме, Ильчин; потом он оказался у другого уха и продолжал: — У молодежи пьеска разойдется, лучше требовать нельзя. Вы не смотрите, что зал кажется маленьким, на самом деле он большой, а сборы здесь, между прочим, полные. А если старика удастся переупрямить, то, чего доброго, не пошла бы она и на большую сцену! А?

«Он соблазняет меня», — думал я, и сердце замирало и вздрагивало от предчувствий; но почему он совсем не то говорит? Право, не важны эти большие сборы, а важен только этот золотой конь, и чрезвычайно интересен загадочнейший старик, которого нужно уламывать и переупрямить для того, чтобы пьеса пошла...

— Этот мир мой! — шепнул я, не заметив, что начинаю говорить вслух.

— А?

— Нет, я так.

Расстались мы с Ильчиным, причем я унес от него записочку:

«Досточтимый Петр Петрович!

Будьте добры обязательно устроить автору «Черного снега» место на «Фаворита».

Ваш душевно Ильчин».

— Это называется контрамарка,— объяснил мне Ильчин, и я с волнением покинул здание, унося первую в жизни своей контрамарку.

С этого дня жизнь моя резко изменилась. Я днем лихорадочно работал над пьесой, причем в дневном свете картинки из страниц уже не появлялись, коробка раздвинулась до размеров Учебной сцены.

Вечером я с нетерпением ждал свидания с золотым конем.

Я не могу сказать, хороша ли была пьеса «Фаворит» или дурна. Да это меня и не интересовало. Но была какая-то необъяснимая прелесть в этом представлении. Лишь только в малюсеньком зале потухал свет, за сценой где-то начиналась музыка и в коробке выходили одетые в костюмы XVIII века. Золотой конь стоял с боку сцены, действующие лица иногда выходили и садились у копыт коня или вели страстные разговоры у его морды, а я наслаждался.

Горькое чувство охватывало меня, когда кончалось представление и нужно было уходить на улицу. Мне очень хотелось надеть такой же точно кафтан, как и на актерах, и принять участие в действии. Например, казалось, что было бы очень хорошо, если бы выйти внезапно сбоку, наклеив себе колоссальный курносый пьяный нос, в табачном кафтане, с тростью и табакеркой в руке, и сказать очень смешное, и это смешное я выдумывал, сидя в тесном ряду зрителей. Но произносили другие смешное, сочиненное другим, и зал по временам смеялся. Ни до этого, ни после этого никогда в жизни не было ничего у меня такого, что вызывало бы наслаждение больше этого.

На «Фаворите» я, вызывая изумление мрачного и замкнутого Петра Петровича, сидящего в окошечке с надписью «Администратор Учебной сцены», побывал три раза, причем в первый раз — во втором ряду, во второй — в шестом, а в третий — в одиннадцатом. А Ильчин исправно продолжал снабжать меня записочками, и я посмотрел еще одну пьесу, где выходили в испанских костюмах и где один актер играл слугу так смешно и великолепно, что у меня от наслаждения выступал на лбу мелкий пот.

Затем настал май, и как-то вечером соединились наконец и Евлампия Петровна, и Миша, и Ильчин, и я. Мы пошли в узенькую комнату в этом же здании Учебной сцены. Окно уже было раскрыто, и город давал знать о себе гудками.

Евлампия Петровна оказалась царственной дамой с царственным лицом и бриллиантовыми серьгами в ушах, а Миша поразил меня своим смехом. Он начинал смеяться внезапно — «ах, ах, ах», — причем тогда все останавливали разговор и ждали. Когда же отсмеивался, то вдруг старел, умолкал.

«Какие траурные глаза у него, — я начинал по своей болезненной привычке фантазировать. — Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске, — думал я, — и теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою». Мне Миша очень понравился.

И Миша, и Ильчин, и Евлампия Петровна показали свое необыкновенное терпение, и в один присест я прочитал им ту треть романа, которая следовала за напечатанною. Вдруг, почувствовав угрызение совести, я остановился, сказав, что дальше и так все понятно. Было поздно.

Между слушателями произошел разговор, и хотя они говорили по-русски, я ничего не понял, настолько он был загадочен.

Миша имел обыкновение, обсуждая что-либо, бегать по комнате, иногда внезапно останавливаясь.

— Осип Иванович? — тихо спросил Ильчин, шурясь.

— Ни-ни, — отозвался Миша и вдруг затрясся в хохоте. Отхохотавшись, он опять вспомнил про застреленного и постарел.

— Вообще старейшины... — начал Ильчин.

— Не думаю, — буркнул Миша.

Дальше слышалось:

— Да ведь на одних Галиных, да на подсобляющем не очень-то... (Это Евлампия Петровна.)

— Простите, — заговорил Миша резко и стал рубить рукой, — я давно утверждаю, что пора поставить этот вопрос на театре!

— А как же Сивцев Вражек? (Евлампия Петровна.)

— Да и Индия тоже неизвестно как отнесется к этому дельцу, — добавил Ильчин.

— На кругу бы сразу все поставить, — тихо шептал Ильчин, — они так с музычкой и поедут.

— Сивцев! — многозначительно сказала Евлампия Петровна.

Тут на лице моем выразилось, очевидно, полное отчаяние, потому что слушатели оставили свой непонятный разговор и обратились ко мне.

— Мы вас убедительно просим, Сергей Леонтьевич, — сказал Миша, — чтобы пьеса была готова не позже августа... Нам очень, очень нужно, чтобы к началу сезона ее уже можно было прочесть.

Я не помню, чем кончился май. Стерся в памяти и июнь, но помню июль. Настала необыкновенная жара. Я сидел голый, завернувшись в простыню, и сочинял пьесу. Чем дальше, тем труднее она становилась. Коробочка моя давно уже не звучала, роман потух и лежал мертвый, как будто и нелюбимый. Цветные фигурки не шевелились на столе, никто не приходил на помощь. Перед глазами теперь вставала коробка Учебной сцены. Герои разрослись и вошли в нее складно и очень бодро, но, по-видимому, им так понравилось на ней рядом с золотым конем, что уходить они никуда не собирались, и события развивались, а конца им не виделось. Потом жара упала, стеклянный кувшин, из которого я пил кипяченую воду, опустел, на дне плавала муха. Пошел дождь, настал август. Тут я получил письмо от Миши Панина. Он спрашивал о пьесе.

Я набрался храбрости и ночью прекратил течение событий. В пьесе было тринадцать картин.

## ГЛАВА 9

### Началось

Надо мною я видел, поднимая голову, матовый шар, полный света, сбоку — серебряный, колоссальных размеров венок в стеклянном шкафу с лентами и надписью: «Любимому Независимому Театру от московских присяжных...» (одно слово загнулось), перед собой я видел улыбающиеся актерские лица, по большей части меняющиеся.

Издали доносилась тишина, и изредка — какое-то дружное тоскливое пение, потом — какой-то шум, как в бане. Там шел спектакль, пока я читал свою пьесу.

Лоб я постоянно вытирал платком и видел перед собой коренастого, плотного человека, гладко выбритого, с густыми волосами на голове. Он стоял в дверях и не спускал с меня глаз, как будто что-то обдумывал.



Он только и запомнился, все остальное прыгало, светилось и менялось. Неизменен был, кроме того, венок — он резче всего помнится.

Таково было чтение, но уже не на Учебной сцене, а на Главной.

Уходя ночью, я, обернувшись, посмотрел, где я был. В центре города, там, где рядом с театром — гастрономический магазин, а напротив «Бандажи и корсеты», стояло ничем не примечательное здание, похожее на черепаху, с матовыми, кубической формы фонарями.

На следующий день это здание предстало передо мною в осенних сумерках внутри. Я, помнится, шел по мягкому ковру солдатского сукна вокруг чего-то, что, как мне казалось, было зрительным залом, и очень много народу мимо меня сновало. Начинался сезон.

Я шел по беззвучному сукну и пришел в кабинет, чрезвычайно приятно обставленный, где застал пожилого, приятного же человека с бритым лицом и веселыми глазами. Это и был заведующий приемом пьес — Антон Антонович Княжевич.

Над письменным столом Княжевича висела яркая, радостная картинка; помнится, занавес на ней был с пунцовыми кистями, а за занавесом — бледно-зеленый веселый сад...

— А, товарищ Максудов! — приветливо вскричал Княжевич, склоняя голову набок. — А мы уж вас поджидаем, поджидаем! Прошу покорнейше, садитесь, садитесь!

И я сел в приятнейшее кожаное кресло.

— Слышал, слышал, слышал вашу пьесу, — говорил, улыбаясь, Княжевич и почему-то развел руками при этом, — прекрасная пьеса. Правда, мы таких никогда не ставили, ну, а эту вдруг возьмем, да и поставим, да и поставим...

Чем больше говорил Княжевич, тем веселее становились его глаза.

— ...и разбогатеете до ужаса! — продолжал Княжевич. — В каретах будете ездить! Да-с, в каретах!

«Однако, — думалось мне, — он сложный человек, этот Княжевич, очень сложный...»

И чем больше веселился Княжевич, я становился, к удивлению своему, все напряженнее.

Поговорив еще со мною, Княжевич позвонил.

— Мы вас сейчас отправим к Гавриилу Степановичу, прямо ему, так сказать, в руки передадим, в руки! Чудеснейший человек — Гавриил-то наш Степанович... Мухи не обидит! Мухи!

Но вошедший на звонок человек в зеленых петлицах выразился так:

— Гавриил Степанович еще не прибыли в театр.

— А не прибыл, так прибует, — радостно, как и раньше, отозвался Княжевич, — не пройдет и получасу, как прибует! А вы, пока суд да дело, погуляйте по театру, полюбуйтесь, повеселитесь, попейте чаю в буфете да бутербродов-то, бутербродов не жалейте, не обижайте нашего буфетчика Ермолая Ивановича.

И я пошел гулять по театру. Хождение по сукну доставляло мне физическое удовольствие и еще радовала таинственная полутьма повсюду и тишина.

В полутьме я сделал еще одно знакомство. Человек моих примерно лет, худой, высокий, подошел ко мне и назвал себя:

— Петр Бомбардов.

Бомбардов был актером Независимого Театра, сказал, что слышал мою пьесу и что, по его мнению, это хорошая пьеса.

С первого же момента я почему-то подружился с Бомбардовым. Он произвел на меня впечатление очень умного, наблюдательного человека.

— Не хотите ли посмотреть нашу галерею портретов в фойе? — спросил вежливо Бомбардов.

Я поблагодарил его за предложение, и мы вошли в громадное фойе, также устланное серым сукном. Простенки фойе в несколько рядов были увешаны портретами и увеличенными фотографиями в золоченых овальных рамах.

Из первой рамы на нас глянула писанная маслом женщина лет тридцати с экзотическими глазами, взбитой круто челкой, декольтированная.

— Сара Бернар, — объяснил Бомбардов.

Рядом с прославленной актрисой в раме помещалось фотографическое изображение человека с усами.

— Севастьянов Андрей Пахомович, заведующий осветительными приборами театра, — вежливо сказал Бомбардов.

Соседа Севастьянова я узнал сам — это был Мольер.

За Мольером помещалась дама в крошечной, набок надетой шляпке блюдечком, в косынке, застегнутой стрелой на груди, и с кружевным платочком, который дама держала в руке, оттопырив мизинец.

— Людмила Сильвестровна Пряхина, актриса нашего театра, — сказал Бомбардов, причем какой-то огонек сверкнул у него в глазах. Но, покосившись на меня, Бомбардов ничего не прибавил.

— Виноват, а это кто же? — удивился я, глядя на жестокое лицо человека с лавровыми листьями в кудрявой голове. Человек был в тоге и в руке держал пятиструнную лиру.

— Император Нерон, — сказал Бомбардов, и опять глаз его сверкнул и погас.

— А почему?..

— По приказу Ивана Васильевича, — сказал Бомбардов, сохраняя неподвижность лица. — Нерон был певец и артист.

— Так, так, так...

За Нероном помещался Грибоедов, за Грибоедовым — Шекспир в отложном крахмальном воротничке, за ним — неизвестный, оказавшийся Плисовым, заведующим поворотным кругом в театре в течение сорока лет.

Далее шли Мочалов, Живокини, Гольдони, Бомарше, Стасов, Щепкин, Метерлинк. А потом из рамы глянул на меня лихо заломленный уланский кивер, под ним барское лицо, нафиксатуренные усы, генеральские кавалерийские эполеты, красный лацкан, лядунка.

— Покойный генерал-майор Клавдий Александрович Комаровский-Эшаппар де Бюнкур, командир лейб-гвардии уланского ее величества полка.

И тут же, видя мой интерес, Бомбардов рассказал:

— История его совершенно необыкновенная. Как-то приехал он на два дня из Питера в Москву, пообедал у Тестова, а вечером попал в наш театр. Ну, натурально, сел в первом ряду, смотрит... Не помню, какую пьесу играли, но очевидцы рассказывали, что во время картины, где был изображен лес, с генералом что-то случилось... Лес в закате, птицы перед сном засвистели, за сценой благовест к вечерне в селенье дальнем... Смотрят, генерал сидит и батистовым платком утирает глаза. После спектакля пошел в кабинет к Аристарху Платоновичу. Капельдинер потом рассказывал, что, входя в кабинет, генерал сказал глухо и страшно: «Научите, что делать?!» Ну, тут они затворились с Аристархом Платоновичем...

— Виноват, а кто это Аристарх Платонович? — спросил я.

Бомбардов удивленно поглядел на меня, но стер удивление с лица тотчас же и объяснил:

— Во главе нашего театра стоят двое директоров — Иван Васильевич и Аристарх Платонович. Вы, простите, не москвич?

— Нет, я — нет... Продолжайте, пожалуйста!

— ...заперлись и о чем говорили — неизвестно, но известно, что ночью же генерал послал в Петербург телеграмму такого содержания: «Его величеству. Почувствовав призвание быть актером вашего величества Независимого Театра, всеподданнейше прошу об отставке. Комаровский-Бионкур».

Я ахнул и спросил:

— И что же было?!

— Компот такой получился, что просто прелесть,— ответил Бомбардов.— Александру Третьему телеграмму подали в два часа ночи. Специально разбудили. Тот в одном белье, борода, крестик... говорит: «Дайте сюда! Что там с моим Эшаппаром?» Прочитал и две минуты не мог ничего сказать, только побагровел и сопел. Потом говорит: «Дайте карандаш!» И тут же начертил резолюцию на телеграмме: «Чтоб духу его в Петербурге не было. Александр». И лег спать. А генерал на другой день в визитке, в брюках пришел прямо на репетицию. Резолюцию покрыли лаком, а после революции телеграмму передали в театр. Вы можете видеть ее в нашем музее редкостей.

— Какие же роли он играл? — спросил я.

— Царей, полководцев и камердинеров в богатых домах,— ответил Бомбардов,— у нас, знаете ли, все больше насчет Островского, купцы там... а потом долго играли «Власть тьмы»... Ну, натурально, манеры у нас, сами понимаете... А он все насквозь знал, даме ли платок, налить ли вина, по-французски говорил идеально, лучше французов... И была у него еще страсть: до ужаса любил изображать птиц за сценой. Когда шли пьесы, где действие весной в деревне, он всегда сидел в кулисах на стремянке и свистел соловьем. Вот такая странная история!

— Нет! Я не согласен с вами! — воскликнул я горячо.— У вас так хорошо в театре, что, будь я на месте генерала, я поступил бы точно так же...

— Каратыгин, Тальони,— перечислял Бомбардов, водя меня от портрета к портрету,— Екатерина Вторая, Карузо, Феофан Прокопович, Игорь Северянин, Баттистини, Еврипид, заведующая женским пошивочным цехом Бобылева...

Но тут беззвучной рысью вбежал в фойе один из тех, что были в зеленых петлицах, и шепотом доложил, что Гавриил Степанович в театр прибыли. Бомбардов прервал себя на полуслове, крепко пожал мне руку, причем произнес загадочные слова тихо:

— Будьте тверды,— и его размыло где-то в полумраке.

Я же двинулся вслед за человеком в петлицах, который иноходью шел впереди меня, изредка подманивая меня пальцем и улыбаясь болезненной улыбкой.

На стенах широкого коридора, по которому двигались мы, через каждые десять шагов встречались огненные электрические надписи: «Тишина! Рядом репетируют!»

Человек в золотом пенсне и тоже в зеленых петлицах, сидевший в конце этого идущего по кругу коридора в кресле, увидев, что меня ведут, вскочил, шепотом гаркнул: «Здравия желаю!»— и распахнул тяжелую портьеру с золотым вышитым вензелем театра «Н. Т.».

Тут я оказался в шатре. Зеленый шелк затягивал потолок, радиусами расходясь от центра, в котором горел хрустальный фонарь. Стояла тут мягкая шелковая мебель. Еще портьера, а за нею — застекленная матовым стеклом дверь. Мой новый проводник в пенсне к ней не приблизился, а сделал жест, означавший «постучите-ся», и тотчас пропал.

Я стукнул тихо, взялся за ручку, сделанную в виде головы посереб-

ренного орла, засипела пневматическая пружина, и дверь впустила меня. Я лицом ткнулся в портьеру, запутался, откинул ее...

Меня не будет, меня не будет очень скоро! Я решил, но все же это страшновато... Но, умирая, я буду вспоминать кабинет, в котором меня принял управляющий материальным фондом театра Гавриил Степанович. Лишь только я вошел, нежно прозвенели и заиграли менуэт громадные часы в левом углу.

В глаза мне бросились разные огни. Зеленый с письменного стола, то есть, вернее, не стола, а бюро, то есть не бюро, а какого-то очень сложного сооружения с десятками ящиков, с вертикальными отделениями для писем, с другою лампою на гнущейся серебристой ноге, с электрической зажигалкой для сигар.

Адский красный огонь из-под стола палисандрового дерева, на котором три телефонных аппарата. Крохотный белый огонек с маленького столика с плоской заграничной машинкой, с четвертым телефонным аппаратом и стопкой золотообрезной бумаги с гербами «Н. Т.». Огонь, отраженный с потолка.

Пол кабинета был затянут сукном, но не солдатским, а бильярдным, а поверх его лежал вишневый, в вершок толщины, ковер. Колоссальный диван с подушками и турецкий кальян возле него. На дворе был день в центре Москвы, но ни один луч, ни один звук не проникал в кабинет снаружи через окно, наглухо завешенное в три слоя портьерами. Здесь была вечная мудрая ночь, здесь пахло кожей, сигарой, духами. Нагретый воздух ласкал лицо и руки.

На стене, затянутой тисненным золотом сафьяном, висел большой фотографический портрет человека с артистической шевелюрой, прищуренными глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. Я догадался, что это Иван Васильевич или Аристрах Платонович, но кто именно из двух, не знал.

Резко повернувшись на винте табурета, ко мне обратился небольшого роста человек с французской черной бородкой, с усами, стрелами торчащими к глазам.

— Максудов, — сказал я.

— Извините, — отозвался новый знакомый высоким тенорком и показал, что сейчас, мол, только дочитаю бумагу и...

...он дочитал бумагу, сбросил пенсне на черном шнурке, протер утомленные глаза и, окончательно повернувшись спиной к бюро, уставился на меня, ничего не говоря. Он прямо и откровенно смотрел мне в глаза, внимательно изучая меня, как изучают новый, только что приобретенный механизм. Он не скрывал, что изучает меня, он даже прищурился. Я отвел глаза — не помогло, я стал ерзать на диване... Наконец я подумал: «Эге-ге...» — и сам, правда, сделав над собою очень большое усилие, уставился в ответ в глаза человеку. При этом смутное неудовольствие почувствовал почему-то по адресу Княжевича.

«Что за странность, — думал я, — или он слепой, этот Княжевич... мухи... мухи... не знаю, не знаю!.. Стальные, глубоко посаженные маленькие глаза, в них железная воля, дьявольская смелость, непреклонная решимость... французская бородка... почему он мухи не обидит?.. Он жутко похож на предводителя мушкетеров у Дюма... как его звали? Забыл, черт возьми!»

Дальнейшее молчание стало нестерпимым, и прервал его Гавриил Степанович. Он игриво почему-то улыбнулся и вдруг пожал мне коленку.

— Ну что же, договорчик, стало быть, надо подписать? — заговорил он.

Вольт на табурете, обратный вольт — и в руках у Гавриила Степановича оказался договор.

— Только уж не знаю, как его подписывать, не согласовав с Иваном Васильевичем?..— И тут Гавриил Степанович бросил невольный краткий взгляд на портрет.

«Ага! Ну, слава богу... теперь знаю,— подумал я,— это Иван Васильевич».

— Не было б беды?..— продолжал Гавриил Степанович.— Ну, уж для вас разве! — Он улыбнулся дружелюбно.

Тут без стука открылась дверь, откинулась портьера, и вошла дама с властным лицом южного типа, глянула на меня. Я поклонился ей, сказал:

— Максудов.

Дама пожала мне крепко, по-мужски, руку, ответила: «Августа Менажраки»,— села на табурет, вынула из кармашка зеленого джемпера золотой мундштук, закурила и тихо застучала на машинке.

Я прочитал договор, откровенно говорю, что ничего не понял и понять не старался.

Мне хотелось сказать: «Играйте мою пьесу, мне же ничего не нужно, кроме того, чтобы мне было предоставлено право приходить сюда ежедневно, в течение двух часов лежать на этом диване, вдыхать медовый запах табаку, слушать звон часов и мечтать».

По счастью, я этого не произнес.

Запомнилось, что часто в договоре попадались слова «буде» и «поелику» и что каждый пункт начинался словами: «Автор не имеет права».

Автор не имел права передавать свою пьесу в другой театр Москвы.

Автор не имел права передавать свою пьесу в какой-либо театр города Ленинграда.

Автор не имел права передавать свою пьесу ни в какой город РСФСР.

Автор не имел права передавать свою пьесу ни в какой город УССР.

Автор не имел права печатать свою пьесу.

Автор не имел права чего-то требовать от театра, а чего — я забыл (пункт 21-й).

Автор не имел права протестовать против чего-то и чего, тоже не помню.

Один, впрочем, пункт нарушал единообразие этого документа — это был пункт 57-й. Он начинался словами: «Автор обязуется». Согласно этому пункту автор обязывался «безоговорочно и незамедлительно производить в своей пьесе поправки, изменения, добавления или сокращения, буде дирекция, или какие-либо комиссии, или учреждения, или организации, или корпорации, или отдельные лица, облеченные надлежущими на то полномочиями, потребуют таковых,— не требуя за сие никакого вознаграждения, кроме того, каковое указано в пункте 15-м».

Обратив свое внимание на этот пункт, я увидел, что в нем после слова «вознаграждение» следовало пустое место. Это место я вопросительно подчеркнул ногтем.

— А какое вознаграждение вы считали бы для себя приемлемым?— спросил Гавриил Степанович, не сводя с меня глаз.

— Антон Антонович Княжевич,— сказал я,— сказал, что мне дадут две тысячи рублей...

Мой собеседник уважительно наклонил голову.

— Так,— молвил он, помолчал и добавил:— Эх, деньги, деньги! Сколько зла из-за них в мире! Все мы только и думаем о деньгах, а вот о душе подумал ли кто?

Я до того во время моей трудной жизни отвык от таких сентенций, что, признаться, растерялся... Подумал: «А кто знает, может, Княжевич и прав... просто я зачерствел и стал подозрителен...» Чтобы соблюсти

приличие, я испустил вздох, а собеседник ответил мне в свою очередь вздохом, потом вдруг игриво подмигнул мне, что совершенно не вязалось со вздохом, и шепнул интимно:

— Четыреста рубликов? А? Только для вас? А?

Должен признаться, что я огорчился. Дело в том, что у меня как раз не было ни копейки денег, и я очень рассчитывал на эти две тысячи.

— А может быть, можно тысячу восемьсот? — спросил я. — Княжевич говорил...

— Популярности ищет, — горько отозвался Гавриил Степанович.

Тут в дверь стукнули, и человек в зеленых петлицах внес поднос, покрытый белой салфеткой. На подносе помещался серебряный кофейник, молочник, две фарфоровые чашки апельсинного цвета снаружи и золоченые внутри, два бутерброда с зернистой икрой, два с оранжевым прозрачным балыком, два с сыром, два с холодным ростбифом.

— Вы отнесли пакет Ивану Васильевичу? — спросила вошедшего Августа Менажраки.

Тот изменился в лице и покосил поднос.

— Я, Августа Авдеевна, в буфет бегал, а Игнутов с пакетом побежал, — заговорил он.

— Я не Игнутову приказывала, а вам, — сказала Менажраки, — это не игнутовское дело — пакеты Ивану Васильевичу относить. Игнутов глуп, что-нибудь перепутает, не так скажет... Вы что же, хотите, чтобы у Ивана Васильевича температура поднялась?

— Убить хочет, — холодно сказал Гавриил Степанович.

Человек с подносом тихо простонал и уронил ложечку.

— Где Пакин был в то время, как вы пропадали в буфете? — спросила Августа Авдеевна.

— Пакин за машиной побежал, — объяснил спрашиваемый, — я в буфет побежал, говорю Игнутову: беги к Ивану Васильевичу...

— А Бобков?

— Бобков за билетами бегал.

— Поставьте здесь! — сказала Августа Авдеевна, нажала кнопку, и из стены выскочила столовая доска.

Человек в петлицах обрадовался, покинул поднос, задом откинул портьеру, ногой открыл дверь и вдавился в нее.

— О душе, о душе подумайте, Ключвин! — вдогонку ему крикнул Гавриил Степанович и, повернувшись ко мне, интимно сказал: — Четыреста двадцать пять, а?

Августа Авдеевна надкусила бутерброд и тихо застучала одним пальцем.

— А может быть, тысячу триста? Мне, право, неловко, но я сейчас не при деньгах, а мне портному платить...

— Вот этот костюм шил? — спросил Гавриил Степанович, указывая на мои штаны.

— Да.

— И сшил-то, шельма, плохо! — заметил Гавриил Степанович. — Гоните вы его в шею!

— Но, видите ли...

— У нас, — затрудняясь, сказал Гавриил Степанович, — как-то и прецедентов-то не было, чтобы мы авторам деньги при договоре выдавали, но уж для вас... четыреста двадцать пять!

— Тысячу двести, — бодрее отозвался я, — без них мне не выбрать-ся... трудные обстоятельства...

— А вы на бегах не пробовали играть? — участливо спросил Гавриил Степанович.

— Нет, — с сожалением ответил я.

— У нас один актер тоже запутался, поехал на бега и, представьте, выиграл полторы тысячи. А у нас вам смысла нет брать. Дружески говорю: переберете — пропадете! Эх, деньги! И зачем они? Вот у меня их нету, и так легко у меня на душе, так спокойно...— И Гавриил Степанович вывернул карман, в котором действительно денег не было, а была связка ключей на цепочке.

— Тысячу,— сказал я.

— Эх, пропади все пропадом! — лихо вскричал Гавриил Степанович.— Пусть меня потом хоть расказнят, но выдам вам пятьсот рублей. Подписывайте!

Я подписал договор, причем Гавриил Степанович разъяснил мне, что деньги, которые будут даны мне, являются авансом, каковой я обязуюсь погасить из первых же спектаклей. Уговорились, что сегодня я получу семьдесят пять рублей, через два дня сто рублей, потом в субботу еще сто, а остальные четырнадцатого.

Боже! Какой прозаической, какой унылой показалась мне улица после кабинета. Моросило, подвода с дровами застряла в воротах, и ломовой кричал на лошадь страшным голосом, граждане шли с недовольными из-за погоды лицами. Я несся домой, стараясь не видеть картин печальной правды. Заветный договор хранился у моего сердца.

В своей комнате я застал своего приятеля (смотри историю с револьвером).

Я мокрыми руками вытащил из-за пазухи договор, вскричал:

— Читайте!

Друг мой прочитал договор и, к великому моему удивлению, рассердился на меня.

— Это что за филькина грамота? Вы что, голова садовая, подписываете? — спросил он меня.

— Вы в театральных делах ничего не понимаете, стало быть, и не говорите! — рассердился и я.

— Что такое: «обязуется, обязуется», а они обязуются хотя в чем-нибудь? — забурчал мой друг.

Я горячо стал рассказывать ему о том, что такое картинная галерея, какой душевный человек Гавриил Степанович, упомянул о Саре Бернар и генерале Комаровском. Я хотел передать, как звенит менуэт в часах, как дымитесь кофе, как тихо, как волшебным звучат шаги на сукне, но часы были у меня в голове, я сам-то видел и золотой мундштук, и адский огонь в электрической печке, и даже императора Нерона, но ничего этого передать не сумел.

— Это Нерон у них составляет договоры? — дико сострил мой друг.

— Да ну вас! — вскричал я и вырвал у него договор.

Порешили позавтракать, послали Дусинога брата в магазин. Шел осенний дождик. Какая ветчина была, какое масло! Минуты счастья!

Московский климат известен своими капризами. Через два дня был прекрасный, как бы летний, теплый день. И я спешил в Независимый Театр. Со сладким чувством, предвкушая получку ста рублей, я приблизился к театру и увидел в средних рядах скромную афишу. Я прочитал:

«Репертуар, намеченный в текущем сезоне:

Эсхил — «Агамемнон»

Софокл — «Филоклет»

Лопе де Вега — «Сети Феннзы»

Шекспир — «Король Лир»

Шиллер — «Орлеанская дева»

Островский — «Не от мира сего»

Максудов — «Черный снег».

Открывши рот, я стоял на тротуаре, и удивляюсь, почему у меня не вытащили бумажник в это время. Меня толкали, говорили что-то неприятное, а я все стоял, созерцая афишу. Затем я отошел в сторонку, намереваясь увидеть, какое впечатление производит афиша на проходящих граждан.

Выяснилось, что не производит никакого. Если не считать трех-четырех взглянувших на афишу, можно сказать, что никто ее и не читал.

Но не прошло и пяти минут, как я был вознагражден сторичей за свое ожидание. В потоке шедших к театру я отчетливо разглядел крупную голову Егора Агапенова. Шел он к театру с целой свитой, в которой мелькнул Ликоспастов с трубкой в зубах и неизвестный с толстым приятным лицом. Последним мыкался кафр в летнем необыкновенном желтом пальто и почему-то без шляпы. Я ушел глубже в нишу, где стояла незрячая статуя, и смотрел.

Компания поравнялась с афишей и остановилась. Не знаю, как описать то, что произошло с Ликоспастовым. Он первый задержался и прочел. Улыбка еще играла на его лице, еще слова какого-то анекдота договаривали его губы. «Вот он дошел до «Сетей Фенизы»...» Вдруг Ликоспастов стал бледен и как-то сразу постарел. На лице его выразился неподдельный ужас.

Агапенов прочитал, сказал «гм»...

Толстый неизвестный заморгал глазами... «Он припоминает, где он слышал мою фамилию...»

Кафр стал спрашивать по-английски, что увидели его спутники. Агапенов сказал: «Афиш, афиш...» — и стал чертить в воздухе четырехугольник. Кафр мотал головой, ничего не понимая.

Публика шла валом и то заслоняла, то открывала головы компании. Слова то долетали до меня, то тонули в уличном шуме.

Ликоспастов повернулся к Агапенову и сказал:

— Нет, вы видели, Егор Нилыч? Что же это такое? — Он тоскливо огляделся.— Да они с ума сошли!..

Ветер сдул конец фразы.

Доносились клочья то агапеновского баса, то ликоспастовского тенора.

— ...Да откуда он взялся?.. Да я же его и открыл... тот самый... гу, гу, гу... жуткий тип...

Я вышел из ниши и пошел прямо на читавших.

Ликоспастов первый увидел меня, и меня поразило то изменение, которое произошло в его глазах. Это были ликоспастовские глаза, но что-то в них появилось новое, отчужденное, легла какая-то пропасть между нами...

— Ну, брат,— вскричал Ликоспастов,— ну, брат! Благодарю, не сжидал! Эсхил, Софокл и ты! Как ты это проделал, не понимаю, но это гениально! Ну, теперь ты, конечно, приятелей узнавать не будешь! Где уж нам с Шекспирами водить дружбу!

— А ты бы перестал дурака валять,— сказал я робко.

— Ну, вот, слова уж сказать нельзя! Экий ты, ей-богу! Ну, я зла на тебя не питаю. Давай почсломкаемся, старик.— И я ощутил прикосновение щеки Ликоспастова, усеянной короткой проволокой.

— Познакомьтесь.

И я познакомился с толстым, не спускавшим с меня глаз Тот сказал:

— Крупп.

Познакомился я и с кафром, который произнес очень длинную фразу на ломаном английском языке. Так как этой фразы я не понял, то ничего кафру и не сказал,



— На Учебной сцене, конечно, играть будут? — допытывался Ликоспастов.

— Не знаю, — ответил я, — говорят, что на Главной...

Опять побледнел Ликоспастов и тоскливо глянул в сияющее небо.

— Ну что ж, — сказал он хрипло, — давай бог. Давай, давай. Может быть, тут тебя постигнет удача. Не вышло с романом, кто знает, может быть, с пьесой выйдет. Только ты не загордись. Помни: нет ничего хуже, чем друзей забывать!

Крупп глядел на меня и почему-то становился все задумчивее, причем я заметил, что он внимательнее всего изучает мои волосы и нос.

Надо было расставаться. Это было тягостно. Егор, пожимая мне руку, осведомился, прочел ли я его книгу. Я похолодел от страха и сказал, что не читал. Тут побледнел Егор.

— Где уж ему читать, — заговорил Ликоспастов, — у него времени нету современную литературу читать... Ну, шучу, шучу...

— Вы прочтите, — вско сказал Егор, — хорошая книжица получилась.

Я вошел в подъезд бельэтажа. Окно, выходящее на улицу, было открыто. Человек с зелеными петлицами протирал его тряпкой. Головы литераторов проплыли за мутным стеклом, донесся голос Ликоспастова:

— Бьешься, бьешься, как рыба об лед!.. Обидно!

Афиша все перевернула у меня в голове, и я чувствовал только одно — что пьеса моя по существу дела чрезвычайно, между нами говоря, плоха и что что-то надо бы предпринять, но что — неизвестно.

И вот в коридоре, в приятном полумраке, передо мною предстала коренастая фигура того самого, что в дверях стоял на чтении. Это был блондин с решительным лицом и встревоженными глазами. Он держал в руках пухлый портфель.

— Товарищ Максудов? — спросил блондин.

— Да, я...

— Ищу вас по всему театру, — заговорил новый знакомый, — позвольте представиться: режиссер Фома Стриж. Ну, все в порядке. Не волнуйтесь и не беспокойтесь, пьеса ваша в хороших руках. Договор подписали?

— Да.

— Теперь вы наш, — решительно продолжал Стриж, глаза его сверкали, — вам бы вот что сделать: заключить бы с нами договор на всю вашу грядущую продукцию! На всю жизнь! Чтобы вся она шла к нам. Ежели желаете, мы это сейчас же сделаем. Плунуть раз! — И Стриж плюнул в плевательницу. — Нуте-с, ставить пьесу буду я. Мы ее в два месяца обломаем. Пятнадцатого декабря покажем генеральную. Шиллер нас не задержит. С Шиллером дело гладкое...

— Виноват, — сказал я робко, — а мне говорили, что Евлампия Петровна будет ставить...

Стриж изменился в лице.

— Какая такая Евлампия Петровна? — сурово спросил он меня. — Никаких Евлампий! — Голос его стал металлическим. — Евлампия не имеет сюда отношения, она с Ильчиным «На дворе во флигеле» будет ставить. У меня твердая договоренность с Иваном Васильевичем. А ежели кто подкопы поведет, то я в Индию напишу! Заказным, ежели уж на то пошло! — угрожающе закричал Стриж, почему-то впадая в беспокойство. — Давайте сюда экземпляр! — скомандовал он мне, протягивая руку.

Я объяснил, что экземпляр еще не переписан.

— Об чем же они думали? — возмущенно оглядываясь, вскричал Стриж. — Вы у Поликсены Торопецкой в предбаннике были?

Я ничего не понял и только дико глядел на Стрижа.

— Не были? Сегодня она выходная. Завтра же захватите экземпляр, идите к ней. Моим именем действуйте! Смело!

Тут очень воспитанный картавый изящный человек появился рядом и сказал вежливо, но настойчиво:

— В репетиционный зал прошу, Фома Сергеевич! Начинаем.

И Фома перехватил портфель под мышку и скрылся, крикнув на прощанье мне:

— Завтра же в предбанник! Моим именем!

А я остался стоять и долго стоял неподвижно.

## ГЛАВА 10

### Сцены в предбаннике

Осенило! Осенило! В пьесе моей было тринадцать картин. Сидя у себя в комнатушке, я держал перед собою старенькие серебряные часы и вслух сам себе читал пьесу, очевидно очень изумляя соседа за стеной. По прочтении каждой картины я отмечал на бумажке. Когда дочитал, вышло, что чтение занимает три часа. Тут я сообразил, что в спектаклях бывают антракты, во время которых публика уходит в буфет. Прибавив время на антракты, я понял, что пьесу мою в один вечер сыграть нельзя. Ночные мучения, связанные с этим вопросом, привели к тому, что я вычеркнул одну картину. Это сократило спектакль на двадцать минут, но положения не спасло. Я вспомнил, что, помимо антрактов, бывают и паузы. Так, например, стоит актриса и, плача, поправляет в вазе букет. Говорит она ничего не говорит, а время-то уходит. Стало быть, бормотать текст у себя дома—одно, а произносить его со сцены—совершенно иное дело.

Надо было еще что-то выбрасывать из пьесы, а что — неизвестно. Все мне казалось важным, а кроме того, стоило наметить что-нибудь к изгнанию, как все с трудом построенное здание начинало сыпаться, и мне снилось, что падают карнизы и обваливаются балконы, и были эти сны вещими.

Тогда я изгнал одно действующее лицо вон, отчего одна картина как-то скособочилась, потом совсем вылетела, и стало одиннадцать картин.

Дальше, как я ни ломал голову, как ни курил, ничего сократить не мог. У меня каждый день болел левый висок. Поняв, что больше ничего не выйдет, решил дело предоставить его естественному течению и отправился к Поликсене Торопецкой.

«Нет, без Бомбардова мне не обойтись...» — думалось мне.

И Бомбардов весьма помог мне. Он объяснил, что и эта уже вторично попадающаяся Индия, и предбанник — это вовсе не бред и не слышалось мне. Теперь окончательно выяснилось, что во главе Независимого Театра стоят двое директоров: Иван, как я уже знал, Васильевич и Аристарх Платонович...

— Скажите, кстати, почему в кабинете, где я подписывал договор, только один портрет — Ивана Васильевича?

Тут Бомбардов, обычно очень бойкий, замаялся:

— Почему?.. Внизу?.. Гм... гм... Аристарх Платонович... он... там... его портрет наверху...

Я понял, что Бомбардов еще не привык ко мне, стесняется меня. Это было ясно по его невразумительному ответу... И я не стал спрашивать из деликатности... «Этот мир чарует, но он полон загадок...» — думал я.

Индия? Это очень просто. Аристарх Платонович в настоящее время находился в Индии, вот Фома и собирался ему писать заказным. Что касается предбанника, то это актерская шутка. Так они прозвали — и это привилось — комнату перед верхним директорским кабинетом, в котором работала Поликсена Васильевна Торопецкая. Она — секретарь Аристарха Платоновича...

— А Августа Авдеевна?

— Ну, натурально, Ивана Васильевича.

— Ага, ага...

— Ага-то оно ага,— сказал, задумчиво поглядывая на меня, Бомбардов,— но вы, я вам это очень советую, постарайтесь произвести на Торопецкую хорошее впечатление.

— Да я не умею!

— Нет, уж вы постарайтесь!

Держа свернутый в трубку манускрипт, я поднялся в верхний отдел театра и дошел до того места, где согласно указаниям помещался предбанник.

Перед предбанником были какие-то сени с диваном: тут я остановился, поволновался, поправил галстук, размышляя о том, как мне произвести на Поликсену Торопецкую хорошее впечатление. И тут же мне показалось, что из предбанника слышатся рыдания. «Это мне показалось»,— подумал я и вошел в предбанник, причем сразу выяснилось, что мне ничуть не показалось. Я догадался, что дама с великолепным цветом лица и в алом джемпере за желтой конторкой и есть Поликсена Торопецкая, и рыдала именно она.

Ошеломленный и незамеченный, я остановился в дверях.

Слезы текли по щекам Торопецкой, в одной руке она комкала платок, другой стучала по конторке. Рябой, плотно сколоченный человек, с зелеными петлицами, с блуждающими от ужаса и горя глазами, стоял перед конторкой, тыча руками в воздух.

— Поликсена Васильевна! — диким от отчаянья голосом восклицал человек.— Поликсена Васильевна! Не подписали еще! Завтра подпишут!

— Это подло! — вскричала Поликсена Торопецкая.— Вы поступили подло, Демьян Козьмич! Подло!

— Поликсена Васильевна!

— Это нижние подвели интригу под Аристарха Платоновича, пользуясь тем, что он в Индии, а вы помогли им!

— Поликсена Васильевна! Матушка! — закричал страшным голосом человек.— Что вы говорите! Чтобы я под благодетеля своего!..

— Ничего не хочу слушать! — закричала Торопецкая.— Все ложь, презренная ложь! Вас подкупили!

Услышав это, Демьян Козьмич крикнул:

— Поли... Поликсена...— и вдруг зарыдал сам страшным, глухим, лающим басом.

А Поликсена взмахнула рукой, чтобы треснуть по конторке, треснула и всадила себе в ладонь кончик пера, торчащего из вазочки. Тут Поликсена взвизгнула тихо, выскочила из-за конторки, повалилась в кресло и засучила ножками, обутыми в заграничные туфли со стеклянными бриллиантами на пряжках.

Демьян Козьмич даже не вскрикнул, а как-то взвыл утробно:

— Батюшки! Доктор! — и кинулся вон, а за ним кинулся и я в сени. Через минуту мимо меня пробежал человек в сером пиджачном костюме, с марлей и склянкой в руке и скрылся в предбаннике.

Я слышал его крик:

— Дорогая! Успокойтесь!

— Что случилось? — шепотом спросил я в сенях у Демьяна Козьмича.

— Извольте ли видеть, — загудел Демьян Козьмич, обращая ко мне отчаянные слезящиеся глаза, — послали они меня в комиссию за путевками пашим в Сочи на октябрь... Нуте-с, четыре путевки выдали, а племяннику Аристарха Платоновича почему-то забыли подписать в комиссии... Приходи, говорят, завтра в двенадцать... И вот, извольте ли видеть, я интригу подвел! — И по страдальческим глазам Демьяна Козьмича было видно, что он чист, никакой интриги не подводил и вообще интригами не занимается.

Из предбанника донесся слабый крик «ай!», и Демьян Козьмич брызнул из сеней и скрылся бесследно. Минут через десять ушел и доктор. Я некоторое время просидел в сенях на диване, пока из предбанника не начал слышаться стук машинки, тут осмелился и вошел.

Поликсена Торопецкая, напудренная и успокоившаяся, сидела за конторкой и писала на машинке. Я сделал поклон, стараясь, чтобы это был приятный и в то же время исполненный достоинства поклон, и голосом заговорил достойным и приятным, отчего тот зазвучал, к удивлению моему, сдавленно.

Объяснив, что я такой-то, а направлен сюда Фомою для того, чтобы диктовать пьесу, я получил от Поликсены приглашение садиться и подождать, что я и сделал.

Стены предбанника были обильно увешаны фотографиями, дагерротипами и картинками, среди которых царствовал большой, масляными красками писанный портрет представительного мужчины в сюртуке и с бакенбардами по моде семидесятых годов. Я догадался, что это Аристарх Платонович, но не понял, кто эта воздушная белая девица или дама, выглядывающая из-за головы Аристарха Платоновича и держащая в руке прозрачное покрывало. Эта загадка до того меня мучила, что, выбрав пристойный момент, я кашлянул и спросил об этом.

Произошла пауза, во время которой Поликсена остановила на мне свой взор, как бы изучая меня, и наконец ответила, но как-то принужденно:

— Это — муза.

— А-а, — сказал я.

Опять застучала машинка, а я стал осматривать стены и убедился, что на каждом из снимков или картинок был изображен Аристарх Платонович в компании с другими лицами.

Так, пожелтевший старый снимок изображал Аристарха Платоновича на опушке леса. Аристарх Платонович был одет по-осеннему и городскому, в ботах, в пальто и цилиндре. А спутник его был в какой-то кацавейке с ягдташем, с двухствольным ружьем. Лицо спутника, пенсне, седая борода показались мне знакомыми.

Поликсена Торопецкая тут обнаружила замечательное свойство — в одно и то же время писать и видеть каким-то волшебным образом, что делается в комнате. Я даже вздрогнул, когда она, не дожидаясь вопроса, сказала:

— Да, да. Аристарх Платонович с Тургеневым на охоте.

Таким же образом я узнал, что двое в шубах у подъезда Славянского Базара, рядом с пароконным извозчиком, — Аристарх Платонович и Островский.

Четверо за столом, а сзади фикус: Аристарх Платонович, Писемский, Григорович и Лесков.

О следующем снимке не нужно было и спрашивать: старик, босой, в длинной рубахе, засунувший руки за пояс, с бровями, как кусты, с

запущенной бородой и лысый, не мог быть не кем иным, кроме Льва Толстого. Аристарх Платонович стоял против него в плоской соломенной шляпе, в чесучовом летнем пиджаке.

Но следующая акварель поразила меня выше всякой меры. «Не может этого быть!» — подумал я. В бедной комнате в кресле сидел человек с длиннейшим птичьим носом, большими и встревоженными глазами, с волосами, ниспадавшими прямыми прядями на изможденные щеки, в узких светлых брюках со штрипками, в обуви с квадратными носами, во фракке синем. Рукопись на коленях, свеча в шандале на столе.

Молодой человек лет шестнадцати, еще без бакенбард, но с тем же надменным носом — словом, несомненный Аристарх Платонович в курточке стоял, опираясь руками на стол.

Я выпучил глаза на Поликсену, и та ответила сухо:

— Да, да. Гоголь читает Аристарху Платоновичу вторую часть «Мертвых душ».

Волосы шевельнулись у меня на макушке, как будто кто-то дунул сзади, и как-то само собой у меня вырвалось невольно:

— Сколько же лет Аристарху Платоновичу?!

На неприличный вопрос я получил и соответствующий ответ, причем в голосе Поликсены послышалась какая-то вибрация:

— У таких людей, как Аристарх Платонович, лет не существует. Вас, по-видимому, очень удивляет, что за время деятельности Аристарха Платоновича многие имели возможность пользоваться его обществом?

— Помилуйте! — вскричал я, испугавшись. — Совершенно наоборот!.. Я... — Но ничего больше путного не сказал, потому что подумал: «А что наоборот?.. Что я плету?»

Поликсена умолкла, и я подумал: «Нет, мне не удалось произвести на нее хорошее впечатление, увы, это ясно!»

Тут дверь отворилась, и в предбанник оживленной походкой вошла дама, и стоило мне взглянуть на нее, как я узнал в ней Людмилу Сильвестровну Пряхину из портретной галереи. Все на даме было, как на портрете: и косынка, и тот же платочек в руке, и так же она держала его, оттопырив мизинец.

Я подумал о том, что не худо бы было и на нее попытаться произвести хорошее впечатление, благо это заодно, и отвесил вежливый поклон, но он как-то прошел незамеченным.

Вбежав, дама засмеялась переливистым смехом и воскликнула:

— Нет, нет! Неужели вы не видите? Неужели вы не видите?

— А что такое? — спросила Торопецкая.

— Да ведь солнышко, солнышко! — восклицала Людмила Сильвестровна, играя платочком и даже немного подтанцовывая. — Бабье лето! Бабье лето!

Поликсена поглядела на Людмилу Сильвестровну загадочными глазами и сказала:

— Тут анкету нужно будет заполнить.

Веселье Людмилы Сильвестровны прекратилось сразу, и лицо ее настолько изменилось, что на портрете я теперь бы ее ни в коем случае не узнал.

— Какую еще анкету? Ах, боже мой! Боже мой! — (И я уж и голоса ее не узнал.) — Только что я радовалась солнышку, сосредоточилась в себе, что-то только что нажила, взрастила зерно, чуть запели струны, я шла, как в храм... и вот... Ну, давайте, давайте ее сюда!

— Не нужно кричать, Людмила Сильвестровна, — тихо заметила Торопецкая.

— Я не кричу! Я не кричу! И ничего я не вижу! Мерзко напечатано... — Пряхина бегала глазами по серому анкетному листу и вдруг

оттолкнула его.— Ах, пишите вы сами, пишите! Я ничего не понимаю в этих делах!

Торопецкая пожала плечами, взяла перо.

— Ну, Пряхина, Пряхина,— нервно вскрикивала Людмила Сильвестровна,— ну, Людмила Сильвестровна! И все это знают, и ничего я не скрываю!

Торопецкая вписала три слова в анкету и спросила:

— Когда вы родились?

Этот вопрос произвел на Пряхину удивительное действие: на скулах у нее выступили красные пятна, и она вдруг заговорила шепотом:

— Пресвятая богоматерь! Что же это такое? Я не понимаю, кому это нужно знать? Зачем? Почему? Ну, хорошо, хорошо. Я родилась в мае, в мае! Что еще нужно от меня? Что?

— Год нужен,— тихо сказала Торопецкая.

Глаза Пряхиной скосились к носу и плечи стали вздрагивать.

— Ох, как бы я хотела,— зашептала она,— чтобы Иван Васильевич видел, как артистку истязают перед репетицией!..

— Нет, Людмила Сильвестровна, так невозможно,— отозвалась Торопецкая,— возьмите вы анкету домой и заполняйте ее сами как хотите.

Пряхина схватила лист и с отвращением стала засовывать его в сумочку, дергая ртом.

Тут грянул телефон, и Торопецкая резко крикнула:

— Да! Нет, товарищ! Какие билеты? Никаких билетов у меня нет!.. Что? Гражданин! Вы отнимаете у меня время! Нету у меня ника... Что? Ах! — Торопецкая стала красной с лица.— Ах, простите! Я не узнала голоса! Да, конечно, конечно! Прямо на контроле будут оставлены! И программу — я распоряжусь, чтобы оставили! А Феофил Владимирович сам не будет? Мы будем очень жалеть! Очень! Всего, всего, всего доброго!

Сконфуженная Торопецкая повесила трубку и сказала:

— Из-за вас я нахамила не тому, кому следует!

— Ах, оставьте, оставьте все это! — нервно вскричала Пряхина.— Погублено зерно, испорчен день!

— Да,— сказала Торопецкая,— заведующий труппой просил вас зайти к нему.

Легкая розоватость окрасила щеки Пряхиной, она надменно подняла брови.

— Зачем же это я понадобилась ему? Это крайне интересно!

— Костюмерша Королькова на вас пожаловалась.

— Какая такая Королькова? — воскликнула Пряхина.— Кто это? Ах да, вспомнила! Да и как не вспомнить,— тут Людмила Сильвестровна рассмеялась так, что холодок прошел у меня по спине: на «у» и не разжимая губ,— как не вспомнить эту Королькову, которая испортила мне подол? Что же она, наябедничала на меня?

— Она жалуется, что вы ее ушипнули со злости в уборной при паприкахерах,— ласково сказала Торопецкая, и при этом в ее хрустальных глазах на мгновение появилось мерцание.

Эффект, который произвели слова Торопецкой, поразил меня. Пряхина вдруг широко и криво, как у зубного врача, открыла рот, а из глаз ее двумя потоками хлынули слезы. Я съезился в кресле и почему-то поднял ноги. Торопецкая нажала кнопку звонка, и тотчас в дверь всунулась голова Демьяна Козьмича и мгновенно исчезла.

Пряхина же приложила кулак ко лбу и закричала резким, высоким голосом:

— Меня сживают со свету! Бог господь! Бог господь! Бог господь! Да взгляни же хоть ты, пречистая мать, что со мной делают в театре! Подлец Пеликан! А Герасим Николаевич предатель! Воображаю, что он

нес обо мне в Сивцевом Вражке! Но я брошусь в ноги Ивану Васильевичу! Умолю его выслушать меня!..— Голос ее сел и треснул.

Тут дверь распахнулась, вбежал тот самый доктор. В руках у него была склянка и рюмка. Никого и ни о чем не спрашивая, он привычным жестом плеснул из склянки в рюмку мутную жидкость, но Пряхина хрипло вскричала:

— Оставьте меня! Оставьте меня! Низкие люди! — и выбежала вон.

За нею устремился доктор, воскликнув: «Дорогая!» — а за доктором, вынырнув откуда-то, топая в разные стороны подагрическими ногами, полетел Демьян Козьмич.

Из раскрытых дверей несся плеск клавишей, и дальний мощный голос страстно пропел:

— «...и будешь ты царицей ми...и...и... — он пошел шире, лихо развернулся,— ра-а!..» — но двери захлопнулись и голос погас.

— Ну-с, я освободилась, приступим,— сказала Торопецкая, мягко улыбаясь.

## ГЛАВА 11

### Я знакомлюсь с театром

Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видел. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, расхаживая по предбаннику взад и вперед и диктуя, осанавливался, задумывался, потом говорил: «Нет, погодите...», менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит, бормотал и говорил громко, но что бы я ни делал — из-под рук Торопецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки — хоть сейчас отдавай в типографию.

Писали мы под аккомпанемент телефонных звонков. Первоначально они мне мешали, но потом я к ним так привык, что они мне нравились. Поликсена расправлялась со звонящими с необыкновенной ловкостью. Она сразу кричала:

— Да! Говорите, товарищ, скорее! Я занята! Да?

От такого приема товарищ, находящийся на другом конце проволоки, терялся и начинал лепетать всякий вздор и был мгновенно приводим в порядок.

Круг деятельности Торопецкой был чрезвычайно обширен. В этом я убедился по телефонным звонкам.

— Да! — говорила Торопецкая. — Нет, вы не сюда звоните. Никаких билетов у меня нет... «Я застрелю тебя!» (Это мне, повторяя уже записанную фразу.)

Опять звонок.

— Все билеты уже проданы,— говорила Торопецкая,— у меня нет контрамарок... «Этим ты ничего не докажешь!» (Мне.)

«Теперь начинаю понимать,— думал я,— какое количество охотников ходить даром в театр в Москве. И вот странно: никто из них не пытается проехать даром в трамвае. Опять-таки никто из них не придет в магазин и не попросит, чтобы ему бесплатно отпустили коробку килек. Почему они считают, что в театре не нужно платить?»

— Да! Да! — кричала Торопецкая в телефон.— Калькутта, Пенджаб, Мадрас, Аллогабад... Нет, адреса не даем! Да? — говорила она мне.

— «Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты!» — с жаром говорил я, бегая по предбаннику.

— «Невесты...» — повторяла Торопецкая.

Машинка давала звонки поминутно. Опять гремел телефон.

— Да! Независимый Театр! Нет у меня никаких билетов! «Невесты...»

— «Невесты!» — говорил я. — «Ермаков бросает гитару на пол и выбегает на балкон».

— Да? Независимый! У меня никаких билетов нет!.. «Балкон...»

— «Анна устремляется...» — нет, просто «уходит за ним».

— «Уходит...» Да? Ах, да. Товарищ Бутович, вам будут оставлены билеты у Фили в конторе. Всего доброго.

— «Анна: Он застрелится! Бахтин: Не застрелится!»

— Да! Здравствуйте. Да, с нею. Потом Андаманские острова. К сожалению, адреса дать не могу, Альберт Альбертович... «Не застрелится!..»

Надо отдать справедливость Поликсене Торопецкой: дело свое она знала. Она писала десятью пальцами — обеими руками; как только телефон давал сигнал, писала одной рукой, другой снимала трубку, кричала:

— Калькутта не понравилась, самочувствие хорошее...

Демьян Козьмич входил часто, подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Торопецкая правым глазом читала их, ставила печати, левой писала на машинке: «Гармоника играет весело, но от этого...»

— Нет, погодите, погодите, — вскрикивал я, — нет, не весело, а что-то бравурное... или нет, погодите... — Я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет.

Торопецкая в это время пудрилась, говорила в телефон какой-то Мисси, что планшетки для корсета захватит в Вене Альберт Альбертович. Разные люди появлялись в предбаннике, и первоначально мне было стыдно диктовать при них, казалось, что я голый один среди одетых, но я быстро привык.

Показывался Миша Панин и каждый раз, проходя, для поощрения меня жал мне предплечье и проходил к себе в дверь, за которой, как я уже узнал, помещался его аналитический кабинет.

Побывал кто-то пожилой, мрачный и суровый, сел в кресло, посмотрел газету, отчего стал еще мрачнее, и ушел.

Приходил гладко выбритый, как все в этом чудесном мире, с римским упадочным профилем и капризно выпяченной нижней губой председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий.

— Миль пардон! Второй акт уже пишете? Грандиозно! — восклицал он и проходил в другую дверь, комически поджимая ноги, чтобы показать, что он старается не шуметь.

Если дверь приоткрывалась, слышно было, как он говорил по телефону:

— Мне все равно... я человек без предрассудков... Это даже оригинально — приехали на бега в подштанниках. Но Индия не примет... Всем сшил одинаково — и князю, и мужу, и барону... Совершенные подштанники и по цвету и по фасону!.. А вы скажите, что нужны брюки. Мне нет дела! Пусть переделывают! А гоните вы его к чертям! Что он врет! Петя Дитрих не может такие костюмы рисовать! Он брюки нарисовал, эскизы у меня на столе! Петя... Утонченный или не утонченный, он сам в брюках ходит! Опытный человек!..

В разгар дня, когда я, хватаясь за волосы, пытался представить себе, как выразить поточнее, что вот... человек падает... роняет револьвер... кровь течет или не течет?.. — вошла в предбанник молодая, скромно одетая актриса и воскликнула:

— Здравствуйте, душечка Поликсена Васильевна! Я вам цветочков принесла!



Она расцеловала Поликсену и положила на конторку четыре желтоватые астры.

— Обо мне нет ли чего из Индии?

Поликсена ответила, что есть, и вынула из конторки пухленький конверт. Актриса взволновалась.

— «Скажите Вешняковой,— прочитала Торопецкая,— что я решил задачу роли Ксении...»

— Ах, ну, ну! — вскричала Вешнякова.

— «Я был с Прасковьей Федоровной на берегу Ганга, и там меня осенило. Дело в том, что Вешнякова не должна выходить из средних дверей, а сбоку, там, где пианино. Пусть не забывает, что она недавно лишилась мужа и из средних дверей не решится выйти ни за что. Она идет монашеской походкой, опустив глаза долу, держа в руках букетик полевой ромашки, что типично для всякой вдовы...»

— Боже! Как верно! Как глубоко! — вскричала Вешнякова.— Верно! То-то мне было неудобно в средних дверях...

— Погодите,— продолжала Торопецкая,— тут есть еще,— и прочитала: — «А впрочем, пусть Вешнякова выходит откуда хочет. Я приеду, тогда все станет ясно. Ганг мне не понравился, по-моему, этой реке чего-то не хватает...» Ну, это к вам не относится,— заметила Поликсена.

— Поликсена Васильевна, — заговорила Вешнякова, — напишите Аристарху Платоновичу, что я безумно, безумно ему благодарна!

— Хорошо.

— А мне нельзя ему написать самой?

— Нет,— ответила Поликсена,— он изъявил желание, чтобы ему никто не писал, кроме меня. Это его утомляло бы во время его раздумий.

— Понимаю, понимаю,— вскричала Вешнякова и, расцеловав Торопецкую, удалилась.

Вошел полный, средних лет, энергичный человек и еще в дверях, сияя, воскликнул:

— Новый анекдот слышали? Ах, вы пишете?

— Ничего, у нас антракт,— сказала Торопецкая, и полный человек, видимо распираемый анекдотом, сверкая от радости, наклонился к Торопецкой. Руками он в это время сзывал народ. Явился на анекдот Миша Панин, и Полторацкий, и еще кто-то. Головы наклонились над конторкой. Я слышал: «И в это время муж возвращается в гостиную...» За конторкой засмеялись. Полный пошептал еще немного, после чего Мишу Панина охватил его припадок смеха: «Ах, ах, ах...» Полторацкий вскричал: «Грандиозно!», а полный захохотал счастливым смехом и тотчас кинулся вон, крича:

— Вася! Вася! Стой! Слышал? Новый анекдот продам!

Но ему не удалось Васе продать анекдот, потому что его вернула Торопецкая.

Оказалось, что Аристарх Платонович писал и о полном.

— «Передайте Елагину,— читала Торопецкая,— что он более всего должен бояться сыграть результат, к чему его всегда очень тянет».

Елагин изменился в лице и заглянул в письмо.

— «Скажите ему,— продолжала Торопецкая,— что в сцене вечеринки у генерала он не должен сразу здороваться с женою полковника, а предварительно обойти стол кругом, улыбаясь растерянно. У него винокурный завод, и он ни за что не поздоровается сразу, а...»

— Не понимаю,— заговорил Елагин.— простите, не понимаю.— Елагин сделал круг по комнате, как бы обходя что-то.— Нет, не чувствую я этого. Мне неудобно!.. Жена полковника перед ним, а он чего-то пойдет... Не чувствую!

— Вы хотите сказать, что вы лучше понимаете эту сцену, чем Аристарх Платонович? — ледяным голосом спросила Торопецкая.

Этот вопрос смутил Елагина.

— Нет, я этого не говорю. — Он покраснел. — Но посудите... — И он опять сделал круг по комнате.

— Я думаю, что в ножки следовало бы поклониться Аристарху Платоновичу за то, что он из Индии...

— Что это у вас все в ножки да в ножки... — вдруг пробурчал Елагин.

«Э, да он молодец», — подумал я.

— Вы лучше выслушайте, что дальше пишет Аристарх Платонович. — И прочитала: — «А впрочем, пусть он делает как хочет. Я приеду, и пьеса станет всем ясна».

Елагин повеселел и отколол такую штуку. Он махнул рукой у щеки, потом у другой, и мне показалось, что у него на моих глазах выросли бакенбарды. Затем он стал меньше ростом, надменно раздул ноздри и сквозь зубы, при этом выщипывая волоски из воображаемых бакенбард, проговорил все, что было написано о нем в письме.

«Какой актер!» — подумал я. Я понял, что он изображает Аристарха Платоновича.

Кровь прилила к лицу Торопецкой, она тяжело задышала.

— Я попросила бы вас!..

— А впрочем... — сквозь зубы говорил Елагин, пожал плечами, своим обыкновенным голосом сказал: — Не понимаю! — и вышел. Я видел, как он в сенях сделал еще один круг, недоуменно пожал плечами и скрылся.

— Ох, уж эти середняки! — заговорила Поликсена. — Ничего святого. Вы слышали, как они разговаривают?

— Кхм, — ответил я, не зная, что сказать, и, главное, не понимая, что означает слово «середняки».

К концу первого дня стало ясно, что в предбаннике пьесу писать нельзя. Поликсену освободили на два дня от ее непосредственных обязанностей, и нас с нею перевели в одну из женских уборных. Демьян Козьмич, пыхтя, приволок туда машинку.

Бабье лето сдалось и уступило место мокрой осени. Серый свет лился в окно. Я сидел на кушеточке, отражаясь в зеркальном шкафу, а Поликсена на табуретке. Я чувствовал себя как бы двухэтажным. В верхнем происходила кутерьма и беспорядок, который нужно было превратить в порядок. Требовательные герои пьесы вносили необыкновенную заботу в душу. Каждый требовал нужных слов, каждый старался занять первое место, оттесняя других. Править пьесу — чрезвычайно утомительное дело. Верхний этаж шумел и двигался в голове и мешал наслаждаться нижним, где царствовал установившийся, прочный покой. Со стен маленькой уборной, похожей на бонбоньерку, смотрели, улыбаясь искусственными улыбками, женщины с преувеличенно пышными губами, с тенями под глазами. Эти женщины были в кринолинах или фижмах. Меж ними сверкали зубами с фотографий мужчины с цилиндром в руках. Один из них был в жирных эполетах. Пьяный толстый нос свисал до губы, щеки и шея разрезаны складками. Я не узнал в нем Галина, пока Поликсена не сказала мне, кто это.

Я глядел на фотографии, трогал, вставая с кушетки, негорящие лампы, пустую пудреницу, вдыхал чуть ощутимый запах какой-то краски и ароматный запах папирос Поликсены. Здесь было тихо, и тишину эту резало только стрекотанье машинки и тихие ее звончки, да еще иногда чуть скрипел паркет. В открытую дверь было видно, как

на цыпочках проходили иногда какие-то пожилые женщины сухенького вида, пронося груды крахмальных юбок.

Изредка великое молчание этого коридора нарушалось глухими взрывами музыки откуда-то и дальними грозными криками. Теперь я знал, что на сцене, где-то глубоко за паутиной старых коридоров, спусков и лестниц, репетируют пьесу «Степан Разин».

Мы начинали писать в двенадцать часов, а в два происходил перерыв. Поликсена уходила к себе, чтобы навестить свое хозяйство, а я шел в чайный буфет.

Для того, чтобы в него попасть, я должен был покинуть коридор и выйти на лестницу. Тут уж нарушалось очарование молчания. По лестнице подымались актрисы и актеры; за белыми дверями звенел телефон, телефон другой откуда-то отзывался снизу. Внизу дежурил один из вышколенных Августой Менажраки курьеров. Потом — железная средневековая дверь, таинственные за нею ступени и какое-то безграничное, как мне казалось — по высоте, кирпичное ущелье, торжественное, полутемное. В этом ущелье, наклоненные к стенам его, высились декорации в несколько слоев. На белых деревянных рамах их мелькали таинственные условные надписи: «I лев. зад», «Граф, заспин.», «Спальня III-й акт». Широкие, высокие, от времени черные ворота с врезанной в них калиткой с чудовищным замком на ней были справа, и я узнал, что они ведут на сцену. Такие же ворота были слева, и выводили они во двор, и через эти ворота рабочие из сараев подавали декорации, не помещавшиеся в ущелье. Я задерживался в ущелье всегда, чтобы предаться мечтам в одиночестве, а сделать это было легко, ибо лишь редкий путник попадался навстречу на узкой тропе между декорациями, где, чтобы разминуться, нужно было поворачиваться боком.

Сосушая с тихим змеиным свистом воздух пружина-цилиндр на железной двери выпускала меня. Звуки под ногами пропадали, я падал на ковер, по медной лвиной голове узнавал преддверие кабинета Гавриила Степановича и все по тому же солдатскому сукну шел туда, где уже мелькали и слышались люди, — в чайный буфет.

Многоведерный блестящий самовар за прилавком первым бросался в глаза, а вслед за ним — маленького роста человек, пожилой, с нависшими усами, лысый и со столь печальными глазами, что жалость и тревога охватывали каждого, кто не привык еще к нему. Вздыхая тоскливо, печальный человек стоял за прилавком и глядел на груды бутербродов с кетовой икрой и с сыром-брынзой. Актеры подходили к буфету, брали эту снедь, и тогда глаза буфетчика наполнялись слезами. Его не радовали ни деньги, которые платили за бутерброды, ни сознание того, что он стоит в самом лучшем месте столицы, в Независимом Театре. Ничто его не радовало, душа его, очевидно, болела при мысли, что вот съедят все, что лежит на блюде, съедят без остатка, выпьют весь гигантский самовар.

Из двух окон шел свет слезливого осеннего дня, за буфетом горела настенная лампа в тюльпане, никогда не угасая, углы тонули в вечном сумраке.

Я стеснялся незнакомых людей, сидевших за столиками, боялся подойти, хоть подойти хотелось. За столиками слышался приглушенный хохот, всюду что-то рассказывали.

Выпив стакан чаю и съев бутерброд с брынзой, я шел в другие места театра. Больше всего мне полюбилось то место, которое носило название «контора».

Это место резко отличалось от всех других мест в театре, ибо это было единственное шумное место, куда, так сказать, вливалась жизнь с улицы.

Контора состояла из двух частей: первой была узкая комнатка, в которую вели настолько замысловатые ступеньки со двора, что каждый входящий впервые в театр непременно падал. В первой комнатенке сидели двое курьеров: Катков и Баквалин. Перед ними на столике стояли два телефона, и эти телефоны, почти никогда не умолкая, звонили.

Я очень быстро понял, что по телефонам зовут одного и того же человека и этот человек помещался в смежной комнате, на дверях которой висела надпись:

«Заведующий внутренним порядком  
Филипп Филиппович Тулумбасов».

Большей популярности, чем у Тулумбасова, не было ни у кого в Москве и, вероятно, никогда не будет. Весь город, казалось мне, ломился по аппаратам к Тулумбасову, и то Катков, то Баквалин соединяли с Филиппом Филипповичем жаждущих говорить с ним.

Говорил ли мне кто-то или приснилось мне, что будто бы Юлий Кесарь обладал способностью делать несколько разных дел одновременно, например, читать что-либо и слушать кого-нибудь.

Свидетельствую здесь, что Юлий Кесарь растерялся бы самым жалким образом, если бы его посадили на место Филиппа Филипповича.

Помимо тех двух аппаратов, которые гремели под руками Баквалина и Каткова, перед самим Филиппом Филипповичем стояло их два, а один старинного типа висел на стене.

Филипп Филиппович, полный блондин с приятным круглым лицом, с необыкновенно живыми глазами, на дне которых покоилась не видная никому грусть — затаенная, по-видимому вечная, неизлечимая, сидел за барьером в углу чрезвычайно уютном. День ли был на дворе или ночь, у Филиппа Филипповича всегда был вечер с горящей лампой под зеленым колпаком. Перед Филиппом Филипповичем на письменном столе помещалось четыре календаря, сплошь исписанные таинственными записями вроде: «Прях. 2, парт. 4», «13 утр. 2», «Мон. 77727» и в этом роде.

Таковыми же знаками были исчерчены пять раскрытых блокнотов на столе. Над Филиппом Филипповичем виселось чучело бурого медведя, в глаза которого были вставлены электрические лампочки. Филипп Филиппович был огражден от внешнего мира барьером, и в любой час дня на этом барьере лежали живыми люди в самых разнообразных одеждах. Здесь перед Филиппом Филипповичем проходила вся страна, это можно сказать с уверенностью; здесь перед ним были представители всех классов, групп, прослоек, убеждений, пола, возраста. Какие-то бедно одетые гражданки в затасканных шляпах сменялись военными с петлицами разного цвета; военные уступали место хорошо одетым мужчинам с бровными воротниками и крахмальными воротничками. Среди крахмальных воротничков иногда мелькала ситцевая косоворотка. Кепка на буйных кудрях. Роскошная дама с горностаем на плечах. Шапка с ушами, подбитый глаз. Подросток женского пола с напудренным носиком. Человек в болотных сапогах, в чуйке, подпоясан ремнем. Еще военный, один ромб. Какой-то бритый с забинтованной головой. Старуха с трясущейся челюстью, мертвенными глазами и почему-то говорящая со своей спутницей по-французски, а спутница в мужских калошах. Тулуп.

Те, которые не могли лечь животом на барьер, толпились сзади, изредка поднимая вверх мятые записки, изредка робко вскрикивая: «Филипп Филиппович!» Временами в толпу, осаждавшую барьер, ввинчивались женщины или мужчины без верхнего платья, а запросто, в блузочках или пиджаках, и я понимал, что это актрисы и актеры Независимого Театра.

Но кто бы ни шел к барьеру, все, за редчайшими исключениями, имели вид льстивый, улыбались заискивающе. Все пришедшие просили у Филиппа Филипповича, все зависели от его ответа.

Три телефона звенели, не умолкая никогда, и иногда оглашали грохотом кабинетик сразу все три. Филиппа Филипповича это нисколько не смущало. Правой рукой он брал трубку правого телефона, клал ее на плечо и прижимал щекою, в левую брал другую трубку и прижимал ее к левому уху, а освободив правую, ею брал одну из протягиваемых ему записок и начинал говорить сразу с тремя — в левый, в правый телефон, потом с посетителем, потом опять в левый, в правый, с посетителем. В правый, с посетителем. левый, левый, правый, правый.

Сразу сбрасывал обе трубки на рычаги и так как освобождались обе руки, то брал две записки. Отклонив одну из них, он снимал трубку с желтого телефона, слушал мгновение, говорил: «Позвоните завтра в три», вешал трубку, посетителю говорил: «Ничего не могу».

С течением времени я начал понимать, чего просили у Филиппа Филипповича. У него просили билетов.

У него просили билетов в самой разнообразной форме. Были такие, которые говорили, что приехали из Иркутска, уезжают ночью и не могут уехать, не повидав «Бесприданницы». Кто-то говорил, что он экскурсовод из Ялты, представитель какой-то делегации. Кто-то, не экскурсовод и не сибиряк и никауда не уезжает, а просто говорил:

— Петухов, помните?..

Актрисы и актеры говорили:

— Филя, а Филя, устрой...  
Кто-то говорил:

— В любую цену, цена мне безразлична...

— Зная Ивана Васильевича двадцать восемь лет,— вдруг шамкала какая-то старуха, у которой моль выела на берете дыру,— я уверена, что он не откажет мне...

— Дам постоять,— внезапно, вдруг говорил Филипп Филиппович и, не ожидая дальнейших слов ошеломленной старухи, протягивал ей какой-то кусочек бумаги.

— Нас восемь человек,— начинал какой-то крепыш, и опять-таки дальнейшие слова застревали у него в устах, ибо Филя уже говорил:

— На свободные,— и протягивал бумажку.

— Я от Арнольда Арнольдовича,— начинал какой-то молодой человек, одетый с претензией на роскошь.

«Дам постоять»,— мысленно подсказывал я и не угадывал.

— Ничего не могу-с,— внезапно отвечал Филя, один только раз скользнув глазом по лицу молодого человека.

— Но Арнольд...

— Не могу-с!

И молодой человек исчезал, словно проваливался сквозь землю.

— Мы с женою...— начинал полный гражданин.

— На завтра? — спрашивал Филя отрывисто и быстро.

— Слушаю.

— В кассу! — восклицал Филя, и полный протискивался вон, имея в руках клок бумажки, а Филя в это время уже кричал в телефон: «Нет! Завтра!», в то же время левым глазом читая поданную бумажку.

С течением времени я понял, что он руководится вовсе не внешним видом людей и, конечно, не их засаленными бумажками. Были скромно, даже бедно одетые люди, которые внезапно для меня получали два бесплатных места в четвертом ряду, и были какие-то хорошо одетые, которые уходили ни с чем. Люди приносили громадные красивые мандаты из Астрахани, Евпатории, Вологды, Ленинграда, и они не действовали

или могли подействовать только через пять дней утром, а приходили иногда скромные и молчаливые люди и вовсе ничего не говорили, а только протягивали руку через барьер и тут же получали место.

Умудрившись, я понял, что передо мною человек, обладающий совершенным знанием людей. Поняв это, я почувствовал волнение и холодок под сердцем. Да, передо мною был величайший сердцеведец. Он знал людей до самой их сокровенной глубины. Он угадывал их тайные желания, ему были открыты их страсти, пороки, все знал, что было скрыто в них, но также и доброе. А главное, он знал их права. Он знал, кто и когда должен прийти в театр, кто имел право сидеть в четвертом ряду, а кто должен был толпиться в ярусе, присаживаясь на приступочке в бредовой надежде, что как-нибудь вдруг освободится для него волшебным образом местечко.

Я понял, что школа Филиппа Филипповича была школой величайшей.

Да и как же ему было не узнать людей, когда перед ним за пятнадцать лет его службы прошли десятки тысяч людей. Среди них были инженеры, хирурги, актеры, женорганизаторы, растратчики, домашние хозяйки, машинисты, учителя, меццо-сопрано, застройщики, гитаристы, карманные воровы, дантисты, пожарные, девицы без определенных занятий, фотографы, плановики, летчики, пушкинисты, председатели колхозов, тайные кокетки, беговые наездники, монтеры, продавщицы универсальных магазинов, студенты, парикмахеры, конструкторы, бывшие домовладельцы, пенсионерки, сельские учителя, виноделы, виолончелисты, фокусники, разведенные жены, заведующие кафе, игроки в покер, гомеопаты, аккомпаниаторы, графоманы, билетерши консерватории, хумики, дирижеры, легкоатлеты, шахматисты, лаборанты, проходимцы, бухгалтерсы, шизофреники, дегустаторы, маникюриши, счетоводы, бывшие священнослужители, спекулянты, фототехники.

Зачем же надобны были бумажки Филиппу Филипповичу?

Одного взгляда и первых слов появившегося перед ним ему было достаточно, чтобы знать, на что тот имеет право, и Филипп Филиппович давал ответы, и были эти ответы всегда безошибочны.

— Я,— волнуясь, говорила дама,— вчера купила два билета на «Дон-Карлоса», положила в сумочку, прихожу домой...

Но Филипп Филиппович уже жал кнопку звонка и, не глядя более на даму, говорил:

— Баквалин! Потеряны два билета... ряд?

— Одиннадцатый...

— В одиннадцатом ряду. Впустить. Посадить. Проверить!

— Слушаю! — гаркал Баквалин, и не было уже дамы, и кто-то уже наваливался на барьер, хрипел, что он завтра уезжает.

— Так делать не годится! — озлобленно утверждала дама, и глаза ее сверкали.— Ему уже шестнадцать! Нечего смотреть, что он в коротких штанах...

— Мы не смотрим, сударыня, кто в каких штанах,— металлически отвечал Филя,— по закону дети до пятнадцати лет не допускаются. Посиди здесь, сейчас...— говорил он в это же время интимно бритому актеру.

— Позвольте,— кричала скандальная дама,— и тут же рядом пропускают трех малюток в длинных клошах. Я жаловаться буду!

— Эти малютки, сударыня,— отвечал Филя,— были костромские лилипуты.

Наставало полное молчание. Глаза дамы потухали, Филя тогда, оскалив зубы, улыбался так, что дама вздрагивала. Люди, мнувшие друг друга у барьера, злорадно хихикали.

Актер с побледневшим лицом, со страдальческими, помутневшими глазами вдруг наваливался сбоку на барьер, шептал:

— Дикая мигрень...

Филя, не удивляясь, не оборачиваясь, протягивал руку назад, открывал настенный шкафчик, на ощупь брал коробочку, из нее вынимал паке-тик, протягивал страдальцу, говорил:

— Водой запей... Слушаю вас, гражданка...

Слезы выступали у гражданки, шляпка съезжала на ухо. Горе дамы было велико. Она сморкалась в грязный платочек. Оказывается, вчера, все с того же «Дон-Карлоса», пришла домой, ан сумочки-то и нет. В сумочке же было сто семьдесят пять рублей, пудреница и носовой платок.

— Очень плохо, гражданка,— сурово говорил Филя,— деньги надо на сберкнижке держать, а не в сумочке.

Дама тарасила глаза на Филю. Она не ожидала, что к ее горю отнесутся с такой черствостью.

Но Филя тут же с грохотом выдвигал ящик стола, и через мгновение измятая сумочка с пожелтевшей металлической наядой была уже у дамы в руках. Та лепетала слова благодарности.

— Покойник прибыл, Филипп Филиппович,— докладывал Баквалин.

В ту же минуту лампа гасла, ящики с грохотом закрывались, торопливо натягивая пальто, Филя протискивался сквозь толпу и уходил. Как зачарованный, я плелся за ним; ударившись головой об стенку на повороте лестницы, выходил во двор. У дверей конторы стоял грузовик, обвитый красной лентой, и на грузовике лежал, глядя в осеннее небо закрытыми глазами, пожарный. Каска сверкала у него в ногах, а в головах лежали еловые ветки. Филя без шапки, с торжественным лицом стоял у грузовика и беззвучно отдавал какие-то приказания Кускову, Баквалину и Клюквину.

Грузовик дал сигнал и выехал на улицу. Тут же из подъезда театра раздались резкие звуки тромбонов. Публика с вялым изумлением останавливалась, останавливался и грузовик. В подъезде театра виден был бородатый человек в пальто, размахивающий дирижерской палочкой. Повинуясь ей, несколько сверкающих труб громкими звуками оглашали улицу. Потом звуки обрывались так же внезапно, как и начинались, и золотые раструбы и русая эспаньолка скрывались в подъезде.

Кусков вскакивал в грузовик, трое пожарных становились по углам гроба, и, провожаемый напутственным Филиным жестом, грузовик уезжал в крематорий, а Филя возвращался в контору.

Громаднейший город пульсирует, и всюду в нем волны — прильет и отольет. Иногда слабела без всякой видимой причины волна Филиных посетителей, и Филя позволял себе откинуться в кресле, кой с кем пошутить, размяться.

— А меня к тебе прислали,— говорил актер какого-то другого театра.

— Нашли кого прислать — бузотера,— отвечал Филя, смеясь одними щеками. (Глаза Фили никогда не смеялись.)

В Филину дверь входила очень хорошенькая дама в великолепно сшитом пальто и с чернобурой лисой на плечах. Филя приветливо улыбался даме и кричал:

— Бонжур, Мисси!

Дама радостно смеялась в ответ. Вслед за дамой в контору входил развинченной походкой в матросской шапке малый лет семи с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым шоколадом, и с тремя следами от ногтей под глазом. Малый тихо икал через правильные промежутки времени. За малым входила полная и расстроенная дама.

- Фуй, Альеша! — восклицала она с немецким акцентом.
- А, здорово! — восклицал Филя, протягивая малому руку.
- Тот, икнув, кланялся и шаркал ногой.
- Фуй, Альеша, — шептала Амалия Ивановна.
- Амалия Ивановна! — тихо и угрожающе говорил малый, исподтишка показывая Амалии Ивановне грозный кулак.
- Фуй, Альеша! — тихо говорила Амалия Ивановна.
- Что же это у тебя под глазом? — спрашивал Филя.
- Я, — икая, шептал малый, повесив голову, — с Жоржем подрался...
- Фуй, Альеша, — одними губами и совершенно механически шептала Амалия Ивановна.
- Съ доммаж! — рявкал Филя и вынимал из стола шоколадку.
- Мутные от шоколада глаза малого на минуту загорались огнем, он брал шоколадку.
- Альеша, ти съел сегодня читирнадцать, — робко шептала Амалия Ивановна.
- Не врите, Амалия Ивановна, — думая, что говорит тихо, гудел малый.
- Фуй, Альеша!..
- Филя, вы меня совсем забыли, гадкий! — тихо восклицала дама.
- Нон, мадам, энпосибль! — рявкал Филя. — Мэ лэ заффер тужур! Дама смеялась журчащим смехом, била Филю перчаткой по руке.
- Знаете что, — вдохновенно говорила дама, — Дарья моя сегодня испекла пирожки, приходите ужинать. А?
- Абек плезир! — восклицал Филя и в честь дамы зажигал глаза медведя.
- Как вы меня испугали, противный Филька! — восклицала дама.
- Альеша! Погляди, какой медведь — якиби живой! — искусственно восторгалась Амалия Ивановна.
- Пустите! — орал малый и рвался к барьеру.
- Фуй, Альеша...
- Захватите с собой Аргунина, — восклицала как бы осененная вдохновением дама.
- Иль жу!
- Пусть после спектакля приезжает, — говорила дама, поворачиваясь спиной к Амалии Ивановне.
- Же транспорт люи.
- Ну, милый, вот и хорошо. Да, Филенька, у меня к вам просьба. Одну старушку не можете ли вы устроить куда-нибудь на «Дон-Карлоса»? А? Хоть в ярус? А, золотко?
- Портниха? — спрашивал Филя, всепонимающими глазами глядя на даму.
- Какой вы противный! — восклицала дама. — Почему непременно портниха? Она вдова профессора и теперь...
- Шьет белье, — как бы во сне говорил Филя, вписывая в блокнот: «Белешвей. Ми. боков. яр. 13-го».
- А как вы догадались? — хорошея, восклицала дама.
- Филипп Филиппович, вас в дирекцию к телефону, — рявкал Баквалин.
- Сейчас!
- А я пока мужу позвоню, — говорила дама.
- Филя выскакивал из комнаты, а дама брала трубку, набирала номер.
- Кабинет заведующего. Ну, как у тебя? А к нам я сегодня Филю позвала пирожки есть. Ну, ничего, ты поспи часок. Да, еще Аргунин



напросился... Ну неудобно же мне... Ну, прощай, золотко... А что у тебя голос какой-то расстроенный? Ну, целую.

Я, вдавившись в клеенчатую спинку дивана и закрывая глаза, мечтал: «О, какой мир... мир наслаждения, спокойствия...» Мне представлялась квартира этой неизвестной дамы. Мне казалось почему-то, что это огромная квартира, что в белой необъятной передней на стене висит в золотой раме картина, что в комнатах всюду блестит паркет, что в средней — рояль, что громадный ков...

Мечтания мои прервал вдруг тихий стон и утробное ворчание. Я открыл глаза.

Малый, бледный смертельной бледностью, закатив глаза под лоб, сидел на диване, растопырив ноги на полу. Дама и Амалия Ивановна кинулись к нему. Дама побледнела.

— Алеша! — вскричала дама. — Что с тобой?!

— Фуй, Альеша! Что с тобой?! — воскликнула Амалия Ивановна.

— Голова болит, — вибрирующим слабым баритоном ответил малый, и шапка его съехала на глаза. Он вдруг надул щеки и еще более побледнел.

— О, боже! — вскричала дама.

Через несколько минут во двор влетел открытый таксомотор, в котором стоя летел Баквалин.

Малого, вытирая ему рот платком, под руки вели из конторы.

О, чудный мир конторы! Филя! Прощайте! Меня скоро не будет. Вспомните же меня и вы!

## ГЛАВА 12

### Сивцев Вражек

Я и не заметил, как мы с Торопецкой переписали пьесу. И не успел я подумать, что будет теперь далее, как судьба сама подсказала это. Ключкин привез мне письмо.

«Глубочайше уважаемый  
Леонтий Сергеевич!..»

Почему, черт возьми, им хочется, чтобы я был Леонтием Сергеевичем? Вероятно, это удобнее выговаривать, чем Сергей Леонтьевич?.. Впрочем, это неважно!

«...Вы должны читать Вашу пьесу Ивану Васильевичу. Для этого Вам надлежит прибыть в Сивцев Вражек 13-го в понедельник в 12 часов дня.

Глубоко преданный

Фома Стриж».

Я взволновался чрезвычайно, понимая, что письмо это исключительной важности.

Я решил так: крахмальный воротник, галстук синий, костюм серый. Последнее решить было нетрудно, ибо серый костюм был моим единственным приличным костюмом.

Держаться вежливо, но с достоинством и — боже сохрани — без намека на угодливость.

Тринадцатое, как хорошо помню, было на другой день, и утром я повиделся в театре с Бомбардовым.

Наставления его показались мне странными до чрезвычайности.

— Как пройдет большой серый дом, — говорил Бомбардов, — повернете налево в тупичок. Тут уж легко найдете. Ворота резные чугунные, дом с колоннами. С улицы входа нету, а поверните за угол во дворе.

Там увидите человека в тулупе, он у вас спросит: «Вы зачем?» — а вы ему скажите только одно слово: «Назначено».

— Это пароль? — спросил я. — А если человека не будет?

— Он будет, — сказал холодно Бомбардов и продолжал: — За углом, как раз напротив человека в тулупе, вы увидите автомобиль без колес, на домкрате, а возле него ведро и человека, который моет автомобиль.

— Вы сегодня там были? — спросил я в волнении.

— Я был там месяц тому назад.

— Так почему же вы знаете, что человек будет мыть автомобиль?

— Потому что он каждый день его моет, сняв колеса.

— А когда же Иван Васильевич ездит в нем?

— Он никогда в нем и не ездит.

— Почему?

— А куда же он будет ездить?

— Ну, скажем, в театр?

— Иван Васильевич в театр приезжает два раза в год на генеральные репетиции, и тогда ему нанимают извозчика Дрыкина.

— Вот тебе на! Зачем же извозчика, если есть автомобиль?

— А если шофер умрет от разрыва сердца за рулем, а автомобиль возьмет, да и въедет в окно, тогда что прикажете делать?

— Позвольте, а если лошадь понесет?

— Дрыкинская лошадь не понесет. Она только шагом ходит. Напротив же как раз человека с ведром — дверь. Войдете и подымайтесь по деревянной лестнице. Потом еще дверь. Войдете. Там увидите черный бюст Островского. А напротив — беленькие колонны и черная-пречерная печка, возле которой сидит на корточках человек в валенках и топит ее.

Я рассмеялся:

— Вы уверены, что он непременно будет и непременно на корточках?

— Непременно, — сухо ответил Бомбардов, ничуть не смеясь.

— Любопытно проверить!

— Проверьте. Он спросит тревожно: «Вы куда?» — а вы ответьте...

— Назначено?

— Угу. Тогда он скажет вам: «Пальтецо снимите здесь» — и вы попадете в переднюю, и тут выйдет к вам фельдшерица и спросит: «Вы зачем?» — и вы ответите...

Я кивнул головой.

— Иван Васильевич вас спросит первым делом, кто был ваш отец. Он кто был?

— Вице-губернатор.

Бомбардов сморщился.

— Э... нет, это, пожалуй, не подходит. Нет, нет. Вы скажите так: служил в банке.

— Вот уж это мне не нравится. Почему я должен врать с первого же момента?

— А потому что это может его испугать, а...

Я только моргал глазами.

— ...а вам все равно, банк ли или что другое... Потом он спросит, как вы относитесь к гомеопатии. А вы скажите, что принимали капли от желудка в прошлом году и они вам очень помогли.

Тут прогремели звонки, Бомбардов заторопился, ему нужно было идти на репетицию, и дальнейшие наставления он давал сокращенно.

— Мишу Панина вы не знаете, родились в Москве, — скороговоркой сообщал Бомбардов, — насчет Фомы скажите, что он вам не понра-

вился. Когда будете насчет пьесы говорить, то не возражайте. Там выстрел в третьем акте, так вы его не читайте...

— Как не читать, когда он застрелился?

Звонки повторились. Бомбардов бросился бежать в полутьму, издали донесся его тихий крик:

— Выстрела не читайте! И насморка у вас нет!

Совершенно ошеломленный загадками Бомбардова, я минута в минуту в полдень был в тупике на Сивцевом Вражке.

Во дворе мужчины в тулупе не было, но как раз на том месте, где Бомбардов и говорил, стояла баба в платке. Она спросила:

— Вам чего?— и подозрительно поглядела на меня.

Слово «назначено» совершенно ее удовлетворило, и я повернул за угол. Точка в точку в том месте, где было указано, стояла кофейного цвета машина, но на колесах, и человек тряпкой вытирал кузов. Рядом с машиной стояло ведро и какая-то бутылка.

Следуя указаниям Бомбардова, я шел безошибочно и попал к бюсту Островского. «Ээ...» — подумал я, вспомнив Бомбардова: в печке весело пылали березовые дрова, но никого на корточках не было. Но не успел я усмехнуться, как старинная, дубовая, темно лакированная дверь открылась, и из нее вышел старикашка с кочергой в руках и в заплатанных валенках. Увидев меня, он испугался и заморгал глазами.

— Вам что, гражданин?— спросил он.

— Назначено,— ответил я, упиваясь силой магического слова.

Старикашка посветлел и махнул кочергой в направлении другой двери. Там горела старинная лампочка под потолком. Я снял пальто, под мышку взял пьесу, стукнул в дверь. Тотчас за дверью послышался звук снимаемой цепи, потом повернулся ключ в дверях и выглянула женщина в белой косынке и белом халате.

— Вам что?— спросила она.

— Назначено,— ответил я.

Женщина посторонилась, пропустила меня внутрь и внимательно поглядела на меня.

— На дворе холодно?— спросила она.

— Нет, хорошая погода, бабье лето,— ответил я.

— Насморка у вас нету?— спросила женщина.

Я вздрогнул, вспомнив Бомбардова, и сказал:

— Нет, нету.

— Постучите сюда и входите,— сурово сказала женщина и скрылась.

Перед тем, как стукнуть в темную, окованную металлическими полосами дверь, я огляделся. Белая печка, громадные шкафы какие-то. Пахло мятой и еще какой-то приятной травой. Стояла полная тишина, и она вдруг прервалась боем хриплым. Было двенадцать раз, и затем тревожно прокуковала кукушка за шкафом.

Я стукнул в дверь, потом нажал рукой на громадное, тяжелое кольцо, и дверь впустила меня в большую светлую комнату.

Я волновался, я ничего почти не разглядел, кроме дивана, на котором сидел Иван Васильевич. Он был точно такой же, как на портрете, только немножко свежее и моложе. Черные его, чуть тронутые проседью усы были прекрасно подкручены. На груди на золотой цепи висел лорнет. Иван Васильевич поразил меня очаровательностью своей улыбки.

— Очень приятно,— молвил он, чуть картавя,— прошу садиться.

И я сел в кресло.

— Ваше имя и отчество? — ласково глядя на меня, спросил Иван Васильевич.

— Сергей Леонтьевич.

— Очень приятно! Ну-с, как изволите поживать, Сергей Пафнутьевич?— И, ласково глядя на меня, Иван Васильевич побарабанил пальцами по столу, на котором лежал огрызок карандаша и стоял стакан с водой, почему-то накрытый бумажкой.

— Покорнейше благодарю вас, хорошо.

— Простуды не чувствуете?

— Нет.

Иван Васильевич как-то покряхтел и спросил:

— А здоровье вашего батюшки как?

— Мой отец умер.

— Ужасно,— ответил Иван Васильевич,— а к кому обращались? Кто лечил?

— Не могу сказать точно, но, кажется, профессор... профессор Янковский.

— Это напрасно,— отозвался Иван Васильевич,— нужно было обратиться к профессору Плетушкову, тогда бы ничего не было.

Я выразил на своем лице сожаление, что не обратились к Плетушкову.

— А еще лучше... гм... гм... гомеопаты,— продолжал Иван Васильевич,— прямо до ужаса всем помогают,— тут он кинул беглый взгляд на стакан,— вы верите в гомеопатию?

«Бомбардов — потрясающий человек!» — подумал я и начал что-то неопределенно говорить:

— С одной стороны, конечно... я лично... хотя многие и не верят...

— Напрасно!— сказал Иван Васильевич.— Пятнадцать капель — и вы перестанете что-нибудь чувствовать.— И опять он покряхтел и продолжал:— А ваш батюшка, Сергей Панфилович, кем был?

— Сергей Леонтьевич,— ласково сказал я.

— Тысячу извинений!— воскликнул Иван Васильевич.— Так он кем был?

«Да не стану я врать»,— подумал я и сказал:

— Он служил вице-губернатором.

Это известие согнало улыбку с лица Ивана Васильевича.

— Так, так, так,— озабоченно сказал он, помолчал, побарабанил и сказал:— Ну-с, приступим.

Я развернул рукопись, кашлянул, обмер, еще раз кашлянул и начал читать.

Я прочел заглавие, потом длинный список действующих лиц и приступил к чтению первого акта: «Огоньки вдали, двор, засыпанный снегом, дверь флигеля. Из флигеля глухо слышен «Фауст», которого играют на рояле...»

Приходилось ли вам когда-либо читать пьесу один на один кому-нибудь? Это очень трудная вещь, уверяю вас. Я изредка поднимал глаза на Ивана Васильевича, вытирал лоб платком.

Иван Васильевич сидел совершенно неподвижно и смотрел на меня в лорнет, не отрываясь. Смучило меня чрезвычайно то обстоятельство, что он ни разу не улыбнулся, хотя уже в первой картине были смешные места. Актеры очень смеялись, слыша их на чтении, а один рассмеялся до слез.

Иван же Васильевич не только не смеялся, но даже перестал кричать. И всякий раз, как я поднимал на него взор, видел одно и то же: уставившийся на меня золотой лорнет и в нем немигающие глаза. Вследствие этого мне стало казаться, что смешные эти места вовсе не смешны.

Так я дошел до конца первой картины и приступил ко второй. В полной тишине слышался только мой монотонный голос, было похоже, что дьячок читает по покойнику.

Мною стала овладевать какая-то апатия и желание закрыть толстую тетрадь. Мне казалось, что Иван Васильевич грозно скажет: «Кончится ли это когда-нибудь?» Голос мой охрип, я изредка прочищал горло кашлем, читал то тенором, то низким басом, раза два вылетели неожиданные петухи, но и они никого не рассмешили — ни Ивана Васильевича, ни меня.

Некоторое облегчение внесло внезапное появление женщины в белом. Она бесшумно вошла, Иван Васильевич быстро посмотрел на часы. Женщина подала Ивану Васильевичу рюмку. Иван Васильевич выпил лекарство, запил его водою из стакана, закрыл его крышечкой и опять поглядел на часы. Женщина поклонилась Ивану Васильевичу древнерусским поклоном и надменно ушла.

— Ну-с, продолжимте,— сказал Иван Васильевич, и я опять начал читать. Далеко прокричала кукушка. Потом где-то за ширмами прозвенел телефон.

— Извините,— сказал Иван Васильевич,— это меня зовут по важнейшему делу из учреждения... Да,— послышался его голос из-за ширм,— да... гм... гм... это все шайка работает. Приказываю держать все это в строжайшем секрете. Вечером у меня будет один верный человек, и мы разработаем план...

Иван Васильевич вернулся, и мы дошли до конца пятой картины. И тут в начале шестой произошло поразительное происшествие. Я уловил ухом, как где-то хлопнула дверь, послышался где-то громкий и, как мне показалось, фальшивый плач, дверь, не та, в которую я вошел, а, по-видимому, ведущая во внутренние покои, распахнулась, и в комнату влетел, надо полагать, осатаневший от страху жирный полосатый кот. Он шархнул мимо меня к тюлевой занавеске, вцепился в нее и полез вверх. Тюль не выдержал его тяжести, и на нем тотчас появились дыры. Продолжая раздирать занавеску, кот долез доверху и оттуда оглянулся с остервенелым видом. Иван Васильевич уронил лорнет, и в комнату вбежала Людмила Сильвестровна Пряхина. Кот, лишь только ее увидел, сделал попытку полезть еще выше, но дальше был потолок. Животное сорвалось с круглого карниза и повисло, закоченев, на занавеске.

Пряхина вбежала с закрытыми глазами, прижав кулак со скомканным и мокрым платком ко лбу, а в другой руке держа платок кружевной, сухой и чистый. Добежав до середины комнаты, она опустилась на одно колено, наклонила голову и руку протянула вперед, как бы пленник, отдающий меч победителю.

— Я не сойду с места,— прокричала визгливо Пряхина,— пока не получу защиты, мой учитель! Пеликан — предатель! Бог все видит, все! Тут тюль хрустнул, и над котом расплылась полуаршинная дыра.

— Брысь!..— вдруг отчаянно крикнул Иван Васильевич и захлопал в ладоши.

Кот сполз с занавески, распоров ее донизу, и выскочил из комнаты, а Пряхина зарыдала громовым голосом и, закрыв глаза руками, вскричала, давась в слезах:

— Что я слышу? Что я слышу? Неужели мой учитель и благодетель гонит меня? Боже, боже!! Ты видишь!!

— Оглянитесь, Людмила Сильвестровна!— отчаянно закричал Иван Васильевич.

И тут еще в дверях появилась старушка, которая крикнула:

— Милочка! Назад! Чужой!..

Тут Людмила Сильвестровна открыла глаза и увидела мой серый костюм в сером кресле. Она выпучила глаза на меня, и слезы, как мне показалось, в мгновение ока высохли на ней. Она вскочила с колен, про-

шептала: «Господи!..» — и кинулась вон. Тут же исчезла и старушка, и дверь закрылась.

Мы помолчали с Иваном Васильевичем. После долгой паузы он побарабанил пальцами по столу.

— Ну-с, как вам понравилось?— спросил он и добавил тоскливо:— Пропала занавеска к черту.

Еще помолчали.

— Вас, конечно, поражает эта сцена?— осведомился Иван Васильевич и закричал.

Закричал и я и заерзал в кресле, решительно не зная, что ответить: сцена меня несколько не поразила. Я прекрасно понял, что это продолжение той сцены, что была в предбаннике, и что Пряхина исполнила свое обещание броситься в ноги Ивану Васильевичу.

— Это мы репетировали, — вдруг сообщил Иван Васильевич, — а вы, наверно, подумали, что это просто скандал? Каково? А?

— Изумительно, — сказал я, пряча глаза.

— Мы любим так иногда внезапно освежить в памяти какую-нибудь сцену... гм... гм... этюды очень важны... А насчет Пеликана вы не верьте. Пеликан — доблестнейший и полезнейший человек!.. — Иван Васильевич поглядел тоскливо на занавеску и сказал:— Ну-с, продолжим!

Продолжить мы не могли, так как вошла та самая старушка, что была в дверях.

— Тетушка моя, Настасья Ивановна, — сказал Иван Васильевич.

Я поклонился. Приятная старушка посмотрела на меня ласково, села и спросила:

— Как ваше здоровье?

— Благодарю вас покорнейше, — кланяясь, ответил я, — я совершенно здоров.

Помолчали, причем тетушка и Иван Васильевич поглядели на занавеску и обменялись горьким взглядом.

— Зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу?

— Леонтий Сергеевич, — отозвался Иван Васильевич, — пьесу мне принес.

— Чью пьесу?— спросила старушка, глядя на меня печальными глазами.

— Леонтий Сергеевич сам сочинил пьесу!

— А зачем?— тревожно спросила Настасья Ивановна.

— Как зачем?.. Гм... гм...

— Разве уж и пьес не стало?— ласково-укоризненно спросила Настасья Ивановна.— Какие хорошие пьесы есть. И сколько их! Начнешь играть — в двадцать лет всех не переиграешь. Зачем же вам тревожиться, сочинять?

Она была так убедительна, что я не нашелся что сказать. Но Иван Васильевич побарабанил пальцами и сказал:

— Леонтий Леонтьевич современную пьесу сочинил!

Тут старушка встревожилась.

— Мы против властей не бунтуем, — сказала она.

— Зачем же бунтовать, — поддержал ее я.

— А «Плоды просвещения» вам не нравятся? — тревожно робко спросила Настасья Ивановна.— А ведь какая хорошая пьеса... и Милочке роль есть... — Она вздохнула, поднялась.— Поклон батюшке, пожалуйста, передайте.

— Батюшка Сергея Сергеевича умер, — сообщил Иван Васильевич.

— Царство небесное, — сказала старушка вежливо, — он, чай, не знает, что вы пьесы сочиняете? А отчего умер?

— Не того доктора пригласили,— сообщил Иван Васильевич,— Леонтий Пафнутьевич мне рассказал эту горестную историю.

— А ваше-то имечко как же, я что-то не пойму,— сказала Настасья Ивановна,— то Леонтий, то Сергей! Разве уж и имена позволяют менять? У нас один фамилию переменял, теперь и разбери-ко, кто он такой!

— Я — Сергей Леонтьевич,— сказал я сиплым голосом.

— Тысячу извинений,— воскликнул Иван Васильевич,— это я спутал!

— Ну, не буду мешать,— отозвалась старушка.

— Кота надо высечь,— сказал Иван Васильевич,— это не кот, а бандит. Нас вообще бандиты одолели,— заметил он интимно,— уж не знаем, что и делать!

Вместе с надвигающимися сумерками наступила и катастрофа.

Я прочитал:

— «Бахтин (*Петрову*): Ну, прощай! Очень скоро ты придешь за мною...

Петров: Что ты делаешь?!

Бахтин стреляет себе в висок, падает. Вдали послышалась гармония...»

— Вот это напрасно!— воскликнул Иван Васильевич.— Зачем это? Это надо вычеркнуть, не медля ни секунды. Помилуйте! Зачем же стрелять?

— Но он должен кончить самоубийством,— кашлянув, ответил я.

— И очень хорошо! Пусть кончает и пусть заколется кинжалом.

— Но, видите ли, дело происходит в гражданскую войну... кинжалы уже не применялись...

— Нет, применялись,— возразил Иван Васильевич,— мне рассказывал этот... как его... забыл... что применялись... Вы вычеркните этот выстрел!..

Я промолчал, совершая грустную ошибку, и прочитал дальше:

— «...моника и отдельные выстрелы. На мосту появился человек с винтовкой в руке. Луна...»

— Боже мой!— воскликнул Иван Васильевич.— Выстрелы! Опять выстрелы! Что за бедствие такое! Знаете что, Лео... Знаете что, вы эту сцену вычеркните, она лишняя.

— Я считал,— сказал я, стараясь говорить как можно мягче,— эту сцену главной... Тут, видите ли...

— Форменное заблуждение!— отрезал Иван Васильевич.— Эта сцена не только не главная, но ее вовсе не нужно. Зачем это? Ваш этот, как его?..

— Бахтин.

— Ну да... ну да, вот он закололся там вдали,— Иван Васильевич махнул рукой куда-то очень далеко,— а приходит другой и говорит матери: «Бехтеев закололся!»

— Но матери нет,— сказал я, ошеломленно глядя на стакан с крышечкой.

— Нужно обязательно! Вы напишите ее. Это нетрудно. Сперва кажется, что трудно: не было матери, и вдруг она есть,— но это заблуждение, это очень легко. И вот старушка рыдает дома, а который принес известие... Назовите его Иванов...

— Но ведь Бахтин герой! У него монологи на мосту... Я полагал...

— А Иванов и скажет все его монологи!.. У вас хорошие монологи, их нужно сохранить. Иванов и скажет: «Вот Петя закололся и перед смертью сказал то-то, то-то и то-то...» Очень сильная сцена будет.

— Но как же быть, Иван Васильевич, ведь у меня же на мосту массовая сцена... там столкнулись массы...

— А они пусть за сценой столкнутся. Мы этого видеть не должны ни в коем случае. Ужасно, когда они на сцене сталкиваются! Ваше счастье, Сергей Леонтьевич,— сказал Иван Васильевич, единственный раз попав правильно,— что вы не изволите знать некоего Мишу Панина! — (Я похолодел.)— Это, я вам скажу, удивительная личность! Мы его держим на черный день, вдруг что-нибудь случится, тут мы его и пустим в ход!.. Вот он нам песочку тоже доставил, удружил, можно сказать,— «Стенька Разин». Я приехал в театр, подъезжаю, издали еще слышу — окна раскрыты — грохот, свист, крики, ругань и палят из ружей! Лошадь едва не понесла, я думал, что бунт в театре. Ужас! Оказывается, что Стриж репетирует! Я говорю Августе Авдеевне: «Вы, говорю, куда же смотрели? Вы, спрашиваю, хотите, чтобы меня расстреляли самого? А ну как Стриж этот спалит театр, ведь меня по головке не погладят, не правда ли-с?» Августа Авдеевна, на что уж доблестная женщина, отвечает: «Казните меня, Иван Васильевич, ничего со Стрижем сделать не могу! Этот Стриж — чума у нас в театре. Вы, если его увидите, за версту от него бегите куда глаза глядят». — (Я похолодел.)— Ну, конечно, это все с благословения некоего Аристарха Платоновича, ну его вы не знаете, слава богу!.. А вы — выстрелы! За эти выстрелы знаете, что может быть? Ну-с, продолжимте.

И мы продолжали, и, когда уже стало темнеть, я осипшим голосом произнес:

— Конец.

И вскоре ужас и отчаяние охватили меня, и показалось мне, что я построил домик и лишь только в него переехал, как рухнула крыша.

— Очень хорошо,— сказал Иван Васильевич по окончании чтения,— теперь вам надо начать работать над этим материалом.

Я хотел вскрикнуть: «Как?!»

Но не вскрикнул.

И Иван Васильевич, все более входя во вкус, стал подробно рассказывать, как работать над этим материалом. Сестру, которая была в пьесе, надлежало превратить в мать. Но так как у сестры был жених, а у пятидесятипятилетней матери (Иван Васильевич тут же окрестил ее Антониной) жениха, конечно, быть не могло, то у меня вылетала из пьесы целая роль, да, главное, которая мне очень нравилась.

Сумерки лезли в комнату. Побывала фельдшерница, и опять принял Иван Васильевич какие-то капли. Потом какая-то сморщенная старушка принесла настольную лампочку, и стал вечер.

В голове у меня начался какой-то кавардак. Стучали молоты в виске. От голода у меня что-то взмывало внутри и перед глазами скашивалась временами комната. Но, главное, сцена на мосту улетала, а с нею улетал и мой герой.

Нет, пожалуй, самым главным было то, что совершается, по-видимому, какое-то недоразумение. Перед моими глазами всплывала вдруг афиша, на которой пьеса уже стояла, в кармане хрустел, как казалось мне, последний непроеденный червонец из числа полученных за пьесу, Фома Стриж как будто стоял за спиной и уверял, что пьесу выпустит через два месяца, а здесь было совершенно ясно, что пьесы вообще никакой нет и что ее нужно сочинить с самого начала и до конца заново. В диком хороводе передо мною танцевали Миша Панин, Евлампия, Стриж, картины из предбанника, но не было пьесы.

Но дальше произошло совсем уже непредвиденное и даже, как мне казалось, немыслимое...

Показав (и очень хорошо показав), как закаляется Бахтин, которого Иван Васильевич прочно окрестил Бехтеевым, он вдруг закричал и повел такую речь:



— Вот вам бы какую пьесу сочинить... Колоссальные деньги можете заработать в один миг... Глубокая психологическая драма... Судьба артистки. Будто бы в некоем царстве живет артистка, и вот шайка врагов ее травит, преследует и жить не дает... А она только воссылает моления за своих врагов...

«И скандалы устраивает»,— вдруг в приливе неожиданной злобы подумал я.

— Богу воссылает моления, Иван Васильевич?

Этот вопрос озадачил Ивана Васильевича. Он покряхтел и ответил:

— Богу?.. Гм... гм... Нет, ни в каком случае. Богу — вы не пишете... Не богу, а... искусству, которому она глубочайше предана. А травит ее шайка злодеев, и подзуживает эту шайку некий волшебник Черномор. Вы напишите, что он в Африку уехал и передал свою власть некоей даме Икс. Ужасная женщина. Сидит за конторкой и на все способна. Сядете с ней чай пить, внимательно смотрите, а то она вам такого сахара положит в чаек...

«Батюшки, да ведь это он про Торопецкую!» — подумал я.

— ...что вы хлебнете, да ноги и протянете. Она да еще ужасный злодей Стриж... то есть я... один режиссер...

Я сидел, тупо глядя на Ивана Васильевича. Улыбка постепенно сползала с его лица, и я вдруг увидел, что глаза у него совсем не ласковые.

— Вы, как видно, упрямый человек,— сказал он весьма мрачно и пожевал губами.

— Нет, Иван Васильевич, но просто я далек от артистического мира и...

— А вы его изучите! Это очень легко. У нас в театре такие персонажи, что только любуйтесь на них. Сразу полтора акта пьесы готовы! Такие расхаживают, что так и ждешь, что он или сапоги из уборной стянет, или финский нож вам в спину всадит.

— Это ужасно,— произнес я большим голосом и тронул висок.

— Я вижу, что вас это не увлекает... Вы человек неподатливый! Впрочем, ваша пьеса тоже хорошая,— молвил Иван Васильевич, пылливо всматриваясь в меня,— теперь только стоит ее сочинить — и все будет готово...

На гнущихся ногах, со стуком в голове я выходил и с озлоблением глянул на черного Островского. Я что-то бормотал, спускаясь по скрипучей деревянной лестнице, и ставшая ненавистной пьеса оттягивала мне руки.

Ветер рванул с меня шляпу при выходе во двор, и я поймал ее в луже. Бабьего лета не было и в помине. Дождь брызгал косыми струями, под ногами хлюпало, мокрые листья срывались с деревьев в саду. Текло за воротник.

Шепча какие-то бессмысленные проклятия жизни, себе, я шел, глядя на фонари, тускло горящие в сетке дождя.

На углу какого-то переулка слабо мерцал огонек в киоске. Газеты, придавленные кирпичами, мокли на прилавке, и неизвестно зачем я купил журнал «Лик Мельпомены» с нарисованным мужчиной в трико в обтяжку, с перышком в шапочке и с наигранными, подрисованными глазами.

Удивительно омерзительной показалась мне моя комната. Я швырнул разбухшую от воды пьесу на пол, сел к столу и придавил висок рукой, чтобы он утих. Другой рукой я отщипывал кусочки черного хлеба и жевал их.

Сняв руку с виска, я стал перелистывать отсыревший «Лик Мельпомены». Видна была какая-то девица в фижмах, мелькнул заголовок

«Обратить внимание», другой — «Распоясавшийся тенор ди грация», и вдруг мелькнула моя фамилия. Я до такой степени удивился, что у меня даже прошла голова. Вот фамилия мелькнула еще и еще, а потом мелькнул и Лопе де Вега. Сомнений не было: передо мною был фельетон «Не в свои сани», и героем этого фельетона был я. Я забыл, в чем была суть фельетона. Помнится смутно, что начинался он:

«На Парнасе было скучно.

— Чтой-то новенького никого нет,— зевая, сказал Жан-Батист Мольер.

— Да, скучновато,— отозвался Шекспир...

Помнится, дальше открывалась дверь и входил я — черноволосый молодой человек с толстейшей драмой под мышкой.

Надо мною смеялись, в этом не было сомнений, смеялись злобно все. И Шекспир, и Лопе де Вега, и ехидный Мольер, спрашивавший меня, не написал ли я чего-либо вроде «Тартюфа», и Чехов, которого я по книгам принимал за деликатнейшего человека, но резвее всех издевался автор фельетона, которого звали Волкодав.

Смешно вспоминать теперь, но озлобление мое было безгранично. Я расхаживал по комнате, чувствуя себя оскорбленным безвинно, напрасно, ни за что ни про что.

Дикие мечтания о том, чтобы застрелить Волкодава, перемежались недоуменными размышлениями о том, в чем же я виноват.

— Это афиша! — шептал я. — Но я разве ее сочинял? Вот тебе! — шептал я, и мне мерещилось, как, заливаясь кровью, передо мною валится Волкодав на пол.

Тут запахло табачным нагаром из трубки, дверь скрипнула, и в комнате оказался Ликоспастов в мокром плаще.

— Читал? — спросил он радостно. — Да, брат, поздравляю, продержули! Ну что ж поделаешь — назвался груздем, полезай в кузов. Я, как увидел, пошел к тебе, надо навестить друга. — И он повесил стоящий колом плащ на гвоздик.

— Кто этот Волкодав? — глухо спросил я.

— А зачем тебе?

— Ах, ты знаешь?..

— Да ведь ты же с ним знаком.

— Никакого Волкодава не знаю!

— Ну как же не знаешь? Я же тебя и познакомил... Помнишь, на улице... еще афиша эта смешная... Софокл...

Тут я вспомнил задумчивого толстяка, глядевшего на мои волосы... «Черные волосы!..»

— Что же я этому сукину сыну сделал? — спросил я запальчиво. Ликоспастов покачал головой.

— Э, брат, нехорошо, не-хо-ро-шо. Тебя, я вижу, гордыня совершенно обуяла. Что же это, уж и слова никто про тебя не смей сказать? Без критики не проживешь.

— Какая это критика?! Он издевается... Кто он такой?

— Он драматург, — ответил Ликоспастов, — пять пьес написал. И славный малый, ты зря злишься. Ну, конечно, обидно ему немного... Всем обидно...

— Да ведь не я же сочинял афишу? Разве я виноват в том, что у них в репертуаре Софокл и Лопе де Вега... и...

— Ты все-таки не Софокл, — злобно усмехнувшись, сказал Ликоспастов. — Я, брат, двадцать пять лет пишу, — продолжал он, — однако вот в Софоклы не попал... — Он вздохнул.

Я почувствовал, что мне нечего говорить в ответ Ликоспастову.

Нечего. Сказать так: «Не попал, потому что ты писал плохо, а я хорошо»? Можно ли так сказать, я вас спрашиваю, можно?

Я молчал, а Ликоспастов продолжал:

— Конечно, в общественности эта афиша вызвала волнение. Меня уже многие расспрашивали. Огорчает афишка-то! Да я, впрочем, не спорить пришел, а, узнав про вторую беду твою, пришел утешить, потолковать с другом...

— Какую такую беду?!

— Да ведь Ивану-то Васильевичу пьеса не понравилась,— сказал Ликоспастов, и глаза его сверкнули,— читал ты, говорят, сегодня?

— Откуда это известно?

— Слухом земля полнится,— вздохнув, сказал Ликоспастов, вообще любивший говорить пословицами и поговорками.

— Ты Настасью Ивановну Колдыбаеву знаешь? — И, не дождавсь моего ответа, продолжал: — Почтенная дама — тетушка Ивана Васильевича. Вся Москва ее уважает, на нее молились в свое время. Знаменитая актриса была! А у нас в доме живет портниха Ступина Анна. Она сейчас была у Настасьи Ивановны, только что пришла. Настасья Ивановна ей рассказывала. Был, говорит, сегодня у Ивана Васильевича новый какой-то, пьесу читал, черный такой, как жук (я сразу догадался, что это ты). Не понравилось, говорит, Ивану Васильевичу. Так-то! А ведь говорил я тебе тогда, помнишь, когда ты читал? Говорил я тебе, что третий акт сделан легковесно, поверхностно сделан, ты извищи, я тебе пользы желаю. Не послушался ведь ты! Ну, а Иван Васильевич, он, брат, дело понимает, от него не скроешься, сразу разобрался. Ну, а раз'ему не нравится, стало быть, пьеска не пойдет. Вот и выходит, что останешься ты с афишкой на руках. Смеяться будут: вот тебе и Еврипид! Да, говорит Настасья Ивановна, что-то ты и надерзил Ивану Васильевичу, расстроил его? Он тебе стал советы подавать, а ты в ответ, говорит Настасья Ивановна,— фырк! фырк! фырк! Ты меня прости, но это слишком! Не по чину берешь! Не такая уж, конечно, ценность (для Ивана Васильевича) твоя пьеса, чтобы фыркать...

— Пойдем в ресторанчик,— тихо сказал я,— не хочется мне дома сидеть... не хочется...

— Понимаю! Ах, как понимаю! — воскликнул Ликоспастов.— С удовольствием. Только вот...— Он беспокойно порылся в бумажнике.

— У меня есть.

Примерно через полчаса мы сидели за запятнанной скатертью у окошка ресторана «Неаполь». Приятный блондин хлопотал, уставляя столик кой-какою закускою, говорил ласково, огурцы называл «огурчики», икру — «икоркой — понимаю», и так от него стало тепло и уютно, что забывалось даже, что на улице беспросветная мгла, и даже перестало казаться, что Ликоспастов — змея.

### ГЛАВА 13

#### Я познаю истину

Ничего нет хуже, товарищи, чем малодушие и неуверенность в себе. Они-то и привели меня к тому, что я стал задумываться: уж не надо ли в самом деле сестру-невесту превратить в мать?

«Не может же в самом деле,— рассуждал я сам с собою,— чтобы он говорил так зря? Ведь он понимает в этих делах!»

И, взяв в руки перо, я стал что-то писать на листе. Сознаюсь откровенно: получилась какая-то белиберда. Самое главное было в том, что я

возненавидел непрошеную мать Антонину настолько, что, как только она появлялась на бумаге, стискивал зубы. Ну, конечно, ничего и выйти не могло. Героев своих надо любить. Если этого не будет, не советую никому братья за перо: вы получите крупнейшую неприятность, так и знайте.

— Так и знайте! — прохрипел я и, изодрав лист в клочья, дал себе слово в театр не ходить. Мучительно трудно было это исполнить. Мне же все-таки хотелось знать, чем это кончится. «Нет, пусть они меня позовут», — думал я.

Одиноко прошел день, прошел другой, три дня, неделя — не зовут. «Видно, прав был негодяй Ликоспастов, — думал я, — не пойдет у них пьеса. Вот тебе афиша и «Сети Фенизы»! Ах, как мне не везет!»

Свет не без добрых людей, скажу я, подражая Ликоспастову. Как-то постучали ко мне в комнату, и вошел Бомбардов. Я обрадовался ему до того, что у меня зачесались глаза.

— Всего этого следовало ожидать, — говорил Бомбардов, сидя на подоконнике и постукивая ногой в паровое отопление, — так и вышло! Ведь я же вас предупредил!

— Но подумайте, подумайте, Петр Петрович! — воскликнул я. — Как же не читать выстрел? Как же его не читать?!

— Ну вот и прочитали! Пожалуйста, — сказал жестко Бомбардов.

— Я не расстанусь со своим героем, — сказал я злобно.

— А вы бы и не расстались...

— Позвольте!

И я, захлебываясь, рассказал Бомбардову про все: и про мать, и про Петю, который должен был завладеть дорогими мне монологами героя, и про кинжал, выведивший меня в особенности из себя.

— Как вам нравятся такие проекты? — запальчиво спросил я.

— Бред, — почему-то оглянувшись, ответил Бомбардов.

— Ну, так!..

— Вот и нужно было не спорить, — тихо сказал Бомбардов, — а отвечать так: «Очень вам благодарен, Иван Васильевич, за ваши указания, я непременно постараюсь их исполнить». Нельзя возражать, понимаете вы или нет? На Сивцевом Вражке не возражают.

— То есть как это?! Никто и никогда не возражает?

— Никто и никогда, — отстукивая каждое слово, ответил Бомбардов, — не возражал, не возражает и возражать не будет.

— Что бы он ни говорил?

— Что бы ни говорил.

— А если он скажет, что мой герой должен уехать в Пензу? Или что эта мать Антонина должна повеситься? Или что она поет контральтовым голосом? Или что эта печка — черного цвета? Что я должен ответить на это?

— Что печка эта черного цвета.

— Какая же она получится на сцене?

— Белая с черным пятном.

— Что-то чудовищное, неслыханное!..

— Ничего, живем, — ответил Бомбардов.

— Позвольте! Неужели же Аристарх Платонович не может ничего ему сказать?

— Аристарх Платонович не может ему ничего сказать, так как Аристарх Платонович не разговаривает с Иваном Васильевичем с тысяча восемьсот восемьдесят пятого года.

— Как это может быть?!

— Они поссорились в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году и с тех пор не встречаются, не говорят друг с другом даже по телефону.

— У меня кружится голова. Как же стоит театр?

— Стоит, как видите, и прекрасно стоит. Они разграничили сферы. Если, скажем, Иван Васильевич заинтересовался вашей пьесой, то к ней уже не подойдет Аристарх Платонович, и наоборот. Стало быть, нет той почвы, на которой они могли бы столкнуться. Это очень мудрая система.

— Господи! И как назло — Аристарх Платонович в Индии. Если бы он был здесь, я бы к нему обратился...

— Гм... — сказал Бомбардов и поглядел в окно.

— Ведь нельзя же иметь дело с человеком, который никого не слушает!

— Нет, он слушает. Он слушает трех лиц: Гавриила Степановича, тетушку Настасью Ивановну и Августу Авдеевну. Вот три лица на земном шаре, которые могут иметь влияние на Ивана Васильевича. Если же кто-либо другой, кроме указанных лиц, вздумает повлиять на Ивана Васильевича, он добьется только того, что Иван Васильевич поступит наоборот.

— Но почему?!

— Он никому не доверяет.

— Но это же страшно!

— У всякого большого человека есть свои фантазии, — примирительно сказал Бомбардов.

— Хорошо. Я понял и считаю положение безнадежным. Раз для того, чтобы пьеса моя пошла на сцене, ее необходимо искорректировать так, что в ней пропадает всякий смысл, то и не нужно, чтобы она шла! Я не хочу, чтобы публика, увидев, как человек двадцатого века, имеющий в руках револьвер, закалывается кинжалом, тыкала бы в меня пальцами.

— Она бы не тыкала, потому что не было бы никакого кинжала. Ваш герой застрелился бы, как и всякий нормальный человек.

Я притих.

— Если бы вы вели себя тихо, — продолжал Бомбардов, — слушались бы советов, согласились бы и с кинжалом, и с Антониной, то не было бы ни того, ни другого. На все существуют свои пути и приемы.

— Какие же это приемы?

— Их знает Миша Панин, — гробовым голосом ответил Бомбардов.

— А теперь, значит, все погибло? — тоскую, спросил я.

— Трудновато, трудновато, — печально ответил Бомбардов.

Прошла еще неделя, из театра не было никаких известий. Рана моя стала постепенно затягиваться, и единственно, что было нестерпимо, это посещение «Вестника пароходства» и необходимость сочинять очерки.

Но вдруг... О, это проклятое слово!.. Уходя навсегда, я уношу в себе несолимый малодушный страх перед этим словом. Я боюсь его так же, как слова «сюрприз», как слов «вас к телефону», «вам телеграмма» или «вас просят в кабинет». Я слишком хорошо знаю, что следует за этими словами.

Итак, вдруг и совершенно внезапно появился в моих дверях Демьян Козьмич, расшаркался и вручил мне приглашение пожаловать завтра в четыре часа дня в театр.

Завтра не было дождя. Завтра был день с крепким осенним заморозком. Стуча каблуками по асфальту, волнуясь, я шел в театр.

Первое, что бросилось мне в глаза, это извозчичья лошадь, раскормленная, как носорог, и сухой старичок на козлах. И, неизвестно почему, я понял мгновенно, что это Дрыкин. От этого я взволновался еще больше. Внутри театра меня поразило некоторое возбуждение, которое сказывалось во всем. У Фили в конторе никого не было, а все его посетители, то есть, вернее, наиболее упрямые из них, толпились во дворе, ежась от холода и изредка заглядывая в окно. Некоторые даже постуки-

вали в окошко, но безрезультатно. Я постучал в дверь, она приоткрылась, мелькнул в щели глаз Баквалина, я услышал голос Филя:

— Немедленно впусти!

И меня впустили. Томящиеся на дворе сделали попытку проникнуть за мною следом, но дверь закрылась. Грохнувшись с лесенки, я был поднят Баквалиным и попал в контору. Филя не сидел на своем месте, а находился в первой комнате. На Филя был новый галстук, как и сейчас помню — с крапинками, Филя был выбрит как-то необыкновенно чисто.

Он приветствовал меня как-то особенно торжественно, но с оттенком некоторой грусти. Что-то в театре совершалось, и что-то (я чувствовал, как чувствует, вероятно, бык, которого ведут на заклинание) важное, в чем я, вообразите, играю главную роль.

Это почувствовалось даже в короткой фразе Филя, которую он направил тихо и повелительно Баквалину:

— Пальто примите!

Поразили меня курьеры и капельдинеры. Ни один из них не сидел на месте, а все они находились в состоянии беспокойного движения, непосвященному человеку совершенно непонятного. Так, Демьян Козьмич рысцой пробежал мимо меня, обгоняя меня, и поднялся в бельэтаж бесшумно. Лишь только он скрылся из глаз, как из бельэтажа выбежал и вниз сбежал Кусков, тоже рысью и тоже пропал. В сумеречном нижнем фойе протрусил Ключкин и неизвестно зачем задернул занавеску на одном из окон, а остальные оставил открытыми и бесследно исчез.

Баквалин пронесся мимо по беззвучному солдатскому сукну и исчез в чайном буфете, а из чайного буфета выбежал Панин и исчез в зрительном зале.

— Наверх, пожалуйста, со мною,— говорил мне Филя, вежливо прощая меня.

Мы шли наверх. Еще кто-то пролетел беззвучно мимо и поднялся в ярус. Мне стало казаться, что вокруг меня бегают тени умерших.

Когда мы безмолвно подходили уже к дверям предбанника, я увидел Демьяна Козьмича, стоящего у дверей. Какая-то фигурка в пиджачке устремилась было к двери, но Демьян Козьмич тихонько взвизгнул и распялся на двери крестом, и фигурка шаркнулась, и ее размыло где-то в сумерках на лестнице.

— Пропустить! — шепнул Филя и исчез.

Демьян Козьмич навалился на дверь, она пропустила меня, и... еще дверь — я оказался в предбаннике, где сумерек не было. У Торопецкой на конторке горела лампа. Торопецкая не писала, а сидела, глядя в газету. Мне она кивнула головою.

А у дверей, ведущих в кабинет дирекции, стояла Менажраки в зеленом джемпере, с бриллиантовым крестиком на шее и с большой связкой блестящих ключей на кожаном лакированном поясе.

Она сказала: «Сюда» — и я попал в ярко освещенную комнату.

Первое, что замечилось: драгоценная мебель карельской березы с золотыми украшениями, такой же гигантский письменный стол и черный Островский в углу. Под потолком пылала люстра, на стенах пылали кенкеты. Тут мне померещилось, что из рам портретной галереи вышли портреты и направились на меня. Я узнал Ивана Васильевича, сидящего на диване перед круглым столиком, на котором стояло варенье в вазочке. Узнал Княжевича, узнал по портретам еще нескольких лиц, в том числе необыкновенной представительности даму в алой блузе, в коричневом, усеянном, как звездами, пуговицами жакете, поверх которого был накинут соболий мех. Маленькая шапочка лихо сидела на седеющих волосах дамы, глаза ее сверкали под черными бровями, и сверкали пальцы, на которых были тяжелые бриллиантовые кольца.

Были, впрочем, в комнате и лица, не вошедшие в галерею. У спинки дивана стоял тот самый врач, что спасал во время припадка Милочку Пряхину, и также держал теперь в руках рюмку, а у дверей стоял с тем же выражением горя на лице буфетчик.

Большой круглый стол в сторонке был накрыт невиданной по белизне скатертью. Огни играли на хрустале и фарфоре, огни мрачно отражались в нарзанных бутылках, мелькнуло что-то красное, кажется, кетовая икра. Большое общество, раскинувшись в креслах, шевельнулось при моем входе, и в ответ мне были отвешены поклоны.

— А! Лео...— начал было Иван Васильевич.

— Сергей Леонтьевич,— быстро вставил Княжевич.

— Да... Сергей Леонтьевич, милости просим! Присаживайтесь, покорнейше прошу!— И Иван Васильевич крепко пожал мне руку.— Не прикажете ли закусить чего-нибудь? Может быть, угодно пообедать или позавтракать? Прошу без церемонии. Мы подождем. Ермолай Иванович у нас кудесник, стоит только сказать ему — и... Ермолай Иванович, у нас найдется что-нибудь пообедать?

Кудесник Ермолай Иванович в ответ на это поступил так: закатил глаза под лоб, потом вернул их на место и послал мне молящий взгляд.

— Или, может быть, какие-нибудь напитки? — продолжал угощать меня Иван Васильевич.— Нарзану? Ситро? Клюквенного морсу? Ермолай Иванович! — сурово сказал Иван Васильевич.— У нас достаточные запасы клюквы? Прошу вас строжайше проследить за этим!

Ермолай Иванович в ответ улыбнулся застенчиво и повесил голову.

— Ермолай Иванович, впрочем... гм... гм... маг. В самое отчаянное время он весь театр поголовно осетриной спас от голоду! Иначе все бы погибли до единого человека. Актеры его обожают!

Ермолай Иванович не возгордился описанным подвигом, напротив, какая-то мрачная тень легла на его лицо.

Ясным, твердым, звучным голосом я сообщил, что и завтракал и обедал, и отказался в категорической форме и от нарзану и от клюквы.

— Тогда, может быть, пирожное? Ермолай Иванович известен на весь мйр своими пирожными!..

Но я еще более звучным и сильным голосом (впоследствии Бомбардов со слов присутствующих изображал меня, говоря: «Ну и голос, говорят, у вас был!» — «А что?» — «Хриплый, злобный, тонкий...») отказался и от пирожных.

— Кстати, о пирожных,— вдруг заговорил бархатным басом необыкновенно изящный, прекрасно одетый и причесанный блондин, сидящий рядом с Иваном Васильевичем,— помнится, как-то мы собрались у Пручевина. И приезжает сюрпризом великий князь Максимилиан Петрович. Мы обохотались... Вы Пручевина ведь знаете, Иван Васильевич? Я вам потом расскажу этот комический случай.

— Я знаю Пручевина,— ответил Иван Васильевич,— величайший жулик. Он родную сестру донага раздел... Ну-сі..

Тут дверь впустила еще одного человека, не входящего в галерею, именно Мишу Панина. «Да, он застрелил...» — подумал я, глядя на лицо Миши.

— А! Почтеннейший Михаил Алексеевич! — вскричал Иван Васильевич, простирая руки вошедшему.— Милости просим! Пожалуйте в кресло. Позвольте вас познакомить,— отнесся Иван Васильевич ко мне,— это наш драгоценный Михаил Алексеевич, исполняющий у нас важнейшие функции. А это...

— Сергей Леонтьевич! — весело вставил Княжевич.

— Именно он!

Не говоря ничего о том, что мы уже знакомы, и не отказываясь от этого знакомства, мы с Мишей просто пожали руки друг друга.

— Ну-с, приступим! — объявил Иван Васильевич, и все глаза уставились на меня, отчего меня передернуло. — Кто желает высказаться? Ипполит Павлович!

Тут необыкновенно представительный и с большим вкусом одетый человек с кудрями вороного крыла вдел в глаз монокль и устремил на меня свой взор. Потом налил себе нарзану, выпил стакан, вытер рот шелковым платком, поколебался — выпить ли еще, — выпил второй стакан и тогда заговорил. У него был чудесный, мягкий, наигранный голос, убедительный и прямо доходящий до сердца.

— Ваш роман, Л... Сергей Леонтьевич? Не правда ли? Ваш роман очень, очень хорош... В нем... э... как бы выразиться? — тут оратор покосился на большой стол, где стояли нарзанные бутылки, и тотчас Ермолай Иванович просеменил к нему и подал ему свежую бутылку, — исполнен психологической глубины, необыкновенно верно очерчены персонажи... э... что же касается описаний природы, то в них вы достигли, я бы сказал, почти тургеневской высоты! — Тут нарзан вскипел в стакане, и оратор выпил третий стакан и одним движением брови выбросил монокль из глаза. — Эти, — продолжал он, — описания южной природы... э... звездные ночи, украинские... потом шумящий Днепр... э... как выразился Гоголь... э... Чуден Днепр, как вы помните... а запахи акации... все это сделано у вас мастерски...

Я оглянулся на Мишу Панина — тот съежился затравленно в кресле, и глаза его были страшны.

— В особенности... э... впечатляет это описание роши... серебристых тополей... вы помните?

— У меня до сих пор в глазах эти картины ночи на Днепре, когда мы ездили в поездку, — сказала контральто дама в соболях.

— Кстати, о поездке, — отозвался бас рядом с Иваном Васильевичем и посмеялся, — преппикантный случай вышел тогда с генерал-губернатором Дукасовым. Вы помните его, Иван Васильевич?

— Помню. Страшнейший обжора! — отозвался Иван Васильевич. — Но продолжайте.

— Ничего, кроме комплиментов... э... э... по адресу вашего романа сказать нельзя... но... вы меня простите... сцена имеет свои законы.

Иван Васильевич ел варенье, с удовольствием слушая речь Ипполита Павловича.

— Вам не удалось в вашей пьесе передать весь аромат вашего юга, этих знойных ночей. Роли оказались психологически недочерченными, что в особенности сказалось на роли Бахтина... — Тут оратор почему-то очень обиделся, даже попытался губами. — П... п... и я... э... э... не знаю. — Оратор похлопал ребрышком монокля по тетрадке, и я узнал в ней мою пьесу. — Ее играть нельзя... простите, — уже совсем обиженно закончил он, — простите!

Тут мы встретились взорами, и в моем говоривший прочитал, я полагаю, злобу и изумление.

Дело в том, что в романе моем не было ни акаций, ни серебристых тополей, ни шумящего Днепра, ни... словом, ничего этого не было.

«Он не читал! Он не читал моего романа, — гудело у меня в голове, — а между тем позволяет себе говорить о нем? Он плетет что-то про украинские ночи... Зачем они меня сюда позвали?!»

— Кто еще желает высказаться? — бодро спросил, оглядывая всех, Иван Васильевич.

Наступило натянутое молчание. Высказываться никто не пожелал. Только из угла донесся голос:



— Эхо-хо...

Я повернул голову и увидел в углу полного пожилого человека в темной блузе. Его лицо мне смутно припомнилось на портрете... Глаза его глядели мягко, лицо вообще выражало скуку, давнюю скуку. Когда я глянул, он отвел глаза.

— Вы хотите сказать, Федор Владимирович? — отнесся к нему Иван Васильевич.

— Нет,—ответил тот.

Молчание приобрело странный характер.

— А может быть, вам что-нибудь угодно?.. — обратился ко мне Иван Васильевич.

Вовсе не звучным, вовсе не бодрым, вовсе не ясным — я и сам это понимаю — голосом я сказал так:

— Насколько я понял, пьеса моя не подошла, и я прошу вернуть мне ее.

Эти слова вызвали почему-то волнение. Кресла задвигались, ко мне наклонился кто-то из-за спины и сказал:

— Нет, зачем же так говорить! Виноват!

Иван Васильевич посмотрел на варенье, а потом изумленно на окружающих.

— Гм... гм... — И он забарабанил пальцами. — Мы дружественно говорим, что играть вашу пьесу — это значит причинить вам ужасный вред! Ужасающий вред! В особенности если за нее примется Фома Стриж. Вы сами жизни будете не рады и нас проклянете...

После паузы я сказал:

— В таком случае я прошу вернуть ее мне.

И тут я отчетливо прочел в глазах Ивана Васильевича злобу.

— У нас договорчик, — вдруг раздался голос откуда-то, и тут из-за спины врача показалось лицо Гавриила Степановича.

— Но ведь ваш театр ее не хочет играть, зачем же вам она?

Тут ко мне придвинулось лицо с очень живыми глазами в пенсне, высокий тенорок сказал:

— Неужели же вы ее понесете в театр Шлиппе? Ну что они там наиграют? Ну, будут ходить по сцене бойкие офицерики. Кому это нужно?

— На основании существующих законоположений и разъяснений ее нельзя давать в театр Шлиппе, у нас договорчик! — сказал Гавриил Степанович и вышел из-за спины врача.

«Что происходит здесь? Чего они хотят?» — подумал я и страшное удушье вдруг ощутил в первый раз в жизни.

— Простите,— глухо сказал я, — я не понимаю. Вы играть ее не хотите, а между тем говорите, что в другой театр я ее отдать не могу. Как же быть?

Слова эти произвели удивительное действие. Дама в соболях обменялась оскорбленным взглядом с басом на диване. Но страшнее всех было лицо Ивана Васильевича. Улыбка слетела с него, в упор на меня смотрели злые, огненные глаза.

— Мы хотим спасти вас от страшного вреда! — сказал Иван Васильевич. — От вернейшей опасности, карающей вас за углом.

Опять наступило молчание и стало настолько томительным, что вынести его больше уж было невозможно.

Поковыряв немного обивку на кресле пальцем, я встал и расклянчился. Мне ответили поклоном все, кроме Ивана Васильевича, глядевшего на меня с изумлением. Боком я добрался до двери, споткнулся, вышел, поклонился Торопецкой, которая одним глазом глядела в «Известия», а другим на меня, Августе Менажраки, принявшей этот поклон сурово, и вышел.

Театр тонул в сумерках. В чайном буфете появились белые пятна — столики накрывались к спектаклю. Дверь в зрительный зал была открыта, я задержался на несколько мгновений и глянул. Сцена была раскрыта вся, вплоть до кирпичной дальней стены. Сверху спускалась зеленая беседка, обвитая плющом, сбоку в громадные открытые ворота рабочие, как муравьи, вносили на сцену белые колонны.

Через минуту меня уже не было в театре.

Ввиду того, что у Бомбардова не было телефона, я послал ему в тот же вечер телеграмму такого содержания: «Приходите поминки. Без вас сойду с ума не понимаю».

Эту телеграмму у меня не хотели принимать и приняли лишь после того, как я пригрозил пожаловаться в «Вестник пароходства».

Вечером на другой день мы сидели с Бомбардовым за накрытым столом. Упоминаемая мною раньше жена мастера внесла блины.

Бомбардову понравилась моя мысль устроить поминки, понравилась и комната, приведенная в полный порядок.

— Я теперь успокоился,— сказал я после того, как мой гость утолил первый голод,— и желаю только одного: знать, что это было? Меня просто терзает любопытство. Таких удивительных вещей я еще никогда не видел.

Бомбардов в ответ похвалил блины, оглядел комнату и сказал:

— Вам бы нужно жениться, Сергей Леонтьевич. Жениться на какой-нибудь симпатичной, нежной женщине или девице.

— Этот разговор уже описан Гоголем,— ответил я,— не будем же повторяться. Скажите мне, что это было?

Бомбардов пожал плечами.

— Ничего особенного не было, было совещание Ивана Васильевича со старейшинами театра.

— Так-с. Кто эта дама в соболях?

— Маргарита Петровна Таврическая, артистка нашего театра, входящая в группу старейших, или основоположников. Известна тем, что покойный Островский в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году, поглядев на игру Маргариты Петровны — она дебютировала, — сказал: «Очень хорошо».

Далее я узнал у моего собеседника, что в комнате были исключительно основоположники, которые были созданы экстреннейшим образом на заседание по поводу моей пьесы, и что Дрыкина известили накануне, и что он долго чистил коня и мыл пролетку карболкой.

Спросивши о рассказчике про великого князя Максимилиана Петровича и обжору генерал-губернатора, узнал, что это самый молодой из основоположников.

Нужно сказать, что ответы Бомбардова отличались явной сдержанностью и осторожностью. Заметив это, я постарался нажать своими вопросами так, чтобы добиться все-таки от моего гостя не одних формальных и сухих ответов вроде «родился тогда-то, имя и отчество такое-то», а кое-каких характеристик. Меня до глубины души интересовали люди, собравшиеся тогда в комнате дирекции. Из их характеристик должно было сплестись, как я полагал, объяснение их поведения на этом загадочном заседании.

— Так этот Горностаев (рассказчик про генерал-губернатора) актер хороший? — спросил я, наливая вина Бомбардову.

— Угу-у,— ответил Бомбардов.

— Нет, угу-у — это мало. Ну, вот, например, насчет Маргариты Петровны известно, что Островский сказал: «Очень хорошо». Вот уж и какая-то зазубринка! А что ж — угу-у! Может, Горностаев чем-нибудь себя прославил?

Бомбардов кинул исподтишка на меня настороженный взгляд, помямлил как-то:

— Что бы вам по этому поводу сказать?.. Гм... — и, осушив свой стакан, сказал: — Да вот недавно совершенно Горностаев поразил всех тем, что с ним чудо произошло... — И тут начал поливать блин маслом и так долго поливал, что я воскликнул:

— Ради бога, не тяните!

— Прекрасное вино «напареули», — все-таки вклеил Бомбардов, испытывая мое терпение, и продолжал так: — Было это дельце четыре года тому назад, раннюю весною, и, как сейчас помню, был тогда Герасим Николаевич как-то особенно весел и возбужден. Не к добру, видно, веселился человек! Планы какие-то строил, порывался куда-то, даже помолодел. А он, надо вам сказать, театр любит страстно. Помню, все говорил тогда: «Эх, отстал я несколько, раньше я, бывало, следил за театральной жизнью Запада, каждый год ездил, бывало, за границу, ну и, натурально, был в курсе всего, что делается в театре в Германии, во Франции. Да что Франция. Даже, вообразите, в Америку с целью изучения театральных достижений заглядывал». — «Так вы, — говорят ему, — подайте заявление, да и съездите». Усмехнулся мягкой такой улыбкой. «Ни в коем случае, отвечает, не такое теперь время, чтобы заявления подавать. Неужели я допущу, чтобы из-за меня государство тратило ценную валюту? Лучше пусть инженер какой-нибудь съездит или хозяйственник».

Крепкий, настоящий человек! Нуте-с... — Бомбардов поглядел сквозь вино на свет лампочки, еще раз похвалил вино. — Нуте-с, проходит месяц, настала уж настоящая весна. Тут и разыгралась беда. Приходит раз Герасим Николаевич к Августе Авдеевне в кабинет. Молчит. Та посмотрела на него, видит, что на нем лица нет, бледен, как салфетка, в глазах траур. «Что с вами, Герасим Николаевич?» — «Ничего, отвечает, не обращайтесь внимания». Подошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу, стал насвистывать что-то очень печальное и знакомое до ужаса. Вслушалась, оказалось — траурный марш Шопена. Не выдержала, сердце у нее по человечеству заныло, пристала: «Что такое? В чем дело?» Повернулся к ней, криво усмехнулся и говорит: «Поклянитесь, что никому не скажете!» Та, натурально, немедленно поклялась. «Я сейчас был у доктора, и он нашел, что у меня саркома легкого». Повернулся и вышел.

— Да, это штука... — тихо сказал я, и на душе у меня стало скверно.

— Что говорить! — подтвердил Бомбардов. — Ну-с, Августа Авдеевна немедленно под клятвой это — Гавриилу Степановичу, тот — Ипполиту Павловичу, тот — жене, жена — Евлампии Петровне. Короче говоря, через два часа даже подмастерья в портновском цехе знали, что Герасима Николаевича художественная деятельность кончилась и что венки хоть сейчас можно заказывать. Актеры в чайном буфете через три часа уже толковали, кому передадут роли Герасима Николаевича.

Августа Авдеевна тем временем за трубку — и к Ивану Васильевичу. Ровно через три дня звонит Августа Авдеевна к Герасиму Николаевичу и говорит: «Сейчас приеду к вам». И точно, приезжает. Герасим Николаевич лежит на диване в китайском халате, как смерть сама бледен, но горд и спокоен.

Августа Авдеевна — женщина деловая, и прямо на стол красную книжку и чек — бряк! Герасим Николаевич вздрогнул и сказал: «Вы недобрые люди. Ведь я не хотел этого. Какой смысл умирать на чужбине?» Августа Авдеевна — стойкая женщина и настоящий секретарь! Слова умирающего она пропустила мимо ушей и крикнула: «Фаддей!» А Фад-

дей — верный, преданный слуга Герасима Николаевича. И тотчас Фаддей появился.

«Поезд идет через два часа. Плед Герасиму Николаевичу! Белье! Чемодан! Несессер! Машина будет через сорок минут». Обреченный только вздохнул, махнул рукой.

Есть где-то, не то в Швейцарии на границе, не то не в Швейцарии — словом, в Альпах... — Бомбардов потер лоб, — словом, неважно. На высоте трех тысяч метров над уровнем моря высокогорная лечебница мировой знаменитости профессора Кли. Ездят туда только в отчаянных случаях: или пан, или пропал. Хуже не будет, а бывает, случались чудеса. На открытой веранде, в виду снеговых вершин, кладет Кли таких безнадежных, делает им какие-то впрыскивания саркомотеки, заставляет дышать кислородом, и случалось, Кли на год удавалось оттянуть смерть.

Через пятьдесят минут провезли Герасима Николаевича мимо театра по его желанию, и Демьян Козьмич рассказывал потом, что видел, как тот поднял руку и благословил театр, а потом машина ушла на Белорусско-Балтийский вокзал.

Тут лето наскочило, и пронесся слух, что Герасим Николаевич скончался. Ну, посудачили, посочувствовали... Однако летом актеры уж были на отлете, у них поездка начиналась... так что уж очень большой скорби как-то не было... Ждали, что вот привезут тело Герасима Николаевича... Актеры тем временем разъехались, сезон кончился. А надо вам сказать, что наш Плисов...

— Это тот симпатичный, с усами, — спросил я, — который в галерее?

— Именно он, — подтвердил Бомбардов и продолжал: — Так вот он получил командировку в Париж для изучения театральной машинерии. Немедленно, натурально, получил документы и отчалил. Плисов, надо вам сказать, работяга потрясающий и в свой поворотный круг буквально влюблен. Завидовали ему чрезвычайно. Каждому лестно в Париж съездить... «Вот счастливец!» — все говорили. Счастливец он или не счастливец, но взял документы и покатыл в Париж как раз в то время, как пришло известие о кончине Герасима Николаевича. Плисов — личность особенная, и ухитрился, пробыв в Париже, не увидеть даже Эйфелевой башни. Энтузиаст. Все время просидел в тюмах под сценами, все изучал, что надобно, купил фонари, все честно исполнил. Наконец нужно уж ему и уезжать. Тут решил пройтись по Парижу, хоть глянуть-то на него перед возвращением на родину. Ходил, ходил, ездил в автобусах, объясняясь по преимуществу мычанием, и наконец проголодался, как зверь, заехал куда-то, черт его знает куда! «Дай, думает, зайду в ресторанчик, перекушу». Входит — огни. Чувствует, что где-то не в центре, все, по-видимому, недорого. Входит. Действительно, ресторанчик средней руки. Смотрит — и как стоял, так и застыл.

Сидит за столиком в смокинге, в петлице бутоньерка, покойный Герасим Николаевич, и с ним какие-то две француженки, причем последние прямо от хохоту давятся. А перед ними на столе в вазе со льдом бутылка шампанского и кой-что из фруктов.

Плисов прямо покачнулся у притолоки. «Не может быть! — думает. — Мне показалось. Не может Герасим Николаевич быть здесь и хохотать. Он может быть только в одном месте — на Новодевичьем!»

Стоит, вытарашив лицо на этого, жутко похожего на покойника, а тот поднимается, причем лицо его выразило сперва какую-то как бы тревогу, Плисову даже показалось, что он как бы недоволен его появлением, но потом выяснилось, что Герасим Николаевич просто изумился. И тут же шепнул Герасим Николаевич, а это был именно он, что-то своим француженкам, и те исчезли внезапно.

Очнулся Плисов лишь тогда, когда Герасим Николаевич облобызал его. И тут же все разъяснилось. Плисов только вскрикивал: «Да ну!» — слушая Герасима Николаевича. Ну, и действительно чудеса.

Привезли Герасима Николаевича в Альпы эти самые в таком виде, что Кли покачал головой и сказал только «гм...». Ну, положили Герасима Николаевича на эту веранду. Впрыснули этот препарат. Кислородную подушку. Вначале больному стало хуже, и хуже настолько, что, как потом признались Герасиму Николаевичу, у Кли насчет завтрашнего дня появились самые неприятные предположения, ибо сердце сдало. Однако завтрашний день прошел благополучно. Повторили впрыскивание. Послезавтрашний день еще лучше. А дальше — прямо не верится. Герасим Николаевич сел на кушетке, а потом говорит: «Дай-ко я пройду». Не только у ассистентов, но у самого Кли глаза стали круглые. Коротко говоря, еще через день Герасим Николаевич ходил по веранде, лицо порозовело, появился аппетит... температура 36,8, пульс нормальный, болей нет и следа.

Герасим Николаевич рассказывал, что на него ходили смотреть из окрестных селений. Врачи приезжали из городов, Кли доклад делал, кричал, что такие случаи бывают раз в тысячу лет. Хотели портрет Герасима Николаевича поместить в медицинских журналах, но он наотрез отказался: «Не люблю шумихи».

Кли же тем временем говорит Герасиму Николаевичу, что делать ему больше в Альпах нечего и что он посылает Герасима Николаевича в Париж для того, чтобы он там отдохнул от пережитых потрясений. Ну вот Герасим Николаевич и оказался в Париже. А француженки, объяснил Герасим Николаевич, — это двое молодых местных парижских начинающих врачей, которые собирались о нем писать статью. Вот-с какие дела!

— Да, это поразительно, — заметил я, — я все-таки не понимаю, как же это он выкрутился?

— В этом-то и есть чудо, — ответил Бомбардов, — оказывается, что под влиянием первого же впрыскивания саркома Герасима Николаевича начала рассасываться и рассосалась.

Я всплеснул руками.

— Скажите! — вскричал я. — Ведь этого никогда не бывает!

— Раз в тысячу лет бывает, — отнесся Бомбардов и продолжал: — Но погодите, это не все. Осенью приехал Герасим Николаевич в новом костюме, поправившийся, загоревший — его парижские врачи после Парижа еще на океан послали. В чайном буфете прямо гроздьями наши висели на Герасиме Николаевиче, слушая его рассказы про океан. Париж, альпийских врачей и прочее такое. Ну, пошел сезон, как обычно: Герасим Николаевич играл, и пристойно играл, и тянулось так до марта... А в марте вдруг приходит Герасим Николаевич на репетицию «Леди Макбет» с палочкой. «Что такое?» — «Ничего, колет почему-то в пояснице». Ну, колет и колет. Поколет — перестанет. Однако не перестает. Дальше — больше... Синим светом — не помогает... Бессонница, спать на спине не может. Начал худеть на глазах. Пантопон. Не помогает! Ну, к доктору, конечно. И вообразите...

Бомбардов сделал умело паузу и такие глаза, что холод прошел у меня по спине.

— И вообразите... доктор посмотрел его, помял, помигал... Герасим Николаевич говорит ему: «Доктор, не тяните, я не баба, видал виды... говорите — она?» Она!! — рявкнул хрипло Бомбардов и залпом выпил стакан. — Саркома возобновилась! Бросилась в правую почку, начала пожирать Герасима Николаевича! Натурально — сенсация. Репетиции к черту, Герасима Николаевича — домой. Ну, на сей раз уж было легче.

Теперь уж есть надежда. Опять в три дня паспорт, билет в Альпы, к Кли. Тот встретил Герасима Николаевича, как родного. Еще бы! Рекламу сделала саркома Герасима Николаевича профессору мировую! Опять на веранду, опять впрыскивание — и та же история! Через сутки боль утихла, через двое Герасим Николаевич ходит по веранде, а через три — просится у Кли: нельзя ли ему в теннис поиграть? Что в лечебнице творится — уму непостижимо. Больные едут к Кли эшелонами! Рядом второй, как рассказывал Герасим Николаевич, корпус начали пристраивать. Кли, на что сдержанный иностранец, расцеловался с Герасимом Николаевичем троекратно и послал его, как полагается, отдыхать, только на сей раз в Ниццу, потом в Париж, а потом в Сицилию.

И опять приехал осенью Герасим Николаевич — мы как раз вернулись из поездки в Донбасс — свежий, бодрый, здоровый, только костюм другой, в прошлую осень был шоколадный, а теперь серый в мелкую клетку. Дня три рассказывал о Сицилии и о том, как буржуа в рулетку играют в Монте-Карло. Говорит, что отвратительное зрелище. Опять сезон, и опять к весне та же история, но только в другом месте. Рецидив, но только под левым коленом. Опять — Кли, потом — на Мадейру, потом, в заключение, — Париж.

Но теперь уж волнений по поводу вспышек саркомы почти не было. Всем стало понятно, что Кли нашел способ спасения. Оказалось, что с каждым годом под влиянием впрыскиваний устойчивость саркомы понижается, и Кли надеется и даже уверен в том, что еще три-четыре сезона — и организм Герасима Николаевича станет сам справляться с попытками саркомы дать где-нибудь вспышку. И действительно, в позапрошлом году она сказала только легкими болями в гайморовой полости и тотчас у Кли пропала. Но теперь уж за Герасимом Николаевичем строжайшее и неослабное наблюдение, и есть боли или нет — но уж в апреле его отправляют.

— Чудо! — сказал я, вздохнув почему-то.

Меж тем пир наш шел горой, как говорится, затуманились головы от «напареули», пошла беседа и живее и, главное, откровеннее. «Ты очень интересный, наблюдательный, злой человек, — думал я о Бомбардове, — и нравишься мне чрезвычайно, но ты хитер и скрытен, и таким сделала тебя твоя жизнь в театре...»

— Не будьте таким! — вдруг попросил я моего гостя. — Скажите мне, ведь сознаюсь вам: мне тяжело... Неужели моя пьеса так плоха?

— Ваша пьеса, — сказал Бомбардов, — хорошая пьеса. И точка.

— Почему же, почему же произошло все это странное и страшное для меня в кабинете? Пьеса не понравилась им?

— Нет, — сказал Бомбардов твердым голосом, — наоборот. Все произошло именно потому, что она им понравилась. И понравилась чрезвычайно.

— Но Ипполит Павлович...

— Больше всего она понравилась именно Ипполиту Павловичу, — тихо, но веско, отдельно проговорил Бомбардов, и я уловил, так показалось мне, у него в глазах сочувствие.

— С ума можно сойти... — прошептал я.

— Нет, не надо сходить. Просто вы не знаете, что такое театр. Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего...

— Говорите! Говорите! — вскричал я и встал за голову.

— Пьеса понравилась до того, что вызвала даже панику, — начал говорить Бомбардов. — отчего все и стряслось. Лишь только с нею познакомились, а старейшины узнали про нее, тотчас наметили даже распределение ролей. На Бахтина назначили Ипполита Павловича, Петрова задумали дать Валентину Конрадовичу.

— Какому... Вал... это который...

— Ну да... он.

— Но позвольте! — даже не закричал, а заорал я. — Ведь...

— Ну да, ну да, — проговорил, очевидно, понимавший меня с полуслова Бомбардов, — Ипполиту Павловичу — шестьдесят один год, Валентину Конрадовичу — шестьдесят два года... Самому старшему вашему герою, Бахтину, сколько лет?

— Двадцать восемь!

— Вот-вот. Нуте-с, как только старейшинам разослали экземпляры пьесы, то и передать вам нельзя, что произошло. Не бывало у нас этого в театре за все пятьдесят лет его существования. Они просто все обиделись.

— На кого? На распределение ролей?

— Нет. На автора.

Мне оставалось только выпучить глаза, что я и сделал, а Бомбардов продолжал:

— На автора. В самом деле — группа старейшин рассуждала так: мы играем, жаждем ролей, мы, основоположники, рады были бы показать все наше мастерство в современной пьесе и... здравствуйте, пожалуйста! Приходит серый костюм и приносит пьесу, в которой действуют мальчишки! Значит, играть мы ее не можем?! Это что же он, в шутку ее принес?! Самому младшему из основоположников — пятьдесят семь лет, Герасиму Николаевичу!

— Я вовсе не претендую, чтобы мою пьесу играли основоположники! — заорал я. — Пусть ее играют молодые!

— Ишь ты, как ловко! — воскликнул Бомбардов и сделал сатанинское лицо. — Пусть, стало быть, Аргунин, Галин, Елагин, Благодетель, Стренковский выходят, кланяются. Bravo! Бис! Ура! Смотрите, люди добрые, как мы замечательно играем! А основоположники, значит, будут сидеть и растерянно улыбаться — значит, мол, мы не нужны уже? Значит, нас уж, может, в богадельню? Хи-хи-хи! Ловко! Ловко!

— Все понятно! — стараясь кричать тоже сатанинским голосом, закричал я. — Все понятно!

— Что ж тут не понять! — отрезал Бомбардов. — Ведь Иван Васильевич сказал же вам, что нужно невесту переделать в мать, тогда играла бы Маргарита Петровна или Настасья Ивановна...

— Настасья Ивановна?!

— Вы не театральный человек, — с оскорбительной улыбкой отозвался Бомбардов, но за что оскорблял, не объяснил.

— Одно только скажите, — пылко заговорил я, — кого они хотели назначить на роль Анны?

— Естественно, Людмилу Сильвестровну Пряхину.

Тут почему-то бешенство овладело мною.

— Что-о? Что такое?! Людмилу Сильвестровну?! — Я вскочил из-за стола. — Да вы смеетесь!

— А что такое? — с веселым любопытством спросил Бомбардов.

— Сколько ей лет?

— А вот этого, извините, никто не знает.

— Анне — девятнадцать лет! Девятнадцать! Понимаете? Но это даже не самое главное! А главное то, что она не может играть!

— Анну-то?

— Не Анну, а вообще ничего не может!

— Позвольте!

— Нет, позвольте! Актриса, которая хотела изобразить плач угнетенного и обиженного человека и изобразила его так, что кот спятил и изодрал занавеску, играть ничего не может.

— Кот — болван, — наслаждаясь моим бешенством, отозвался Бомбардов, — у него ожирение сердца, миокардит и неврастения. Ведь он же целыми днями сидит на постели, людей не видит, ну, натурально, испугался.

— Кот — неврастеник, я согласен! — кричал я. — Но у него правильное чутье, и он прекрасно понимает сцену. Он услышал фальшь! Понимаете, омерзительную фальшь! Он был шокирован! Вообще, что означала вся эта петрушка?

— Накладка вышла, — пояснил Бомбардов.

— Что значит это слово?

— Накладкой на нашем языке называется всякая путаница, которая происходит на сцене. Актер вдруг в тексте ошибется, или занавес не вовремя закроют, или...

— Понял, понял...

— В данном случае наложили двое — и Августа Авдеевна и Настасья Ивановна. Первая, пуская вас к Ивану Васильевичу, не предупредила Настасью Ивановну о том, что вы будете. А вторая — перед тем, как пускать Людмилу Сильвестровну на выход, не проверила, есть ли кто у Ивана Васильевича. Хотя, конечно, Августа Авдеевна меньше виновата — Настасья Ивановна за грибами ездила в магазин...

— Понятно, понятно, — говорил я, стараясь выдать из себя мефистофельский смех, — все решительно понятно! Так вот, не может ваша Людмила Сильвестровна играть.

— Позвольте! Москвичи утверждают, что она играла прекрасно в свое время...

— Врут ваши москвичи! — вскричал я. — Она изображает плач и горе, а глаза у нее злятся! Она подтанцовывает и кричит: «Бабье лето!» — а глаза у нее спокойные! Она смеется, а у слушателя мурашки в спине, как будто ему нарзану за рубашку налили! Она не актриса!

— Однако! Она тридцать лет изучает знаменитую теорию Ивана Васильевича о воплощении!

— Не знаю этой теории! По-моему, теория ей не помогла!

— Вы, может быть, скажете, что и Иван Васильевич не актер?

— А нет, нет! Лишь только он показал, как Бахтин закололся, я ахнул: у него глаза мертвые сделались! Он упал на диван, и я увидел зарезавшегося. Сколько можно судить по этой краткой сцене, а судить можно, как можно великого певца узнать по одной фразе, слетой им, — он величайшее явление на сцене! Я только решительно не мог понять того, что он говорит по содержанию пьесы.

— Все мудро говорит!

— Кинжал!!

— Поймите, что лишь только вы сели и открыли тетрадь, он уже перестал слушать вас. Да, да. Он соображал, как распределить роли, как сделать так, чтобы разместить основоположников, как сделать так, чтобы они могли разыграть вашу пьесу без ущерба для себя... А вы выстрелы там какие-то читаете. Я служу в нашем театре десять лет, и мне говорили, что единственный раз выстрелили в нашем театре в тысяча девятьсот первом году, и то крайне неудачно. В пьесе этого... вот забыл... известный автор... ну, неважно... словом, двое нервных героев ругались между собою из-за наследства, ругались, ругались, пока один из них хлопнул в другого из револьвера, и то мимо... Ну, пока шли простые репетиции, помощник изображал выстрел, хлопая в ладоши, а на генеральной выстрелил в кулисе по-всамделишному. Ну, Настасья Ивановна и сделалось дурно — она ни разу в жизни не слыхала выстрела, а Людмила Сильвестровна закатила истерику. И с тех пор выстрелы прекратились. В пьесе сделали изменение, герой не стрелял, а замахивался



лейкой и кричал: «Убью тебя, негодяя!» — и топал ногами, отчего, по мнению Ивана Васильевича, пьеса только выиграла. Автор бешено обиделся на театр и три года не разговаривал с директором, но Иван Васильевич остался тверд...

По мере того, как текла хмельная ночь, порывы мои ослабевали, и я уже не шумно возражал Бомбардову, а больше задавал вопросы. Во рту горел огонь после соленой красной икры и семги, мы утоляли жажду чаем. Комната, как молоком, наполнилась дымом, из открытой форточки била струя морозного воздуха, но она не освежала, а только холодила.

— Вы скажите мне, скажите,—просил я глухим, слабым голосом,— зачем же в таком случае, если пьеса никак не расходится у них, они не хотят, чтобы я отдал ее в другой театр? Зачем она им? Зачем?

— Хорошенькое дело! Как зачем? Очень интересно нашему театру, чтобы рядом поставили новую пьесу, да которая, по-видимому, может иметь успех? С какой стати! Да ведь вы же написали в договоре, что не отдадите пьесу в другой театр?

Тут у меня перед глазами запрыгали бесчисленные огненно-зеленые надписи «Автор не имеет права» и какие-то слова «буде»... и хитрые фигурки параграфов, вспомнился кожаный кабинет, показалось, что запахло духами.

— Будь он проклят! — прохрипел я.

— Кто?!

— Будь он проклят! Гавриил Степанович!

— Орел! — воскликнул Бомбардов, сверкая воспаленными глазами.

— И ведь какой тихий и все о душе говорит!..

— Заблуждение, бред, чепуха, отсутствие наблюдательности! — вскрикивал Бомбардов, глаза его пылали, пылала папираса, дым валил у него из ноздрей.— Орел. кондор! Он на скале сидит, видит на сорок километров кругом. И лишь покажется точка, шевельнется, он взвизгивает и вдруг камнем падает вниз! Жалобный крик, хрипение... и вот уж он взвился в поднебесье и жертва у него!..

— Вы поэт, черт вас возьми! — хрипел я.

— А вы,— тонко улыбнувшись, шепнул Бомбардов,— злой человек! Эх, Сергей Леонтьевич, предсказываю вам: трудно вам придется...

Слова его кольнули меня. Я считал, что я совсем не злой человек, но тут же вспомнились и слова Ликоспастова о волчьей улыбке...

— Значит,— зевая, говорил я,— значит, пьеса моя не пойдет? Значит, все пропало?

Бомбардов пристально поглядел на меня и сказал с неожиданной для него теплотой в голосе:

— Готовьтесь претерпеть все. Не стану вас обманывать. Она не пойдет. Разве что чудо...

Приближался осенний, скверный, туманный рассвет за окном. Но несмотря на то, что на столе были противные объедки, в блюдечках — груды окурков, я среди всего этого безобразия, еще раз поднятый какой-то последней, по-видимому, волной, начал произносить монолог о золотом коне.

Я хотел изобразить моему слушателю, как сверкают искорки на золотом крупе коня, как дышит холодом и своим запахом сцена, как ходит смех по залу... Но главное было не в этом. Раздавлив в азарте блюдечко, я страстно старался убедить Бомбардова в том, что я, лишь только увидел коня, сразу понял и сцену, и все величайшие тайны. Что, значит, давным-давно, еще, быть может, в детстве, а может быть, и не родившись, я уже мечтал, я смутно тосковал о ней! И вот пришел!

— Я новый,— кричал я,— я новый! Я неизбежный, я пришел!

Тут какие-то колеса поворачивались в горящем мозгу, и выскакивала Людмила Сильвестровна, взывала, махала кружевным платком.

— Не может она играть! — в злобном исступлении хрипел я.

— Но позвольте!.. Нельзя же...

— Попрошу не противоречить мне, — сурово говорил я, — вы притерпелись, я же — новый, мой взгляд остр и свеж! Я вижу сквозь нее...

— Однако!

— И никакая те... теория ничего не поможет! А вот там маленький курносый чиновника играет, руки у него белые, голос сиплый, но теория ему не нужна... и этот, играющий убийцу в черных перчатках... не нужна ему теория!

— Аргуни... — глухо донеслось до меня из-за завесы дыма.

— Не бывает никаких теорий! — окончательно впадая в самонадеянность, вскрикивал я и даже зубами скрежетал и тут совершенно неожиданно увидел, что на сером пиджаке у меня большое масляное пятно с прилипшим кусочком луку. Я растерянно оглянулся. Не было ночи и в помине. Бомбардов потушил лампу, и в синеве стали выступать все предметы во всем своем уродстве.

Ночь была съедена, ночь ушла.

#### ГЛАВА 14

### Таинственные чудотворцы

Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, и недавно все это было, а между тем восстановить события стройно и последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи! Кой-что вспоминаешь — прямо так и загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик в памяти. Да, впрочем, труха и есть. Дождик? Дождик? Ну, месяц, стало быть, который пошел вслед за пьяной ночью, был ноябрь. Ну, тут, конечно, дождь вперемежку с липким снегом. Ну, вы Москву знаете, надо полагать? Стало быть, описывать ее нечего. Чрезвычайно нехорошо на ее улицах в ноябре. И в учреждениях тоже нехорошо. Но это бы еще с полгоря. Худо, когда дома нехорошо. Чем, скажите мне, выводить пятно с одежды? Я пробовал и так и эдак, и тем и другим. И ведь удивительная вещь: например, намочишь бензином — и чудный результат: пятно тает, тает и исчезает. Человек счастлив, ибо ничто так не мучает, как пятно на одежде. Неаккуратно, нехорошо, портит нервы. Повесишь пиджак на гвоздик, утром встанешь — пятно на прежнем месте и пахнет чуть-чуть бензином. То же самое — после кипятку, спитого чаю, оделолону. Вот чертовщина! Начинаешь злиться, дергаться, но ничего не делаешь. Нет, видно, кто посадил себе пятно на одежду, так уж с ним и будет ходить до тех самых пор, пока не сгниет и не будет сброшен навсегда самый костюм. Мне-то теперь уж все равно, но другим пожелаю, чтобы их было как можно меньше.

Итак, я выводил пятно и не вывел, потом, помнится, все лопались шнурки на ботинках, кашлял и ежедневно ходил в «Вестник», страдал от сырости и бессонницы и читал — как попало и бог знает что. Обстоятельства же сложились так, что людей возле меня не стало. Ликоспастов почему-то уехал на Кавказ, приятеля моего, у которого я похищал револьвер, перевели на службу в Ленинград, а Бомбардов заболел воспалением почек и его поместили в лечебницу. Изредка я ходил его навещать, но ему, конечно, было не до разговоров о театре. И понимал он, конечно, что как-никак, а после случая с «Черным снегом» дотрагивать-

ся до этой темы не следует, а до почек — можно, потому что здесь все-таки возможны всякие утешения. Поэтому о почках и говорили, даже Кли в шуточном плане вспоминали, но было как-то невесело.

Всякий раз, впрочем, как я видел Бомбардова, я вспоминал о театре, но находил в себе достаточно воли, чтобы ни о чем его не спросить. Я поклялся себе вообще не думать о театре, но клятва эта, конечно, нелепая. Думать запретить нельзя. Но можно запретить справляться о театре. И это я себе запретил.

А театр как будто умер и совершенно не давал о себе знать. Никаких известий от него не приходило. От людей, повторяю, удалился. Ходил в букинистические лавки и по временам сидел на корточках в полутьме, роясь в пыльных журналах, и, помнится, видел чудесную картинку — триумфальная арка...

Тем временем дожди прекратились, и совершенно неожиданно ударил мороз. Окно разделало узором в моей мансарде, и, сидя у окна и дыша на двугривенный и отпечатывая его на обледеневшей поверхности, я понял, что писать пьесы и не играть их — невозможно.

Однако из-под полу по вечерам доносился вальс, один и тот же (кто-то разучивал его), и вальс этот порождал картинки в коробочке, довольно странные и редкие. Так, например, мне казалось, что внизу притон курильщикова опиума, и даже складывалось нечто, что я развязно мысленно называл «третьим действием». Именно — синий дым, женщина с асимметричным лицом, какой-то фрачник, отравленный дымом, и подкрадывающийся к нему с финским отточенным ножом человек с лимонным лицом и раскосыми глазами. Удар ножом, поток крови. Бред, как видите! Чепуха! И куда отнести пьесу, в которой подобное третье действие?

Да я не записывал придуманное. Возникает вопрос, конечно, и прежде всего он возникает у меня самого: почему человек, закопавший самого себя в мансарде, потерпевший крупную неудачу, да еще и меланхолик (это-то я понимаю, не беспокойтесь), не сделал вторичной попытки лишить себя жизни?

Признаюсь прямо: первый опыт вызвал какое-то отвращение к этому насильственному акту. Это если говорить обо мне. Но истинная причина, конечно, не в этом. Всему приходит час. Впрочем, не будем распространяться на эту тему.

Что касается этого мира, то все-таки вовсе отрезаться от него невозможно, и давал он себя знать потому, что в тот период времени, когда я получал от Гавриила Степановича то пятьдесят, то сто рублей, я подписался на три театральных журнала и на «Вечернюю Москву».

И приходили номера этих журналов более или менее аккуратно. Просматривая отдел «Театральные новости», я нет-нет да и наткнулся на известия о моих знакомых.

Так, 15 декабря прочитал: «Известный писатель Измаил Александрович Бондаревский заканчивает пьесу «Монмартрские ножи» из жизни эмиграции. Пьеса, по слухам, будет предоставлена автором Старому Театру».

Семнадцатого я развернул газету и наткнулся на следующее известие: «Известный писатель Е. Агапенков усиленно работает над комедией «Деверь» по заказу Театра Дружной Когорты».

Двадцать второго было напечатано: «Драматург Клинкер в беседе с нашим сотрудником поделился сообщением о пьесе, которую он намерен предоставить Независимому Театру. Альберт Альбертович сообщил, что пьеса его представляет собою широко развернутое полотно гражданской войны под Касимовом. Пьеса называется условно «Приступ».

А дальше как бы град пошел: и 21-го, и 24-го, и 26-го — газета, и в ней на третьей полосе мутноватое изображение молодого человека с необыкновенно мрачным лицом и как бы бодающего кого-то, и сообщение, что это Трок И. С. Драма. Кончает третий акт.

Жвенко Онисим. Анбакомов. Четыре, пять актов.

Второго января я обиделся.

Было напечатано: «Консультант М. Панин созвал в Независимом Театре совещание группы драматургов. Тема — сочинение современной пьесы для Независимого Театра».

Заметка была озаглавлена «Пора, давно пора!», и в ней выражалось сожаление и укоризна Независимому Театру в том, что он единственный из всех театров до сих пор еще не поставил ни одной современной пьесы, отображающей нашу эпоху. «А между тем,— писала газета,— именно он, и преимущественно он, Независимый Театр, как никакой другой, в состоянии достойным образом раскрыть пьесу современного драматурга, ежели за это раскрытие возьмутся такие мастера, как Иван Васильевич и Аристарх Платонович».

Далее следовали справедливые укоры и по адресу драматургов, не удосужившихся до сих пор создать произведение, достойное Независимого Театра.

Я приобрел привычку разговаривать с самим собою.

— Позвольте,— обиженно надувая губы, бормотал я,— как это никто не написал пьесу? А мост? А гармоника? Кровь на затоптанном снегу?

Вьюга посвистывала за окном, мне казалось, что во вьюге за окном — все тот же проклятый мост, что гармоника поет и слышны сухие выстрелы.

Чай остывал в стакане, со страницы газеты глядело на меня лицо с бакенбардами. Ниже была напечатана телеграмма, присланная Аристархом Платоновичем совещанию: «Телом в Калькутте, душою с вами».

— Ишь, какая жизнь кипит там, гудит, как в плотине,— шептал я, зевая,— а я как будто погребен.

Ночь уплывает, уплывает и завтрашний день, уплывают они все, сколько их будет отпущено, и ничего не останется, кроме неудачи.

Хромая, глядя больное колено, я тащился к дивану, начинал снимать пиджак, ежился от холода, заводил часы.

Так прошло много ночей, их я помню, но как-то все скопом — было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти — ничего не помню.

Так тянулось до конца января, и вот тут отчетливо я помню сон, приснившийся в ночь с двадцатого на двадцать первое.

Громадный зал во дворце, и я будто бы иду по залу. В подсвечниках дымно горят свечи — тяжелые, жирные, золотистые. Одет я странно, ноги обтянуты трико — словом, я не в нашем веке, а в пятнадцатом. Иду я по залу, а на поясе у меня кинжал. Вся прелесть сна заключается не в том, что я — явный правитель, а именно в этом кинжале, которого явно боялись придворные, стоящие у дверей. Вино не может опьянить так, как этот кинжал, и, улыбаясь, нет — смеясь во сне, я бесшумно шел к дверям.

Сон был прелестен до такой степени, что, проснувшись, я еще смеялся некоторое время.

И тут стукнули в дверь, и я подошел в одеяле, шаркая разорванными туфлями, и рука соседки просунулась в щель и подала мне конверт. Золотые буквы «Н. Т.» сверкали на нем.

Я разорвал его, вот он и сейчас, распоротый косо, лежит передо мною (и я увезу его с собой)! В конверте был лист опять-таки с золо-

тыми готическими буквами, и крупным, жирным почерком Фомы Стрижа было написано:

«Дорогой  
Сергей Леонтьевич!

Немедленно в театр! Завтра начинаю репетировать «Черный снег» в 12 часов дня.

Ваш Ф. Стриж».

Я сел, криво улыбаясь, на диван, дико глядя в листок и думая о кинжале, потом почему-то о Людмиле Сильвестровне, глядя на голые колени.

В дверь тем временем стучали властно и весело.

— Да,— сказал я.

Тут в комнату вошел Бомбардов. Бледный, с желтизной, показавшийся выше ростом после болезни, и голосом, от нее же изменившимся, он сказал:

— Знаете уже? Я нарочно заехал к вам.

И, встав перед ним во всей наготе и нищите, волоча по полу старое одеяло, я поцеловал его, уронив листок.

— Как же это могло случиться? — спросил я, наклоняясь к полу.

— Этого даже я не пойму,— ответил мне дорогой мой гость,— никто не поймет и даже никогда не узнает. Думаю, что это сделали Панин со Стрижем. Но как они это сделали — неизвестно. Ибо это выше человеческих сил. Короче: это чудо.

## ЧАСТЬ II

### ГЛАВА 15

Серой тонкой змеей, протянутой через весь партер, уходящей неизвестно куда, лежал на полу партера электрический провод в чехле. От него питалась малюсенькая лампочка на столике, стоящем в среднем проходе партера. Лампочка давала ровно столько света, чтобы осветить лист бумаги на столе и чернильницу. На листе была нарисована курносая рожа, рядом с рожей лежала еще свежая апельсинная корка и стояла пепельница, полная окурков. Графин с водой отблескивал тускло, он был вне светящегося круга.

Партер настолько был погружен в полумрак, что люди со свету, входя в него, начинали идти ощупью, берясь за спинки кресел, пока не привыкал глаз.

Сцена была открыта и слабо освещена сверху из выносного софита. На сцене стояла какая-то стенка, задом повернутая на публику, причем на ней было написано: «Волки и овцы — 2». Стояло кресло, письменный стол, два табурета. В кресле сидел рабочий в косоворотке и пиджаке, а на одном из табуретов — молодой человек в пиджаке и брюках, но опоясанный ремнем, на котором висела шашка с георгиевским темляком.

В зале было душно, на улице уже давно был полный май.

Это был антракт на репетиции — актеры ушли в буфет завтракать. Я же остался. События последних месяцев дали себя знать, я чувствовал себя как бы избитым, все время хотелось присесть и посидеть долго и неподвижно. Такое состояние, впрочем, нередко перемежалось вспышками нервной энергии, когда хотелось двигаться, объяснять, говорить и спорить. И вот теперь я сидел в первом состоянии. Под колпаком лампочки густо слоился дым, его всасывало в колпачок, и потом он уходил куда-то ввысь.

Мысли мои вертелись только вокруг одного — вокруг моей пьесы. С того самого дня, как прислано было Фомою Стрижем мне решающее письмо, жизнь моя изменилась до неузнаваемости. Как будто наново родился человек, как будто и комната у него стала другая, хотя это была все та же комната, как будто и люди, окружающие его, стали иными и в городе Москве он, этот человек, вдруг получил право на существование, приобрел смысл и даже значение.

Но мысли были прикованы только к одному — к пьесе, она заполняла все время, даже сны, потому что снилась уже исполненной в каких-то небывающих декорациях, снилась снятой с репертуара, снилась провалившейся или имеющей огромный успех. Во втором из этих случаев, помнится, ее играли на наклонных лесах, на которых актеры рассыпались, как штукатуры, и играли с фонарями в руках, поминутно запевая песни. Автор почему-то находился тут же, расхаживая по утлым перекладинам так же свободно, как муха по стене, а внизу были липы и яблоки, ибо пьеса шла в саду, наполненном возбужденной публикой.

В первом случае иначе снился вариант: автор, идя на генеральную, забыл надеть брюки. Первые шаги по улице он делал смущенно, в какой-то надежде, что удастся проскочить незамеченным, и даже приговаривал оправдание для прохожих: что-то насчет ванны, которую он только что брал, и что брюки, мол, за кулисами. Но чем дальше, тем хуже становилось, и бедный автор прилипал к тротуару, искал разносчика газет — его не было, хотел купить пальто — не было денег, скрывался в подъезд и понимал, что на генеральную опоздал...

— Ваня! — слабо доносилось со сцены. — Дай желтый!

В крайней ложе яруса, находящейся у самого портала сцены, что-то загоралось, из ложи косо падал луч раструбом, на полу сцены загоралось желтое круглое пятно, ползло, подхватывая в себя то кресло с потертой обивкой, со сбитой позолотой на ручках, то взъерошенного бутафора с деревянным канделябром в руке.

Чем ближе к концу шел антракт, тем больше шевелилась сцена. Высоко поднятые, висящие бесчисленными рядами полотнища под небом сцены вдруг оживали. Одно из них уходило вверх и сразу обнажало ряд тысячесвечовых ламп, режущих глаза. Другое почему-то, наоборот, шло вниз, но, не дойдя до полу, уходило. В кулисах появлялись темные тени, желтый луч уходил, всасываясь в ложу. Где-то стучали молотками. Появлялся человек в брюках гражданских, но в шпорах и, звеня ими, проходил по сцене. Потом кто-то, наклонившись к полу сцены, кричал в пол, приложив руку ко рту шитком:

— Гнобин! Давай!

Тогда почти бесшумно все на сцене начинало уезжать вбок. Вот повлекло бутафора, он уехал со своим канделябром, проплыло кресло и стол. Кто-то вбежал на тронувшийся круг против движения, заплясал, выравниваясь, и, выровнявшись, уехал. Гудение усилилось, и показались, становясь на место ушедшей обстановки, странные, сложные деревянные сооружения, состоящие из некрашенных крутых лестниц, перекладин, настилов. «Едет мост», — думал я и всегда почему-то испытывал волнение, когда он становился на место.

— Гнобин! Стоп! — кричали на сцене. — Гнобин, дай назад!

Мост становился. Затем, брызнув сверху из-под колосников светом в утомленные глаза, обнажались пузатые лампы, скрывались опять, и грубо измазанное полотнище спускалось сверху, становилось по косой. «Сторожка...» — думал я, путаясь в геометрии сцены, нервничая, стараясь прикинуть, как все это будет выглядеть, когда вместо выгородки, сделанной из первых попавшихся сборных вещей из других пьес, соорудят наконец настоящий мост. В кулисах вспыхивали лупоглазые прожек-

торы в козырьках, снизу сцену залило теплой живой волной света. «Рампу дал...»

Я щурился во тьму на ту фигурку, которая решительным шагом приближалась к режиссерскому столу.

«Романус идет — значит, сейчас произойдет что-то...» — думал я, за-слоняясь рукой от лампы.

И действительно, через несколько мгновений надо мною показывалась раздвоенная борода, в полутьме сверкали возбужденные глаза дирижера Романуса. В петлице у Романуса поблескивал юбилейный значок с буквами «Н. Т.».

— Сэ нон э вэро, э бен тровато, а может быть, еще сильнее! — начал, как обычно, Романус, глаза его вертелись, горя, как у волка в степи. Романус искал жертвы и, не найдя ее, сажился рядом со мною.

— Как вам это нравится? А? — прищуриваясь, спрашивал меня Романус.

«Втянет, ой, втянет он меня сейчас в разговор!...» — думал я, корчась у лампы.

— Нет, вы будьте добры, скажите ваше мнение, — буравя меня глазом, говорил Романус, — оно тем более интересно, что вы писатель и не можете относиться равнодушно к безобразиям, которые у нас происходят.

«Ведь как ловко он это делает...» — тоскуя до того, что чесалось тело, думал я.

— Ударить концертмейстера, и тем более женщину, тромбоном в спину? — азартно спрашивал Романус. — Нет-с! Это дудки! Я тридцать пять лет на сцене и такого случая еще не видел. Стриж думает, что музыканты свиньи и их можно загонять в закуту? Интересно, как это с писательской точки зрения?

Отмалчиваться больше не удавалось.

— А что такое?

Романус только и ждал этого. Звучным голосом, стараясь, чтобы слышали рабочие, с любопытством скопляющиеся у рамп, Романус говорил, что Стриж затолкал музыкантов в карман сцены, где играть нет никакой возможности по следующим причинам: первое — тесно, второе — темно, а в-третьих, в зале не слышно ни одного звука, в-четвертых — ему стоять негде, музыканты его не видят.

— Правда, есть люди, — зычно сообщал Романус, — которые смыслят в музыке не больше, чем некоторые животные...

«Чтоб тебя черт взял!» — думал я.

— ...в некоторых фруктах!

Усилия Романуса увенчивались успехом: из электротехнической будки слышалось хихиканье, из будки вылезала голова.

— Правда, таким лицам нужно не режиссурой заниматься, а торговать квасом у Новодевичьего кладбища... — заливался Романус.

Хихиканье повторялось.

Далее выяснилось, что безобразия, допущенные Стрижем, дали свои результаты. Тромбонист ткнул в темноте тромбоном концертмейстера Анну Ануфриевну Деньжину в спину так, что...

— ...рентген покажет, чем это кончится!

Романус добавлял, что ребра можно ломать не в театре, а в пивной, где, впрочем, некоторые получают свое артистическое образование.

Ликующее лицо монтера красовалось над прорезом будки, рот его раздирало смехом.

Но Романус утверждает, что это так не кончится. Он научил Анну Ануфриевну, что делать. Мы, слава богу, живем в советском государстве,

напоминал Романус, ребра членов профсоюза ломать не приходится. Он научил Анну Ануфриевну подать заявление в местком.

— Правда, по вашим глазам я вижу,— продолжал Романус, вливаясь в меня и стараясь уловить меня в круге света,— что у вас нет полной уверенности в том, что наш знаменитый председатель месткома так же хорошо разбирается в музыке, как Римский-Корсаков или Шуберт!

«Вот тип!» — думал я.

— Позвольте!..— стараясь сурово говорить, начинал я.

— Нет, уж будем откровенны! — восклицал Романус, пожимая мне руку.— Вы писатель! И прекрасно понимаете, что навряд ли Митя Малокрошечный, будь он хоть двадцать раз председателем, отличит гобой от виолончели или фугу Баха от фокстрота «Аллилуйя».

Тут Романус выражал радость, что хорошо еще, что ближайший друг...

— ...и собутыльник!..

К теноровому хихиканью в электрической будке присоединился хриплый басок. Над будкою ликовало уже две головы.

— ...Антон Калошин помогает разобраться Малокрошечному в вопросах искусства. Это, впрочем, и не мудрено, ибо до работы в театре Антон служил в пожарной команде, где играл на трубе. А не будь Антона — Романус ручается, что кой-кто из режиссеров спутал бы, и очень просто, увертюру к «Руслану» с самым обыкновенным «Со святыми упокой»...

«Этот человек опасен,— думал я, глядя на Романуса,— опасен по-серьезному. Средств борьбы с ним нет!»

...Кабы не Калошин, конечно, у нас могли бы заставить играть музыканта, подвесив его кверху ногами к выносному софиту, благо Иван Васильевич не появляется в театре, но тем не менее придется театру заплатить Анне Ануфриевне за искрошенные ребра. Да и в союз Романус ей посоветовал наведаться, узнать, как там смотрят на такие вещи, про которые действительно можно сказать: «Сэ нон э вэро, э бен тровато, а может быть, еще сильнее!»

Мягкие шаги послышались сзади, приближалось избавление.

У стола стоял Андрей Андреевич. Андрей Андреевич был первым помощником режиссера в театре, и он вел пьесу «Черный снег». Андрей Андреевич, полный, плотный блондин лет сорока, с живыми многоопытными глазами, знал свое дело хорошо. А дело это было трудное.

Андрей Андреевич, одетый по случаю мая не в обычный темный костюм и желтые ботинки, а в синюю сатиновую рубашку и брезентовые желтоватые туфли, подошел к столу, имея под мышкой неизменную папку.

Глаз Романуса запылал сильнее, и Андрей Андреевич не успел еще пристроить папку под лампой, как вскипел скандал.

Начался он с фразы Романуса:

— Я категорически протестую против насилия над музыкантами и прошу занести в протокол то, что происходит!

— Какие насилия? — спросил Андрей Андреевич служебным голосом и чуть шевельнул бровью.

— Если у нас ставятся пьесы, больше похожие на оперу...— начал было Романус, но спохватился, что автор сидит тут же, и продолжал, искажив свое лицо улыбкой в мою сторону:— что и правильно! Ибо наш автор понимает все значение музыки в драме!.. То... я прошу отвести оркестру место, где он мог бы играть!

— Ему отведено место в кармане,— сказал Андрей Андреевич, делая вид, что открывает папку по срочному делу.



— В кармане? А может быть, лучше в суфлерской будке? Или в бутафорской?

— Вы сказали, что в трюме нельзя играть.

— В трюме? — взвизнул Романус. — И повторю, что нельзя. И в чайном буфете нельзя, к вашему сведению.

— К вашему сведению, я сам знаю, что в чайном буфете нельзя, — сказал Андрей Андреевич, и у него шевельнулась другая бровь.

— Вы знаете, — ответил Романус и, убедившись, что Стрижа еще нет в партере, продолжал: — ибо вы старый работник и понимаете в искусстве, чего нельзя сказать про кой-кого из режиссеров...

— Тем не менее обратитесь к режиссеру. Он проверял звучание...

— Чтобы проверить звучание, нужно иметь кой-какой аппарат, при помощи которого можно проверить, например, уши! Но если кому-нибудь в детстве...

— Я отказываюсь продолжать разговор в таком тоне, — сказал Андрей Андреевич и закрыл папку.

— Какой тон?! Какой тон? — изумился Романус. — Я обращаюсь к писателю, пусть он подтвердит свое возмущение по поводу того, как калечат у нас музыкантов!!

— Позвольте... — начал я, видя изумленный взгляд Андрея Андреевича.

— Нет, виноват! — закричал Романус Андрею Андреевичу. — Если помощник, который обязан знать сцену, как свои пять пальцев...

— Прошу не учить меня, как знать сцену, — сказал Андрей Андреевич и оборвал шнуры на папке.

— Приходится, приходится, — ядовито смеясь, прохрипел Романус.

— Я занесу в протокол то, что вы говорите! — сказал Андрей Андреевич.

— И я буду рад, что вы занесете!

— Прошу оставить меня в покое! Вы дезорганизуете работников на репетиции!

— Прошу и эти слова занести! — фальцетом вскричал Романус.

— Прошу не кричать!

— И я прошу не кричать!

— Прошу не кричать! — отозвался, сверкая глазами, Андрей Андреевич и вдруг бешено закричал: — Верховые! Что вы там делаете?! — и бросился через лесенку на сцену.

По проходу уже спешил Стриж, а за ним темными силуэтами показались актеры.

Начало скандала со Стрижем я помню.

Романус поспешил к нему навстречу, подхватил под руку и заговорил:

— Фома! Я знаю, что ты ценишь музыку и что это не твоя вина, и я прошу и требую, чтобы помощник не смел издеваться над музыкантами!

— Верховые! — кричал на сцене Андрей Андреевич. — Где Бобылев?!

— Бобылев обедает, — глухо с неба донесся голос.

Актеры кольцом окружили Романуса и Стрижа.

Было жарко, был май. Сотни раз уже эти люди, лица которых казались загадочными в полутьме над абажуром, мазались краской, перевоплощались, волновались, истощались... Они устали за сезон, нервничали, капризничали, дразнили друг друга. Романус доставил огромное и приятное развлечение.

Рослый голубоглазый Скавронский потирал радостно руки и бормотал:

— Так, так, так... Давай! Истинный бог! Ты ему все выскажи, Оскар!

Все это дало свои результаты.

— Попрошу на меня не кричать! — вдруг рявкнул Стриж и треснул пьесой по столу.

— Это ты кричишь! — взвизгнул Романус.

— Правильно! Истинный бог! — веселился Скавронский, подбадривая то Романуса: — Правильно, Оскар, нам ребра дороже этих спектаклей! — то Стрижа: — А актеры хуже, что ли, музыкантов? Ты, Фома, обрати свое внимание на этот факт!

— Квасу бы сейчас, — зевая, сказал Елагин, — а не репетировать... И когда эта склока кончится?

Склока продолжалась еще некоторое время, крики неслись из круга, замыкавшего лампу, и дым поднимался вверх.

Но меня уже не интересовала склока. Вытирая потный лоб, я стоял у рампы, смотрел, как художница из макетной Аврора Госье ходила по краю круга с измерительной рейкой, прикладывая ее к полу. Лицо Госье было спокойное, чуть печальное, зубы сжаты. Светлые волосы Госье то загорались, точно их подожгли, когда она наклонялась к берегу рампы, то потухали и становились, как пепел. И я размышлял о том, что все, что сейчас происходит, что тянется так мучительно, все получит свое завершение...

Склока меж тем кончилась.

— Давайте, ребяташки! Давайте! — кричал Стриж. — Время теряем!

Патрикеев, Владычинский, Скавронский уже ходили по сцене меж бутафорами. На сцену же проследовал и Романус. Его появление не прошло бесследно. Он подошел к Владычинскому и озабоченно спросил у того, не находит ли Владычинский, что Патрикеев очень уж злоупотребляет буффонными приемами, вследствие чего публика засмеется как раз в тот момент, когда у Владычинского важнейшая фраза: «А мне куда прикажете деваться? Я одинок, я болен...»

Владычинский побледнел как смерть, и через минуту и актеры, и рабочие, и бутафоры строем стояли у рампы, слушая, как переругиваются давние враги Владычинский и Патрикеев. Владычинский, атлетически сложенный человек, бледный от природы, а теперь еще более бледный от злобы, сжав кулаки и стараясь, чтобы его мощный голос звучал бы страшно, не глядя на Патрикеева, говорил:

— Я займусь вообще этим вопросом. Давно пора обратить внимание на циркачей, которые, играя на штампиках, позорят марку театра!

Комический актер Патрикеев, играющий смешных молодых людей на сцене, а в жизни необыкновенно ловкий, поворотливый и плотный, старался сделать лицо презрительное и в то же время страшное, отчего глаза у него выражали печаль, а лицо физическую боль, — сиплым голосом отвечал:

— Попрошу не забываться! Я — актер Независимого Театра, а не кинохалтурщик, как вы!

Романус стоял в кулисе, удовлетворенно сверкая глазом, голоса ссорящихся покрывал голос Стрижа, кричавшего из кресел:

— Прекратите это сию минуту! Андрей Андреевич! Давайте тревожные звонки Строеву! Где он? Вы мне производственный план срываете!

Андрей Андреевич привычной рукой жал кнопку на шите на посту помощника, и далеко где-то и за кулисами, и в буфете, и в фойе тревожно и пронзительно дребезжали звонки.

Строев же, заболтавшийся в предбаннике у Торопецкой, в это время, прыгая через ступеньки, спешил к зрительному залу. На сцену он проник не через зал, а сбоку, через ворота на сцену, пробрался к посту, а оттуда к рампе, тихонько позвякивая шпорами, надетыми на штатские

ботинки, и стал, искусно делая вид, что присутствует он здесь давным-давно.

— Где Строев? — завывал Стриж. — Звоните ему, звоните! Требую прекращения ссоры!

— Звоню! — отвечал Андрей Андреевич. Тут он повернулся и увидел Строева. — Я вам тревожные даю! — сурово сказал Андрей Андреевич, и тотчас звон в театре утих.

— Мне? — отозвался Строев. — Зачем мне тревожные звонки? Я здесь десять минут, если не четверть часа... минимум... Мама... миа... — Он прочистил горло кашлем.

Андрей Андреевич набрал воздуха, но ничего не сказал, а только многозначительно посмотрел. Набранный же воздух он использовал для того, чтобы прокричать:

— Прошу лишних со сцены! Начинаем!

Все улеглось, ушли бутафоры, актеры разошлись к своим местам. Романус в кулисе шепотом поздравил Патрикеева с тем, как он мужественно и правдиво возразил Владычинскому, которого давно пора уже одернуть.

## ГЛАВА 16

### Удачная женитьба

В июне месяце стало еще жарче, чем в мае.

Мне запомнилось это, а остальное удивительным образом смазалось в памяти. Обрывки кое-какие, впрочем, сохранились. Так, помнится, дрыкинская пролетка у подъезда театра, сам Дрыкин в ватном синем кафтане на козлах и удивленные лица шоферов, объезжавших дрыкинскую пролетку.

Затем помнится большой зал, в котором были беспорядочно расставлены стулья, и на этих стульях — сидящие актеры. За столом же, накрытым сукном, — Иван Васильевич, Стриж Фома и я.

С Иваном Васильевичем я познакомился поближе за этот период времени и могу сказать, что все это время я помню как время очень напряженное. Проистекало это оттого, что все усилия свои я направил на то, чтобы произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление, и хлопот у меня было очень много.

Через день я отдавал свой серый костюм уютить Дусе и аккуратно платил ей за это.

Я нашел подворотню, в которой была выстроена уютная комнатка как бы из картона, и у плотного человека, у которого на пальцах было два бриллиантовых кольца, купил двадцать крахмальных воротничков и ежедневно, отправляясь в театр, надевал свежий. Кроме того, мною, но не в подворотне, а в государственном универсальном магазине были закуплены шесть сорочек: четыре белых, одна — в лиловую полоску, одна — в синеватую клетку, и восемь галстуков разной расцветки. У человека без шапки, невзирая на то, какая была погода, сидящего на углу в центре города рядом со стойкой с развешенными на ней шнурками, я приобрел две банки желтой ботиночной мази и чистил утром желтые туфли, беря у Дуси щетку, а потом натирал туфли полкой своего халата.

Эти невероятные, чудовищные расходы привели к тому, что я в две ночи сочинил маленький рассказ под заглавием «Блоха» и с этим рассказом в кармане ходил в свободное от репетиций время по редакциям еженедельных журналов, газетам, пытаясь этот рассказ продать. Я начал с «Вестника пароходства», в котором рассказ понравился, но где напечатать его отказались на том, и совершенно резонном, основании, что

никакого отношения к речному пароходству он не имеет. Долго и скучно рассказывать о том, как я посещал редакции и как мне в них отказывали. Запомнилось лишь то, что встречали меня повсюду почему-то неприязненно. В особенности помнится мне какой-то полный человек в пенсне, который не только решительно отверг мое произведение, но и прочитал мне что-то вроде нотации.

— В вашем рассказе чувствуется подмигивание, — сказал полный человек, и я увидел, что он смотрит на меня с отвращением.

Нужно мне оправдаться. Полный человек заблуждался. Никакого подмигиванья в рассказе не было, но (теперь это можно сделать) надлежит признаться, что рассказ этот был скучен, нелеп и выдавал автора с головой; никаких рассказов автор писать не мог — у него не было для этого дарования.

Тем не менее произошло чудо. Проходя с рассказом в кармане три недели и побывав на Варварке, Воздвиженке, на Чистых прудах, на Страстном бульваре и даже, помнится, на Плющихе, я неожиданно продал свое сочинение в Златоустинском переулке на Мясницкой, если не ошибаюсь, в пятом этаже какому-то человеку с большой родинкой на щеке.

Получив деньги и заткнув страшную брешь, я вернулся в театр, без которого не мог жить уже, как морфинист без морфия.

С тяжелым сердцем я должен признаться, что все мои усилия пропали даром и даже, к моему ужасу, дали обратный результат. С каждым днем буквально я нравился Ивану Васильевичу все меньше и меньше.

Наивно было бы думать, что все расчеты я строил на желтых ботинках, в которых отражалось весеннее солнце. Нет! Здесь была хитрая, сложная комбинация, в которую входил, например, такой прием, как произнесение речей тихим голосом, глубоким и проникновенным. Голос этот соединялся со взглядом прямым, открытым, честным, с легкой улыбкой на губах (отнюдь не заискивающей, а простодушной). Я был идеально причесан, выбрит так, что при проведении тыльной стороной кисти по щеке не чувствовалось ни малейшей шероховатости, произносил суждения краткие, умные, поражающие знанием вопроса, — и ничего не выходило. Первое время Иван Васильевич улыбался, встречаясь со мною, потом он стал улыбаться все реже и реже и наконец совсем перестал улыбаться.

Тогда я стал производить репетиции по ночам. Я брал маленькое зеркало, садился перед ним, отражался в нем и начинал говорить:

— Иван Васильевич! Видите ли, в чем дело: кинжал, по моему мнению, применен быть не может...

И все шло как нельзя лучше. Порхала на губах пристойная и скромная улыбка, глаза глядели из зеркала и прямо и умно, лоб был разглажен, пробор лежал, как белая нить, на черной голове. Все это не могло не дать результата, и, однако, выходило все хуже и хуже. Я выбивался из сил, худел и немного запустил наряд. Позволял себе надевать один и тот же воротничок дважды.

Однажды ночью я решил произвести проверку и, не глядя в зеркало, произнес свой монолог, а потом воровским движением скосил глаза и взглянул в зеркало для проверки и ужаснулся.

Из зеркала глядело на меня лицо со сморщенным лбом, оскаленными зубами и глазами, в которых читалось не только беспокойство, но и задняя мысль. Я схватился за голову, понял, что зеркало меня подвело и обмануло, и бросил его на пол. И из него выскочил треугольный кусок. Скверная примета, говорят, если разобьется зеркало. Что же сказать о безумце, который сам разбивает свое зеркало?

— Дурак, дурак! — вскричал я, а так как я картавлю, то показалось мне, что в тишине ночи каркнула ворона. — Значит, я был хорош только пока смотрелся в зеркало, но стоило мне убрать его, как исчез контроль и лицо мое оказалось во власти моей мысли и... а, черт меня возьми!

Я не сомневаюсь в том, что записки мои, если только они попадут кому-нибудь в руки, произведут не очень приятное впечатление на читателя. Он подумает, что перед ним лукавый, двоедушный человек, который из какой-то корысти стремился произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление.

Не спешите осуждать. Я сейчас скажу, в чем была корысть.

Иван Васильевич упорно и настойчиво стремился изгнать из пьесы ту самую сцену, где застрелился Бахтин (Бехтеев), где светила луна, где играли на гармонике. А между тем я знал, я видел, что тогда пьеса перестала существовать, а ей нужно было существовать, потому что я знал, что в ней — истина. Характеристики, данные Ивану Васильевичу, были слишком ясны. Да, признаться, они были излишни. Я изучил и понял его в первые же дни нашего знакомства и знал, что никакая борьба с Иваном Васильевичем невозможна. У меня оставался единственный путь: добиться, чтобы он выслушал меня. Естественно, что для этого нужно было, чтобы он видел пред собою приятного человека. Вот почему я и сидел с зеркалом. Я старался спасти выстрел, я хотел, чтобы услышали, как страшно поет гармоника на мосту, когда на снегу под луной расплывается кровавое пятно. Мне хотелось, чтобы увидели черный снег. Больше я ничего не хотел.

И опять закаркала ворона:

— Дурак! Надо было понять основное! Как можно понравиться человеку, если он тебе не нравится сам? Что же ты думаешь? Что ты проведешь какого-нибудь человека? Сам против него будешь что-то иметь, а ему постараться внушить симпатию к себе? Да никогда это не удастся, сколько бы ты ни ломался перед зеркалом.

А Иван Васильевич мне не нравился. Не понравилась и тетушка Настасья Ивановна, крайне не понравилась и Людмила Сильвестровна. А ведь это чувствуется!

Дрыкинская пролетка означала, что Иван Васильевич ездил на репетиции «Черного снега» в театр.

Ежедневно в полдень Пакин рысцой вбегал в темный партер, улыбаясь от ужаса и неся в руках калоши. За ним шла Августа Авдеевна с клетчатым пледом в руках. За Августой Авдеевной — Людмила Сильвестровна с общей тетрадью и кружевным платочком.

В партере Иван Васильевич надевал калоши, усаживался за режиссерский стол, Августа Авдеевна накидывала Ивану Васильевичу на плечи плед — и начиналась репетиция на сцене.

Во время этой репетиции Людмила Сильвестровна, примостившись неподалеку от режиссерского столика, записывала что-то в тетрадь, изредка издавая восклицания восхищения — негромкие.

Тут пришла пора объясниться. Причина моей неприязни, которую я пытался дурацким образом скрыть, заключалась отнюдь не в пледе или калошах и даже не в Людмиле Сильвестровне, а в том, что Иван Васильевич, пятьдесят пять лет занимающийся режиссерской работой, изобрел широко известную и по общему мнению гениальную теорию о том, как актер должен был подготавливать свою роль.

Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что теория была действительно гениальна, но меня привело в отчаяние применение этой теории на практике.

Я ручаюсь головой, что, если бы я привел откуда-нибудь свежего человека на репетицию, он пришел бы в величайшее изумление.

Патрикеев играл в моей пьесе роль мелкого чиновника, влюбленного в женщину, не отвечавшую ему взаимностью.

Роль была смешная, и сам Патрикеев играл необыкновенно смешно и с каждым днем все лучше. Он был настолько хорош, что мне начало казаться, будто это не Патрикеев, а именно тот самый чиновник, которого я выдумал, что Патрикеев существовал раньше этого чиновника и каким-то чудом я его угадал.

Лишь только дрыкинская пролетка появилась у театра, а Ивана Васильевича закутали в плед, началась работа именно с Патрикеевым.

— Ну-с, приступим,— сказал Иван Васильевич.

В партере наступила благоговейная тишина, и волнующийся Патрикеев (а волнение у него выразилось в том, что глаза его стали плаксивыми) сыграл с актрисой сцену объяснения в любви.

— Так,— сказал Иван Васильевич, живо сверкая глазами сквозь лорнетные стекла,— это никуда не годится.

Я ахнул в душе, и что-то в животе у меня оборвалось. Я не представлял себе, чтобы это можно было сыграть хоть крошечку лучше, чем сыграл Патрикеев. «И ежели он добьется этого,— подумал я, с уважением глядя на Ивана Васильевича,— я скажу, что он действительно гениален».

— Никуда не годится,— повторил Иван Васильевич,— что это такое? Это какие-то штучки и сплошное наигрывание. Как он относится к этой женщине?

— Любит ее, Иван Васильевич! Ах, как любит! — закричал Фома Стриж, слепивший всю эту сцену.

— Так,— отозвался Иван Васильевич и опять обратился к Патрикееву: — А вы подумали о том, что такое пламенная любовь?

В ответ Патрикеев что-то просипел со сцены, но что именно — разобрать было невозможно.

— Пламенная любовь,— продолжал Иван Васильевич,— выражается в том, что мужчина на все готов для любимой.— И приказал: — Подать сюда велосипед!

Приказание Ивана Васильевича вызвало в Стриже восторг, и он закричал беспокойно:

— Эй, бутафоры! Велосипед!

Бутафор выкатил на сцену старенький велосипед с облупленной рамой. Патрикеев поглядел на него плаксиво.

— Влюбленный все делает для своей любимой,— звучно говорил Иван Васильевич,— ест, пьет, ходит и ездит...

Замирая от любопытства и интереса, я заглянул в клеенчатую тетрадь Людмилы Сильвестровны и увидел, что она пишет детским почерком: «Влюбленный все делает для своей любимой...»

— ...Так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для своей любимой девушки,— распорядился Иван Васильевич и съел мятную лепешечку.

Я не сводил глаз со сцены. Патрикеев взгромоздился на машину, актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный ридикюль. Патрикеев тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлерскую будку, в которую боялся свалиться, а другим — на актрису. В зале заулыбались.

— Совсем не то,— заметил Иван Васильевич, когда Патрикеев остановился.— Зачем вы выпучили глаза на бутафора? Вы ездите для него?

Патрикеев поехал снова, на этот раз оба глаза скосив на актрису, повернуть не сумел и уехал за кулисы.

Когда его вернули, ведя велосипед за руль, Иван Васильевич и этот проезд не признал правильным, и Патрикеев поехал в третий раз, повернув голову к актрисе.

— Ужасно! — сказал с горечью Иван Васильевич. — Мышцы напряжены, вы себе не верите. Распустите мышцы, ослабьте их! Неестественная голова, вашей голове не веришь.

Патрикеев проехался, наклонив голову, глядя исподлобья.

— Пустой проезд, вы едете пустой, не наполненный вашей возлюбленной.

И Патрикеев начал ездить опять. Один раз он проехался, подбоченившись и залихватски глядя на возлюбленную. Вертя руль одною рукой, он круто повернул и наехал на актрису, грязной шиной выпачкав ей юбку, отчего та испуганно вскрикнула. Вскрикнула и Людмила Сильвестровна в партере. Осведомившись, не ушиблена ли актриса и не нужна ли ей какая-нибудь медицинская помощь, и узнав, что ничего страшного не случилось, Иван Васильевич опять послал Патрикеева по кругу, и тот ездил много раз, пока наконец Иван Васильевич не осведомился, не устал ли он. Патрикеев ответил, что не устал, но Иван Васильевич сказал, что видит, что Патрикеев устал, и тот был отпущен.

Патрикеева сменила группа гостей. Я вышел покурить в буфет и, когда вернулся, увидел, что актрисин ридикюль лежит на полу, а сама она сидит, положив руки под себя, точно так же, как и три ее гостя и одна гостья, та самая Вешнякова, о которой писали из Индии. Все они пытались произносить те фразы, которые в данном месте полагались по ходу пьесы, но никак не могли двинуться вперед, потому что Иван Васильевич останавливал каждый раз произнесшего что-нибудь, объясняя, в чем неправильность. Трудности и гостей, и патрикеевской возлюбленной — по пьесе героини — усугублялись тем, что им каждую минуту хотелось вытащить руки из-под себя и сделать жест.

Видя мое изумление, Стриж шепотом объяснил мне, что актеры лишены рук Иваном Васильевичем нарочно, для того чтобы они привыкли вкладывать смысл в слова и не помогать себе руками.

Переполненный впечатлениями от новых удивительных вещей, я возвращался с репетиции домой, рассуждая так:

— Да, это все удивительно. Но удивительно лишь потому, что я в этом деле профан. Каждое искусство имеет свои законы, тайны и приемы. Дикарю, например, покажется смешным и странным, что человек чистит щеткою зубы, набивая рот мелом. Непосвященному кажется странным, что врач, вместо того чтобы сразу приступить к операции, проделывает множество непонятных вещей с больным, например, берет кровь на исследование и тому подобное...

Более всего я жаждал на следующей репетиции увидеть окончание истории с велосипедом, то есть посмотреть, удастся ли Патрикееву проехать «для нее».

Однако на другой день о велосипеде никто и не заикнулся, и я увидел другие, но не менее удивительные вещи. Тот же Патрикеев должен был поднести букет возлюбленной. С этого и началось в двенадцать часов дня и продолжалось до четырех часов.

При этом подносил букет не только Патрикеев, но по очереди все: и Елагин, игравший генерала, и даже Адальберт, исполняющий роль предводителя бандитской шайки. Это меня чрезвычайно изумило. Но Фома и тут успокоил меня, объяснив, что Иван Васильевич поступает, как всегда, необычайно мудро, сразу обучая массу народа какому-нибудь сценическому приему. И действительно, Иван Васильевич сопровождал урок интересными и назидательными рассказами о том, как нужно подносить букеты дамам и кто их как подносил. Тут же я узнал, что лучше всего это

делали все тот же Комаровский-Бионкур (Людмила Сильвестровна вскричала, нарушая порядок репетиции: «Ах, да, да, Иван Васильевич, не могу забыть!») и итальянский баритон, которого Иван Васильевич знал в Милане в 1889 году.

Я, правда, не зная этого баритона, могу сказать, что лучше всех подносил букет сам Иван Васильевич. Он увлекся, вышел на сцену и показал раз тринадцать, как нужно делать этот приятный подарок. Вообще я начал убеждаться в них невидимые деньги и прячут их обратно. Но гениальный актер.

На следующий день я опоздал на репетицию и, когда явился, увидел, что рядышком на стульях на сцене сидят Ольга Сергеевна (актриса, игравшая героиню), и Вешнякова (гостья), и Елагин, и Владычинский, и Адальберт, и несколько мне неизвестных и по команде Ивана Васильевича: «Раз, два, три» — вынимают из карманов невидимые бумажники, пересчитывают в них невидимые деньги и прячут их обратно.

Когда этот этюд закончился (а поводом к нему, как я понял, служило то, что Патрикеев в этой картине считал деньги), начался другой этюд. Масса народа была вызвана Андреем Андреевичем на сцену и, усевшись на стульях, стала невидимыми ручками на невидимой бумаге и столах писать письма и их заклеивать (опять-таки Патрикеев!). Фокус заключался в том, что письмо должно было быть любовное.

Этюд этот ознаменовался недоразумением, именно — в число писавших по ошибке попал бутафор.

Иван Васильевич, подбодряя выходявших на сцену и плохо зная в лицо новых, поступивших в этом году в подсобляющий состав, вовлек в сочинение воздушного письма юного вихрастого бутафора, мыкавшегося с краю сцены.

— А вам что же, — кричал ему Иван Васильевич, — вам отдельное приглашение посылать?

Бутафор уселся на стул и стал вместе со всеми писать в воздухе и плевать на пальцы. По-моему, он делал это не хуже других, но при этом как-то сконфуженно улыбался и был красен.

Это вызвало окрик Ивана Васильевича:

— А это что за весельчак с краю? Как его фамилия? Он, может быть, в цирк хочет поступить? Что за несерьезность?

— Бутафор он! Бутафор, Иван Васильевич! — застонал Фома, и Иван Васильевич утих, а бутафора выпустили с миром.

И дни потекли в неустанных трудах. Я перевидал очень много. Видал, как толпа актеров на сцене, предводительствуемая Людмилой Сильвестровной (которая в пьесе, кстати, не участвовала), с криками бежала по сцене и припадала к невидимым окнам.

Дело в том, что все в той же картине, где и букет и письмо, была сцена, когда моя героиня подбегала к окну, увидев в нем далекое зарево.

Это и дало повод для большого этюда. Разросся этот этюд неимоверно и, скажу откровенно, привел меня в самое мрачное настроение духа.

Иван Васильевич, в теорию которого входило, между прочим, открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли и что нужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном тексте, велел всем переживать это зарево.

Вследствие этого каждый бегущий к окну кричал то, что ему казалось нужным кричать.

— Ах, боже! Боже мой!! — кричали больше всего.

— Где горит? Что такое? — восклицал Адальберт.

Я слышал мужские и женские голоса, кричавшие:

— Спасайтесь! Где вода? Это горит Елисейев!! (Черт знает что такое!) Спасите! Спасите детей! Это взрыв! Вызвать пожарных! Мы погибли!



Весь этот гвалт покрывал визгливый голос Людмилы Сильвестровны, которая кричала уже вовсе какую-то чепуху:

— О, боже мой! О, боже всемогущий! Что же будет с моими сундуками?! А бриллианты, а мои бриллианты!!

Темнея, как туча, я глядел на заламывающую руки Людмилу Сильвестровну и думал о том, что героиня моей пьесы произносит только одно: «Гляньте... зарево...» — и произносит великолепно, что мне совсем неинтересно ждать, пока выучится переживать это зарево не участвующая в пьесе Людмила Сильвестровна. Дикие крики о каких-то сундуках, не имевших никакого отношения к пьесе, раздражали меня до того, что лицо начинало дергаться.

К концу третьей недели занятий с Иваном Васильевичем отчаяние охватило меня. Поводов к нему было три. Во-первых, я сделал арифметическую выкладку и ужаснулся. Мы репетировали третью неделю и все одну и ту же картину. Картин же было в пьесе семь. Стало быть, если класть только по три недели на картину...

— О, господи! — шептал я, в бессоннице ворочаясь на диване дома. — Трижды семь... двадцать одна неделя или пять... да, пять... а то и шесть месяцев! Когда же выйдет моя пьеса?! Через неделю начнется мертвый сезон и репетиций не будет до сентября! Батюшки! Сентябрь, октябрь, ноябрь...

Ночь быстро шла к рассвету. Окно было раскрыто, но прохлады не было. Я приходил на репетиции с мигренью, пожелтел и осунулся.

Второй же повод для отчаяния был еще серьезнее. Этой тетради я могу доверить свою тайну: я усумнился в теории Ивана Васильевича. Да! Это страшно выговорить, но это так.

Зловещие подозрения начали закрадываться в душу уже к концу первой недели. К концу второй я уже знал, что для моей пьесы эта теория неприложима, по-видимому. Патрикеев не только не стал лучше подносить букет, писать письмо или объясняться в любви. Нет! Он стал каким-то принужденным и сухим и вовсе не смешным. А самое главное — внезапно заболел насморком.

Когда о последнем обстоятельстве я в печали сообщил Бомбардову, тот усмехнулся и сказал:

— Ну, насморк его скоро пройдет. Он чувствует себя лучше и вчера и сегодня играл в клубе на бильярде. Как отрепетируете эту картину, так его насморк и кончится. Вы ждите: еще будут насморки у других. И прежде всего, я думаю, у Елагина.

— Ах, черт возьми! — вскричал я, начиная понимать.

Предсказание Бомбардова и тут сбылось. Через день исчез с репетиции Елагин, и Андрей Андреевич записал в протокол о нем: «Отпущен с репетиции. Насморк». Та же беда постигла Адальберта. Та же запись в протоколе. За Адальбертом — Вешнякова. Я скрежетал зубами, причитывая в своей выкладке еще месяц на насморки. Но не осуждал ни Адальберта, ни Патрикеева. В самом деле, зачем предводителю разбойников терять время на крики о несуществующем пожаре в четвертой картине, когда его разбойничьи и нужные ему дела влекли его к работе в картине третьей, а также и пятой.

И пока Патрикеев, попивая пиво, играл с маркером в американку, Адальберт репетировал шиллеровских «Разбойников» в клубе на Красной Пресне, где руководил театральным кружком.

Да, эта теория не была, очевидно, приложима к моей пьесе, а, пожалуй, была и вредна ей. Ссора между двумя действующими лицами в четвертой картине повлекла за собой фразу: «Я тебя вызову на дуэль!»

И не раз в ночи я грозился самому себе оторвать руки за то, что я трижды проклятую фразу написал.

Лишь только ее произнесли, Иван Васильевич очень оживился и велел принести рапиры. Я побледнел. И долго смотрел, как Владычинский и Благосветлов шелкали клинком о клинок, и дрожал при мысли, что Владычинский выколет Благосветлову глаз.

Иван Васильевич в это время рассказывал о том, как Комаровский-Бионкур дрался на шпагах с сыном московского городского головы.

Но дело было не в этом проклятом сыне городского головы, а в том, что Иван Васильевич все настойчивее стал предлагать мне написать сцену дуэли на шпагах в моей пьесе.

Я отнесся к этому, как к тяжелой шутке, и каковы были мои ощущения, когда коварный и вероломный Стриж сказал, что просит, чтобы через недельку сценка дуэли была «набросана». Тут я вступил в спор, но Стриж твердо стоял на своем. В исступление окончательное привела меня запись в его режиссерской книге: «Здесь будет дуэль».

И со Стрижем отношения испортились.

В печали, возмущенный, я ворочался с боку на бок по ночам. Я чувствовал себя оскорбленным.

— Небось у Островского не вписывал бы дуэлей, — ворчал я, — давал бы Людмиле Сильвестровне орать про сундуки!

И чувство мелкой зависти к Островскому терзало драматурга. Но все это относилось, так сказать, к частному случаю, к моей пьесе. А было более важное. Иссушаемый любовью к Независимому Театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли...

В. ТОПОРКОВ,  
народный артист СССР

## О «Театральном романе» Михаила Булгакова

Однажды мы встретились с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым за кулисами МХАТа — разговорились. Я рассказал какой-то забавный случай, один из тех, которые почему-то часто со мной происходят. Рассказ понравился писателю, кажется, понравилось и как я рассказываю.

— Почему вы это не напишете? — спросил он.

— Но... я не умею...

— Чего ж тут уметь? Пишите так, как сейчас рассказывали.

Именно так и писал сам Булгаков. Писал — как рассказывал. А рассказывал поистине мастерски. Обладая природным юмором, он так хитро подстраивал «ловушки» для разжигания нетерпеливого любопытства слушателя, что невозможно было предугадать — к печальной или веселой развязке клонится его повествование.

Не забуду рассказ о его первом дебюте в литературе: голодный, иззябший, без гроша в карманах рваной солдатской шинели, принес Булгаков редактору какого-то журнала свой первый литературный опус — последний шанс на спасение. Принят был сухо. Редактор через губу бросил:

— Через неделю.

А неделю-то надо прожить!

Через неделю с прыгающим сердцем и ноющим желудком, еле держась на ногах, входит начинающий автор в кабинет, и... о чудо! Прием совсем другой. Редактор выскакивает из кресла, хватая его за руки, восклицает:

— Амфитеатров!.. Амфитеатрова знаете?

— Н-н-нет, — запинаясь, произносит автор.

— Непременно прочтите. Вы же пишете почти как он. Дорогой мой! Талантище!!

— Значит, фельетон понравился?

— Что за вопрос! Гениально!

— Значит, напечатаете?

— Ни в коем случае! У меня семья! — так же жизнерадостно восклицает редактор. — Но непременно заходите! Приносите еще что-нибудь. Позабористее! До скорого! Амфитеатрова прочтите непременно!

Надо было слышать, как рассказывал это сам Михаил Афанасьевич! Какое впечатление производил он на слушателей неожиданным финалом!

С МХАТом судьба Булгакова была тесно связана с 1925 года и до самой смерти. В 1930 году писатель обратился к Советскому правительству с просьбой назначить его «лаборантом-режиссером» в Художественный театр, «в лучшую школу, возглавляемую мастерами К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко» (Архив Музея МХАТа). Булгаков сам принимал участие в постановке своих пьес «Дни Турбиных», «Мольер», инсценировал «Мертвые души».

И теперь, когда читаешь «Театральный роман», за печатными строчками как бы видишь живые лукавые глаза автора, слышишь его неповторимые интонации...

Произведение Булгакова трагикомично. Оно включает в себя смех и слезы. Невозможно без волнения читать о злоключениях драматурга Максудова. Написанный кровью сердца, этот образ, несомненно, во многом автобиографичен. Только пережившему все муки крушения надежд, разочарования можно, как это делает Булгаков, так сродниться с ним, так «влезть в шкуру» своего героя. Но даже в самых драматических местах романа он не теряет своего неистощимого юмора. Острым глазом сатирика выхватывает он из гущи событий все то комичное, что всегда сопутствует контрастам жизни.

В «Независимом театре», о котором рассказывает Булгаков, мы узнаем некоторые приметы МХАТа первых лет после Октября — периода, когда Художественный театр был еще несколько отгорожен от бурных событий современности, от всего нового, что происходило в молодой республике.

Вот что возникает перед глазами начинающего драматурга, впервые пришедшего в театр, когда он, пройдя через целую анфиладу дверей, портьер и шатров, попадает в кабинет управляющего материальным фондом театра. «Пол кабинета был затянут сукном, но не солдатским, а бильярдным, а поверх его лежал вишневый, в вершок толщины, ковер. Колоссальный диван с подушками и турецкий кальян возле него. На дворе был день в центре Москвы, но ни один луч, ни один звук не проникал в кабинет снаружи через окно, наглухо завешенное в три слоя портьерами».

С зоркостью, свойственной истинному таланту, Булгаков подмечает ту академическую рутину, излишества формального экспериментаторства на репетициях, те черты застоя в быту и искусстве прославленного театра, которые заметно проступали в то время. Станиславский в письме к правительству в эти годы писал, что необходимо принять решительные меры для предотвращения гибели МХАТа.

Смолоду Булгаков был врачом, и, быть может, потому с особенно острой наблюдательностью он отметил симптомы болезни, которой театр, несомненно, переболел в свой переломный период.

При всем том неверно было бы заключить, что перед нами только жанровые картинки из жизни МХАТа двадцатых годов. Выходя за пределы обрисовки одного театра, поднимаясь нередко до художественного обобщения, автор повествует о взаимоотношениях драматурга с театром. Проблема, в какой-то мере не разрешенная и до сих пор, а потому волнующая нас и поныне.

Булгаков был влюблен в театр. «Это мир мой!» — говорит он о театре словами своего героя Максудова. И дальше, когда Максудов читает унижительный договор, каждый пункт которого начинался словами: «Автор не имеет права» — и лишь один пункт (кажется, 57-й) нарушал однообразие документа словами:

«Автор обязуется», в этом месте Булгаков влагает в уста Максудова поистине патетический монолог. «Я прочитал договор, откровенно говорю, что ничего не понял и понять не старался. Мне хотелось сказать: «Играйте мою пьесу, мне же ничего не нужно, кроме того, чтобы мне было предоставлено право приходить сюда ежедневно...»

А когда артист «Независимого театра» Бомбардов, поведав Максудову историю командира лейб-гвардии Уланского ее величества полка генерал-майора Комаровского-Эшаппар де Бионкура, оставившего блестящую придворную карьеру ради театра, заключает ее словами: «Вот какая странная история!» — Максудов горячо восклицает: «Нет! Я не согласен с вами! У вас так хорошо в театре, что, будь я на месте генерала, я поступил бы точно так же...»

Известно, что Булгаков и в самом деле пробовал свои силы на театральных подмостках. Он блестяще сыграл роль судьи в «Пиквикском клубе» на сцене филиала МХАТа. Думается, из него мог выработаться незаурядный актер.

В самом замысле «Театрального романа» было что-то от традиции старых мхатовских «капустников», о которых рассказал Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве». Дружеский шарж, веселая, необходимая насмешка, живой юмор всегда ценились в талантливом, жизнеспособном коллективе Художественного театра.

Создавая в романе галерею сатирических образов, в которых нередко можно узнать театральных деятелей двадцатых годов, Булгаков в своем вдохновенном озорстве доходит порой до гиперболы. Но, в сущности, каждая из зарисовок является дружеским шаржем, и многие персонажи получают в конце концов признание автора, который отдает дань их таланту и беззаветной преданности своему делу. Так, гротесковая характеристика Поликсены Торопецкой заканчивается словами уважения к ее работоспособности и преданности делу.

Искренне восхищаясь заведующим внутренним порядком Филиппом Филипповичем и с блеском описав рабочий день Фили, как ласково он его именуется, автор пишет: «Умудрившись, я понял, что передо мною человек, обладающий совершенным знанием людей. Поняв это, я почувствовал волнение и холодок под сердцем. Да, передо мною был величайший сердцеведец. Он знал людей до самой их сокровенной глубины. Он угадывал их тайные желания, ему были открыты их страсти, пороки, все знал, что было скрыто в них, но также и доброе. А главное, он знал их права... Я понял, что школа Филиппа Филипповича была школой величайшей».

И даже в совершенно пародийном описании репетиций под руководством Ивана Васильевича (в образе которого есть некоторые черты самого Станиславского) автор отдает дань режиссерскому и актерскому гению своего героя, хотя еще и не вполне понимает кажущиеся ему парадоксальными приемы его режиссерской работы.

И наконец: «Иссушаемый любовью к Независимому Театру, прикованный к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли...» Таким авторским признанием обрывается рукопись романа. Что может быть красноречивее?

Одной из самых интересных в «Театральном романе» мне представляется глава седьмая, где автор обнаруживает глубокое проникновение в природу творчества драматурга. Удивительно ясно и убедительно излагает Булгаков процесс создания пьесы.

Как бы случайно — на самом деле интуитивно (что далеко не одно и то же) — находит Максудов правильный путь, уясняя себе специфику драмы. И в какой увлекательной, сказочной манере повествует об этом автор!

«Родились эти люди в снах... Но что же делать с ними? Первое время я просто беседовал с ними, и все-таки книжку романа мне пришлось извлечь из ящика. Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная — как бы коробочка, и в ней сквозь сточки видно — горит свет и движутся в ней те самые фигурки,

что описаны в романе... С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля... сказали бы, что играют внизу под полом... Нет, нет! Играют на рояле у меня на столе... но этого мало. Когда затихает дом и внизу ровно ни на чем не играют, я слышу, как сквозь вьюгу прорывается и тоскливая и злобная гармоника, а к гармонике присоединяются и сердитые и печальные голоса и ноют, ноют. О, нет! Это не под полом!.. Вся жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу... А как бы фиксировать эти фигурки? Так, чтобы они не ушли уже более никуда? И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать? А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует...»

«Да это, оказывается, прелестная игра!» — восклицает автор. И только к концу третьей ночи понимает, что он пишет пьесу. Да, это удивительное проникновение в суть органического творчества! Сперва увидеть, услышать своих героев, почувствовать атмосферу их жизни, сжиться с ними и только тогда начать писать. Булгаков — рожденный драматург!

Интересно заметить, что описанный им творческий процесс рождения пьесы по сути перекликается с режиссерскими приемами Станиславского. Если вдуматься, то булгаковская «коробочка» стоит «велосипеда» Ивана Васильевича, так ошеломившего неопытного драматурга Максудова на репетиции его пьесы. Об этом «велосипеде» я уже упоминал в своей книге «Станиславский на репетиции», говоря, что, если отнять некоторые преувеличения, придающие проществу юмористический характер, сам по себе прием работы, описанный Булгаковым, является типичным для Станиславского и хорошо знаком всем нам, актерам.

Что же роднит «коробочку» с «велосипедом»? И там и тут «прелестная игра», в ходе которой как режиссер, так и драматург стремились пробудить творческую интуицию художника.

В своем «Предисловии» Булгаков счел нужным не без тайного лукавства предупредить читателя: «Я, хорошо знающий театральную жизнь Москвы, принимаю на себя ответственность в том, что ни таких театров, ни таких людей, какие выведены в произведении покойного, нигде нет и не было». Автор был и прав и не прав в этом своем категорическом заверении. Не прав, потому что в его книге достаточно отчетливо звучат автобиографические мотивы, и было бы странно, если бы многолетние наблюдения над повседневной жизнью и работой Художественного театра, как, впрочем, и участие в деятельности других московских театров, не отразились бы в романе. Прав, потому что наивно думать, будто к каждой изображенной Булгаковым фигуре можно подыскать прототип, некое реальное лицо. В противном случае это могло бы представить интерес лишь для узкого кружка посвященных, но роман Булгакова, несмотря на видимую неприятельность его темы и жанра, может быть адресован самым разным читателям, в том числе и вовсе не связанным с театром. Как всякое истинно художественное произведение, он дает нам радость узнавания характеров, положений, лиц в мало знакомой нам до сих пор сфере жизни.

Роман Булгакова написан столь занимательно и мастерски, что достаточно открыть его на любой странице, прочесть одну-две фразы — и уже не можешь оторваться, начинаешь перечитывать знакомые и любимые места. Какая тонкая наблюдательность, точность, непринужденное веселье! А с каким феерическим остроумием описан банкет в честь прибывшего из Парижа писателя Измаила Александровича Бондаревского? А Егор Агапенев с китайцем и тетюшинским деверем? Просто из рук вон смешно!

Испытывая большую радость оттого, что этот талантливый роман публикуется, я не могу одновременно удержаться от грусти, вспоминая, почему он не был закончен. Слишком рано оборвалась жизнь замечательного советского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова!



---

ВЛ. КОРНИЛОВ

★

## ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

### СВЕРСТНИЦЫ

Из шинелей шили пальто,  
Чтили вермут — не саперави.  
И волос под Бриджит Бардо  
На затылке не собирали.

Недотроги, мечты мои,  
Жрицы бедных военных вкусов,  
Первокурсницы из МАИ  
И других многодумных вузов.

Наши ранние времена  
Я не стану ругать облыжно,  
Хоть не все у вас, у меня,  
Как задумано было, вышло.

Ну, а те,  
что приходят вслед,  
Побойчей, не такие смирные.  
И оглядки в них нашей нет.  
Мы ведь все-таки были зимние.

И Отечественной войны,  
И отечественной индустрии,  
И бесчестия не вины  
Меньше приняли вслед идущие.

Больше приняли доброты,  
Человечности, откровенности.  
И обидой не мучьте рты —  
Этим держится жизнь, ровесницы.

Если каждый пришедший род  
Лучше прежнего — это здорово!  
А случись бы наоборот,  
Мы бы с вами немного стоили.

\* \* \*

Вот уже переживаний  
И желаний срок истек.  
Подошел перешиваний  
И перелицовок срок.

Кашляю, вздыхаю тяжко,  
Нехотя тяну иглу.  
Как на чердаке — портняжка,  
Как сапожник — на углу.

Тут — заплатки, там — подметки...  
И дивлюсь, тряпьем шурша,  
Как холодной обработке  
Покоряется душа.

Как все то, что не срасталось,  
Не связалось, не сошлось,  
Незатейливая старость  
Склеивает на авось.

## ДОРОГА

Чуть закину рюкзак на полку  
И по-тихому закурю,  
Как нисходит покой, ей-богу,  
Впору чистому сентябрю.

Мчатся стены и стрехи станций,  
И леса, и опять поля.  
И ласкается ветер странствий,  
Пряди редкие шевеля.

Очень верное дело — поезд!  
Выпьем, что ли, за поезда.  
Хорошо, если наша совесть  
До дороги была чиста.

Если в клетке грудной не мечется,  
Смотрит весело из угла  
И вбирает весь дым отечества,  
Запах хлеба, травы, угля.



В. ГУСЕВ

★

## РЫБНЫЙ ДЕНЬ

*Рассказ*

**М**ихаил Алексеевич откидывает байковое одеяло с тремя голубыми полосками по желтому, спускает ноги.

Натянув брюки, Михаил Алексеевич тащится в ванную, крепко хлопая шлепанцами без задников. Какое-то время он стоит перед раковиной. Он в голубой байковой рубашке; под байкой грудь колесом, но и животик — тоже. В ванной тепло и тихо.

Он булькает, трет лицо, и постепенно происходит полное приобщение к миру. Вода капает со свесившихся волос, с рыжей широкой бородки, бежит на облепившую грудь рубашку.

Слышатся женские позевывания и легкий шелест по паркету: встала Маришка. Сейчас заглянет сюда.

Жена заглядывает. Это, конечно, давно уж не «Маришка». Пожилая женщина. Маришка в желтоватом халате ниже колен, испещренном сине-красными листочками и подпоясанном старым, перекрученным поясом. Вообще жена в последние годы слишком уж поблекла. Как бывает, именно то, что раньше делало ее милой, нынче обратилось против нее. Приплюснутый сверху и резко курносый, как бы подпрыгнувший на конце носик, прежде задорный, теперь неприятно подчеркивает неправильность лица. Из-за носа Маришка немного смахивает на обезьянку. К тому же эта коричневато-желтая, чуть пятнистая кожа на лице... У Маришки язва, она же все время внушает всем и самой себе, что рак. Нижняя губа выдается дальше, чем верхняя, и это теперь тоже слишком заметно. Требовательные, эдакие «волевые» серые Маришкины глаза смотрят по-прежнему прямо, строго, но, приложенный к потускневшему лицу, «взор» этот тоже вызывает странную досаду. Словом, Маришку созерцать скучновато, особенно на такой вот первый после ночи, свежий взгляд. В то же время Михаил Алексеевич давно уже знает, что стоит Маришке исчезнуть из поля зрения, как ему начинает ее не хватать; фантазия подправляет образ, недостатки лица, блеклость кожи и прочее — все забывается, перед глазами только пунктирный, контурный облик женщины с усталым и внешне строгим, но по сути жалким и вечно неуверенным, беспокойным лицом. Сколько раз в течение многих лет Михаил Алексеевич, ссорясь с Маришкой, глядя на нее, думал: «Разведусь». Но, поняв, что перемен все равно не будет, он уже не думает о разводе. Чего даром растравлять себя... Сейчас сделает «замечание».

— Миша, не брызгай на пол. Ты никогда не вытираешь, а у меня сегодня поясница болит.

— Хорошо, Мариш.



Она еще стоит некоторое время, придерживая отворот халата, задумчиво глядя не на него, повернувшегося к ней, а на льющуюся, бегущую из крана воду. Весь ее вид и замечание о воде так и говорят: «Я женщина, когда-то сильная в математике и неорганике, но пожертвовавшая собой ради мужа и ребенка». Может, она так и не думает, а просто смотрит на воду, но кажется, что думает.

Михаил Алексеевич снова пузырит и булькает, потом вытирает лицо и руки. Его чисто русское, немного мясистое лицо с картошкой-носом, маленькими глазами и крупными порами на коже становится под полотенцем то белым, то розовым и наконец, когда он вешает полотенце, равномерно розовым, почти красным.

Они втроем завтракают в кухне: Андрюшка спит. Третья — дочь Елена. Дочь похожа на мать. Та же задорная курносость — правда, пока еще милостивая. Но и на дочери время, так сказать, уже оставило свой след.

Она воспитывалась, как и большинство девочек в наших интеллигентных семьях, тщательно и строго. Школу кончила с золотой медалью, ребят презирала, писала сочинения в стихах, выигрывала математические олимпиады, учила два языка, состояла в комсомольских бюро, в институте возглавляла научное студенческое общество и была членом райкома комсомола. В результате примерно к двадцати годам из нее вышел человек, убежденный, что на свете нет и не может быть никого, достойного Елены Перельгиной. Мать и знакомые подогревали это убеждение, да и основания ведь были! Елена не позволяла за собой ухаживать, но особенно настойчивых и не было. Как многие умные и серьезные девушки, она в институте не вышла замуж, а вышла, уже учась в аспирантуре, за парнишку, который был чуть ниже ее ростом, преждевременно лысоват и немного косил на левый глаз. Он тоже был аспирантом и талантом. Любовь была скромная, но настоящая, как сказал один из друзей дома на скромной, но душевной свадьбе. «Вот и Лена нашла свое счастье. Всему свое время», — тихо говорила Маришка, обхватив двумя руками локоть Михаила Алексеевича и прижимаясь к мужу; тосты уже кончились, за столом давно уже шли частные беседы; потому Маришка и говорила тихо. Михаил Алексеевич кивнул.

Все шло как надо, и жизнь Елены была расписана на много лет вперед. Но в один прекрасный день тщедушный паренек, которого осчастливила дочь, пришел в комнату Маришки, когда там сидел и Михаил Алексеевич, и, отводя карие глаза, один из которых косил, объявил, что он не в состоянии больше жить в этом доме, где его ни во что не ставят, где его рассматривают как бесплатное приложение к гениальной дочери; что Лена не умеет стирать рубашки, что жена его совершенно невыносима, что она не дает ему шагу ступить самому, вмешивается в его работу и в то же время не помогает в том, в чем следует помогать, и не делает того, что следует делать. В заключение он сказал, что не оставит ребенка без отца (Андрюшке уже было четыре года) и будет заботиться о нем, но с Леной намерен развестись, тем более что есть девушка, которая его понимает гораздо лучше.

Все это было, как гром среди ясного неба, особенно для Маришки. Слава всегда был так «мил и тактичен», ей так весело было руководить его «шагами» в практической и научной жизни. И вдруг — бац. Невозможно. В их семье — такое! Негодяй, лицемер, притворщик!.. «И как ты, Лена, могла скрывать, что у вас не все в порядке?..»

Михаил же Алексеевич испытывал «противоречивые чувства». В нем боролись злость и сочувствие к парню, а к ним примешивалось еще ка-

кое-то неуловимое, но глубокое и вязкое, густое, тупое равнодушие. «В конце концов пусть уходит, и черт с ним».

И вот Елена третьей сидит за стариковским столом. Она действительно изменилась в последние годы. В ней появилась некоторая неуверенность. Выяснилось, что она, к несчастью, любила своего косоглазого, во всяком случае была привязана к нему. Часто у нее был вид человека, попавшего из деревни в Москву. Женщина есть женщина, как ни забывай ей голову. Внешне у нее жизнь по-прежнему неплоха: работает в НИИ, «ценят». Правда, с диссертацией не клеится... Видно, все же не гений... Вот она сидит в серо-зеленом платье из рябоватой, пупырчатой шерсти, с какими-то оборками, складками, со слишком большим для такого платья вырезом. Ему и то это ясно, но разве скажешь? У обеих «безупречный вкус»... Когда-то Лена была изящной, теперь уж больно расплылась. Даже не ожидал, что из Ленки может получиться такая тумба... Нос и кнопочкой и курносенький; на пухлом лице это не бог весть как красиво. Взгляд рассеянный, прическа аляповатая, с прямым пробором; кто сейчас носит прямые проборы? Впрочем, кажется, носят, но как-то не так. Кудри слишком накручены. Брови ее, от природы угольно-черные, сегодня кажутся убийственно крашеными.

Михаил Алексеевич молча уминает мясо и картошку, изредка поглядывая на женщин. Маришка задумчива; равномерно отправляя вилку то к дымящейся глубокой (зачем глубокая?) тарелке, то в рот, она смотрит в сторону и думает совсем не о завтраке или ни о чем вообще не думает. Лена держит на коленях свою огромную кремовую сумку с блестящей застежкой, куда складывает и книги, и автомобили и пистолеты для Андрюшки, и банки с фруктовыми консервами, и бутылки с ряженкой, когда ей приходит в голову покупать такие вещи. Сумка мешает есть, но Лена, чувствуя помеху, не догадывается, однако, спустить ее на пол. Михаил Алексеевич, механически отмечая в уме все эти несообразности, настроен, однако, довольно добродушно: он думает о своем отъезде.

Маришка наконец прерывает монотонную музыку ножей и тарелок:

— Ты когда же едешь? В двенадцать, как и решил?

— Если управлюсь на факультете. Делать мне там особо нечего, пятница, легкий день, но всякое может быть. Студенты — растяпы.

— Поосторожней вы с этим хлором.

— Угу.

— Папа, опять у тебя пуговица под галстуком расстегнута и выглядывает.

— Сейчас застегну.

— Не забудь.

— Нет.

— Миша, не забудь зайти за учебником для Андрюшки. Ты все забываешь, а ему уже пора приниматься за французский. Мальчику скоро шесть лет, язык надо усваивать именно в этом возрасте. Это отец его невежа: химик, а не знает как следует ни одного языка, хотя и учил английский и испанский. Сейчас так нельзя.

— Зайду.

— Ты то и дело говоришь «зайду», а сам не заходишь.

— Дел было много, забывал. Сегодня зайду.

— Какие у тебя особенные дела! Кроме работы да рыбалки, ничего не знаешь, — вздыхает Маришка.

Так же, как и она — по инерции, по привычке, — Михаил Алексеевич говорит:

— Почему же. Все мужские дела на мне. Конечно, я, наверно, мог бы делать и больше, но все-таки что-то делаю.

Маришка молчит. Лена говорит:

— Так ты не забудь. А то у меня работа как раз с девяти до полпятого, а магазин, где есть этот учебник, далеко от института. Мне трудно успеть.

— Куплю, куплю, Лен.

— Ты всегда говоришь...

— Ну что же, что же делать: бывает, и забываю. Но обещал купить — значит, куплю.

Обе женщины угрюмо пьют чай. Им чертовски хочется ругнуть Михаила Алексеевича, но не удастся. Его полыхающие щеки и сговорчивость действуют угнетающе, но за это не обвинишь. Нужна конкретная причина.

— Ты мало уделяешь внимания внуку, — говорит Маришка.

Михаил Алексеевич думает: «Как бы не пошел дождь». Окно сбоку; там ползают рваные тучи поздней осени — то цвета дымного пороха, то пепельные, то оловянно-жестяные; в комнате заметно потемнело.

— Почему же, почему же, — говорит Михаил Алексеевич, вставая из-за стола и бурно дожевывая булку. — Почему же мало?

— Портфель возьмешь?

— Возьму.

— Не забудь.

— Не забуду.

Михаил Алексеевич подходит к своему химфаку. Химик ли он по душе? Как сказать. Работу он любит, но, кажется, не возражал бы стать и физиком; или, например, и особенно — биологом, но это как-то несолидно. Что-то вроде филолога... Рабфак, химфак... «Тысячник»... Освоим гранит науки... Эвакуация с номерным заводом... Диссертацию он защитил двадцать пять лет назад, с тех пор регулярно пишет статьи, но сочинять докторскую душа не лежит, хотя, видно, когда-нибудь и придется: больно уж капают на голову. «План, план, двигай науку...»

Кивнув уборщице в синем халате, торчащей, как сыч, из окна студенческой раздевалки, Михаил Алексеевич поворачивает налево — вступает в «аппендикс», принадлежащий кафедре органической химии, где он работает доцентом. Экий холодильник. Сколько лет тут ходишь — и каждый раз дрожишь от холода. Цементный пол, влажные старинные своды коридорного потолка. Вдоль коридора несколько своеобразных арок, ведущих все дальше и дальше вглубь. Полутемь. Старое здание... Сколько писали, ругались, просили — никак не переведут... Так и сгнием здесь в сырости... «Органики — самый пахучий народ», — как сказал проректор на последнем совете. Вот и пахучий! Да еще такие условия!.. Все эти мысли автоматически, по привычке проходят в голове Михаила Алексеевича, пока он шествует по угрюмому и гулкому коридору. Из верхних, застекленных проемов лабораторных дверей струится дневной свет, но вообще темно, темно. Говорили, говорили Клаве, чтоб и днем зажигала свет в коридоре... А то черт знает что... И вообще сколько...

Мысль прерывается, ибо Михаил Алексеевич открывает обитую стертым дерматином дверь четвертой лаборатории, в которой обычно работает. Привычные ряды столов, стояков и полок с реактивами, шкафов, весов и штативов. В дальнем левом углу бросается в глаза новый, свежевыкрашенный в ярко-желтое вытяжной шкаф. Вокруг его отводной трубы в пстолке образовалось мокрое пятно: и тут откуда-то подтекает. Потолок и здесь сводчатый и сырой. «Ничего, скоро переедем. Уже действительно скоро», — привычно думает Михаил Алексеевич. Минув столы и кивая студентам, Михаил Алексеевич подходит к окну. Окно тоже старинное, сводчатое, с прочной ржавой решеткой. Оно выходит в

пустынный угол двора. Стена сарая, кучки шлака, ржавые железные ободья; красная до черноты, переломанная лебеда и облезлая полынь, жилистые репейники. Со странным вниманием и грустью созерцает Михаил Алексеевич этот клочок земли. «Есть ли у меня крючок второй номер?» — думает он.

У ближнего к окну стола — его аспирант Толя Волков, талантливый и упорный малый. У него вид молодого аскета. Сухопарый, поджарый, высокий, черный клокастый чуб, тонкое лицо — узкое, и нос узкий, и в профиль даже не с горбинкой, а округлый, как лекало; и все линии лица тонкие и одновременно плавные, легкие. Красивый парень. Ему бы на волю, а он... «самосожженец». Ну что ж. Каждому свое. Вольному воля. Хочешь — сиди с утра до вечера в лаборатории. Да ведь двадцать-то четыре года сбываются раз в жизни. Впрочем, молодец парень. Глядя на таких, теплеешь душой. А то черт те что кругом творится...

— Ну как?

Михаил Алексеевич замечает в своем голосе интонации, отдающие неким невольным подобострастием. Нынешние научные таланты — это не они, не Михаил Алексеевич и его друзья. Что они? Как ни верти — полуученые. Эти же — настоящие ученые.

— Пока никак. Пробую то, пробую это, но осадок все время белый, — улыбаясь, отвечает Волков.

В его улыбке нет ничего обидного, но Михаил Алексеевич все же настоюже. Даже то, что Волков ответил лишь: «Пробую то, пробую это» — а не сказал конкретно, что о же он именно пробует, несколько неприятно: не снисходит до объяснений, просто отговаривается. Михаил Алексеевич знает, что Волков относится к нему, своему шефу, несколько скептически: «Старые кадры... Спектральный анализ не может освоить...» Так он говорил о нем, а ему, конечно, как бы между прочим передали. Ну и черт с ними. И черт с ним, с Волковым: он в конце концов прав. Сидя день и ночь в вонючей лаборатории, можно позволить себе роскошь пошутить над шефом.

Михаил Алексеевич полминуты молча смотрит на волковский штатив, потом двигается дальше. Но тут распахивается дверь, и раскрашенная и взлохмаченная, как индеец, девица бешено вопит:

— Там хлор пошел! Хлор пошел!

Образуется суматоха, все бросаются к двери, и никто не может протиснуться. В душе у Михаила Алексеевича мгновенно и чисто автоматически срабатывает некий четкий налаженный механизм: там появляются собранность и странное сухое равнодушие. Он берет со стола колбу с этикеткой  $\text{NH}_3$ , достает платок, смачивает, нюхает. «Слабо, нет двадцати пяти процентов. Ну, ничего».

— Все идите на свои места, — говорит он, подходя сзади к толпе. — Кто последний работал с баллоном?

«Конечно, Волков, — мелькает в голове. — Он все время хлорирует, больше сейчас некому. А с его ученой рассеянностью да отрешенностью... Привыкли, чтоб черную работу за них...» — думает Михаил Алексеевич и ловит себя на том, что не только спокоен, но еще и философствует.

Обычно задиристые, на сей раз студенты беспрекословно послушны: расступаются. Это не трусость, а мгновенный инстинкт: они еще не успели подумать, вспомнить такие слова, как «трусость», «смелость» и подобные. Михаил Алексеевич проходит вперед и идет к дверце в подвал с хлорным баллоном. Все это он делает, как и раньше, абсолютно автоматически, а потому уверенно: у него инстинкт натренирован в иную сторону, чем у студентов. Ободренные его спокойствием, ребята идут за ним и уже даже пытаются остановить:

— Мы сами, Михаил Алексеевич.

— Нет, подождите, вы не сумеете, это не шутки,— говорит Михаил Алексеевич, отстраняя их от жестяной дверцы люка с гремящей по ней длинной щеколдой.— Когда почувствовали запах?

— Только что. Открыли дверь, а оттуда пахнет,— пищит девица.

— Все отойдите, отойдите подальше. Кто-нибудь бегите за техником. Пошли уже?

— Нет, нет.

— Что же вы? Бегите кто-нибудь, ищите. Отойдите.

Михаил Алексеевич закрывает глаза, останавливает дыхание и, одной рукой прижав ко рту и носу платок, режущие пахнувший аммиаком, другой быстро открывает дверь и тотчас захлопывает ее за собой, прыгнув с высокого порожка на первую ступеньку лестницы, ведущей вниз. Он старый волк, и каким-то непонятным, неуловимым, даже не шестым, а седьмым или десятым, но вполне безошибочным чувством тотчас определяет, что опасность не так уж велика, как думали, но все-таки существует. Он не дышит и не видит — да в этом подвале глаза и бесполезны, пока не доберешься до выключателя,— но уже уверен в этом. Ведя свободной рукой по стене, покрашенной масляной краской и скользкой от сырости, он спускается вниз по крупным ступеням, которые точно и безошибочно нащупывает ногой. Отвратительный запах хлора все-таки слегка «шибает». Так. Земля. Баллон — круглое холодное железо. Где там кран? Вот. Вентиль, конечно, недовинчен, но все-таки почти закрыт... Крутанул и полез, не проверив,— вот растяпа, недотепа... Сколько времени сочился газ? Видно, не так уж долго: Волков сегодня провел лишь маленькую перегонку, а до этого, видно, работал здесь. И после него сейчас же сунулась эта... Михаил Алексеевич плотно закручивает кран и вдруг думает: «Есть ли у меня «рекорды»? Погода пасмурная, а я прошлый раз оторвал две штуки около той коряги, у водокачки. Не забыть проверить. Шука нынешней осенью очень разборчива». Он ползет по лестнице назад. За дверью его встречают неприятная рожа техника в противогазе и уважительные лица студенток и студентов. «Вот растяпы»,— еще раз равнодушно думает Михаил Алексеевич, с облегчением отпуская дыхание, чувствуя, что сильно покраснел от натуги за полминуты. Самолюбие все же проснулось, особенно когда он увидел несколько симпатичных девичьих физиономий, но ненадолго. Он идет в лабораторию и, пока все толпятся и запоздало геройствуют в коридоре, потихоньку ругает Волкова, которого он потянул за собой. Впрочем, ругает он своеобразно:

— Вы, Анатолий Иванович, работаете хорошо, я к вам не имею никаких претензий. Но нельзя же быть таким... э-э-э... рассеянным. То у вас эфир над электроплиткой, то натрий просто так лежит на столе, то хлор. Мы же химики. Прошу вас, будьте осторожней.

«Не сочтет ли он меня занудой? И вообще, не решит ли, что я обрадовался предлогу придрататься?» — думает Михаил Алексеевич. А когда такие мысли, то какая уж тут ругань? А надо бы, надо бы поостроже его...

— В конце концов все это угрожает жизни людей,— извиняющимся тоном говорит Михаил Алексеевич.

Волков стоит нахмурившись, покраснев и потупившись. Он не привык, чтобы его отчитывали, на щеках — румянец. Он молчит. Михаил Алексеевич, глядя на его изящную и одновременно неловкую фигуру, на тонкие, как бы напудренные пальцы с мучительно обгрызанными ногтями, чувствует себя все более виноватым. Он мычит, тоже краснеет, морщится, чешет висок и говорит:

— Вы не обижайтесь... Но все-таки учтите... сами понимаете... Э... ну, вот так.

«Парень теперь будет дуться. Но в конце концов сам виноват,— думает, отходя, Михаил Алексеевич.— Впрочем, уладится. Так что я? Что-то было, было... Да, «рекорды»... Эта суета, эти растяпы-студенты».

Потолкавшись еще в лаборатории, надавав студентам различных советов и выслушав возражения, жалобы, Михаил Алексеевич отправляется домой (живет он недалеко). Без четверти двенадцать. Прекрасно.

Дома он проходит в свою комнату и чуть подбрасывает, как бы пробуя на вес, на тяжесть,— чуть подбрасывает вверх за ляжку круглый зеленый рюкзак, с вечера лежащий на стуле у письменного стола.

— Ты химик или рыбак? — говорит из кухни Маришка.— У тебя на столе «Chemical Abstracts» вперемешку с твоими блеснами, с крючками, а у стола грязный рюкзак.

— Ничего, ничего,— отвечает Михаил Алексеевич.

Он приносит из кладовой брезентовый чехол с двумя складными удилищами, вытряхивает их и начинает осматривать. Какое взять? Здесь одно кольцо (беленький ролик с дырочкой, зажатый в проволоку, прикрученный к бамбуку) разболталось, может выскочить. Тут катушка немного барахлит; на предохранителе совсем не идет, без предохранителя тоже скрипит и хандрит: видно, внутри песок. Надо подвинтить ролик и брать вот это... Осматривая, думая, Михаил Алексеевич уже представляет тихий почерневший лес, серое небо, дрожание упругого удилища под натиском крупной рыбы, представляет сухие палки камышей с метелками, похожие на шомпол со «щечкой», бурю траву, плотный мокрый песок.

Под воркотню Маришки, которая сочувствует его рыбацким подвигам (благо это безобидно!) и одновременно ревнует его и к ним, Михаил Алексеевич, совершенно преобразившись, в нелепой, прямой и плоской, грязно-синей фуфайке без хлястика, заплатанных, древних бостоновых штанах и резиновых сапогах, с рюкзаком, под крышку которого продет и заправлен за ляжки брезентовый плащ с болтающимся капюшоном, с зеленым чехлом в руках, в старом полумеховом треухе, с этой своей рыжей бородой, из-за которой его знает полгорода,— грузно вываливается из дверей своей квартиры и бодро топает вниз по лестнице. И с каждым шагом его душевный тонус повышается; воображение рисует картины одну заманчивей другой, и все это — сегодня, и все это — предстоит, и все это — в будущем.

В трамвае он пока еще вызывает прибаутки: «Рыбка плавает по дну...» и тому подобное; но вскоре он уже трясется в автобусе, идущем на Новую Усмань, а тут уж совершенно иная атмосфера. Тут призывы к рыбакам, тут бывает много таких же, как он; тут к нему относятся всерьез и равнодушно-спокойно. И он старается настроиться так же. Сегодня будний день, и в автобусе, кроме него, рыбаков нет, но все соседи смотрят на него, как на своего. Он сидит у окна. За окном еще мелькают городские дома, троллейбусы. Он поворачивается к своему соседу — новоусманскому деду, который, видать, возвращается с базара.

— Как там, у интерната на повороте,— идет она или нет?

Дедушка беглым взглядом окидывает его чехол.

— Да как определить,— отвечает дед, скручивая облупленными пальцами стародавнюю козью ножку.— Как определить.— Он говорит так, будто они не только что приступили к беседе, а продолжают ее часа полтора.— Намеднишь вот я ходил — троих взял. Две — так сабе, на полтора, не боле. А одна — ничаво.

— Какая же, простите, одна? — живо спрашивает Михаил Алексеевич, хотя и несколько стесняется.

Деду нравится его искренний интерес, нравится и то, что Михаил

Алексеевич не «базарит», не подыгрывает под простых, а говорит как есть. Дед не торопится, но отвечает с явным удовольствием:

— На три потянула.

Одно ухо ушанки торчит у деда вверх, шея бурая, как бы копченая, хилая и морщинистая, из ватника лезут серые клочки. Михаил Алексеевич смотрит на него с особым подобострастием.

— Ого! Ничего,— говорит он взволнованно, хотя в то же время и пытается войти в тот спокойный и невозмутимый тон, который принят между рыбаками.— А как же... на какую блесну?

— На желтенькую.

— Да что вы! Идет на желтую?

— На желтую нонче берет получше. Получше.

Дед дымит, смотрит в одну точку — не то в обмызванный поручень переднего сиденья, не то в спину бабе в платке и черной плисовой жакетке. Михаил Алексеевич заискивающе глядит деду в лицо:

— А сегодня — как думаете? «Рекорд» или желтую ставить?

— Да как сказать. Пробовать надо.

— Да это я знаю, что пробовать, это я буду пробовать. А как вам кажется?

— На желтую оно, так я думаю, все оно севодни лучше. Без солнца, а все оно. Начинайте не от поворота, а подальше,— подумав, снисходит старик до конструктивного совета.— Подальше. Шагов за двести от поворота.

— Это где первые кустики.

— Во-во,— кивает дедок.— От кустиков идите. Там она нонче стоит. Метров-то сколько?

— Да сто метров.

— Хорошо, это хорошо. Нонче подальше надо бросать. Только трава там, в воде-то, еще не пожухла, много травы. Жилка у вас крепкая?

— Да ничего, «сатурн»...

— Во-во... Где взяли-то? Мне маленько не продадите?..

— С удовольствием бы, но сам еле достал. Приятель из Москвы привез. Дал бы, но больше нет.

Дед не обижается; жадность среди рыбаков — законное дело. Чего не достал — к другому не лезь, не мешай; а полез, отказали — не обесудь.

— «Сатурн» потянет...

Автобус задрезжал по мощеному шоссе. Михаил Алексеевич взглянул в забрызганное давнишней грязью окно. Мимо проходят белые и красные кирпичные домишки, заборчики, палисаднички, садочки, стожки, за ними — серое или беловатое небо.

Минут через сорок Михаил Алексеевич забеспокоился, заговорил на высоких нотах, грузно и тяжко, как гусь, хлопающий крыльями, привставая на сиденье и потягиваясь вперед:

— Скажите там, пожалуйста, чтобы остановил у моста, с той стороны! Скажите, а то он проедет, там гора!

Женщина с камышовой корзинкой, из которой торчат сизоватые ветки саженьцев, повернулась к водителю и застучала кулаком в стекло:

— За мостом просят постоять! За мостом! Слышишь, шофер! За мостом стой!

— Слышу! — донеслось из кабины сдавленное рокотанье.— Чего стучишь-то, чего стучишь, рази глухой?

— Да ладно уж, ладно уж,— добродушно махнула баба рукою в публику, к которой сидит лицом.— Дребезжит она, проклятая...

Все добродушно улыбаются.

Михаил Алексеевич вышел у моста и повернул направо. Берег тут болотистый, и пришлось для начала подняться к селу. Дорога знакомая. Он шел по деревенской улице, рассеянно поглядывая по сторонам. Удивительное чувство испытывал Михаил Алексеевич, попадая в деревню после долгого перерыва. Ему казалось, что до этого он участвовал в игре или вообще «мероприятии» — кричал в викторине, сидел на собрании, танцевал в гостях, ходил по комнате смеха, осматривал выставку или кружился в карусели. И все оно брало в плен и занимало внимание, но в глубине души неизменно было ощущение, что выставка кончится и придется идти домой. И вот, попадая в такие загородные места, он и чувствовал, что «танцы закрылись». А домишки под соломой, под железом и под черепицей, сарайчики из досок с надписями «Не кантовать!», «НП», «Ярап», сбитых вперемежку с чистыми, желтыми и серыми досками, раскоряченные козлы для пилки, жалкие чучела в огородах, будылья подсолнухов, заборы из двух перекладин, нанизанных на колья, телефонные столбы, белый дом с зеленой вывеской «Раймаг», телеги с тремя колесами, кучи свежего конского навоза у амбаров, покрытые коркой коровьи шлепки на траве у обочин черной, жирно-черноземной разбитой уличной колеи, рябоватые, красно-желтые сосновые щепки на тропинке, протоптанной между машинной дорогой и серым зубчатым забором у сада, — все оно как было, так и есть. И люди, ходящие по улице: с ними неудобно говорить о некоторых вещах, которые так волнуют, например, его жену и дочь. Они укажут дорогу к реке, скажут, как урожай... И Михаилу Алексеевичу легко и весело от этих своих чувств и оттого, что не надо говорить обо всем «таким», и оттого, что осенний воздух свеж и мокр и во все стороны видно небо.

Он выходит на большую лужайку у школы, проходит по мертвой, но мягкой траве и начинает снова спускаться к реке. И по мере того, как он приближается к ней, в душе растет праздничное чувство. Вот она показалась внизу — серая полоса. Самый вид воды удивительно волнует Михаила Алексеевича — воды, этой загадочной стихии, чуждой человеку и нечто обещающей. Михаил Алексеевич ускоряет шаги. Скользя, проходит по грязной, размазанной тропинке, проложенной посреди перекопанного огорода, забросанного желтой волокнистой ботвой, выходит на луг и подступает к берегу. От поворота как раз и есть шагов двести... С минуту он стоит у обрывчика, сунув озябшую руку в карман телогрейки, и смотрит на реку. Он совершенно один. Перед ним не очень крутой грязноватый спуск, истоптанный коровами и перекопанный рыбаками, искавшими земляных червей. Вода. Речка тихая. Течения почти нет. Скрюченный ивовый лист, который, пlying по воде, не прилегает к ее «зеркалу» целиком — так он сморщен и перекорежен, — еле-еле идет. Вода темна и тускла; впрочем, тут и всегда темно — глубина. Но вот прошелся ветер — все разбилось... На той стороне черный лесок и белое пятно за первой грядой облетевшей ольхи — здание интерната.

Михаил Алексеевич подходит к воде и скатывает рюкзак с одного, с другого плеча. Холодно, ветер.

Почему так привлекает поздняя осень у реки? Вот уж действительно время! Но странно, легко у полумертвой воды. Те же кусты, те же торчки осоки, те же камышинки, что и были, только неживые. Вода хоть и медленно, да течет, но ее как-то жаль, в ней есть вопрос, одиночество. У самого берега замелькала стая серых селявок; неожиданно Михаилу Алексеевичу становится не по себе оттого, что они могут так беззаботно и невозмутимо, совсем по-летнему вертеться там друг над другом и посверкивать белыми боками. Кроме того, ему в голову приходит глупая, но серьезная мысль, что им должно быть холодно сейчас в воде.

Михаил Алексеевич заглядывает в реку — вид у него при этом глуп-



бокомысленный и несколько вороватый, он даже облизывает рыжие усы, — приседает, пробует воду ладонью. Но ему не терпится. Он стаскивает чехол с короткого удилища; при этом кратко потрескивает катушка, стоящая на предохранителе. Леска со свинцовым треугольником — на катушке, но блесну еще надо прицепить. Михаил Алексеевич бережно кладет удилище на травку и кидается к рюкзаку. Странная, нелепая фигура! Пожилой, солидный человек, с рыжей бородой, с усами, с мясистым, но интеллигентным лицом, стоит на одном колене у пузатого рюкзака (в нем еда, снасти и старое одеяло, красный свитер с дырами под мышками и еще какие-то тряпки, которые Маришка неизменно заставляет его таскать с собой) и роется в нем с таким видом, будто не может найти заряженный пистолет, тогда как враги в тридцати шагах. Наконец он достает из груды тряпья круглую жестяную коробочку из-под леденцов. Он пытается открыть коробочку, вертит крышку, но она не открывается. Михаил Алексеевич крутит и так и эдак — ничего не выходит; он вслух сыплет проклятия. И где этот нож — поддеть бы? Тряпье, тряпье. Ненастоящий он рыбак... Но вот коробка открыта. Из нее взвиваются, выпрямляясь, гибкие черные проволоки поводков. Михаил Алексеевич выбирает блесну — самодельную, яичного цвета латунную рыбку с прикрученными к ней красными плавниками и раздвоенным хвостом из пластмассы — подарок одного дедочка. Он берет блесну, цепляет поводок с барабанчиком, встает и возбужденно оглядывается на реку. Хватает удилище, распутывает леску «сатурн», подвязанную у грузила к последнему кольцу; вытянув леску, похолодевшими и красными пальцами завязывает ее на колечке поводка.

Все готово. Торжественный миг. Рыбака никогда не оставляет надежда, что все начнется с первого заброса. Пока еще не приступил к ловле, всегда кажется, что эта таинственная и тихая река так и кишит рыбой.

Михаил Алексеевич плавно размахивается и запускает блесну, делая движение так, чтобы леска как бы сама уходила, постепенно вытягивалась из катушки: иначе запутаешь. В то же время движение и сильно, и резко, и кратко: спиннингист он неплохой. Катушка, снятая с предохранителя, лихорадочно и споро жужжит под рукой, блесна и грузило мелькают над речкой и падают у дальнего кустика, торчащего из воды. Всплеск. Хорошо. Михаил Алексеевич крутит катушку; на дальнем конце лески ощущается легкое и равномерное подергивание; блесна идет нормально, катушка ничего. Время от времени Михаил Алексеевич круто потягивает удилище на себя и опять отпускает: в таком случае блесна как бы свободно парит в воде, а щука любит медленную и вялую рыбку. В эти секунды леска ослабевает, а вообще она туго натянута... Наконец она резко провисает вниз: груз и блесна дошли до берега; вон она и мелькнула, вращаясь, у самой травы. На первый раз не прошел номер. Но ничего, день впереди.

Михаил Алексеевич идет вдоль берега. Рюкзак остался вдали. Радостно, легко: идешь и бросаешь, идешь и бросаешь. Вот ты миновал изгиб реки, вышел на отвесный обрыв. Бросаешь. Пока бежит блесна, искоса смотришь кругом. Небо серое, лохматое, речка серая, лес напротив все такой же черновато-красноватый, но как-то переменялось вокруг. В чем дело? Это с обрыва стало видно далекую деревеньку на той стороне, и сразу заработала мысль: «Что там? Что за деревня? Что за люди? Вот я здесь, а они там, и мы никогда не увидим друг друга».

Незаметно входишь в пойменный кустарник, а потом и в лесок. Бац — при размахе блесна зацепилась за ветку, вонзилась тройным крючком в сизо-красноватую застывшую шершавую ольховую кору. Неловко прыгаешь, нагибаешь ветку, вынимаешь крючок. Дерево ше-

лестит, шевелится, отпуская на волю листья; вверх — вниз, вверх — вниз качается освобожденная ветка и наконец опять затихает.

А вот выходишь из лесочка — пологий берег, грязновато, сыро. По-прежнему ни души.

Михаил Алексеевич уже вытащил две тяжелые и черные коряги, когда взялась первая щука.

Он запустил и по обычаю вел блесну. Первая острота чувств притупилась, и Михаил Алексеевич, вертя катушку, уже начал подумывать и о постороннем — о том, что надо бы посмотреть рюкзак, что забыл, во сколько последний автобус. Как вдруг он ощутил в руке тяжесть. Щука была странная: сонная или больная, что ли. Никогда такой не было. К стыду своему и позору, Михаил Алексеевич не почувствовал, не осознал, что это рыба, и не подсек. Он тянул, думая, что очередная коряга — благо он только что вытащил одну из них, — а щука, как назло, продолжала вести себя весьма пассивно: обалдела, оглушило ее, что ли? Ошибку он понял тогда, когда на невозмутимую поверхность воды, около порывевших нащлепок кувшинок, метрах в пятнадцати от берега, вдруг выпрыгнула, как ему показалось, очень большая щука, побилась, повертелась туда и сюда, вправо и влево на поверхности воды, крутнула телом и ушла в глубину. Холодея и чувствуя пот на ладонях, Михаил Алексеевич рванул удилище. Леска пошла легко и пусто. Сомнений не было: он прозевал щуку. Сорвалась! Позор!

Михаил Алексеевич с удилищем в руках, с которого свисала недокрученная леска, расставив ноги, неподвижно стоял у берега и смотрел на кувшинки, за которыми скрылась щука. Постояв еще некоторое время, он смотал леску и осмотрел крючок. Одна из боронок тройчатки была явно чуть разогнута, и на ней осталось что-то красно-белое. Сомневаться нечего.

Михаил Алексеевич отпустил блесну, которая, издевательски перебиваясь, закачалась в воздухе. Он огляделся вокруг. Неожиданно ему стало сиротливо и зябко. «И на кой черт я брожу по этой речке... Что за дикое чудачество...» Он снова поглядел вокруг. Пустынный берег. сзади бурая мокрая трава, над ней оловянное небо, которое вот-вот разразится дождем; перед ним холодная, бездушная вода и опять это небо, кругом грязновато, сыро, промозгло. «На кой черт я здесь?» И вдруг ему стало горько и жалко не столько себя, сколько Маришку. Он представил ее привычное лицо. Оно не было ни морщинистым, ни желтым, зато взгляд ее был по-прежнему строг и ясен. И вспомнилось, как он некогда обнял ее в Первомайском саду под черными деревьями в лучках лучей от фонаря, стоявшего у недалекого кино. В душе появилась особая, как бы тающая нежность, и тут-то он и почувствовал, что ему не так уж легко уйти от нее.

Никуда ему не уйти от Маришки. Вместе — не клеится, порознь — тоже плохо. Да и куда уж разъезжаться на старости лет... «Что ж — домой. что ли? Ах, щука, тварь, негодяйка несчастная. Ну нет, так не уйду».

Он снова пошел по берегу. Впадины, обрывчики, лесочки. Небо, бурая трава, желтоватые пузыристо-пенистые лужи на берегу.

Как обычно бывает, щука и опять взялась неожиданно. Сколько он раз бросал, думая: «Ну возьми! Ну возьми! Ну, вот сейчас. Вот подойдет к тому кустику. Нет, к этому».

«Она» не бралась. Но стоило ему отвлечься, снова подумать о другом, как он ощутил мгновенную тяжесть в руке — на сей раз живую и резкую. Еще прежде, чем его ум вернулся к реальности, автоматически и крепко сработала рука — он быстро дернул удилище, и с этой секун-

ды все его существо несколько минут жило напряженной и полной жизнью. Удилище ходило, вздрагивало — там, на конце лески, негодовало, билось насмерть нечто загадочное и бурное. Казалось, что тянет щука килограмма на четыре. А может, это сом? А может, судак забрел из далекого Дона? А может, вообще черт знает что? Самые безумные мысли летели в голове, пока руки осторожно, но с величайшей четкостью, ясностью и напряжением изматывали и побеждали это неведомое, дикое, странное, таинственное, потустороннее, что жило и рвалось в этой черной воде на том конце лески. Михаил Алексеевич то отпускал леску с катушки, то резко наматывал несколько оборотов и тянул, тянул, подтягивал, «выводил». Глаза пристыли к воде, все внутри как бы опустело и в то же время молча накалилось докрасна. «Спокойно... спокойно», — лихорадочно выговаривал он вслух. Вот она уже близко, бац — выпрыгивает на поверхность. «Ого! Огромная! Экая! Ого! Удержать, не упустить! Удержажь, не упустить... Спокойно... Вот она... Вот...» Подсака у него не было: далеко и неудобно с ним таскаться. Теперь, когда щука была у самого берега, он на какую-то долю секунды проклял себя, свою лень, всех чертей и все на свете, что не носит подсака. Сейчас оборвется в воздухе... Самозабвенный потяг удилища на себя. Рыба, будто добровольно и даже задорно, будто кого-то атакуя, выпрыгивает на берег и, корчась и винтом изгибаясь, подскакивает на земле: голова — хвост, голова — хвост, шлеп, шлеп. Прыгая, она медленно скатывается под уклон назад к воде. Михаил Алексеевич бросается на колени и придавливает ее к земле двумя руками. Щука упруго, мощно сопротивляется, раздувая шершавые, колкие, осклизлые бока, до предела топорща все плавники, так что перепонки их натягиваются парусом и прозрачны, а все тело рыбы становится более широким, толстым и крупным, чем оно есть на самом деле. Михаил Алексеевич хватая обеими руками извивающуюся сильную рыбу и тащит вверх, подальше от воды, на ровное место; за ним волочится толстая белая нить «сатурна» от брошенного у воды спиннинга.

— Ага, дорогая... То-то, родная... Ишь... То-то... Эге... — непрерывно говорит в возбуждении Михаил Алексеевич.

Оставив щуку подальше на берегу, Михаил Алексеевич еще долго бродит и бросает блесну на этом месте и окрест. Потом он относит рыбу к рюкзаку, достает садок, сажает ее туда, втыкает в грязь палочку, держащую садок, и хочет опустить его в воду, но, раздумав, вынимает рыбу и прячет в рюкзак. Так оно вернее. Здоровенная, еще уйдет вместе с садком, и поминай как звали, а там — объясняй родным и знакомым, как было дело, да выслушивай анекдоты и пословицы.

Вместе с рюкзаком он возвращается на то место, где поймал щуку, и бросает еще несколько раз.

И еще долго он одиноко бродит по берегу. Трещит катушка, всплеск, упала блесна, и затем — торопливые и деловитые звуки заматываемой лески. Рыбак ходит со спиннингом.

Домой он все-таки едет засветло. Щука лучше всего идет на блесну в середине дня, а в темноте вообще перестает брать — обманная рыбка-блесна в темноте не блестит. Только живую рыбу хватается щука в темноте.

Трясаясь в автобусе, держа рюкзак на коленях, Михаил Алексеевич не думает ни о чем. Правда, изредка перед глазами проходят торжественные картины домашнего хвастовства, которое предстает, но и они уже не занимают воображение надолго. Немногие люди, едущие в этот час из деревни в город, косятся на Михаила Алексеевича и поглядывают на тугой рюкзак. Еду он наполовину съел (на ходу, почти не садясь), но рюкзак все тугой.

— Как рыбка? — не выдерживает один из пассажиров — пожилой рабочий в пропитанных автотом фуфайке и штанах, едущий, видимо, в ночную смену.

— Да есть, но одна, — застенчиво улыбаясь, отвечает Михаил Алексеевич.

— Есть ли? Хоть бы хвост показал! — подначивает сзади старуха с огромным носом, глядящим из-под нахлобученного баптистского платка.

— Могу показать! — говорит Михаил Алексеевич, распутывает на коленях рюкзак и достает щуку, держа ее поперек безжизненного, обвисшего туловища. Вся она увяла, на чешуе к слизи прилипла грязь, серая чешуя обильно оседает на пальцах. Под жабрами киснет кровь. В рыбе, конечно, не четыре и даже не три кило, но на два, может, и потянет. Ничего рыба.

— Ничего, — говорит рабочий.

— Поймал, не обманул, сынок, — кивает старуха.

Михаил Алексеевич доволен. Ему ничего и не надо.

Воронеж.



---

---

# ДУНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. А. АНТИПЕНКО

★

## ТЫЛ ФРОНТА

**В** конце 1938 года меня перевели из Киева, где я был комиссаром 5-й железнодорожной бригады, в Харьков на должность заместителя пачальника погранокруга и начальника окружного управления снабжением. Так началась для меня специализация на «тыловой» работе. Не могу сказать, чтобы это отвечало моим желаниям: предрассудок, ставящий под сомнение принадлежность тыловиков к «настоящим военным», был тогда не совсем чужд и мне. Но приказ есть приказ — получив его, выбирать не приходится.

В 1940 году я продолжал эту службу во Львове, куда был назначен заместителем начальника пограничных войск округа и начальником окружного управления снабжением. Эта работа на границе Западной Украины была непродолжительной — немногим больше года.

Все время мы там чувствовали приближение войны. В апреле 1941 года военная угроза стала настолько ощутимой, что начальник погранвойск просил Москву разрешить постепенную эвакуацию семей военнослужащих: это было ему категорически запрещено. Что можно было понять? Мы видели, что немцы все более открыто готовятся к нападению, и в то же время читали «Заявление ТАСС», уверявшее, что немцы отводят свои дивизии на отдых и опасности войны не существует... Все же, получив очередной отпуск, я решил провести его поблизости, в одном из закарпатских домов отдыха.

Отпуск начинался 22 июня 1941 года. Уложив вещи, я сказал водителю Груню, чтобы он подал машину к шести часам утра... Около пяти часов началась война.

Дежурный по штабу оповестил об этом всех офицеров. Едва успев одеться, я услышал гул самолетов, а затем разрывы авиабомб. Отправил семью в подвал трехэтажного здания, а сам побежал в штаб. На улицах лежали трупы, слышны были крики раненых. Я видел заход вражеских самолетов над районом, где оставалась моя семья; возвратясь, я узнал, что дом, где мы жили, сильно пострадал, но люди спаслись.

В штабе начальник политотдела округа Яков Ефимович Масловский (ныне генерал-майор в отставке) рассказал, что в ночь с 21 на 22 июня на участке одного из погранотрядов нашего округа перебежал к нам немецкий солдат и заявил, что на рассвете их часть готовится наступать. Об этом немедленно сообщено было в Москву дежурному по штабу погранвойск СССР. Через некоторое время из Москвы последовало указание: не поддаваться провокации, а перебежчика утром направить самолетом в Киев...

Конечно, четыре-пять часов — срок ничтожно малый для принятия больших ответных мер. Но можно было поднять по тревоге всех пограничников, а также

войска, расположенные у границы, поднять самолеты в воздух до того, как они были сожжены немцами на земле. Начальник погранотряда Малый, узнав о том, что на стыке его и соседнего участка перешел границу немец, тотчас же поставил об этом в известность командира стрелковой дивизии. Ее привели в боевую готовность. И что же? Одна эта дивизия в течение шести суток удерживала восемь немецких.

Налеты вражеской авиации на Львов продолжались непрерывно два дня. 24 июня мы отправили семьи на грузовиках в сторону Киева, без определенного адреса. Квартиры запирали на ключ и, наказывая дворникам следить за порядком, заверяли их, что скоро возвратимся.

В тот же день, по приказанию из центра, мы начали отправлять на восток весь железнодорожный порожняк и паровозы. Я позвонил в Москву своему прямому начальнику генералу Вургафту и попросил его разрешения загружать отходящие вагоны имуществом, находившимся в НЗ окружного склада: речь шла о пятнадцати тысячах пар кожаных сапог, о таком же количестве валенок, шинелей, полушубков, об артиллерийском и прочем имуществе. В ответ я был обруган и мне пригрозили расстрелом «за панические настроения».

К исходу дня 25 июня последовало новое распоряжение из Москвы немедленно эвакуировать окружной склад. Но было поздно: у нас не осталось ни одного вагона. А звонки из Москвы все учащались. Теперь мне грубо напоминали о моей ответственности за склады. Тот же Вургафт на мой неизменный ответ, что, воплняя его же приказание, мы остались без вагонов, хладнокровно повторял: «Вам там на месте виднее, где изыскать средства. Вы несете за это имущество персональную ответственность».

Во Львове тем временем обстановка складывалась еще хуже, чем на фронте: фашиствующие националисты настолько обнаглели, что даже среди дня с чердаков раздавались ружейные выстрелы. Что было делать? Я приказал начальнику склада подготовиться к уничтожению имущества путем сожжения.

По улицам Львова отходили наши солдаты, нередко в изношенных ботинках с обмотками, в грязных гимнастерках, а я должен был сжечь столько обмундирования и обуви!

Советоваться, однако, было не с кем — никто не хотел брать на себя ответственности. Я приказал начальнику склада погрузить в машины кожаную обувь и летнее обмундирование, вывезти все это на перекрестки и раздавать проходящим войскам. Естественно, в этой обстановке ни о каких раздаточных ведомостях или расписках и речи не могло быть.

Все, что после этого оставалось на складе, облили бензином и сожгли. Ужасное это было зрелище! Но предлагать солдатам теплые вещи в то время, когда стояла жара, было бессмысленно: и без того они были перегружены оружием и боеприпасами. А ведь можно же было все эвакуировать несколькими днями раньше!

Двадцать восьмого июня наши войска оставили Львов. Я оказался во главе небольшой группы отходивших военнослужащих. В их числе были прокурор и председатель трибунала округа, работники политотдела и все мои подчиненные по управлению снабжением. Мое начальствование в группе оказалось стихийным: все знали, что я комбриг, имею некоторый боевой опыт, а в той обстановке каждому хотелось иметь начальника. Независимо от прежних должностей, все чувствовали себя в нашей группе бойцами. Но когда через два дня до нас дошел слух, что фашистов повсеместно гонят обратно, что Львов снова занят нашими войсками и туда возвращаются областные организации, ко мне в тот же час подошел наш прокурор и предложил дать письменное объяснение: кто мне разрешил сжигать склад и раздавать обувь и летнее обмундирование без соответствующего оформления? Тон, которым мне были заданы эти вопросы, дал мне понять, что прокурор держит для меня наготове тягчайшее наказание. Делать нечего — присев у дерева, я стал писать обстоятельное объяснение. Не прошло, однако, и часа, как ко мне снова подошел прокурор:

— Порвите, Николай Александрович, что написали. Никому это не нужно, — сказал он. — Немец не только удерживает Львов, но и продвигается на восток. Хорошо вы сделали, что уничтожили склад и хоть часть имущества роздали войскам.

Я только подумал: а что он мне скажет, когда обстановка будет для нас благоприятной?

Немедленно по прибытии в Киев я был вызван в Москву и назначен армейским интендантом в 30-ю армию, которой командовал генерал Хоменко. Примерно 15 июля я был уже в районе города Белый, Смоленской области (юго-западнее Ржева), где эта армия вела тяжелые оборонительные бои.

Командарм приказал мне возглавить все службы материального обеспечения, включая артснабжение, автомобильный транспорт, железнодорожный подвижной состав и пр. Это было необычным тогда совмещением обязанностей, но сама жизнь подсказывала уже на этом первом этапе войны, что нужен единый начальник для всего тылового хозяйства. В войну мы вступили, не имея стройной системы тылового обеспечения; понадобился тяжелый жизненный урок, чтобы понято было все значение слаженного, хорошо управляемого тыла.

В августе 1941 года были введены должности заместителя командующего армией по тылу, заместителя командующего фронтом по тылу и начальника тыла Красной Армии. После этого Военный совет 30-й армии сделал представление о назначении меня на ту должность, которую я и без того исполнял. Но оказалось, что в эту армию уже назначен другой товарищ, и я отбыл в Москву.

В Москве мне предложили должность начальника штаба погранвойск в Чите или Тбилиси и дали сутки на раздумье. С формальной стороны это было для меня повышением по службе. А с фактической стороны? Еще вчера я находился в труднейших условиях фронта, а сегодня вдруг уеду за тысячи километров от войск, ведущих бои?.. К заместителю наркома Аполлонову я явился с рапортом об откомандировании меня в действующую армию. На рапорте была написана резолюция: «Удовлетворить просьбу тов. Антипенко». С этим я и прибыл к начальнику тыла Красной Армии генералу Андрею Васильевичу Хрулеву. Он принял меня очень любезно и тут же приказал дать направление в 49-ю армию Резервного (позднее Западного) фронта. Командовал ею генерал Иван Григорьевич Захаркин, ему уже тогда было под шестьдесят лет, и мой сорокалетний возраст показался ему несолидным; в отличие от А. В. Хрулева он встретил меня с некоторым холодком.

Вскоре 49-я армия переместилась на Калужское направление. Оттуда противник потеснил нас к Серпухову, в районе которого начиная с октября 1941 года мы заняли прочную оборону. Противник полукольцом располагался в шести-семи километрах западнее города. Поскольку в Серпухове находились все подчиненные мне службы, командарм назначил меня одновременно и начальником серпуховского гарнизона. По положению я вошел в состав городского комитета обороны («наш маленький ГКО», как мы шутили); председателем был секретарь горкома партии Гусев.

То были для Москвы критические дни. В газетах появились статьи о том, что потеря Москвы — еще не значит потеря России, проводились аналогии с нашествием Наполеона и оборонительной стратегией Кутузова... Чтобы иметь хоть небольшую, но вполне надежную воинскую часть, подчиненную нашему комитету, мы сформировали из рабочих серпуховских предприятий, а также за счет ежедневно приходивших из окружения военнослужащих отряд численностью свыше шестисот человек, прекрасно одетых, обутых и вооруженных.

Этим наши труды по формированию, конечно, не ограничились. В Серпухов продолжали прибывать поодиночке и группами солдаты и офицеры, выходявшие из окружения или отставшие от своих частей. Был учрежден сборный пункт, где этих людей принимали и обеспечивали всем необходимым. Командарм был доволен таким пополнением; особенно важны были для армии поступающие в том же

порядке автомашины, да еще с зенитными установками или другим ценным военным имуществом. Учет и распределение имущества сделались для нас повседневным занятием.

Но вот однажды явился ко мне некий невоенный человек и попросил принять от него доверху полную машину с деньгами, сложенными в мешки. Сколько денег в этих мешках — он не знал, так как не считал их при выносе из госбанка в городе, куда с минуты на минуту могли ворваться немцы. Откровенно говоря, это «имущество» меня смутило, да и начфин армии не мог предложить мне чего-либо путного. Один мешок денег — и то много. А тут целая машина мешков! Кто их будет считать? Куда девать их? Я дал этому человеку солдата для сопровождения и посоветовал поскорее отправляться в Москву, а если и там не примут, то ехать дальше на восток. Правда, наши автомобилисты не прочь были заменить его новенькую машину ЗИС-5 на более изношенную, но им пришлось отказаться от этого соблазнительного намерения. Так и ушла куда-то на восток машина, полная денег...

В эти дни со стороны Высокиничей на Серпухов двигалась колонна немецких войск. Командарм приказал бросить ей навстречу наш серпуховской отряд, добровольное командование которым взял на себя комбриг Фирсов, отличавшийся решительностью и храбростью. Тогда он почему-то временно оказался не у дел, но впоследствии командовал дивизией, затем корпусом и закончил войну в звании генерал-лейтенанта и Героя Советского Союза. Под его командованием отряд серпуховцев не только остановил немецкую колонну, но и разгромил ее, захватив пленных и трофеи, — немалое событие для того времени! Этот успех воодушевил серпуховских рабочих, и ранее охотно выполнявших любые задания, чтобы помочь Красной Армии. Рабочие и работницы городов Серпухова, Коломны, колхозники и колхозницы ближних к ним поселений дено и ночью (с затемненными окнами, при керосиновых лампах) шили воинам 49-й армии ватники, шаровары, белье, матерчатые маски против обморожения лица. Особенно дороги нам были изготовленные ими бидоны и ведра из нержавеющей стали, с ватными утеплителями, для доставки горячей пищи и чая бойцам на передний край. В ходе летнего отступления войска потеряли почти все кухни и термосы и питались долгое время всухомятку. В этих условиях трудно переоценить помощь серпуховцев и коломенцев. Благодаря тысяче утепленных ведер с крышками, изготовленных ими в недельный срок, мы обеспечили подачу горячей пищи непосредственно в окопы переднего края, и это сразу же сказалось на здоровье и боеспособности наших солдат.

Население помогало нам также в оборудовании и снабжении госпиталей.

В те дни Серпухов был забит армейскими госпиталями и медсанбатами дивизий. В город ежесуточно поступало по тысяче и более раненых; далеко не всегда можно было сразу или через короткое время эвакуировать их в глубокий тыл, а многих даже надо было оставлять на месте, обеспечив им квалифицированную медицинскую помощь и удовлетворительный бытовой режим. Трудная задача легла на медицинский персонал, которому приходилось работать без отдыха по несколько суток подряд. У врачей, часами не отходивших от операционных столов, отекали ноги — были даже случаи, когда приходилось разрезать им обувь. Серпухов подвергался частым авиационным налетам и обстреливался артиллерией; случалось, во время операции валялись куски штукатурки, поднимались облака пыли. Бывало и хуже...

Раненых было столько, что госпиталям не хватало медсестер, санитарок, уборщиц, истопников. Пришлось обратиться с воззванием к серпуховским женщинам, и они тотчас же откликнулись на призыв командования.

Много хлопот доставлял нам железнодорожный мост через Оку у Серпухова; в тревожные октябрьские дни 1941 года, когда положение на фронте казалось малоустойчивым, командарм Захаркин объявил мне, что я лично отвечаю за своевременность и полноту его разрушения. Этот мост, вероятно, известен мно-



гим. Если рядом с ним идущий автомобильный мост был знаменит в то время своей ветхостью и невероятно скрипел, когда по нему проезжали, то прочный и изящный железнодорожный мост был гордостью нашей технической мысли. Больно было представить себе этого красавца изуродованным и повергнутым на дно реки...

Почему это задание было возложено на меня? Вероятно, потому, что мой штаб располагался в Серпухове, неподалеку от железнодорожного моста, в семи километрах от противника, в то время как первый эшелон штаба армии находился в деревне Бутурлино, на тринадцать километров дальше от передовой. При определении нашей дислокации мыслилось так, что в случае необходимости управление тыла будет отходить позже штаба армии и начальник тыла сможет дать в нужный момент команду на взрыв моста... Молодым военным покажется сейчас парадоксальным такое эшелонирование штабов — но что было, то было: война порождает парадоксов не меньше, чем мирная жизнь.

Несколько раз вместе с майором Прохоренко из отдела военных сообщений мы выезжали на мост, проверяли надежность приготовлений к взрыву. Наподобие гирлянд к каждой балке были подвешены шашки. Во всех опорах были вырыты метровые ниши, и в них заложена взрывчатка. Вся эта сложная схема была соединена проводами, и стоило лишь повернуть ручку прибора на несколько градусов, чтобы весь мост превратился в бесформенную массу металла. В километре от моста, в специальном укрытии, находился сержант с «машинной». От движения руки этого сержанта зависела судьба столь любимого нами сооружения. Навещающая пост, я видел по лицу сержанта, что он глубоко чувствует трагизм возложенной на него задачи.

Противник в течение нескольких недель вел методический обстрел этого моста дальнобойными орудиями, и лед был испещрен множеством лунок от снарядов, пролетавших сквозь мостовые фермы, — однако не было случая, чтобы снаряд попал в балку или опору.

Наши войска, отстоявшие подмосковные рубежи, спасли мост не только от артиллерии врага, но и от наших разрушительных приготовлений. Проезжая по этому мосту в послевоенные годы, я всякий раз живо вспоминаю те трудные времена.

В октябре и ноябре наши войска отражали непрерывные атаки противника и одновременно готовились к решающим боям. Накопление боеприпасов для предстоящего контрнаступления считалось в это время самой неотложной задачей.

Расход снарядов в те дни, когда 49-я армия находилась в обороне, планировался поштучно, по два-три выстрела на пушку в сутки: так их было тогда мало. Можно себе представить, как обидно бывало артиллеристам видеть перед собой цель и не дать по ней залп.

Однажды мне случилось быть в деревне, половину которой занимали немцы, а другую половину наши. На краю деревни стояла полковая батарея. Ее командир отдал мне рапорт и доложил о наблюдаемом передвижении противника группами на противоположном конце деревни, примерно в двух километрах. Я спросил:

— Почему же вы не накроете их огнем?

— К сожалению, не имею права, — огорченно доложил он. — Суточную норму мы уже израсходовали.

Я пообещал ему пополнить запас батареи. После этого залп по видимой цели был дан, и очень меткий, — артиллеристы отвели душу.

Из сказанного понятно, как нелегко было улучшить положение. Но к 5 декабря армия накопила уже не менее двух боевых комплектов, то есть по сто шестьдесят — двести снарядов на пушку. Этого было достаточно для артиллерийского обеспечения прорыва немецкой обороны.

За два месяца боев войска Западного фронта отбросили противника на двести пятьдесят — триста пятьдесят километров от Москвы. 49-я армия наступала на город Юхнов и овладела им в начале 1942 года. К этому времени наши ре-

сурсы были уже так истощены, что нам приказано было повсеместно перейти к обороне.

Начался период серьезных материальных трудностей. Глубокий снег занес все шоссейные и грунтовые пути. Железные дороги, разрушенные в ходе боев, восстанавливались медленно. Подвоз продовольствия и боеприпасов был крайне затруднен. Немцы придерживались «тактики выжженной земли» — уцелевших населенных пунктов осталось очень мало. Боевым и тыловым войскам пришлось работать в суровых условиях.

Именно в это время мы научились прокладывать в снегу дороги с разъездами, расчищая трех-четырёхметровые полосы; когда едешь по такой дороге, кажется, будто проезжаешь белоснежный тоннель. Выгода этих дорог была и в том, что, окрасив все машины в белый цвет, мы добились минимальной их видимости с воздуха.

Затратив массу труда на прокладку таких магистралей, мы обеспечили подвоз продовольствия и боеприпасов до вторых эшелонов армии. Мы не могли, однако, пробить такие же «тоннельные» автомобильные дороги до каждой дивизии и тем более до каждого полка. И здесь на смену машине пришли сани. Легко сказать — сани! Об оснащении войск санями тоже надо было заблаговременно подумать. Ведь на военных складах их не было, не было и специальной упряжи. Пришлось опять же обратиться за помощью к местному населению и одновременно наладить изготовление саней своими силами. К концу декабря 49-я армия имела уже более трех тысяч саней с упряжью, сформировались гужетранспортные роты. В январе и феврале 1942 года вся масса перевозок в ближнем тылу легла на гужевой транспорт, и это более или менее удовлетворительно решило задачу обеспечения войск переднего края.

Однако чем больше гужевого транспорта, тем больше требуется лошадей, а следовательно, и фуража. Чем кормить четыре тысячи лошадей? Мы уже начали скармливать соломенные крыши и остатки фуража, уцелевшие в полуразрушенных и покинутых жителями селах. Вскоре на всем фронте наступил жесточайший фуражный кризис.

Далеко в тылу, в пойме реки Оки, стояли десятки тысяч копен сена, скошенного в июне; никто этого сена не вывозил, и ему грозила полная гибель от весеннего паводка. Еще в декабре мы прослышали про это сено и подумывали, как бы воспользоваться им прежде, чем разольется река. Но для этого требовалось бросить в районы сенозаготовок сотни саней с лошадьми и сотни солдат, раздобыть сенопрессовальные машины, проволоку или шпагат. К счастью, командарм И. Г. Захаркин сразу и решительно поддержал инициативу своих тыловиков — и в те дни, когда 49-я армия осталась почти без фуража, к нам стали поступать один за другим железнодорожные поезда с сеном. В результате мы избежали такого ужасного бедствия, как массовый падеж конского состава; в частности, в 50-й армии коней погибало до нескольких сот голов в сутки, и в связи с этим начальник тыла генерал Сурков был предан суду военного трибунала и приговорен к расстрелу за бесхозяйственность и бездеятельность. (Последствия расстрел был заменен разжалованием в рядовые.) На деле надо было винить не только тыловиков... Конечно, и нашим лошадям пришлось бы так же плохо, как лошадям 50-й армии, если бы за четыре месяца работы у генерала И. Г. Захаркина не сложились со мной отношения взаимного доверия и если бы командующий не придавал работе тыла должного значения.

Как это часто бывает на войне, дружная совместная работа перешла у нас с командующим в личную дружбу. Мы даже условились оставаться неразлучно в одной армии до конца войны. Один случай показал, как относился ко мне командарм Захаркин. В январе 1942 года в ходе наступления штаб нашей армии переместился в деревню Барсуки, восточнее Юхнова. Здесь же находился и я с небольшой группой офицеров тыла. Возвратившись из какой-то дивизии, весь продрогший, я был рад жарко натопленной избе. Раздевшись, я повесил на стенку избы бурку, полушубок, автомат ППШ, а сам присел за столик и стал рассказы-

вать своим офицерам о положении дел в дивизии. Тут же был секретарь парторганизации управления тыла Иван Иванович Панкратов.

Стоял морозный солнечный день. Хозяйка с девочкой возились у печки. Вдруг мгновенно все обрушилось, и я пришел в сознание лишь после того, как меня извлекли из-под развалин и тлеющих обломков. Немецкий самолет, полого и бесшумно пикируя на нашу деревню, угодил прямым попаданием стокилограммовой бомбы в нашу избу. В ней было убито семь человек, в их числе и хозяйка избы с девочкой. Мой автомат, висевший на стенке, был перебит осколком пополам, в моей бурке была добрая сотня дыр, а сапоги, лежавшие на полу рядом с моими ногами, были изрешечены. Я отделался легкой контузией.

В этот момент возвращался с передовой командарм. Когда я вернулся к жизни, он обрадовался и сказал: «Нам с вами суждено еще долго работать вместе!»

Все мы долго горевали по Ивану Ивановичу Панкратову. Это был необыкновенный человек. Партийную работу он начал еще в 1906 году, как один из организаторов забастовки на Казанской железной дороге. Позднее он жил несколько месяцев на Капри, общаясь с Горьким и Луначарским. В 1941 году ему было за пятьдесят, и его возраст не призывался, но Иван Иванович решил вступить в ополчение. В райвоенкомате ему в этом отказали, принимая во внимание его возраст и служебное положение. Тогда он пошел в другой райвоенкомат, где умолчал о своей работе, предъявив лишь партийный билет. Тут же он был зачислен в дивизию народного ополчения и через несколько дней в качестве рядового сражался с противником. Когда его дивизия, понесшая большие потери, переформировалась, И. И. Панкратова перевели в 49-ю армию на должность офицера связи при начальнике тыла армии. Люди, занимавшие эту должность, обычно ездили по войскам с разными поручениями, но, естественно, мы не могли «гнать» такого солидного человека по командировкам. Как раз в это время создавалась парторганизация управления тыла армии, и Панкратов был избран секретарем. Скоро он завоевал всеобщее уважение.

Вспоминая катастрофу в деревне Барсуки, я всегда думал об Иване Ивановиче. И вот в 1946 году, подойдя однажды к телефону, я услышал: «С вами говорит Панкратов, Иван Иванович...» Признаться, я сперва оторопел: со мною говорил покойник! Опомившись, попросил его приехать ко мне как можно скорее.

Оказывается, когда авиабомба попала в наш домик в деревне Барсуки, И. И. Панкратов, тяжело раненный в таз, провалился в подпол, где хранился картофель, и долго пролежал там без сознания. Наконец его, потерявшего много крови, извлекли из-под развалин и доставили в госпиталь какой-то из соседних армий, откуда эвакуировали в Среднюю Азию. Он полтора года пролежал в гипсе. Мы, его друзья по 49-й армии, переместились за это время в различные соединения, он не мог нас найти; а мы его и не искали, считая убитым. К концу войны его доставили в Москву. Ходил он на протезе — одна нога стала у него короче другой на восемь сантиметров.

И. И. Панкратов умер в 1962 году на семьдесят шестом году жизни.

До июня 1942 года наша армия стояла в обороне под Юхновом. Как я уже говорил, работать с командующим мне было настолько хорошо, что мне и на мысль не приходило менять место службы. Но неожиданно меня вызвал из Москвы к высокочастотному аппарату (ВЧ) начальник штаба тыла Красной Армии генерал М. П. Миловский. Это был редкий случай, когда центральное начальство обращалось непосредственно в армию, минуя штаб фронта. Немного обеспокоенный, я начал докладывать обо всем по порядку.

— Сколько времени вам требуется на сборы? — прервал он меня.

От неожиданного вопроса я растерялся и молчал. Не дождавшись ответа, он продолжал:

— Хрулев приказал вам быть готовым к отъезду через двадцать четыре часа. Куда ехать — указание последует дополнительно.

Мне только оставалось ответить: «Слушаюсь».

Тут же я доложил командарму и просил его заступиться за меня. Но через два дня получили приказание из Москвы: немедленно сдать должность и прибыть в штаб Брянского фронта, в район Ельца. В конце июня 1942 года я вступил в должность заместителя командующего войсками этого фронта по тылу.

Спустя две-три недели мне был вручен орден Красного Знамени — по представлению Военного совета Западного фронта. Это была моя первая награда в годы Великой Отечественной войны.

На основе опыта, уже полученного мною в 49-й армии, я решил осуществить обширные мероприятия по заготовке для фронта продовольственного зерна, фуража, картофеля, овощей, организовать нагул скота, погубавшего к нам в живом виде, и т. д. Военный совет фронта поддержал меня в этом. На самолете По-2 я облетел Тульскую, Рязанскую, Пензенскую, Тамбовскую области, побывал в обкомах и облисполкомах, всюду расставил свои силы, транспорт и определил лунки хранения всего заготовленного.

С секретарем Орловского обкома партии Николаем Григорьевичем Игнатовым я встречался почти ежедневно, поскольку Орловский обком находился в Ельце, в непосредственной близости к штабу Брянского фронта. Николай Григорьевич много помогал фронту мобилизацией местных ресурсов и поддерживал нас в хозяйственных делах. В свою очередь фронт всегда откликался на просьбы орловских товарищей, когда надо было помочь местному населению транспортом, горючим, семенами для посева.

Надо заметить, что не всегда существовало должное взаимопонимание между военными работниками и руководителями областей, частично оккупированных противником. Например, один из членов Военного совета Брянского фронта, сам бывший до войны секретарем обкома партии, а теперь ставший военным служащим и удостоившийся звания генерала, с каким-то подчеркнутым высокомерием относился к «штатским» руководителям областей, на территории которых располагался фронт, и называл их «генералами без армии», будто они были больше него повинны в создавшемся положении. Я видел, как глубоко оскорбляло подобное обращение. Но попытка этого «загенерализшегося» товарища настроить на такой же лад других лиц из руководства фронтом не удалась: различные отношения сложились, например, у командования с первым секретарем Тульского обкома партии Василием Гавриловичем Жаворонковым и председателем Тульского облисполкома Николаем Ивановичем Чмутовым, которые помогли артиллеристам фронта наладить в Туле ремонт оружия, изготовление минометов, а также дали нам возможность развернуть в городе обширную сеть лечебных учреждений. Со своей стороны фронт делал все, чтобы помочь восстановлению угольных шахт Тульской области, проведению полевых и других хозяйственных работ.

В начале марта 1943 года я получил телеграмму — приказание немедленно прибыть самолетом в деревню Свобода, где располагался штаб только что созданного Центрального фронта. После двух часов перелета мы приземлились на окраине деревни буквально в лужу — стояла оттепель.

Положение с материальным обеспечением войск Центрального фронта было в то время вообще критическим, а быстро нарастающая весенняя распутица еще намного увеличила трудность подвоза. Острее всего обстояло тогда дело с доставкой продовольствия на передний край; врачи отмечали случаи дистрофии среди солдат на почве недоедания. В наиболее трудных условиях находились войска 70-й армии.

Говорят, что лучшее решение обычно бывает самым простым. Если это верно, то мы, должно быть, нашли в данном случае удачное решение. С помощью курских женщин были изготовлены десятки тысяч мешочков, куда вкладывались продукты: на три-четыре дня на одного или нескольких человек, и тысячи небольших

мешков. Мешки, наполненные мешочками, общим весом пятнадцать—двадцать килограммов, доставлялись на машинах по шоссе настолько близко к передовой, как только позволяли боевая обстановка и состояние дорог. Отсюда была организована эстафета конными и пешими к фронту и вдоль линии фронта: мешки передавались от одного поста к другому, и так на расстояние до тридцати—сорока километров. (При таком способе «транспортирования» особой бережности требовали табак, сахар, соль, чтобы они не смешались между собою. Вот почему понадобилось столько мешочков, вкладываемых в мешки.) И положение вскоре изменилось: если раньше в дивизионных сводках в графах «хлеб», «сахар», «табак» и других стояли нули, то теперь в этих графах стали появляться единицы, затем двойки, тройки — обеспеченность войск продовольствием в суточном исчислении с каждым днем увеличивалась и была доведена до пяти—семи суток.

На некоторых участках 70-й армии снаряды до оружия доставлялись также носильщиками. Конечно, это не тот способ, каким можно удовлетворить потребность полностью — но ведь и распутица длится не вечно!

Штаб и все управления тыла фронта оставались в Курске. Я вскоре убедился, что здесь никто не работает; люди только и успевали, что бегать в щели и обратно, так как фашистская авиация бомбила Курск днем и ночью почти два месяца подряд. Мы несли напрасные жертвы, но уйти из Курска до наступления тепла нельзя было; чтобы разместить службы тыла вне города, потребовалось бы не меньше десяти—пятнадцати деревень и нужны были дороги. Лишь в конце апреля я со своим штабом смог перебраться в деревню Терепша, в четырнадцати километрах от Свободы.

Противник продолжал нещадно бомбить и единственную железную дорогу, ведущую к Курску со стороны станции Касторной. За два месяца на эту железную дорогу было сброшено свыше четырех тысяч авиабомб. Мы едва успевали исправлять разрушения.

Доставалось также и штабу фронта. Однажды (примерно в середине мая 1943 года) я поехал на КП с докладом. Приближаясь к Свободе, я видел, как немецкий самолет сделал два или три захода на эту деревню. Когда же мы въехали в нее, нам открылась страшная картина: домик командующего фронтом Рокоссовского был полностью уничтожен и на развалинах лежал раненый дежурный адъютант. Спасла Рокоссовского случайность — он ходил в это время завтракать в столовую.

И вот в этих условиях — когда коммуникации и штабы, лишь слабо прикрытые с воздуха, находились под постоянным воздействием вражеской авиации — надо было подготавливаться к грандиозному сражению.

Было известно, что противник под Курском готовит на широком фронте наступление с решительной целью, накапливая огромные силы. Наши Центральный и Воронежский фронты готовились к обороне. По теории военного искусства, полагается в таких случаях глубоко эшелонировать силы и средства, относить подальше в тыл склады, госпитали, ремонтные базы и прочее; эшелонирование допускается на глубину до трехсот—четырехсот километров. Это требование теории было соблюдено на Воронежском фронте. Однако командующий войсками Центрального фронта исходил из того предположения, что оборонительные бои будут непродолжительными, что они исчерпают силы врага и нашим войскам будет поставлена задача — немедленно перейти в контрнаступление. Это убеждение командующего полностью разделяли все его заместители и штаб фронта в целом. Я предложил командующему план организации тыла не по оборонительному, а по наступательному варианту. Это означало: сосредоточить боеприпасы, горючее, продовольствие и другие материальные средства поближе к войскам, в районе Курска. К. К. Рокоссовский одобрил этот план.

Но что будет, если противник прорвет нашу оборону и захватит Курск, а следовательно, и материальные запасы? Такой тревожный вопрос ставили многие товарищи. Однако командующий фронтом твердо придерживался своей точки зрения.

И вот гитлеровская армия начала осуществлять свой давно подготовляемый план. Нашим войскам пришлось выдержать натиск небывалой силы. И в течение всего оборонительного сражения артиллерия, танки и авиация Центрального фронта получали в полной мере потребное им количество боеприпасов и горючего; ни разу не было так, чтобы пехота оставалась одна, без поддержки артиллерии, без боевой техники. Если раньше мы выкладывали на огневые позиции полтора-два боевых комплекта снарядов, то на Курской дуге по целому ряду калибров было выложено на землю до пяти боевых комплектов. Благодаря этому наша артиллерия могла вести сокрушительный огонь в течение длительного времени, а устойчивость работы артиллерии в значительной мере предопределяла устойчивость всей обороны. Если бы материальные средства были отнесены далеко в тыл, как велит теория, кризисы в снабжении войск были бы неизбежны.

В основе Курской обороны была заложена идея перехода в контрнаступление без сколько-нибудь значительной паузы. Разумеется, и организация тыла должна была соответствовать той же идее, хотя это было сопряжено с риском: если противник сломит оборону, то ему достанутся богатые трофеи, а начальник тыла будет строго наказан. Но разве можно было руководствоваться подобными соображениями на Курской дуге? Войска готовились стоять насмерть. Тыл должен был строить свою организацию и работу в соответствии с замыслом сражения, с действиями и духом войск.

Как известно, сражение началось 5 июля 1943 года. На второй или третий день отдельным лицам из руководства фронта стало казаться, что противнику удастся прорвать нашу оборону и врезаться острием своего клина прямо в Курск. Были рекомендации: немедленно эвакуировать подальше в тыл все имущество, сосредоточенное на фронтных складах. Но Рокоссовский сказал: «Если немцам не удалось достичь решительного успеха в первый день наступления, то тем менее возможно, чтобы им это удалось на третий или четвертый день. А если же в крайнем случае произойдет такое несчастье, то мы будем драться в окружении и я, командующий фронтом, останусь с окруженными войсками». Услышав эти слова, я подумал: неужели тыл фронта должен спешить уйти подальше от войск, чтобы боеприпасы, горючее, продовольствие, вывезенные сегодня под Елец и Касторное, завтра подавать по воздуху окруженным частям? И тут же доложил командующему свое решение: на всякий случай перебросить максимум материальных средств — но не на восток, а на запад, еще ближе к тем войскам, которые могут оказаться отрезанными от баз снабжения, — примерно в район Фатежа и западнее его. Командующему понравилось такое решение, и оно было осуществлено ценою «тотальной мобилизации» всего транспорта и человеческой энергии.

Заслуживает внимания также санитарная эвакуация с Курской дуги по воздуху. Еще раньше, чем началось сражение, железная дорога до Курска работала с большими перебоями; наша транспортная авиация под руководством Н. С. Скрипко (ныне маршал авиации) подавала фронту наиболее дефицитные калибры боеприпасов и другое имущество; обратными рейсами самолеты вывозили раненых в район Москвы и других городов. Благодаря четкой работе медицинского управления фронта и тесной его связи с транспортной авиацией за короткий срок было эвакуировано по воздуху около двадцати одной тысячи раненых. Насколько мне известно, в таком масштабе санитарная эвакуация по воздуху не производилась нигде на протяжении всей войны.

Был и еще один примечательный факт в работе тыла фронта на Курской дуге. Когда выяснилось, что противник оттянул из района Львова свои силы, чтобы сдержать натиск советских войск на Орел, создалась благоприятная обстановка для нанесения удара на Львовском направлении, и командующий фронтом решил перебросить туда резервный корпус в составе двадцати пяти тысяч бойцов с артиллерией и другой техникой. Он вызвал меня и поставил задачу: транспортом тыла фронта перебросить за тридцать шесть часов этот корпус на сто—сто двадцать километров к западу. Благодаря согласованной работе штаба тыла, авто-

мобильного и дорожного управлений корпус был переброшен в назначенные районы не за тридцать шесть часов, а за двадцать четыре часа. Вырвавшись на оперативный простор, он совершил героический поход до Днепра, форсировал его и вышел в тыл киевской группировке противника.

В великой битве на Курской дуге органы тыла приобрели новые навыки в работе, протекающей в чрезвычайно сложной обстановке. Для многих из нас этот период явился суровым испытанием сил и организаторских способностей. Сошлюсь на К. К. Рокоссовского. Он пишет: «Нужно отдать должное тылу фронта... сумевшему в короткий срок организовать подвоз грузов, использовав для этого все средства: автомобильный, гужевой и даже водный транспорт»<sup>1</sup>.

Большое значение для успеха сражения имела прибывшая в состав Центрального фронта 2-я танковая армия под командованием генерал-лейтенанта А. Г. Родина. От тыла фронта потребовалось немало усилий, чтобы обеспечить эту армию всем положенным, особенно дизельным топливом. Подробную информацию о нуждах танкистов я получил от начальника тыла 2-й танковой армии генерала Суркова — того самого Суркова, который весной 1942 года под Москвой был приговорен к расстрелу за бесхозяйственность...

От него я услышал прелюбопытную историю.

Вышестоящие инстанции заменили ему расстрел на приговор к разжалованию в рядовые с посылкой на передовую. (В то время нередко практиковалась подобная мера.) Сурков был направлен в одну из армий, очутившуюся потом в составе Донского фронта на Волге.

Глубоко потрясенный несправедливостью обвинения, он утратил всякий интерес к жизни и стал искать случая, чтобы умереть. Но далее все развернулось, как в киноромане.

Перед началом наступления Донского фронта Рокоссовский прибыл на участок одной из армий, чтобы лично осмотреть позиции. Комфронта и командарм ползком, тщательно маскируясь, приблизились к высоте, откуда хорошо просматривалась местность в сторону противника. Каково же было возмущение командующего, когда он заметил впереди человека, идущего во весь рост! Вокруг свистели вражеские пули, а солдат оставался неуязвимым. Комфронта приказал немедленно доставить к нему этого злостного нарушителя маскировочной дисциплины. Ползком и короткими перебежками посыльный приблизился к красноармейцу и передал ему приказание.

Тот явился и доложил:

— Товарищ командующий! По вашему приказанию Сурков явился.

Рокоссовский, еще не успев остыть от гнева, резко спросил:

— Какой Сурков?

— Тот самый, который вместе с вами служил на Дальнем Востоке в кавалерии в мирное время.

Трудно было в нем узнать старого знакомого: весь в грязи, небритый, в рваной шинели.

И удивление и доброта появились в улыбке командующего. Уже лежа рядом с ним, Сурков рассказал ему о всем происшедшем и получил приказание явиться в штаб фронта.

Через несколько дней Суркову было объявлено, что он восстановлен в звании генерал-майора. Вскоре он был назначен начальником тыла 2-й танковой армии. Потом эта армия вышла из состава нашего фронта, и до конца войны я снова потерял Суркова из вида. Лишь много позднее мне стало известно, что после войны генерал Сурков назначен был интендантом Прикарпатского военного округа во Львове. Там ему снова не повезло: его малолетний сын взял из ящика письменного стола заряженный револьвер и случайно выстрелил отцу прямо в живот. Лишь немедленная врачебная помощь спасла Суркова от близкой смер-

<sup>1</sup> Сборник «На огненной дуге». Воениздат. 1963, стр. 26.

ти. Он и поныне живет и здравствует. Не суждено этому человеку умереть от пули!

В течение августа—декабря 1943 года, преодолевая сопротивление противника, мы вышли на рубеж Днепра, продвинувшись на запад более чем на пятьсот километров.

Мне случилось быть на левом берегу Днепра в тот день, когда наши войска форсировали его в районе города Лоев. Противник нецелесообразно бомбил подходы к переправе, но уже безрезультатно — несколько дивизий успели полностью перейти на противоположный берег.

Сколько раз мы грустили, слушая песни о Днепре, когда нам было еще так далеко до Днепра! И вот мы вышли на Днепр. Я думал о своих земляках, о своем родном селе, расположенном недалеко от Днепра в Запорожской области. Всего лишь несколько дней тому назад эту местность освободили от фашистской оккупации. Я еще не знал об ужасных разрушениях, которым подверглось мое родное село. По нему проходил передний край обороны. Из трехсот домов осталось в целости всего лишь пять. Только трубы торчали среди развалин и пепелищ. Через месяц-два стали возвращаться жители села. Они рыли землянки, на метр уходящие в землю. Вконец разрушенное хозяйство восстанавливалось с мучительным трудом. Обо всем этом я узнал позже, а затем и собственными глазами увидел потрясающую картину бедствия, бесконечного горя и слез моих земляков, оставшихся в живых после войны.

Но об этом горе и о героическом труде земляков, о радостях, переживаемых ими теперь, в дни, когда я пишу эти воспоминания, я надеюсь рассказать в другой раз. А пока возвращусь к тем задачам, какие встали перед тыловиками после выхода 1-го Белорусского фронта за Днепр.

Потребовалось новое напряжение всех сил для строительства и восстановления дорог, для обеспечения войск всеми видами довольствия.

Особенно трудно было с продуктами питания.

Дело в том, что когда мы проходили на запад по таким областям, как Курская, Орловская, Сумская, Черниговская, Гомельская, хлеб никем не убирался: мешали боевые действия, да и некому было во многих местах убирать. Рассчитывать на трофей не приходилось: бои были упорные, противник успевал вывезти или уничтожить запасы. А в некоторых армиях и дивизиях хлеба и круп оставалось всего на один-два дня, на фронтовых складах было пусто. Нетрудно понять острогу положения: фронт, насчитывавший полтора миллиона едоков, имел хлеба на одни сутки и не было у него резервов.

Командующий не раз доносил об этом в Ставку. Но ведь вся страна переживала тогда продовольственные трудности...

В этой обстановке я получил телеграмму — немедленно вылететь в Орел для встречи с А. И. Микояном. Это было глубокой осенью, на полях лежал снег, и мой По-2, на котором я вылетел в Орел, был на лыжах. Во время полета пришлось один раз чуть не кубарем спускаться на заснеженное поле и выжидать, пока не скрылись пролетавшие немецкие истребители.

Я представился А. И. Микояну в Орловском обкоме партии на совещании секретарей партийных комитетов областей, недавно освобожденных от противника. В присутствии всех собравшихся Микоян стал расспрашивать меня о положении дел на фронте. Разговор был примерно такой:

- Ну, как дела на фронте?
- Плохи дела, хлеба нет, товарищ Микоян.
- А хотите иметь хлеб?
- Я затем и прилетел к вам, чтобы попросить.
- А я затем и вызвал вас, чтобы предложить хлеб.
- А где же этот хлеб?
- Весь хлеб у вас. Вы по хлебу ходите.
- Не понимаю вас, товарищ Микоян.



— Мы даем вашему фронту области Орловскую, Сумскую, Черниговскую, Гомельскую для заготовок хлеба. Сумейте взять этот хлеб.

Я доложил Военному совету о результатах своей встречи. Оказывается, прошедшей ночью из Москвы уже поступило распоряжение о предоставлении нам четырех областей для заготовки хлеба. К. К. Рокоссовский поручил мне подготовить развернутое решение по этому вопросу (членами Военного совета у нас были К. Ф. Телегин и М. М. Стахурский).

В каждую область, в каждый район выделены были представители Военного совета фронта; на заготовки зерна были направлены 27 тысяч солдат, 2500 офицеров, 2 тысячи автомобилей. Обкомы, облисполкомы, все местные органы власти нам помогали.

Через райисполкомы, сельсоветы, через уполномоченных отдельных деревень производился сбор сельскохозяйственного инвентаря. Хотя в этих областях осталось немного населения — притом все старики, инвалиды, женщины и дети, — но каждый сколько-нибудь трудоспособный человек участвовал в уборке и обмолоте хлеба. Домохозяйки просушивали зерно на русских печах, на лежанках, а то и просто на полу в хорошо натопленных избах. Там, где хлеб находился в стогах, копнах или хотя бы в валках, главным делом было его свезти и обмолотить. Но было много полей совсем нескошенных, где полеглий и слегка подмерзший хлеб ушел под снег. Значительная часть его осыпалась, но все же кое-что оставалось и для обмолота, а ведь нам дорог был каждый килограмм зерна! Понадобились грабли, серпы. Да, именно грабли и серпы. Полеглий хлеб убирался так: один солдат граблями счищал снег — благо в то время его было еще мало, — а другой подрезал хлеб серпом и складывал. Затем свозили колосья в пункты обмолота и развозили проветренное зерно по избам для просушки или в хранилища. А какие были в то время хранилища? Мы рады были любым уцелевшим стенам. Сооружали самые примитивные крыши и навесы, лишь бы уберечь зерно от дождя и снега...

Тылу помогало политуправление фронта во главе с генералом С. Ф. Галаджевым. Издавались специальные листки, посвященные хлебоуборке. Кинопередажки и радиоустановки на машинах обслуживали заготовителей на местах. Самолеты распространяли по пунктам обмолота газеты, сбрасывая их с воздуха.

К февралю 1944 года было заготовлено 13 миллионов 607 тысяч пудов зерна. Полуторамилионный фронт был обеспечен хлебом до 1 августа 1944 года.

Это была блестящая победа тыла во имя победы фронта. Правда, эта победа, как многие другие, была не окончательная: возникла угроза самовозгорания зерна, так как влажность его достигала местами двадцати пяти процентов. Организовали перелопачивание. Теперь мне самому трудно себе представить, как удалось перелопатить столько хлеба.

Хлеб был спасен. От имени воинов 1-го Белорусского фронта и трудящихся прифронтовых областей было отправлено из наших запасов шестьдесят тысяч пудов зерна только что освобожденному городу-герою Ленинграду.

Фронту пришлось заготавливать не только хлеб, овощи и картофель — он занимался и заготовкой мяса в глубинных областях страны: ведь при отходе наших войск весь скот старались угнать на восток.

Еще на Курской дуге (кажется, в мае 1943 года) Центральный фронт получил извещение от наркома мясомолочной промышленности СССР, что для нас запланирован отпуск живого скота в количестве десяти тысяч тонн в убойном весе из Балашова, из Саратовской, Пензенской областей. Подать этот скот по железной дороге Мясомолпром не может: Наркомпусть не предоставляет вагоны; единственный выход — организовать перегон скота силами фронта.

Легко сказать — десять тысяч тонн мяса! Это значит семьдесят — семьдесят пять тысяч голов крупного рогатого скота, включая молодняк. Это более пятисот гуртов. Если учесть, что фронт к концу 1943 года вышел на линию Днепра, то расстояние от Волги составляло свыше тысячи семисот километров.

Пришлось нам сразу же приступить к решению двух задач. Одна группа представителей фронта во главе с товарищами Синебыльниковым и Кольцовым занималась приемом скота на местах и формированием гуртов. Другая группа во главе с крупнейшим специалистом по перегону скота Михаилом Яковлевичем Марьясиным изучала и определяла трассы перегона через Саратовскую, Пензенскую, Тамбовскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую, а позднее и Гомельскую области.

Определить трассу — это не значит просто провести на карте линию «от» и «до», как думают некоторые военные, снисходительно поглядывающие на интендантов. Надо точно знать, насколько благоприятна зона перегона в эпизоотическом отношении, достаточно ли подножных кормов, не будет ли связан перегон с поправами хлебов, как размещены водоемы, имеются ли мосты или переправы через многочисленные реки, достаточно ли ветеринарных пунктов на трассах, а если не хватает, то куда надо доставить группы ветработников фронта. Словом, организаторам перегона надо предусмотреть все до мелочей, чтобы по их недосмотру не случилась в пути беда.

Наши товарищи определили две трассы. Изю дня в день, через каждые пять — семь километров, на обе трассы выходили гурты скота, образуя как бы живой конвейер по сто двадцать — сто пятьдесят голов в каждом. Около ста дней шли заготовки скота, и в августе 1943 года в движении к фронту находилось уже более четырехсот гуртов. Все эти гурты двигались к фронту, а фронт перемещался все далее на запад...

Это была грандиозная хозяйственная операция, во главе которой стоял интендант фронта Николай Кириллович Жижин. Ему принадлежит большая заслуга в выполнении этой смелой и ответственной операции.

Как ею управляли? Во-первых, были использованы постоянные линии Наркомсвязи: из установленных пунктов давались телеграммы в Москву на имя наркома мясомолочной промышленности. Там сведения обобщали и передавали в Управление тыла Красной Армии, а уж оттуда информации самолетом или по проходам доставлялись нам во фронт. Во-вторых, офицер фронта капитан Волошко, зоотехник по образованию, на самолете По-2 совершал облеты трасс, подсчитывая с воздуха количество гуртов, засекал их местонахождение, а нередко и приземлялся вблизи них, оказывая помощь гуртоправам. Этим же самолетом доставлялись гуртовщикам с фронта газеты путем сбрасывания свертков.

Всего в перегоне участвовало около трех тысяч человек. Среди них были офицеры и солдаты службы тыла, но большинство составляли местные жители, временно мобилизуемые Советами специально для этой цели.

Наступил октябрь 1943 года. Пятьсот тридцать гуртов благополучно дошли до назначенных пунктов. Скот проходил за сутки в среднем пятнадцать километров. Потери в пути не превысили половины процента, а привес за счет хорошего содержания составил десять процентов. И ведь надо было не только сохранить скот, но также обеспечить прием и питание народившегося в пути молодняка, доить коров, разумно использовать молоко, а также отходы от вынужденного забоя скота. Молоко сдавалось госпиталям и больницам, им же передали лучших молочных коров. Шкуры, рога, копыта сдавались местным перерабатывающим предприятиям.

В составе прикрепленной к фронту полевой конторы № 2 Наркоммясомолпрома был походный завод, который изготовлял колбасы, сосиски и другие мясные изделия для столовых военторга и госпиталей: во время перегона скота этот завод широко использовал мясо и субпродукты. Начальник полевой конторы № 2 Маршак и его заместитель Марьясин показали себя инициативными и знающими работниками.

Не будет преувеличением, если я скажу, что участники и организаторы столь блестяще выполненного перегона огромной массы скота совершили настоящий трудовой подвиг во имя победы над ненавистным врагом. Эти труженики тыла достойны того, чтобы их подвиг был широко известен.

Благодарности заслуживают и работники Наркомата мясной и молочной промышленности, предложившие именно такое решение проблемы; доставка скота обычным способом, по железной дороге, вряд ли была бы более легкой и, уж бесспорно, обошлась бы дороже, ибо снабжение железнодорожных транспортов водой, кормление, посылки в них скота и ветеринарная помощь связаны были бы с не меньшими трудностями; и почти наверное можно сказать, что потери в весе и в поголовье скота были бы большими. Нечего и говорить, что железные дороги, работавшие с крайним напряжением, надо было освобождать от перевозки живого груза, могущего передвигаться своим ходом.

Во время заготовок продовольствия мне приходилось не раз выезжать в области и районы. Но не только продовольственными делами занимался там начальник тыла фронта. Помню, я приехал в одну деревню, недалеко от города Климовичи в Белоруссии. Ко мне обратился председатель сельсовета с вопросом: как ему поступить в одном трудном деле. В этой деревне до 1937 года жил пчеловод Климов. У него была пасека в тридцать — сорок ульев. Ухаживал он за пчелами сам, с помощью жены и сына, чужим трудом не пользовался. Но в 1937 году его почему-то признали «чуждым элементом» и выселили в Донбасс, где он стал работать на шахте. Избу Климова предоставили одной из жительниц села — матери трех сыновей и дочери. Сыновья все ушли в Красную Армию и стали летчиками. В Красной Армии служил также сын Климова; в годы войны он стал офицером-артиллеристом и находился в составе 1-го Белорусского фронта. Когда немцы оккупировали Донбасс, Климов, чтобы не работать на противника, возвратился к себе в село и вновь поселился в своей собственной избе, состоявшей из двух комнат. (Я видел эту довольно плохенькую избушку.) Женщина, жившая в ней с дочерью, ушла отсюда, но своего жилья еще не имела. И вот председателю сельсовета стало известно, что Климовым получено письмо от сына-артиллериста; одновременно получила письмо от сына-летчика и та женщина, которая раньше жила в доме Климова. И тот и другой собирались вскоре, пользуясь близостью расположения частей к Климовичам, навестить своих родных (летчик даже спросил, можно ли приземлиться вблизи деревни). Старушка мать временно ютилась с дочерью в передней сельсовета. Встал вопрос: что делать? Выселять Климова, чтобы вселить в его избу мать летчика? Это было бы несправедливо к Климову и обидно для его сына-фронтовика. Но нельзя же и оставлять семью летчика в невыносимо скверном «временном» (затянувшемся на месяцы) положении!

Я сказал, что выселять Климова из его дома, безусловно, нельзя. Оставлять в передней сельсовета старушку с дочерью также недопустимо. Надо искать квартиру. Однако село было наполовину сожжено немцами — свободного жилья не нашлось.

На наше счастье, при этом разговоре присутствовал начальник дорожного управления фронта генерал Г. Т. Донец. Видя затруднительность положения, Георгий Тихонович отозвал меня в сторону и предложил построить для старушки силами военных дорожников новый дом из четырех комнат (для матери с дочерью и для сыновей — каждому по комнате). Я, конечно, обрадовался такому предложению, а председатель сельсовета — и того больше. Чтобы мать могла достойно встретить своего сокола, интенданту фронта было предложено выделить ей кровати с постельными принадлежностями. Через десять суток дом был построен и полностью обставлен. В него вселилась счастливая мать с дочерью. Дорожники подправили также избу Климова.

Уже спустя несколько месяцев, когда мы ушли далеко на запад, к нам пришла местная газета, в которой подробно описывался этот случай.

В октябре 1943 года, то есть еще в ходе наступления, Центральный фронт был переименован в Белорусский; несколько позже он стал называться 1-м Белорусским, поскольку были созданы 2-й и 3-й Белорусские фронты.

Весною 1944 года готовилась новая операция по освобождению Белоруссии силами четырех фронтов. Мне приказано было руководить тыловым обеспечением войск 1-го Белорусского фронта.

По сравнению с 1943 годом обстановка коренным образом изменилась. Противник был уже не тот! Он хотя и огрызнулся, прочно удерживая оборону, но ему было не до наступления. Чтобы упрочить свое положение, он разрушал крупные мосты, дамбы и насыпи и всячески усиливал тактическую зону своей обороны.

Казалось бы, нависшая прямо над головой угроза окончательного военного поражения должна была заставить фашистов как-то думать о том, чтобы смягчить справедливый гнев советского народа; но они, ослепленные злобой, не переставали глумиться над нашими гражданами и старались всеми способами причинить нам вред. Так, гитлеровцы сосредоточили почти непосредственно за передним краем в концентрационных лагерях тридцать шесть тысяч советских женщин, детей и стариков, больных сыпным тифом, а потом, отходя на запад, открыли все эти лагеря. Огромная масса больных, завшивевших, голодных, разутых и полураздетых людей хлынула навстречу нам, ожидая помощи во всем — в лечении, одежде, питании, обогреве. Появление стольких больных среди войск и жителей населенных пунктов угрожало распространением эпидемии.

Потребовалось много усилий, чтобы предотвратить беду. Дорожники и медики установили на всех путях и перекрестках контрольно-пропускные пункты, где производился первый опрос и осмотр граждан, идущих из лагерей. Одних тут же отправляли в лечебные учреждения, других — на специальные пункты, где мыли, выдавали чистое белье и продезинфицированную одежду, кормили по специальной диете для дистрофиков. Автомобилисты перевозили этих людей на фронтовом транспорте в глубокий тыл. Органы ВОСО предоставили им санитарные вагоны. Службы вещевого и продовольственного снабжения изыскивали дополнительные ресурсы для удовлетворения их нужд. Политотдел тыла фронта совместно с партийными и советскими органами близлежащих областей и районов проводил разъяснительную работу среди этих деморализованных, павших духом людей. Местные власти прилагали большие усилия к тому, чтобы как-то разместить, хотя бы временно, всех советских граждан, которым возвращена была свобода.

Лишь благодаря единству и многостороннему характеру системы тыла можно было успешно выполнить это поручение Военного совета фронта. Опасность сыпнотифозной эпидемии была устранена.

Подготовка Белорусской операции совпала с весенними полевыми работами. Во всем нам тогда было трудно — и с пахотой, и с семенами, и с транспортом. Гитлеровцы применили к хозяйству Белоруссии «тактику выжженной земли»: почти все было разрушено или сожжено. Но тем более нельзя было оставлять землю незасеянной. В связи с этим 25 февраля 1944 года Военный совет 1-го Белорусского фронта издал постановление о помощи белорусскому народу.

Действующая армия еще сама испытывала нужду во всем: в боеприпасах, горючем, тракторах, автотранспорте. Но все же фронт мог помочь селу. Каждая служба тщательно взвешивала, что она может выделить народному хозяйству без ущерба для боеспособности войск. Если говорить формально, фронту во время войны нужно все, и ничего у него лишнего нет. Это верно. Но в войне уже наступил перелом. Наша страна, обеспечивая действующую армию всем необходимым, уже три года ограничивала все другие свои потребности. Теперь армия должна была постепенно возвращать родине часть ресурсов и помогать ей в заживлении ран.

Сперва штаб тыла предполагал помогать населению своими средствами и силами лишь в пахоте и севе. Но коммунисты армий, дивизий и частей фронта, обсуждавшие этот вопрос, внесли еще ряд предложений, которые мы свели в более обширную программу. Вот перечень мероприятий, перечисленных в решении Военного совета: выделить на пахоту 45 тракторов; передать народному хозяй-

ству Белоруссии 100 водителей машин и 40 трактористов; выделить команду специалистов в составе 30 человек с необходимым инструментом и запасными частями для ремонта сельскохозяйственного инвентаря и строительную бригаду для ремонта зданий; построить высоководный мост через реку Сож в Гомеле; найти помещения и оборудовать детские дома для сирот общей численностью на две тысячи детей, обеспечить их вещевым имуществом и питанием на шесть месяцев; построить в селах 400 бань; передать правительству БССР питомник с 300 племенными лошадьми и 2200 жеребьями; обследовать на сап 10 тысяч лошадей из хозяйств БССР; поместить в госпитали фронта всех местных жителей, больных сыпным тифом; восстановить здания 15 больниц; послать на работу в местные больницы 10 врачей и 25 специалистов среднего медперсонала; восстановить 300 погонных метров мостов по указанию правительства БССР; отпустить керосина 350 тонн, дизельного топлива 200 тонн и солидола 100 тонн; восстановить промышленно-коммунальные здания общей площадью 25 тысяч квадратных метров; передать лесоматериалов 2500 кубометров.

В постановлении говорилось: «Военный совет фронта обязывает все армии, дивизии, отдельно стоящие полки, тыловые части и учреждения, без ущерба для боевой деятельности войск, оказать всемерную помощь в подготовке и проведении весеннего сева. Каждый трактор, каждая лошадь, если позволяет обстановка, должны быть использованы на пахоту и сев. Личный состав частей должен принимать активное участие в возделывании колхозных и индивидуальных огородов (в первую очередь семьям красноармейцев, офицеров и жертв немецких оккупантов). Военный совет обязывает генералов, офицеров и политорганы добиться, чтобы каждая крупная и мелкая часть, не находящаяся на передовой линии, включилась в эту большую работу (пахота, сев, ремонт сельскохозяйственного инвентаря, колхозных построек, отдельных домов, принадлежащих вдовам, сиротам и т. д.)».

Мы начали помогать народному хозяйству Белоруссии как раз в то время, когда развернулась подготовка к стратегической операции. Было, конечно, трудно. Зато хозяйственная и идеологическая связь личного состава войск фронта с населением Белоруссии стала составной частью политических мероприятий, обеспечивающих успех предстоящих боев. Величайшее воодушевление, с которым бойцы и командиры помогали населению, сопровождало их затем в ходе долгого и тяжелого сражения.

Как я постарался показать читателю, основное состояние тыла в ходе операции — это перманентная нехватка чего-нибудь. Так было и в этот раз. Прежде всего не хватало сил для восстановления железных дорог, войска уходили вперед, железные дороги отставали; но когда плохо работают железные дороги, увеличивается спрос на автомобильный транспорт и его также не хватает. Удавалось собрать достаточное количество машин — тогда возникали трудности с горючим; если же горючее появлялось, то его сразу приходило так много, что у нас не хватало емкостей и перекачивающих средств, чтобы своевременно принять его, и тогда мы задерживали на станциях железнодорожные цистерны сверх положенного времени...

Строительство и восстановление железных и автомобильных дорог, особенно мостов, приняло огромный размах во время Белорусской операции.

В тылу фронта протекали такие реки, как Днепр, Припять, Десна, Сож, Березина. Все крупные мосты через эти реки были взорваны противником при отходе, восстановление их являлось первостепенной задачей. И в этом деле опять сказались преимущества единства и многогранности системы тыла. Мы каждую минуту чувствовали, как важны на фронте железнодорожные войска, от работы которых зависит не только успех боевой операции, но и вообще вся жизнь, и мы никогда не скупились на всестороннюю помощь этим войскам. Сотни автомобилей, сотни тонн горючего, дополнительные продукты питания (включая водку) — все предоставлялось нами железнодорожным войскам почти без ограничения. Но еще большей помощью им было то, что начальнику железнодорожных войск фронта были

временно приданы несколько тысяч специалистов дорожной службы. Мне не пришлось долго убеждать начальника дорожных войск фронта генерала Донца в целесообразности такой меры — и он сам, и начальник автомобильного управления фронта, начальник отдела снабжения горючим, интендант фронта и другие отлично понимали обстановку: каждый был готов сосредоточить усилия своей службы в том направлении, где в данный момент решалась главная задача.

Исключительные трудности встали перед нашими железнодорожниками в первые дни Белорусской операции. В тактической зоне своей обороны (двадцать—тридцать километров) противник произвел разрушения железной дороги по максимальному варианту: не только рельсы и шпалы были сняты, но и насыпь была превращена в укрытие для людей и техники, для чего в ней были прорыты многочисленные глубокие ниши. Такую дорогу можно было восстанавливать по одному-полтора километра в сутки, поэтому за каких-нибудь пятнадцать—двадцать суток наступления фронтные прирельсовые базы остались позади войск на триста пятьдесят—четыреста километров. Вся тяжесть подвоза легла в эти дни на автомобильный транспорт, который, конечно, не может заменить железную дорогу.

Как сказано выше, строительство железнодорожных мостов являлось ключом к решению всех остальных задач тыла. Поэтому, например, на восстановлении днепровского моста у города Речицы одновременно было занято около двух тысяч человек с большим количеством разнообразной техники. Работы велись с трех точек сразу — из центра и от каждого берега.

Особое значение приобрел в то время железнодорожный мост через Березину у деревни Шацилки — около пятидесяти километров юго-западнее Жлобина, в трех километрах от противника. Примеры подлинного героизма показали здесь железнодорожники: они несли большие потери от методического огня артиллерии и от налетов вражеской авиации, но не прерывали работу при сигналах «воздушная тревога». Но, пожалуй, и в других местах строители не уступали им в мужестве. Подъехав к одному из восстанавливаемых железнодорожных мостов через Припять, я увидел шестерку приближавшихся к нему немецких стервятников. Не менее трехсот—четырехсот человек гнездились в это время на фермах моста: клепали, варили, укладывали шпалы, рельсы, тянули провода. Служба ПВО предупреждала о приближении самолетов противника за десять—пятнадцать минут, и была полная возможность спуститься с моста и уйти в укрытия; но ни один человек не ушел, работа продолжалась с тем же напряжением. На мой вопрос к одному из солдат: «Почему не идете в укрытие?» — тот ответил: «Надоело ходить. Если бы мы по каждой тревоге бегали в щели, то и работать было бы некогда».

Планированием расхода боеприпасов начальник тыла не занимался — эта функция принадлежала командующему артиллерией и начальнику артиллерийского снабжения фронта. Но на обязанности тыла лежал подвоз боеприпасов всеми видами транспорта. Поэтому нам было далеко не безразлично, какой порядок эшелонирования боеприпасов будет установлен артиллеристами.

Опыт Белорусской операции дает богатый материал для понимания этой проблемы.

По плану командующего артиллерией фронта, боеприпасов к началу операции было выложено на огневые позиции два с половиною боекомплекта — с таким расчетом, чтобы провести двухчасовую артподготовку и обеспечить работу артиллерии на весь первый день боя. Вес этих боеприпасов составил сорок тысяч тонн. Закончился первый день операции, наши войска успешно прорвали оборону противника, и весь фронт перешел в наступление. Выяснилось, что на исходных огневых позициях осталась неизрасходованной почти половина боеприпасов, разбросанных более чем в ста точках. В весовом выражении это составляло более шестнадцати тысяч тонн, или не менее восьми тысяч машино-рейсов. Надо было всю эту массу боеприпасов найти в белорусских лесах и болотах и вывезти по дорогам, почти непроезжим. Когда завозили боеприпасы на огневые позиции, сами артиллеристы помогали проталкивать машины, строили жердевки и пр. А теперь

все это легло на плечи водительского состава: и прокладывать дорогу, и грузить боеприпасы, и под команду «раз-два взяли» вытягивать застрявшие в болотах машины. Трудное это было дело!

По отчетным данным, за фронтом значилось в наличии более одного боекомплекта боеприпасов, а в войсках снаряды насчитывались единицами.

Значительную часть боеприпасов мы все же вывезли, хотя с большим опозданием, — остальные пришлось разыскивать и вывозить даже после войны.

Через несколько дней после начала операции перешло в наступление левое крыло фронта. Здесь, учтя опыт, мы уже не стали завозить на огневые позиции столь большого количества боеприпасов — и не прогадали. Но для того, чтобы это было разрешено, потребовалось вмешательство первого члена Военного совета фронта.

Могут сказать: не дело начальника тыла заниматься критикой оперативных планов командования, его дело — подвозить боеприпасы, не вдаваясь в то, для чего и сколько их потребуется. Но если отбросить «местничество» и думать только о деле, то следует признать весьма полезным привлечение начальника тыла к разработке плана артиллерийского обеспечения войск, ибо начальник тыла — это не просто организатор перевозок, но и лицо, не менее других военачальников заинтересованное в конечном результате перевозок, то есть в успешном разгроме врага. К сожалению, далеко не все командиры правильно понимали этот вопрос во время минувшей войны. Некоторые товарищи из службы артиллерийского снабжения стремились, например, к тому, чтобы заполучить в свое постоянное пользование такое количество автомашин, какое было необходимо им, чтобы не зависеть от начальника тыла и самим обеспечивать себе подвоз боеприпасов. Но это была ошибочная точка зрения. Даже при избытке автотранспорта в хозяйстве фронта или армии нельзя раздавать машины по потребителям.

Известно, что в войну 1941—1945 годов войска каждого из фронтов проводили две-три операции за год, на что уходило в общей сложности три-четыре месяца; остальное время войска находились в обороне. Однако тыл ни на минуту не прекращал своей кипучей деятельности, и ему нужен был транспорт постоянно. Кроме того, централизованное управление транспортом дает наиболее высокий коэффициент использования его. Не случайно наше правительство встало на путь создания мощных транспортных организаций в мирное время: это дает огромный экономический эффект. Тем более нельзя было расплять автотранспорт в минувшую войну, когда его было так мало. Правда, некоторые начальники тыла поддавались нажиму и отдавали на откуп по два-три автобата, чтобы не нести самим ответственности за подвоз. Но в большинстве случаев это кончалось печально и для артиллеристов, и для начальника тыла, поскольку три автобата с задачей большого масштаба все равно не справлялись, а у начальника тыла не оставалось резерва, чтобы усилить подвоз боеприпасов в самый критический момент наступления.

Из сказанного следует, что эшелонирование боеприпасов перед операцией — это оперативно-тыловой вопрос, в разработке которого должен принимать непосредственное участие начальник тыла. Это не уменьшает ответственности общевойскового и артиллерийского командования, но повышает ответственность начальника тыла.

Чтобы понять, насколько важно правильное понимание этого вопроса, я хотел бы привести такой факт. Примерно в двадцатых числах июля 1944 года, когда Белорусская операция достигла наивысшего напряжения, командующий фронтом Рокоссовский, находившийся в войсках, вызвал меня к прямому проводу и сказал: «Обстановка благоприятствует тому, чтобы с ходу форсировать реку Шара. Но войска смогут закрепиться на другом берегу лишь в том случае, если наша артиллерия поддержит их огнем. Сможете ли вы обеспечить подачу в кратчайший срок четырехсот—пятисот тонн боеприпасов? Если гарантируете подачу, я даю команду на форсирование реки, а если это нереально, то я доложу Ставке, что проводить такую операцию нет смысла». Тыл выполнил требование командующего, и

наши доблестные автомобилисты, доставив на реку Шара двести пятьдесят машин боеприпасов за полтора суток, обеспечили успех дальнейшего наступления.

Как уже отмечалось, растяжка грунтовых коммуникаций в Белорусской операции к исходу июля 1944 года достигла четырехсот—пятисот километров, и от автомобильного транспорта потребовалась предельно напряженная работа. Надо отдать должное нашим командирам-автомобилистам, особенно командиру 18-й автомобильной бригады полковнику Б. Н. Кугутову: они смогли обеспечить среднесуточный пробег автомобиля в триста—четыреста километров. Чтобы достичь этого, полковник Кугутов организовал через каждые сто—сто пятьдесят километров пути комплексные пункты привала, включавшие в себя техническую помощь, заправку горючим, медпомощь. Здесь же водитель мог принять душ, получить горячую пищу и час-два отдохнуть.

Напряженная работа автомобильного транспорта на растянутых коммуникациях вызывала непомерно большой расход горючего. Одна заправка автомобильного, дизельного и авиационного горючего (вместе с маслами) составила девять тысяч тонн, или около пятнадцати поездов. Были дни, когда суточный расход горючего достигал трех тысяч тонн. А поступало оно с центральных баз в недостаточном количестве и крайне неравномерно; страна наша в то время добывала нефти не более восемнадцати миллионов тонн в год. И ведь, кроме фронтов, надо было снабжать все народное хозяйство! Положение с горючим утяжелялось еще и тем, что мы нередко вынуждены бывали задерживать на фронте железнодорожные цистерны, залитые бензином, ожидая, пока откроется движение поездов на вновь восстановленных участках. По инструкциям НКПС, цистерна должна быть освобождена от жидкости за двадцать четыре часа, а мы иногда задерживали ее по трое суток. Этот, казалось бы, частный вопрос настолько был важен, что иногда становился предметом внимания Верховного командования.

Военные люди прекрасно понимали ситуацию, и поэтому всюду была развернута борьба за жесточайшую экономию горючего. Методы экономии были самые разнообразные. Прицепов у нас тогда почти не было, но мы спаривали две машины, из которых одна шла на буксире. Категорически запрещалась посылка машины, не загруженной до отказа. На контрольно-пропускных пунктах были установлены посты, которыми пустые машины задерживались и доставлялись туда, где надо было взять грузы. Многое зависело от искусства водителей, от исправности мотора, системы зажигания; среди водителей было развернуто соревнование за экономию горючего. Наблюдая в настоящее время за работой заправочных пунктов, видишь, как льется бензин на землю вследствие переполнения баков машины; на фронте за это предавали суду. Но самую большую экономию горючего можно было получить, когда грузы подходили ближе к войскам в вагонах, а не на автомобилях. Было подсчитано, что каждые сто километров восстановленной железной дороги экономят более тысячи тонн горючего. Поэтому мы никогда не скупились на помощь железнодорожникам даже при самом остром кризисе.

Некоторые участники войны говорят, что у нас тогда не хватало автомобилей. Конечно, машин было маловато. Но даже наличный парк мог бы проделать работу вдвое большую, если б было в достатке горючее. Раз горючего мало, что говорить о количестве машин...

Не лишним будет заметить, что один наш фронт израсходовал всех видов горюче-смазочных материалов за два месяца Белорусской операции свыше ста тысяч тонн, или десять тысяч железнодорожных цистерн (в десятитонном исчислении). Расход же горючего на всех четырех фронтах, участвовавших в освобождении Белоруссии, составил за это время триста тысяч тонн.

Служба снабжения горючим на нашем фронте состояла из высококвалифицированных специалистов, вооруженных опытом трех лет войны. Во главе ее был полковник Никодим Иванович Ложкин, прошедший большую школу снабжения танков, авиации, автомобилей, хорошо знавший принципы планирования и умевший быстро организовать ремонт смкостей, разрушаемых противником при отходе.



О работе продовольственной службы в обеспечении Белорусской операции уже говорилось: хлеба тыл фронта заготовил на полное удовлетворение потребности до августа 1944 года. С мясом и жирами бывали временные затруднения, но, в общем, мы избегали перебоев в мясoproдуктах, используя запасы консервов. Не всегда снабженцы фронтового управления ограничивались завозом продовольствия на армейские склады или в дивизии: они, например, проследили, чтобы накануне наступления Белорусского фронта каждому бойцу в дивизиях первого и второго эшелонов было выдано по несколько бутербродов с отварным мясом и салом сверх обычного пайка, а также и увеличенные порции сахара и табака. Было аккуратно расфасовано свыше трехсот тысяч кулчков такого сухого пайка.

И военторг фронта внес свою лепту в обеспечение Белорусской операции. Еще в 1943 году в нашей военторговской сети стало развиваться свое кустарное производство товаров широкого потребления — гребешков, расчесок, зажигалок, столовых приборов и многих других товаров, на которые был большой спрос в среде солдат и офицеров. На фронтовых предприятиях военторга широко использовался труд инвалидов войны, которых вербовали на работу прямо в госпиталях. Предлагали свои услуги также старики из местных жителей и женщины (если у них оставались время и силы, не поглощенные другими работами).

При штабах соединений, иногда и частей, были ларьки военторга (правда, не всегда регулярно функционировавшие); в батальонах, ротах, дивизионах, батареях действовали лоточники. Эти лоточники — солдаты или сержанты — ходили по окопам и траншеям, торгуя «ширпотребом».

Военторги возглавлялись офицерами лишь во фронтовом и армейском звене; вся остальная масса работников военной торговли состояла из непризывных людей — главным образом женщин. Интересной формой торговли на переднем крае была система индивидуальных и коллективных «посылок». «Посылка» — это набор наиболее ходовых товаров, упакованных в пакеты с перечислением содержимого и обозначенной ценой. Чтобы ускорить и упростить расчеты в боевых условиях, формировались коллективные «посылки» на стрелковое отделение; лоточник получал деньги с одного-двух человек, а эти рассчитывались с остальными. Были даже ротные и взводные «посылки». Военторг 1-го Белорусского фронта продал в 1944 году 809 тысяч «посылок», а на всех фронтах было продано за этот год более пяти миллионов «посылок». Благодаря этому боец и на фронте был заинтересован в своевременном и полном получении причитающейся ему, хотя и небольшой, зарплаты, зная наперед, что сможет ее целесообразно израсходовать. (Этим, между прочим, поддерживалась также реальная стоимость советского рубля.)

Во главе системы военторга 1-го Белорусского фронта стоял очень энергичный и инициативный офицер Николай Васильевич Каширин — ныне генерал-майор в военно-строительной системе Министерства обороны.

В большой работе тыловых органов во время Белорусской операции было немало промахов и недостатков. Мы видели их сами, но, конечно, еще больше о них знал командующий фронтом.

У него часто бывало достаточно оснований, чтобы потрепать нервы своему начальнику тыла.

Но не таков был Рокоссовский. Он знал, что существенные недостатки в обеспечении Белорусской операции, развернувшейся на глубину до шестисот километров, объяснялись тем, что она планировалась первоначально — и фронтом и Ставкой — как Бобруйская, на глубину всего ста пятидесяти километров (что для фронтового тыла не составляло бы никакой трудности). Ограниченность первоначального планирования, естественно, ограничила и целый ряд жизненно важных подготовительных мероприятий. Так, НКПС не счел нужным своевременно усилить фронт восстановительными средствами и лишь спустя двадцать суток после начала наступления прислал нам дополнительно три железнодорожные бригады. Горючего, завезенного на фронт, также оказалось очень недостаточно. Той же

причиной обусловлены были и серьезные недостатки в медицинском обеспечении: ряд крупных госпиталей продолжал оставаться в двухстах—трехстах километрах от линии фронта, и, когда войска ушли далеко вперед, эти госпитали фактически бездействовали, так как не было возможности их перебросить. От начальствующего состава, от специалистов, от начальника тыла и каждого его солдата потребовалось крайнее напряжение сил и умения, чтобы в ходе операции исправлять ошибку, совершенную где-то в высшем звене, и добиться того, чтобы отстающий тыл не затормозил продвижения всего фронта.

Рокоссовский это знал. Он внимательно рассматривал всевозможные жалобы бойцов, терпеливо выслушивал претензии к тылу со стороны командармов или начальников родов войск и служб — у каждого из них было на что пожаловаться! Но командующий никогда не спешил с обвинениями и замечаниями, не проверив возможностей тыла, касалось ли дело боевого или продовольственного снабжения, санитарной службы или полевой почты. Он сам часто бывал у нас, выступал на совещаниях и конференциях, которые мы проводили со специалистами, посещал раненых и вручал им награды. Его никто не «боялся» — в том смысле, что страха перед взысканием не было. Было другое — боязнь не выполнить его приказ или просьбу, потому что уважение к Рокоссовскому, к его личным качествам и военному авторитету, было всеобщим и искренним.

После того как фронт вышел на Вислу, наши тылы постепенно переместились на территорию Польши, которой Советская Армия в союзе с Войском Польским несла свободу и демократию.

Особенность нового положения наших войск потребовала нового подхода и ко многим вопросам тыловой работы. Прежде всего мы должны были по-новому решить проблему использования местных ресурсов.

За шесть лет гитлеровской оккупации экономика Польши была в корне разрушена. Нормальный товарооборот и торговля почти полностью исчезли, уступив место контрабанде и спекуляции во всех формах — от мешочничества до оптовых махинаций. При существовании значительных продовольственных запасов в одних районах другие сельские районы и промышленные центры голодали.

Задачу снабжения армии и промышленных центров приходилось решать в стране, где не только экономическая, но и вообще вся гражданская жизнь была катастрофически дезорганизована, а население, встречая нас как освободителей, все-таки не избавилось еще и от недоверия, привитого антисоветской пропагандой польских реакционеров и гитлеровцев.

По указанию командующего фронтом К. К. Рокоссовского я объехал все воеводства правобережной Польши и всюду имел официальные встречи с представителями Комитета национального освобождения, с местными властями (которые зачастую состояли из членов довоенной, так называемой Крестьянской партии или разного оттенка либералов и социалистов), а также с представителями кооперативной польской общественности и религиозных общин. Эти встречи заканчивались тем, что мы договаривались о конкретной цифре поставок продовольствия и фуража в соответствии с декретами польского комитета Национального освобождения, находившегося в Люблине. По поручению Военного совета фронта я организовал также в городе Бяла-Подляска прием для представителей польской общественности. Присутствовало свыше ста пятидесяти человек, в том числе и заместитель люблинского епископа, который произнес страстную речь, призывая помогать Советской Армии всем, чем можно.

В самое короткое время хлеб и другие продовольственные продукты тысячами тонн пошли на приемные пункты. Мы помогали поставщикам своим автотранспортом.

Всюду, где была возможность, нами оказывалась бесплатная медицинская помощь польскому населению, устраивались для него киносеансы, концерты, проводилась широкая разъяснительная работа.

С полной уверенностью можно сказать, что помощь населению со стороны

советских войск послужила хорошим основанием для укрепления братских связей с польским народом в последующие годы.

В ноябре 1944 года начата была подготовка к новой наступательной операции, вошедшей в историю под названием Висло-Одерской.

Помню, 19 ноября 1944 года впервые отмечался День артиллерии. В этот день у нас сменился командующий фронтом. На должность командующего войсками 1-го Белорусского фронта к нам приехал Г. К. Жуков, а К. К. Рокоссовский отбыл командовать войсками 2-го Белорусского фронта.

Не скрою, многие из нас были немало опечалены: все мы, заместители К. К. Рокоссовского по артиллерии, по бронетанковым и по инженерным войскам, по тылу, не сомневались поначалу, что нас также переведут во 2-й Белорусский фронт. Но Г. К. Жуков объявил, что Ставка запретила какие бы то ни было переводы. Все должны оставаться на своих местах.

Девятнадцатого ноября 1944 года, когда мы провожали К. К. Рокоссовского, меня все не покидала тревожная мысль: будет ли новый командующий так же, как он, внимателен к тылу? Мы много наслышались о жестком характере Жукова... И я испытал немалое облегчение, когда, впервые докладывая новому командующему о состоянии дел, убедился, что он придает службе тыла подобающее значение. Именно поэтому он, заботясь о том, чтобы начальник тыла своевременно и достаточно полно был осведомлен о замысле предстоящей операции, обязал и меня выехать в Москву, когда был вызван Ставкой. В Москве он ежедневно, а то и два раза в сутки знакомил меня с новыми деталями плана, ставил задачи и выслушивал мои доклады. В частности, он сообщил мне о предстоящем прибытии в состав 1-го Белорусского фронта четырех новых общевойсковых армий, о предполагаемой группировке наших войск и о том, что подготовку к наступлению надо завершить не позднее 10 января. Нетрудно понять, как важно было начальнику тыла за сорок пять дней до наступления отчетливо представлять себе в основных чертах предстоящую операцию! С другой стороны, самому командующему удобно было ставить конкретные задачи службе тыла своевременно. Не менее важное значение для нас имела оперативная игра на картах, проведенная за месяц до предполагаемого дня наступления. К этому учению были привлечены все командармы, а также начальники родов войск фронта, в том числе и начальник тыла. По существу проигрывался истинный вариант предстоящего сражения.

Учитывая опыт Белорусской операции, мы представили Военному совету фронта план организации тыла, положив в основу следующие основные принципы:

1. Ввиду большой глубины операции и высоких темпов наступления все наиболее важные учреждения оперативного тыла и материальные запасы фронта максимально приближались к войскам. Более 70 процентов наших учреждений размещалось в зоне от 10 до 60 километров от передовой. Наибольшее приближение намечено было для фронтовых госпитальных баз в районе Гарволина (на 35 тысяч госпитальных коек) и Пулавы (на 20 тысяч коек) — оба пункта в 15—30 километрах от линии фронта, а также для фронтовых складов горючего — один в районе Рембертува, другой — в местечке Ставы (оба в 10—15 километрах от линии фронта).

2. Фронтное звено тыла в исходном положении брало на себя почти все функции армейских тылов, заботясь о том, чтобы последние имели возможность без паузы двигаться за наступающими войсками, обеспечивая их на первых этапах операции. Даже дивизионные медсанбаты некоторых дивизий оставались свернутыми и вступали в работу лишь к исходу первого дня.

3. Условием полной готовности войск к наступлению является заблаговременный завоз в границы фронта такого количества материальных средств, какое потребно для обеспечения всей операции. К началу наступления фронт имел боеприпасов до четырех боевых комплектов — около 160 тысяч тонн горючего всех видов около 60 тонн и продовольствия на 30—50 суток или 200 тысяч тонн. Такая обеспеченность считалась для того времени хорошей, однако автомобиль-

ного и дизельного топлива все же не хватило, так как глубина операции оказалась еще большей, чем было запланировано (не говоря уже о том, что войскам пришлось совершить большую перегруппировку в северном направлении).

Как же хранились эти запасы в условиях фронта? Разумеется, никаких складских помещений не было. Все хранилось под открытым небом в штабелях, в мешках, в емкостях, преимущественно в земляных выемках, в траншеях, обвалованных землях и по возможности замаскированных сверху. Если кому-либо удавалось хранить запасы в закрытых помещениях, то это было исключением. Даже полк в обороне держал запасы на грунте (в щелях, оврагах и т. д.).

Теперь и боевые средства стали другие, и транспортные возможности возросли. Но тогда?.. Представим себе на минуту, что мы погрузили бы на автомашины в январе 1945 года тот минимум материальных средств, который полагаешь содержать в каждой армии перед началом наступления. Для такой армии, как 8-я гвардейская, это означало бы погрузить не менее четырех тысяч тонн, для чего понадобилась бы (в двухтонном исчислении) две тысячи транспортных машин, а их всего было в этой армии триста пятьдесят, то есть на семьсот тонн, и остальное имущество неизбежно пришлось бы выкладывать на грунт.

С этой точки зрения приходится обратить некоторое внимание на опубликованные в журнале «Октябрь» № 3 за 1964 год мемуары Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова, где в самом невыгодном свете представлены работа органов тыла фронта, а заодно и решение Военного совета фронта, утвердившего план организации тыла в Висло-Одерской операции. Ошибка, по мнению В. И. Чуйкова, состояла именно в том, что значительная часть армейских запасов хранилась на грунте, а это он считал недопустимым. Но, учитывая сказанное выше, мы отказываемся понять В. И. Чуйкова, когда он пишет, что по планам фронта «армии, получив боеприпасы, горючее и продовольствие на всю операцию, вынуждены были бы хранить их на земле, под открытым небом, а не на транспорте» (стр. 132). Может показаться, что в минувшую войну все запасы обычно хранились либо на машинах, либо в хранилищах, оборудованных шкафами, полочками, холодильниками. У читателя, более или менее знающего войну, утверждения В. И. Чуйкова вызовут лишь недоумение: как мог такой бывалый воин написать это своей собственной рукой?

В. И. Чуйков пишет, что утвержденный Военным советом план тылового обеспечения Висло-Одерской операции неизбежно должен был привести к ее провалу. Но ведь известно, что эта операция блестяще удалась!

Все это очень странно. Непонятно прежде всего, откуда мог знать В. И. Чуйков — в то время командующий армией — план организации тыла фронта в целом. Он утверждался Военным советом фронта и доводился до командармов только в части, касающейся данной армии. Кроме того, я должен сообщить читателю тот факт, что за неделю до начала Висло-Одерской операции я сам вместе с другими генералами тыла ознакомился с состоянием тыла 8-й гвардейской армии на Магнушевском плацдарме и выслушал самоличное заявление ее командующего В. И. Чуйкова, что у него нет никаких претензий к тылу фронта.

В. И. Чуйков представляет исторические факты в искажающем их свете. Может показаться, что он хочет задним числом опорочить командование фронтом и создать впечатление, будто успех Висло-Одерской и Берлинской операций был бы маловероятным, если бы не «гениальная прозорливость» командующего 8-й гвардейской армией...

Разумеется, и весьма авторитетные в своей области деятели не свободны от ошибок — поэтому следует допустить такую возможность и тогда, когда речь идет о командующем 1-м Белорусским фронтом. Однако «метод критики», применяемый Чуйковым, может лишь принизить в действительности высокое искусство советских полководцев.

Возвратимся к рассмотрению тылового обеспечения Висло-Одерской операции.

Особые трудности возникли на плацдармах в связи с исключительной плотностью на них войск и боевой техники. Магнушевский плацдарм имел протяженность по фронту 45 километров, а в глубину 18 километров; Пулавский соответственно — 30 и 10 километров. На первом располагались 23 дивизии и 5348 стволов артиллерии; на втором — 16 дивизий и 3324 ствола (в обоих случаях без учета зенитных установок и гвардейских минометов). И вот при такой массе соединений и артиллерии надо было найти места для полковых и дивизионных тылов и частично для армейских госпиталей и головных отделений армейских складов на грунте. А если к этому прибавить, что, кроме войсковых запасов, на огневые позиции артиллерии было выложено еще 53 тысячи тонн боеприпасов на проведение артподготовки, то и поныне вызывает удивление, как это все могло уложиться на таких «пяточках»! Боеприпасы, выложенные на огневых позициях артиллерии, были укрыты в котлованы и обвалованы. Высокая маскировочная дисциплина, установленная штабом фронта, в полной мере соблюдалась и тыловыми частями.

В порядке подготовки к Висло-Одерской операции было проведено массовое обследование бытовых условий солдат на переднем крае. Поводом к этому послужило, в частности, то, что ввиду недостатка мяса Военный совет временно ввел вместо одного два вегетарианских дня в неделю, разрешив выдачу дополнительно к пайку в эти дни хлеба 100 граммов, картофеля 200 граммов, круп 100 граммов, сахара 10 граммов, жиров 20 граммов. Хотя калорийность пайка поддерживалась на уровне 3800—3900 калорий (при норме 3547), но могли быть неполадки — однообразие питания или неудовлетворительное качество приготовления пищи. В обследовании участвовало более ста проверочных комиссий, опрошено было 9800 бойцов. Потом провели общештабовую конференцию представителей рот переднего края.

Вспоминается такой эпизод на этой конференции. Выступал старшина роты Карпенко. Он десять минут с большим подъемом расхваливал жизнь на переднем крае: моются солдаты регулярно через каждые десять дней со сменой белья; горячую пищу получают два, а то и три раза в день; с табаком все благополучно; письма и газеты поступают регулярно; лоток военторга часто появляется на переднем крае и пр. Закончив речь, старшина пошел на свое место. Председательствовавший член Военного совета фронта генерал Телегин остановил его и спросил:

— А что говорят бойцы про добавочный вегетарианский день?

Старшина Карпенко, спохватившись, возвратился на трибуну и стал извиняться, что не сказал «самого главного».

— Бойцы очень полюбили второй вегетарианский день, — сказал он, — и все как один заявляют, что если бы в этот день выдавали еще и по куску мяса, то лучшего и желать нечего...

Можете себе представить хохот, когда безудержно смеются пятьсот человек?

Сложная задача выпала в то время на долю финансовой службы фронта. Мы впервые вступили на зарубежную территорию, где экономический уклад и финансовая система коренным образом отличались от наших. Еще не были найдены правильные пути и формы к определению курса золотого в новых условиях, еще надо было определить порядок расчетов за поставки продуктов для Красной Армии; наконец надо было установить порядок выдачи жалованья военнослужащим при одновременно действующих системах денежных знаков — советских и польских. Еще ряд других вопросов вставал перед нами в области денежного обращения в первые месяцы пребывания в Польше, и все они носили острый политический характер. Решением их занимались Советское правительство и правительство Польши, но фронтовым финансистам поручено было оказывать всемерную помощь польским финансистам; в частности, был очень полезен в этом деле начальник финансового отдела фронта полковник В. Н. Дутов, хорошо знавший основы государственной финансовой политики СССР.

Если бы вопрос об организации железнодорожных перевозок был решен с самого начала так, как предлагал Военный совет фронта, это могло иметь далеко идущие последствия и, возможно, сказалось бы даже на сроках окончания войны. В этих словах нет преувеличения.

Фронт имел два основных железнодорожных направления. Первое (северное) — Брест, Варшава, Познань, Франкфурт; второе (южное) — Ковель, Люблин, Демблин, Лодзь, Калиш. Восточнее Вислы вся сеть железных дорог была перешита на колею, принятую в Советском Союзе (1524 мм.). Но надо было решить, как восстанавливать пути на запад от Вислы — перешивать их на союзную колею или оставить ширину западноевропейских дорог (1435 мм.).

Решение этого вопроса имело не только военное, но и экономическое значение: Наркомпуть доложил Верховному командованию, что дальнейшее уширение пути на запад от Вислы нецелесообразно, потому что уже развернулось на полную силу восстановление нашего народного хозяйства и Советский Союз не может больше отвлекать свой подвижной состав на военные перевозки в глубь Западной Европы. Выражалась уверенность в том, что фронт завладеет вагонами и паровозами западноевропейской колеи и обеспечит ими свои нужды — стоит лишь оборудовать перевалочные базы в районах Варшавы и Демблина.

На первый взгляд эти соображения казались достаточно вескими. К сожалению, в них не принимались во внимание очень важные реальные условия.

Командование фронта не считало возможным ставить успех операции в зависимости от еще не захваченного у противника подвижного состава и от работы перевалочной базы, которая еще не организована и для которой фронт не имеет минимального количества механизмов. Да и строительство этих перевалочных баз можно было начать лишь вне сферы действительного огня, то есть после удаления противника от Варшавы и от Демблина. Поэтому Военный совет фронта внес предложение: северное (главное) железнодорожное направление восстанавливать на союзную колею, а южное — на западноевропейскую. К нам поступало в то время сорок — пятьдесят поездов в сутки, из которых предполагалось до пятнадцати поездов переваливать на западную колею, а остальные пропускать без задержки по союзной колее. Важным мотивом в обосновании этого плана был самый характер операции — исключительно большая стратегическая значимость ее и высокие темпы наступления; надеяться на автомобильный транспорт при таком большом объеме перевозок, да еще на растянутых коммуникациях, нельзя было. Однако 7 октября 1944 года центр отклонил предложение фронта, а когда через короткое время фронт повторно внес то же предложение, в ответ на это 21 ноября 1944 года последовало распоряжение, обязывавшее восстанавливать оба направления на западную колею. Трудно понять, почему было так решено; тогда это показалось нам вовсе непонятным: перевалочные базы сыграли бы свою роль, если бы к строительству их приступили не в ноябре, а в августе 1944 года, и не на Висле, а по Бугу, то есть по линии государственной границы, как это сделано было спустя год...

Но нам ничего не оставалось, как выполнять приказ.

С началом операции, то есть после 14 января 1945 года, фронт приступил к восстановлению на западную колею дорог обоих направлений, бросив две трети сил (1-ю гвардейскую, 3-ю и 29-ю железнодорожные бригады) на северное направление и одну треть сил (5-ю железнодорожную бригаду с частями усиления) на южное. Работы велись на широком фронте. Железнодорожные войска выдвигались на автотранспорте далеко вперед и работали, идя друг другу навстречу. Благодаря отличной организованности работ разрыв между восстановленными участками и наступающими войсками не превышал пятидесяти — семидесяти километров.

Двадцать девятого января 1945 года был восстановлен железнодорожный мост у Варшавы и закончено восстановление пути до Познани. Можно было бы приступить к перевалке грузов в Варшаве и открыть движение поездов с боеприпасом и горючим, в которых так остро нуждались войска. Но как раз в этот день

было получено из центра третье приказание: фронт обязывали немедленно пережить на союзную колею все Варшавско-Познанское направление.

Шутка сказать — пережить заново триста километров в значительной мере уже восстановленного пути! Пришлось возвращать железнодорожные войска назад и потребовать от них новых, теперь уже сверхчеловеческих усилий. Люди работали круглосуточно. «Темпы и темпы!» — только об этом и твердили им каждую минуту.

Сама по себе спешка не сулила добра. Но тут возникли еще новые препятствия. Западноевропейские железные дороги имеют чаще всего не костыльное, как в СССР, а шурупное крепление. Уширяя путь, некоторые солдаты не завинчивали, а забивали шурупы, как костыли, что резко снижало прочность крепления. На ряде перегонов, кроме того, оказались металлические шпалы, к которым были приварены рельсы; к перешивке таких участков наши войска оказались не вполне подготовленными, и здесь также были допущены большие отклонения от технических норм.

Все вместе взятое привело к тому, что на некоторых участках поезда сошли с рельсов и образовались «пробки».

Трудно передать, сколько недовольства посыпалось в адрес начальника тыла фронта, начальника ВОСО фронта, а особенно в адрес непосредственного исполнителя — начальника железнодорожных войск генерала Н. В. Борисова. На самолетах, на машинах прибыли к местам происшествий работники следственных органов, хотя расследовать-то было уже нечего: в течение двух суток все неполадки устранили и движение поездов пошло по установленному графику.

Но это было уже в середине февраля, когда войска фронта более десяти суток вели напряженные бои на Одере.

Мало того, что противник оказывал отчаянное сопротивление на этом рубеже, — стала вырисовываться угроза со стороны вновь возникшей померанской группировки немецких войск, нависшей над нашим правым флангом. И обстановка осложнялась еще тем, что в ходе наступления изо дня в день увеличивался разрыв между правым флангом 1-го Белорусского фронта и левым флангом 2-го Белорусского фронта, повернутого Ставкой в северном и северо-западном направлениях. К концу операции разрыв достиг почти трехсот километров. В этом «пустом пространстве» безнаказанно бродили группы противника; командованию фронта необходимо было немедленно принимать оперативные меры для обеспечения этого района, и на это тоже нужен был транспорт. А на обоих флангах ощущалась все более острая нужда в боеприпасах и горючем. Безнадежно было рассчитывать на подвоз автомобильным транспортом десятков тысяч тонн материальных средств; дело было бы плохо, если бы не вступило в это время в действие южное железнодорожное направление.

Здесь успешность работ превзошла все наши ожидания: Демблинский железнодорожный мост вместо запланированных восемнадцати суток был восстановлен менее чем за восемь суток, и 23 января по нему было открыто движение.

Увы, на войне редко случается, чтобы радость ничем не омрачалась: железнодорожная разведка донесла, что пути от Демблина до Лодзи разрушены значительно — зато противник успел почти полностью вырезать линии проводной связи и разрушить станционные узлы связи.

Однако и неблагоприятные обстоятельства на войне часто чем-нибудь компенсируются: нам стало известно, что если путь в сторону Калиша изобилует множеством искусственных сооружений, которые почти повсеместно разрушены противником, то направление в сторону Быдгощ, Шнейдемюль, Ландсберг, Кюстрин сохранилось лучше, и хотя этот путь почти вдвое длиннее первого, но движение здесь можно открыть гораздо раньше. Выяснилось также, что наши войска захватили в исправном состоянии пятнадцать тысяч вагонов и триста восемьдесят паровозов.

Мы решили повернуть 5-ю железнодорожную бригаду на Быдгощ, Шнейдемюль, Кюстрин — это было тем более правильно, что перспектива скорейшего

открытия движения поездов на Кюстрин вполне сочеталась со складывающейся оперативной обстановкой на правом фланге фронта.

По мере того, как развивалось стремительное наступление, коммуникации удлинились все больше и больше и все яснее становилось, что даже при полной мобилизации всего автомобильного транспорта фронта, армий и дивизий, включая и арттягачи, невозможно восполнить ежесуточный расход материальных средств. Особенно остро стоял вопрос с подвозом боеприпасов.

На фронтовых базах боеприпасов было достаточно. Кроме того, на Магнушевском и Пулавском плацдармах из числа пятидесяти трех тысяч, завезенных туда на проведение артподготовки, нерасстрелянные двадцать пять тысяч тонн были оставлены войсками, которые ушли лишь со своими подвижными запасами. Надо было перебросить все эти снаряды к сражающимся войскам. Когда определилась благоприятная обстановка в связи с успешным восстановлением южного железнодорожного направления, нами принято было совершенно необычное решение: боеприпасы с плацдармов везти не в сторону войск, а в обратном направлении — через Вислу, на ее правый берег, и одновременно приступить к перешивке на западную колею всей линии между Демблином и Варшавой — для того чтобы перевозимые с плацдармов боеприпасы прямо с машин погружались в трофейные вагоны.

Такой смелый маневр в организации подвоза боеприпасов одобрялся далеко не всеми работниками тыла, особенно же он не понравился товарищам из артснабжения фронта. Было мнение, что лучше бы те двести машин, которые заняты вывозом боеприпасов с плацдармов, направить в войска, чтобы хоть понемногу оказывать им помощь. Но мы не согласились на это, ибо, приняв такое решение и добившись малых успехов, мы утратили бы перспективу, а вместе с тем возможность найти коренное решение задачи.

В моей фронтовой практике не раз складывались ситуации, когда приходилось делать выбор: выдать ли остатки горючего и последнюю сотню-две машин из своего резерва железнодорожным войскам или помочь этими машинами какой-нибудь армии? В большинстве случаев получалось так, что, оказав помощь железнодорожникам сотней тонн горючего, двумя сотнями автомобилей, мы получали возможность на несколько суток раньше открыть движение поездов и подать войскам не сотню тонн, а две-три тысячи тонн, решая этим успех. Так было и в данном случае. Быстрая подача боеприпасов с плацдармов в вагоны западной колеи позволила нам к исходу суток 23 января пропустить по Демблинскому железнодорожному мосту первые десять поездов, груженных боеприпасами и другим дефицитным имуществом. С того дня мы каждые сутки отправляли на запад по южному ходу по десяти—двенадцати поездов (тридцать—сорок вагонов в каждом) без указания конкретного адреса — лишь бы поезд шел безостановочно на запад, на Одер.

Я уже сказал, что на южном направлении почти полностью отсутствовала линейная связь; а как можно пропускать поезда без хорошо работающей связи? К тому же не хватало железнодорожных служащих, на многих станциях не оказалось даже стрелочников. Гитлеровцы знали, насколько враждебны им польские железнодорожники, и они постарались многих из них физически уничтожить или заключить в концлагеря; остальные ушли в антифашистское подполье или просто разошлись по деревням. Таким образом, органы военных сообщений фронта и армий были поставлены в совершенно невероятные условия. Надо было найти способ управления грузопотоком на запад в самый острый период операции, поскольку дорога северного направления, перешитого на нашу, советскую колею, еще не работала.

Отдадим должное офицерам органов военных сообщений, возглавляемым генералом А. Г. Черняковым. Они показали образец сметливости и умения.

Как раз в эти дни к нам на фронт прибыла для стажировки большая группа слушателей Военно-транспортной академии. Все они вместе с офицерами ВОСО фронта и армий, как говорится, встали на вахту — начальниками станций, дежур-



ными по станции, стрелочниками. Они составили поездные бригады, заменили недостающих паровозных машинистов, кочегаров, кондукторов. Но главной их заслугой было то, что они изобрели способ временной замены телеграфной, телефонной и светосигнальной связи. В их распоряжение даны были самолеты По-2, много радиостанций, легковые автомобили. На этих автомобилях офицеры ВОСО следовали по параллельно идущей дороге впереди поездов, чтобы не допустить встречного движения, — и так от станции к станции. Другие офицеры на самолетах облетали в это время отведенные им участки железной дороги и наносили на планшет положение поездов. По радиостанциям, установленным на узловых пунктах, начальник военных сообщений фронта получал два раза в сутки информацию о поездном положении. В управлении ВОСО фронта был учрежден специальный «отдел перевозок» по западноевропейской колее во главе с квалифицированным железнодорожником полковником Драгомощенко. В результате мы каждые сутки знали, какое количество поездов прошло через Демблинский мост на запад и сколько находится на том или ином участке пути.

Третьего—пятого февраля на этой колее находилось свыше ста поездов с боеприпасами, горючим, с тяжелой боевой техникой, но ни один поезд еще не подошел к месту разгрузки. Всем казалось, что эти поезда продвигаются крайне медленно, и они действительно двигались медленно, так как встречали большие трудности в пути.

Нетерпение в штабе фронта, особенно в штабе командующего артиллерией, накалилось добела. Командующий артиллерией даже заявил командующему фронтом, что нависла угроза срыва работы артиллерии из-за отсутствия боеприпасов. И вот в самый критический момент (5—6 февраля) начали поступать один за другим долгожданные поезда с боеприпасами, горючим и прочим. Не сотню и не тысячу, а более двадцати тысяч тонн боеприпасов за несколько дней получило правое крыло фронта как раз в те дни, когда наши войска отражали, а затем и громили померанскую группировку противника.

С 23 января по 10 февраля, когда еще бездействовала северная колее, войска 1-го Белорусского фронта получили по южному ходу около 170 поездов с важнейшими грузами, что составило минимум 50 тысяч тонн. Где уж тут решить такую задачу с помощью автомобильного транспорта!

Мне хочется отметить инициативу армейского командования, особенно танковых армий, в организации наливных поездов. Армиям, вышедшим на Одер, было объявлено, что каждая из них получит из района Вислы столько горючего, сколько железнодорожных цистерн будет доставлено с фронта на перевалочную базу. С исключительной оперативностью армейские тыловики организовали поиски трофейных цистерн на различных тупиках, перегонах, где они стояли с мазутом и другими жидкостями. Их тщательно промывали, формировали из них поезда «вертушки». В состав такой «вертушки» входило двенадцать—пятнадцать цистерн, один-два вагона с углем, одна цистерна с водой и один вагон для сопровождающей команды (с запасом продовольствия). Эти поезда «вертушки» вращались между фронтowymi и армейскими базами, состоя на учете той или иной армии как ее «инвентарь». Конечно, вскоре все эти «вертушки» были изъяты из ведения армий, и ими командовало ВОСО фронта, ибо они обслуживали фронт в целом. Но вначале подобное рассредоточение было весьма эффективным.

(Между прочим, в 1944 году по указанию центра 1-й Белорусский фронт организовал для себя двадцать железнодорожных «вертушек», которые возглавлялись нашими офицерами и курсировали между фронтом и Баку. Такая форма обеспечивала быстрое продвижение наливных поездов к пунктам назначения.)

Еще я должен отметить тот дружный отклик, каким ответили польские железнодорожники на призыв Военного совета фронта — вернуться на транспорт. Я сам видел не раз, как седые, усатые поляки с энтузиазмом брались каждый за свое родное дело на транспорте, желая помочь советским и польским войскам в их освободительной борьбе. Успеху восстановления железных дорог на территории Польши в немалой мере содействовали не только железнодорожники, но и все

польское население. Тысячи варшавян с лопатами, кирками, носилками помогали военным железнодорожникам у варшавского моста. Не менее пятисот повозок с лошадьми предоставили близживущие польские крестьяне для подвоза строительных материалов. И так было всюду.

Из сказанного видно, какую роль сыграл в использовании железных дорог описанный маневр. Видно и то, что мною не преувеличено значение плана, предложенного фронтом. Если неустроенная, с плохими средствами связи и необычными методами управления железная дорога южного направления сыграла столь неопценную роль, то как велика была бы помощь войскам, если бы своевременно была начата перешивка на союзную колею главного, Варшавско-Познанского железнодорожного направления! По этой линии первые поезда могли бы появиться в районе наступающих войск не 15—20 февраля, а второго—третьего. В этом случае могла создаться совершенно иная, гораздо более благоприятная для нас оперативная обстановка.

Теперь, спустя двадцать лет, находятся мемуаристы, усматривающие ошибку в том, что командующий фронтом не двинул свои войска с ходу прямо на Берлин, не считаясь ни с угрозой с севера, ни с состоянием тыла. «Надо было рискнуть», — говорят они. Но военное искусство в том и заключается, чтобы уметь отличать умный риск от авантюры. В данном случае каждому ясно, что тыловая обстановка далеко не благоприятствовала немедленному движению наших войск на Берлин.

Признавая первенство в транспортном обеспечении Висло-Одерской операции за железной дорогой, необходимо отметить огромнейшую работу, совершенную автомобильным транспортом.

Общая грузоподъемность фронтового, армейского и войскового автотранспорта составляла двадцать тысяч тонн. Большая часть дорог в полосе фронта имела твердое покрытие, и они относительно мало пострадали. Но как раз в дни приближения наших войск к Одеру разыгрались метели с сильной гололедицей, из-за которой многие автомобильные колонны не смогли двигаться. Цепи противоскольжения, конечно, очень выручали, но их было мало, — и более заметного результата наши дорожники добились, организовав с помощью местного населения посыпку дорог песком.

Водительский состав грузового парка показал в эти дни, что могут сделать мужественные и стойкие люди. Они могли бы достичь и еще гораздо больших успехов, если бы недостаток погрузочных средств не вынуждал их к длительным простоям. Чтобы поощрить водителей, в качестве временной меры была введена премиальная система оплаты за тонно-километр доставленных боеприпасов.

К заслугам автомобилистов надо отнести их умение организовать ремонт, не отставая от общего движения войск. Этому научила их война. Даже в условиях стремительного наступления они успевали собирать ремонтный фонд, быстро выдвигать вперед легучки, применять агрегатный метод. В результате техническое состояние автотранспорта к концу операции было не хуже, чем в начале.

Темп наступления был чрезвычайно быстрым, и это вместе с высоким насыщением войск техникой благоприятно сказалось на объеме санитарных потерь: они были значительно ниже, чем в прежних больших сражениях. Низовое звено медицинской службы — санитары, санитары-носильщики — показало такой же героизм в выносе раненых с поля боя и в оказании им первой, доврачебной помощи, что и в прежние годы. Главный недостаток в эвакуации с поля боя заключался в том, что почти десять процентов раненых доставлялось на пункты медпомощи на волокушах и шинелях, то есть несовершенными и травмирующими способами. К сожалению, нам тогда не хватало других, более усовершенствованных средств для выноса тяжелораненых с поля боя. И все-таки улучшившаяся организация медицинской службы давала большие результаты. Главным показателем было то, что больше восьмидесяти процентов всех раненых было достав-

лено на пункты медпомощи в первые три часа после ранения (чего раньше никогда не бывало), и это помогало лечению. Никогда еще не заготовлялось на месте столько необходимейших для полевой хирургии препаратов: за время операции было заготовлено и перелито раненым восемь тонн крови и шесть тонн кровезамещающих растворов, двенадцать тонн противошоковой жидкости.

Гитлеровская армия сгоняла поляков на донорские пункты под угрозой применения оружия, ибо никто не желал добровольно отдавать свою кровь захватчикам. Когда же на территорию Польши вступили наши войска, тысячи мужчин и женщины сами вршились на донорские пункты. Нечего, конечно, и говорить, что наши военнослужащие тыловых учреждений фронта и армий и советские женщины, работавшие во фронте по вольному найму, с готовностью предлагали свою кровь для спасения раненых.

Благодаря всему раненым между Вислой и Одером мы в глубокий тыл почти не эвакуировали. Большинство оставалось в наших лечебных учреждениях до полного выздоровления.

По окончании Висло-Одерской операции Военный совет фронта предпринял массовое обследование госпиталей. Опросив 72 957 раненых и больных, на плохой уход мы услышали всего двенадцать жалоб, на неудовлетворительное питание — двадцать две жалобы.

В целом медицинская служба фронта, возглавляемая крупным организатором и на редкость чутким человеком генералом А. Я. Барабановым, хорошо выполнила свою задачу.

В течение марта и первой половины апреля 1945 года шла подготовка к последней операции — на Берлинском направлении.

В связи с подготовкой к этой операции принимались энергичные меры для наращивания и усиления пропускной способности железных дорог; от них по-прежнему зависела вся боевая деятельность войск. Ожесточенные бои в районе Кюстрина и в Померании требовали огромного количества боеприпасов. Все, что было ранее на Вислинских плацдармах, мы полностью вывезли, и уже вступила в строй северная (союзная) колея от Варшавы до Франкфурта, но ее пропускная способность не превышала восемнадцати—двадцати пар поездов в сутки. Особенно затруднено было движение поездов от Познани до Франкфурта, где нами была предпринята попытка использовать двухпутную железную дорогу одновременно, вернее — параллельно: один путь на союзной колее, а другой на западной. Опыт оказался неудачным, практически это лишь ухудшило работу обоих путей.

В это же время усилились эвакуационные перевозки с фронта на восток по обоим направлениям. Демблинская база уже не справлялась с перевалкой грузов на союзную колею. Стали поступать донесения, что в районе Демблина скопилось более тысячи вагонов со всяким имуществом. Перегрузка из вагона в вагон почти исключалась, так как не хватало порожняка союзной колеи; складских помещений, где бы можно было сложить имущество для временного хранения, также не было. Вагоны же нужны были до зарезу для грузов первоочередного значения. Нечего делать, пришлось дать указание — вываливать имущество прямо под откос.

Обстановка требовала усиления подвоза боеприпасов с баз центра, и надо сказать, что центр резко увеличил их отгрузку. Маршал артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев, начальник Главного артиллерийского управления, с которым мы тогда чуть ли не ежедневно вели переговоры по телефону, с большой отзывчивостью относился к нуждам нашего фронта всегда; и на этот раз он быстро договорился с Наркоматом путей сообщения, чтобы открыли «зеленую улицу» поездам, идущим в адрес 1-го Белорусского. А между тем началось бурное таяние снегов, вскрылась Висла и оказались в опасности железнодорожные мосты у Демблина и Варшавы.

Тревожное это было время! В верховьях Вислы, в полосе 1-го Украинского фронта, ледоходом снесло мосты: вся армада обломков, смерзшихся со льдом, продвигалась вниз по течению, угрожая мостам 1-го Белорусского фронта. А у нас железнодорожные мосты восстанавливались тогда на временных опорах, которые, конечно, не могли противостоять такому натиску льда. Надо было спасать мосты, иначе весь фронт оказался бы отрезанным на десять—пятнадцать дней от центральных баз снабжения.

Выезжая на Вислу, чтобы принять все меры для спасения мостов, я обратился к начальнику тыла Красной Армии Хрулеву с просьбой выслать самолетом в Варшаву ученых—специалистов-мостовиков. Со мною поехали на реку начальник военных сообщений фронта и начальник железнодорожных войск, а в Варшаве мы встретились с московскими профессорами-мостовиками. Состоялась короткая консультация ученых и практиков.

Спасение мостов вылилось в грандиозную операцию. Героизм проявили железнодорожные войска и спецформирования НКПС. Один из командиров с редкой находчивостью предложил создать ледовые коридоры для пропуска раздробленных льдин сквозь пролетные строения мостов — иными словами, бороться со льдом с помощью льда; эта остроумная выдумка оказалась очень полезной. Для дробления подходящих «айсбергов» мы призвали на помощь авиацию и саперов. Авиация вела непрерывную бомбежку громадных льдин еще на далеких подступах. Тяжелые мостовые фермы, сорванные со своих мест где-то в верховьях реки и теперь угрожавшие нашим мостам, под воздействием авиабомб и фугасов превращались в щепу и беспрепятственно проходили в отверстия между опорами.

Весьма оригинальными методами спасали варшавский железнодорожный мост. С разных точек он был привязан к обоим берегам тросами, по четыре-пять «ниток» в каждую сторону. Поверх моста поставили около ста платформ, груженых булыжником, чтобы таким образом повысить устойчивость опор, а также уменьшить вероятность разрыва мостового настила.

В наиболее критический момент лед так надвинулся на этот мост, что образовался прогиб в центре его — нечто вроде полудуги. Поезд, стоявший с камнями на мосту, растянулся и, казалось, вот-вот разорвется. Замечательно, что и это положение, близкое к аварии, не вызвало нервозности, не повлекло за собой необдуманных действий или отчаяния — авиация и саперы планомерно продолжали свое дело.

Более трех суток длилась эта борьба со стихией. Мосты были спасены.

Особо отличились солдаты и офицеры 20-го мостового батальона под командованием майора Василия Жолтикова из 1-й гвардейской железнодорожной бригады, получившей потом название «Варшавской». Эти бесстрашные люди карабкались по льдинам у самого моста, проталкивая их шестами в пролетные проходы. Иногда глыбы льда, громоздясь, достигали высоты мостового настила, и не каждый мог удержаться на этой подвижной, как живая, и грохочущей ледяной массе — некоторые из мостовиков срывались в воду. Но, хватаясь за брошенные им веревки, они взбирались на льдины и снова вступали в борьбу.

Первый член Военного совета фронта вручил майору Жолтикову орден Красного Знамени и сердечно поблагодарил личный состав батальона, который весь был удостоен награды.

Пока шла героическая работа по спасению мостов, между Варшавой и Брестом накопилось много эшелонов — каждый день прибывало по этому направлению двадцать пять — тридцать поездов, и все они выстроились в ряд. Благо авиация противника, хотя она еще активно действовала на переднем крае, уже не появлялась в глубоком тылу. Скопившиеся поезда мы пропускали один за другим по варшавскому мосту с возможной быстротой, а часть их шла в район Демблина под перегрузку на западноевропейскую колею; таким образом, и южное направление было использовано до предела.

Некоторые военные историки считают, что к началу наступления на Берлин 1-й Белорусский фронт имел достаточное количество материальных средств: но это верно лишь в отношении горючего и продовольствия. Боеприпасов же было всего два боевых комплекта и лишь по некоторым калибрам несколько больше, а по плану командующего артиллерией требовалось четыре боевых комплекта. Припоминается мне разговор с начальником штаба фронта генералом М. С. Малиным. Он сказал: «Мы с вами имеем случай в ходе Великой Отечественной войны, когда в силу особой обстановки мы вынуждены начинать наступление с неполными запасами боеприпасов, надеясь на подвоз в ходе операции». Так оно и было.

Необходимо отметить при этом одну весьма важную деталь, про которую часто забывают исследователи. Как известно, продолжительность артподготовки в первый день наступления на Берлин была определена в полтора часа. За это время были бы расстреляны почти все боеприпасы, имевшиеся во фронтовом резерве, в том числе и на огневых позициях артиллерии. Но командующий фронтом, находившийся на наблюдательном пункте в расположении 8-й гвардейской армии, сократил артподготовку — подобно тому как он это сделал на Вислинском плацдарме — до тридцати минут и двинул вперед войска, которые начали успешно наступать. Полученная благодаря конкретному учету обстановки экономия боеприпасов имела неоценимое значение для последующих дней штурма Берлина. Подход туда поездов хотя и продолжался, но доставляемые боеприпасы не могли бы обеспечить потребности войск в эти дни, так как противник сопротивлялся на каждом рубеже и каждый новый день наступления наших армий начинался с артподготовки при расходе от одной четверти до половины боевого комплекта. Вот тут-то и пригодилась экономия от первого дня наступления на Берлин.

В самом конце операции боеприпасов накопилось уже довольно много, и не случайно наши войска отмечали победу над фашизмом артиллерийскими залпами почти без учета выпускаемых снарядов.

Весьма важно отметить, что войска 1-го Белорусского фронта, как и вся Красная Армия, закончили войну с высоким уровнем материальных средств и при хорошем состоянии автомобильного транспорта. Мы не только одержали победу над фашизмом, но имели все возможности прочно удерживать эту победу при любом стечении обстоятельств.

Второго мая пал Берлин, а на 8 мая 1945 года было назначено подписание в Карлхорсте, предместье Берлина, пакта о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Церемония подписания акта о капитуляции состоялась 9 мая в здании военно-инженерного училища. Мне случилось при этом присутствовать, так как организационно-хозяйственная сторона церемонии была поручена мне.

Кончилась война. Быть может, впервые за все эти годы многие солдаты испытали сладость спокойного отдыха; они проспали ночь не в сыром окопе, а в доме — пусть даже не на кровати, а на жестком топчане, но в тепле, без артиллерийской стрельбы и зная, что их не поднимут «по тревоге». Многим провоевавшим четыре года не верилось, что наступил конец войне, унесшей так много человеческих жизней.

Но у каждого появились теперь свои новые заботы, свои нелегкие размышления. Куда ехать, если не стало семьи, если не осталось крова, если село сожжено до основания, если завод эвакуирован на восток, а на прежнем месте нет ничего, кроме руин?

Жизнь выдвинула перед нами множество новых задач. Еще 17 апреля 1945 года, то есть за полмесяца до конца войны, было созвано в городе Букине, северо-восточнее Берлина, общештурмовое совещание начальников тыла армий, членов Военных советов армий по тылу, начальников служб тыла фронта и других лиц, причастных к нашим делам. На повестке дня стоял мой доклад: «Ближайшие задачи органов тыла в связи с предстоящим окончанием войны».

Первейшей нашей заботой было привести в порядок военное хозяйство, учесть и оприходовать все до мелочей, избавиться от всего ненужного: ведь многие армии тянули за собой так давно и так много различного имущества «на всякий случай», что теперь сами не знали, как от него избавиться! Фронтовые базы должны были принять от армий все излишествующее, учесть подлежащее ремонту, восстановлению и отправке в Советский Союз, а все негодное «заактировать», то есть списать и уничтожить.

Предстояло увольнение многих возрастов. Не одна сотня тысяч воинов должна была отбыть на родину, а у многих обмундирование и обувь пришли в негодность. Надо было заново одеть, обуть каждого человека, чтобы он уехал в добром здравии и хорошем настроении. И мы изготовили на месте до четырехсот тысяч комплектов нового обмундирования, новой обуви, не менее миллиона пар чистого белья, не терзая нашу страну заявками и просьбами.

Военные железнодорожники должны были подготовить сотни поездов — промытых, продезинфицированных, обеспеченных постелями и необходимым инвентарем. На обязанности интендантской службы лежало выполнение решения Военного совета фронта о подготовке для каждого уезжающего бойца памятного подарка. Продовольственная служба заботилась о том, чтобы в пути следования каждый воин получал регулярно горячую и вкусно приготовленную пищу и кипяток. Финансовые органы производили расчеты и выплату денежного содержания, решительно борясь с бездушием и бюрократизмом, когда они встречались у работников их системы. (Нечего греха таить, находились любители длинных очередей у казначейских столов!)

Отъезд воинов-победителей с фронта на родину — это большое событие, которому партия и правительство придавали особое значение. Под звуки музыки, с песнями, с цветами, в новом обмундировании и добротной обуви отбывали солдаты домой. А в Бресте их встречали советские люди, и тут военные тыловики заблаговременно помогали местным органам власти как можно лучше встретить защитников родины. Гражданские власти одни не могли тогда с этим справиться.

Конец апреля и начало мая — это время завершения весенних полевых работ в Германии. Приближаясь к Берлину, мы видели немцев, пашущих землю, сажающих картофель. Но это были одиночки. Большая же часть земель между Одером и Берлином — и даже западнее Берлина — оставалась необработанной. Не до заботы о завтрашнем дне было в те дни немцам! Но ясно было, что каждый упущенный день грозил серьезными последствиями.

Как ни сильны были в то время апатия и депрессия в широких кругах немцев, нельзя было медлить с мобилизацией населения на весенний сев. В те дни в Берлин прибыл Вальтер Ульбрихт, взявший на себя руководство инициативными группами демократически настроенных немцев. Ему ясна была острота создавшегося положения, и он обратился за помощью к советскому военному командованию. Многое здесь зависело от быстроты, организованности и готовности органов тыла. Тут же нами были выделены на семена тысячи тонн картофеля, проса, гороха и других культур, которые еще не поздно было сажать и сеять. Помогли мы и тракторами, машинами, горючим. В конце концов не осталось незасаженным ни одного клочка земли. Работая в поле, немцы очнулись от летаргии и показали себя, как прежде, рачительными хозяевами и тружениками.

Самой сложной и трудной задачей, вставшей перед тылом фронта, было снабжение Берлина. В городе, где раньше было около пяти миллионов жителей, к нашему приходу осталось едва ли более двух миллионов — остальные разбрелись по всей Германии.

В своей книге «Zur Geschichte der neusten Zeit», изданной в 1955 году, Вальтер Ульбрихт пишет: «В то время немецкий народ не мог прочно встать на ноги без помощи извне. Население Германской Демократической Республики никогда не забудет самоотверженной мирной работы советских комендантов и офицеров, еще

совсем недавно сражавшихся на фронтах против фашистских войск; теперь они с небывалой энергией приступили к оказанию помощи немцам, побуждая их целеустремленно и самоотверженно взяться за работу. Это было достойным завершением освободительной миссии советских войск».

Девятого мая 1945 года в Берлин прибыл заместитель председателя Совета Народных Комиссаров СССР Анастас Иванович Микоян. Вместе с ним прибыл генерал Хрулев. Они привезли решение Советского правительства об организации помощи населению Берлина.

Лицам, занятым на тяжелых физических работах, и рабочим вредных профессий выдавалось в день по 600 граммов хлеба, 80 граммов крупы и макаронных изделий, 100 граммов мяса, 30 граммов жиров, 25 граммов сахара; рабочие получали по 500 граммов хлеба, 60 граммов макаронных изделий и круп, 65 граммов мяса, 15 граммов жиров и 20 граммов сахара. Норма для служащих состояла из 400 граммов хлеба, 40 граммов макаронных изделий и круп, 40 граммов мяса, 10 граммов жиров и 20 граммов сахара. Все остальное население получало по 300 граммов хлеба, 30 граммов макаронных изделий и круп, 20 граммов мяса, 7 граммов жиров и 15 граммов сахара. Кроме того, каждый житель получал по 400 граммов картофеля в день и по 400 граммов соли в месяц. Наконец по карточкам выдавали кофе и чай. Для ученых, инженеров, врачей, работников культуры и искусства, а также для руководящих работников городского и районного самоуправления, тяжелой промышленности и транспорта были установлены такие же нормы, как и для рабочих, занятых на физически тяжелых и вредных работах. Прочие технические работники в Берлине, равно как и предприниматели, учителя и служители церкви получали продовольствие по тем же нормам, что и рабочие обычных предприятий. Для больных, находящихся на излечении в больницах, были введены особые нормы. Кроме того, А. И. Микоян распорядился обеспечить всех детей Берлина до тринадцатилетнего возраста ежедневной выдачей 200 граммов молока.

Вначале мы рассчитывали обеспечить питанием два с половиною миллиона учтенных жителей Берлина и, исходя из этого числа, начали печатать карточки. Но когда через короткое время выяснилось, что жителей в Берлине стало уже свыше четырех миллионов, то оказалось, что карточки допечатывать не надо: они сразу были отпечатаны на четыре с половиною миллиона человек в расчете, что жители еще подъедут. И продуктов хватило: их завезли в Берлин на три месяца для пяти миллионов человек.

Всю работу по завозу в Берлин продовольствия, по организации товаропроводящей сети, по обеспечению порядка при выдаче продовольствия жителям Берлина А. И. Микоян возложил на органы тыла фронта, объявив начальнику тыла, что тот несет персональную ответственность за точное и своевременное выполнение решения правительства. Уж никак я не думал, скажем, полгода тому назад, что мне придется выполнять такого рода поручение!

Пока завозилось продовольствие, в Берлине ходило множество провокационных слухов. Шептались даже, что мол, соберут всех немцев у продпунктов, чтобы всех там перехватать. Каково же было удивление жителей, когда в назначенный день и час открылись все ларьки и началась выдача продовольствия!

Незадолго перед этим А. И. Микоян, просматривая текст продовольственной карточки, спросил меня:

- А какой кофе вы собираетесь давать немцам?
- Суррогатный, — ответил я.
- А почему не натуральный?

Я ответил, что натурального кофе на складах фронта нет. Микоян сказал:

— На складах у вас нет, а в Советском государстве есть. Потрудитесь к каждой карточке в графе «кофе» добавить слово «натуральный»...

Пришлось допечатать слово «натуральный» в четырех с половиною миллионах карточек.

Пока мы вносили эту поправку, заместитель члена ГКО по продовольственным вопросам Василий Петрович Зотов отправил из Москвы в Берлин эшелон натурального кофе. Наркомпусть обеспечил этому эшелону «зеленую улицу».

Когда началась выдача продуктов, немцы недоумевали: все они, кроме прявящей верхушки и богачей, давно и, казалось, навсегда забыли запах и вкус натурального кофе, и им не верилось, что теперь вдруг русские его выдадут. Но мы его действительно выдавали, притом на месяц и даже на два месяца вперед, чтобы пачка не делилась, а получалась в руки целиком. Эффект был потрясающий.

Одновременно с организацией продовольственного снабжения жителей Берлина мы заняты были налаживанием городского хозяйства — электроосвещения, телефона, водопровода и канализации, трамвайного сообщения, кинотеатров, кафе и пр.

Быстро восстанавливалась жизнь в Берлине. Расчищались улицы, пускались в ход бытовые предприятия.

В ответ на обращение коменданта города генерал-полковника Н. Э. Берзарина берлинцы взялись за работу. Присущий им здравый смысл подсказал, что, если хочешь жить, необходимо трудиться. Они не спрашивали, кто и сколько будет им платить, они шли на свои заводы, вытаскивали из руин машины и сырье, расчищали цеха и приступали к выпуску продукции. Они поверили, что им обеспечены безопасность и нормальная жизнь.

Поневоле вспоминаешь, какую участь готовил Гитлер для нашей столицы Москвы, если бы ему удалось овладеть ею. На совещании в штабе группы армий «Центр» в 1941 году Гитлер сказал: «Город должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель — будь то мужчина, женщина или ребенок — не мог его покинуть. Всякую попытку выхода подавлять силой. Произведены необходимые приготовления, чтобы Москва и ее окрестности с помощью огромных сооружений были заполнены водой. Там, где стоит сегодня Москва, должно возникнуть огромное озеро, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа...»

На этом я закончу мои воспоминания, которыми хотел поделиться с читателями «Нового мира».

Что же такое тыл фронта?

Это большой коллектив людей, призванных решать сложные и разнообразные задачи по обеспечению боевой деятельности войск.

Это огромная территория, достигающая иногда сотен тысяч квадратных километров, то есть равная Франции, и не просто территория, а вся экономика, сырьевые ресурсы, производственные мощности, рабочая сила.

Это система коммуникаций, железнодорожных, водных, автомобильных, воздушных, взаимно связанных и дополняющих друг друга транспортных средств, используемых в соответствии с географическими особенностями театра войны, начертанием сети дорог, погодными условиями и требованиями боевой обстановки.

Это множество соединений, частей, учреждений, всевозможных специальных подразделений.

Вся эта система живет и работает лишь в своем органическом единстве, взаимозависимости.

Если учесть все звенья тыла до роты включительно и всех людей, обеспечивающих войска в материальном, техническом, медицинском, ветеринарном, транспортном и других отношениях, то этот многотысячный коллектив составит не менее одной пятой всей численности войск — на 1-м Белорусском фронте в тылах было не менее четверти миллиона человек.

Разумеется, это очень много. Извечная проблема всех войн — сократить тылы.

Сколько раз в минувшую войну с густым ситом прохаживались по тылам всевозможные комиссии в поисках «единиц», которые можно было бы сократить в штатах тыловых учреждений, в поисках здоровых, пригодных для строя людей,



в поисках оружия, осевшего в тылу и более нужного на фронте. Но результаты этих поисков всегда бывали мизерные — и не потому, что кто-то им сопротивлялся. Уж такова природа современной войны и современной армии, что тылы имеют тенденцию к разбуханию: всякий новый вид оружия, новый вид вооруженных сил требует все более сложной системы обеспечения и обслуживания.

В Москве на параде перед вами проходит громада на колесах, именуемая самоходной установкой или ракетой. А задумались ли вы над тем, как питать эту громаду боеприпасами, горючим и самыми деликатными видами масел? Какне дороги и мосты нужны на фронте, сколько всяких дополнительных машин и людей требуется для того, чтобы эта техника безотказно служила?

Все это и есть тылы фронта. Теперь они больше механизированы и автоматизированы, но все же тылы. Без них невозможно обойтись даже в наш век вычислительной техники и кибернетики.

Как уже упоминалось, в составе тыла 1-го Белорусского фронта насчитывалась одна тысяча пятьсот частей и учреждений (не считая дивизионного и полкового звена). Каждому из них надо было указать место в общей системе оперативного построения войск, обеспечить его средствами связи, своевременно поставить ему задачи и следить за тем, чтобы ни одно учреждение не оказалось неуправляемым.

Двадцать генералов, 33 тысячи офицеров, одна тысяча первичных партийных организаций, до 20 тысяч коммунистов насчитывалось у нас. Эти люди, научившиеся в жестокой школе войны преодолевать любые трудности, находить выход из, казалось бы, безвыходных положений, все они — тоже «тылы фронта».

Каждый фронт имел свои границы — боковые и тыловую. Они устанавливались для того, чтобы командование точно знало территорию, на которой ему предоставлено право располагать войска, пользоваться коммуникациями, эшелонировать материальные запасы и тыловые учреждения, производить заготовки продовольствия, использовать для своих нужд промышленные предприятия, базы, склады, сырье, привлекать местное население для тех или иных работ. Тем самым устанавливалась ответственность фронтов за поддержание порядка на отведенной им территории, за сохранность коммуникаций, за охрану и оборону тыла в целом.

В обороне размеры этих территорий бывали глубже, перед началом наступления они обычно сокращались. Но случалось и так, что в ходе глубокой наступательной операции перенос тыловой разграничительной линии задерживался, и тогда расстояние между этой линией и линией фронта достигало тысячи километров. В этом случае управление тылом становилось чрезвычайно затруднительным; перенос же тыловой разграничительной линии вперед означал, что фронт обязан подтянуть все отставшие тыловые учреждения и одновременно передать в распоряжение центра или местных органов все, что ему не нужно.

Особое значение имели разграничительные линии для установления и соблюдения необходимого режима во фронтовом тылу. Противник всегда стремился забросить в наш тыл шпионов, диверсантов, содействовал формированию банд из дезертиров, уголовных преступников и прочих антисоветских элементов; в 1944 году Военный совет 1-го Белорусского фронта постановил навести порядок на своей территории и ответственность за это возложил на начальника тыла фронта. Всю территорию нам пришлось разбить на зоны и районы и определить персональную ответственность каждого начальника тыла армии, каждого командира части, располагавшейся в тылу, каждого председателя сельсовета, уполномоченного деревни, и даже выделить ответственных лиц за каждые десять дворов (десятидворки). Мы потребовали строжайшей проверки всех людей, находившихся в данной зоне. Не могло быть ни одного метра «нейтральной» земли. Так мы очищали всю огромную территорию тыла фронта от враждебных элементов, пытавшихся помогать гитлеровцам.

Среди забрасываемых в наш тыл диверсантов в 1944 году было немало мальчишек лет по пятнадцати — шестнадцати, из числа детей, угнанных из наших

оккупированных немцами районов и прошедших ускоренную шпионско-диверсантскую подготовку в специальных школах. Эти мальчики почти все сами являлись в наши комендатуры или штабы, принося туда орудия мелких диверсий: металлические трехзубчатые ежики для прокалывания автомобильных шин и прочее.

Войска НКВД по охране тыла действующей армии в оперативном отношении подчинялись Военному совету фронта, а практически всю свою работу проводили в тесном контакте с начальниками тыла. Благодаря этим войскам противнику не удалось осуществить ни одного более или менее крупного диверсионного акта. После разгрома окруженных соединений противника надо было вылавливать мелкие группы гитлеровцев, могущие причинять вред нашим тылам. Решительный удар нанесли войска НКВД по националистическим бандитским группам (бандеровцы, оуновцы). Но наряду с командованием войск НКВД каждый начальник или командир части, расположенной в тылу, являясь начальником гарнизона, нес ответственность за охрану территории и за боеготовность подчиненных ему людей; личному составу тыловых частей нередко приходилось участвовать в вооруженных столкновениях с немецкими парашютистами или отражать нападение отрядов противника, оказавшихся в тылу быстро продвинувшихся советских войск.

Противовоздушную оборону тыла планировал штаб фронта. В нее включалась система прикрытия зенитной артиллерией и истребительной авиацией наиболее важных узлов железных и шоссейных дорог, а также районов наибольшего сосредоточения складов, медицинских учреждений и других важных объектов.

Стоит отметить, что на протяжении трех последних лет войны противник, много раз бомбивший поезда с горючим и склады с боеприпасами, благодаря хорошему укрытию имущества и умелому маневрированию поездами не причинял большого ущерба, как это ему удавалось в первый год: за три года наш фронт потерял от бомб лишь одну цистерну горючего, да и то неполную.

Невозможно рассказать о работе войскового тыла в Великой Отечественной войне, не рассказывая о том, кто был начальником тыла Советской Армии — о генерале Андрее Васильевиче Хрулеве, о его многогранной, всеобъемлющей, я бы сказал — титанической деятельности. Хрулева тогда знали не только в Вооруженных Силах. Он был тесно связан со всем народным хозяйством, с Госпланом, со всеми ведущими наркоматами.

Основной, пожалуй, определяющей особенностью этого военного деятеля была его способность находить главную суть задачи, влиять на те важнейшие и решающие участки в народнохозяйственной жизни страны, от состояния которых зависела и вся экономика Советского Союза, и прочность тыла Вооруженных Сил.

Когда выяснилось в ходе войны, что дальнейший подъем промышленности и успешное обеспечение боевых операций на фронтах невозможно, если не будут достигнуты четкость и безотказность в работе железнодорожного транспорта, на А. В. Хрулева были возложены по совместительству и обязанности народного комиссара путей сообщения. Чтобы обеспечить металлургическую промышленность сырьем, начальнику тыла Советской Армии было поручено руководить сбором металлолома и доставкой его на металлургические заводы.

Он близко принимал к сердцу грандиозные работы по восстановлению угольных бассейнов в Донбассе, в Домбровском районе (Польша), в повышении добычи нефти в Баку, Грозном, Дрогобыче, а затем в Плоешти (Румыния). Хрулев требовал активного участия войск в проведении весеннего и осеннего сева, в уборке урожая, особенно в прифронтной полосе, он помогал наркоматам и ведомствам, перерабатывающим сельскохозяйственные продукты. Ему был свойствен необычайный размах организационных мероприятий в любом деле, где требовалась помощь со стороны тыла Вооруженных Сил — будь то хлебоуборочная кампания, подвоз свеклы на сахарные заводы, налаживание табачного производства, восстановление текстильной промышленности, управление угольным бассейном, производство бензина, помощь социалистическим республикам в восстановлении разрушенного хозяйства и т. д. и т. д.

Откуда только бралась у этого человека энергия? Как мог он выдерживать постоянный натиск с различных сторон Военных советов фронтов, наркомов, Генерального штаба, республиканских и областных руководящих органов, директоров оборонных заводов и других? А доклады Сталину?

Много раз мне приходилось слышать от Хрулева, как трудно ему бывало во время таких докладов. Как правило, в кабинете «верховного» находились некоторые члены ГКО, а также тот или иной командующий фронтом или командующий родом войск (артиллерист, танкист, авиатор). Все они высказывали претензии к тылу, всюду чего-нибудь не хватало. Иные не прочь были снять с себя и отнести на личный счет А. В. Хрулева вину за неполадки на фронтах или в оборонной промышленности. Но не таков был Хрулев, чтобы сдавать свои позиции перед лицом придирчивого, порой грубого в обращении главнокомандующего. Он глубоко знал свое дело, знал состояние хозяйства, и никакой вопрос не мог заставить его врасплох. Он мог со всей смелостью, прямотой и даже резкостью парировать нападки и отстаивать престиж возглавляемого им управления.

— Один раз, — рассказывал мне А. В. Хрулев, — звонит мне Сталин. Спрашивает о состоянии снабжения какого-то фронта. Я только открыл рот, чтобы спросить разрешения дать ответ по существу, как Сталин резко обрывает меня и говорит: «Вы хуже врага, вы работаете на Гитлера» — и повесил трубку. Нелегко понять мое настроение после такого разговора.

Но Сталин, по словам А. В. Хрулева, все-таки уважал его за неприсклонность, за смелость, за неспособность подлаживаться к начальству, хотя бы и к самому «верховному».

Даже тогда, когда была арестована по ложному обвинению ее в участии в заговорщической организации жена Хрулева Эсфирь Самсоновна, Сталин некоторое время не переставал приглашать к себе А. В. Хрулева на дачу, к обеду или ужину. Потребовалась дальнейшая провокационная работа бериевской банды, чтобы лишить А. В. Хрулева возможности продолжать работу в Министерстве обороны.

Хрулеву принадлежит величайшая заслуга в рождении самой идеи создания тыла Вооруженных Сил как единой системы снабжения и обеспечения воюющих войск. В ходе Великой Отечественной войны под его руководством выросла и сложилась стройная, сильная организация тылового обеспечения.

Андрей Васильевич много раз заслужил звание Героя Советского Союза или Героя Социалистического Труда не только своей работой, но и тем, что у него хватало мужества быть заместителем такого своенравного и безжалостного человека, как Сталин. Но — увы! — самой высокой почестью, доставшейся А. В. Хрулеву, было то, что его похоронили у Кремлевской стены...

Хрулев имел хорошо подобранный коллектив генералов и офицеров. Каждый из его заместителей (генералы Василий Евлампиевич Белокосков, Василий Иванович Виноградов, Павел Андреевич Ермолин) инициативно руководили своим участком работы, и мы на фронте всегда чувствовали плодотворную деятельность своей высшей инстанции.

Характеристика не только высшего органа тыла Советской Армии, но и генерала Хрулева была бы неполна, если бы мы не сказали о начальнике штаба тыла Вооруженных Сил — генерале Михаиле Павловиче Мнловском.

Хрулеву была присуща экспансивность, иногда и некоторая торопливость в принятии решений; порой он не желал считаться с установленными порядками, если признавал их устаревшими. Слишком острые углы в характере инициативного, страстно творческого Хрулева сглаживались спокойным, уравновешенным умом М. П. Миловского.

Иногда мне случалось наблюдать, как начальник штаба с блокнотом в руках терпеливо выслушивает указания начальника, записывая каждую его мысль. Со стороны было видно, что некоторые указания Андрея Васильевича навеяны эмоциями, неудержимым стремлением одним махом поправить запутанное и сложнейшее дело; возможно, через час-два последовали бы от него другие указания

по тому же вопросу. Начальник штаба учитывал это. Он спокойно, с достоинством произносил: «Хорошо. Будет сделано» — а потом докладывал Хрулеву проект приказа или директивы с такими поправками и уточнениями, с которыми не мог не согласиться сам Хрулев.

М. П. Миловский еще до войны окончил академию Генерального штаба и имел высокую военно-теоретическую подготовку. Посвятив себя обучению молодых военных специалистов, он работал сперва в академии Фрунзе, а затем в академии тыла Красной Армии. В нем на редкость хорошо сочетались качества боевого командира времен гражданской войны (на которой он получил два серьезных ранения) и организатора-методиста в учебной, а также научно-исследовательской работе высшего учебного заведения.

Придя в штаб тыла Красной Армии в 1941 году, он был уже подготовленным генштабистом. Выбор Хрулева оказался как нельзя более удачным: штаб тыла с приходом М. П. Миловского превратился в культурный, слаженный, ритмично работающий аппарат, где каждый из нас, периферийных работников, мог получить оперативную ориентировку, интересные обобщения накопленного опыта и советы. Нередко М. П. Миловскому приходилось и самому выезжать на фронт при подготовке крупных операций.

Когда был освобожден Домбровский угольный бассейн, правительство возложило на Миловского трудную обязанность — руководить восстановлением затопленных и разрушенных шахт. Эту задачу он с честью выполнил: недаром через двадцать лет он удостоился звания почетного шахтера Домбровского бассейна.

С конца войны М. П. Миловский бессменно возглавляет Военную академию тыла советских Вооруженных Сил.

Что характерней всего для системы тыла фронта в годы войны?

На мой взгляд, это многогранность и единство — или, как говорят, комплексность. Именно она позволяла решать задачи быстро и до конца, освобождая командующего от множества больших и малых тыловых вопросов. Есть теоретики, которые полагают, что если бы война началась по-другому, то предвоенная структура тыла себя оправдала бы. Но это глубокое заблуждение. В машинный период войн, когда так усложнилось управление войсками, сама жизнь выдвинула необходимость создания единой централизованной системы тылового обеспечения всех видов и родов войск.

Вот основные службы и направления в работе, которыми ведал начальник тыла фронта в годы Отечественной войны:

штаб тыла,  
политотдел тыла,  
железные дороги, их восстановление и эксплуатация,  
автомобильные дороги, их строительство, восстановление и эксплуатация,  
автомобильная служба,  
служба снабжения горючим,  
продовольственное снабжение,  
вещевое снабжение,  
квартирное довольствие,  
медицинская служба,  
ветеринарная служба,  
финансовая служба,  
госбанк,  
трофейная служба,  
сельхозуправление (в конце войны),  
отдел кадров,  
военторг.

Кроме перечисленного, начальник тыла отвечал за подвоз всеми видами транспорта боеприпасов, инженерного имущества и всего остального, что требова-

лось войсками в ходе войны, осуществлял эвакуацию всего ненужного, что было в войсках.

Из приведенного перечня видно, что начальник тыла фронта ведал не только основными видами довольствия войск, но и всеми средствами доставки их в войска. В этом именно заключается законченность системы. Достаточно разорвать эти две важнейшие функции — снабжение и перевозки, — как уже стройности не будет. Командующий фронтом имел все основания требовать от своего заместителя по тылу гибкого и своевременного решения вопросов именно потому, что в руках начальника тыла было все для этого необходимое.

Об объеме и масштабе потребностей фронта можно судить по таким данным: 1-й Белорусский фронт насчитывал более полутора миллионов военнослужащих и много всевозможных «прикомандированных», а также 145 тысяч лошадей; чтобы всех прокормить, требовалось на один день четыре тысячи восемьсот тонн продовольствия и фуража. Во фронте насчитывалось больше 12 тысяч орудий и минометов, около 4 тысяч танков, свыше 2 тысяч самолетов и до 80 тысяч автомобилей. Лишь один фронт расходовал в наступательной операции более 500 тысяч тонн различных материальных средств.

Эти цифры, думается, говорят сами за себя. Чтобы правильно эшелонировать и надежно укрыть все материально-технические ресурсы, начальник тыла должен был заблаговременно знать предстоящую задачу фронта. Чем позже он ее узнавал, тем труднее ему было повернуть всю тыловую машину в нужном направлении. Вот почему я повторяю, что чрезвычайно высоко ценю у командующих фронтами понимание роли и места тыла; в заключительных операциях Великой Отечественной войны мне не приходилось работать вслепую.

Во главе нашего фронтового тыла стоял штаб, начальник которого генерал: М. К. Шляхтенко — человек незаурядной эрудиции и такта — умел наладить со штабом фронта бесперебойные деловые отношения. Штаб обеспечивал устойчивое управление всей системой тыла, своевременно доводя до исполнителей их задачи и осуществляя контроль.

Наряду со штабом в распоряжении начальника тыла фронта была специальная инспекция по проверке исполнения важнейших решений Военного совета, касающихся тылового обеспечения войск. Вместе с тем эта инспекция занималась проверкой хранения, сбережения и расходования материальных ценностей во фронте и в армиях. Инспекцию возглавлял опытный юрист подполковник Мариупольский.

Первейшая функция тыла — это накормить, напоить, одеть, обуть и обогреть бойца. Заблуждаются те военные товарищи, которые относят эти задачи к числу второстепенных. Сварить борщ, кашу — это дело повара. Испечь две-три буханки хлеба — тоже задача не особенно мудреная. А обеспечить бесперебойное снабжение продовольствием полутора-двух миллионов едоков — это уже искусство трудное. Конечно, можно было бы искать выхода из затруднительных положений путем представления заявок в вышестоящую инстанцию (как нас учили до войны). Тонны бумаги исписали мы когда-то, тренируясь в умении составлять заявки! Но началась война — и все обернулось по-другому. Не все тыловники сумели быстро перестроиться, многие продолжали по инерции все просить да просить у центра. Однако жизнь неумолимо диктовала необходимость перехода «на подножный корм», то есть на местные ресурсы, а это предполагало огромный разворот организационно-хозяйственных мероприятий, о которых в довоенное время ничего не говорилось (да и сейчас кое-кто о них забывает).

Хлебопечение выросло на фронте в сложную задачу, мукомольный вопрос решался тоже нелегко: как известно, и мы и противник старались возможно полнее уничтожать при отходе все мукомольные предприятия и хлебопекарни. С помощью Наркомата пищевой промышленности, особенно благодаря личному наблюдению за этим делом заместителя члена Государственного комитета обороны В. П. Зотова, уже в 1942 году мы стали получать небольшие жернова и налаживать примитивное мукомолье в армиях и дивизиях. Несколько позже появились

передвижные мукомольные установки производительностью в шесть и девяносто тонн в сутки. Появились также и крупорушки.

Многие армии на протяжении второй половины войны имели свои подсобные хозяйства, насчитывавшие по две-три тысячи га пахотной земли, сотни голов крупного рогатого скота, тысячи свиней. Это был резерв на случай перебоев в поставках продовольствия, а также источник для улучшения питания больных и раненых. Советские воины в течение всей войны, начиная с осени 1942 года, получали (разумеется, не с абсолютной регулярностью) более или менее разнообразное питание, и по калорийности пайек у нас был выше, чем в армиях всех других государств.

Как много сил и средств отдавала наша страна, чтобы зимой солдат ходил в валенках, в ватной одежде, в теплой шапке, а летом — в ботинках, в легком обмундировании! Но довести все обмундирование и снаряжение до бойца должен был интендант. Представьте себе быстро наступившую весну. Миллионы пар валенок, полушубков, ватных шаровар, курток надо было собрать, просушить, отремонтировать, уберечь от моли, продезинфицировать и подготовить к очередной зиме. Еще трудней приходилось — особенно в первый год войны — во время оттепелей, которые так часто бывают зимой в средней и южной полосе СССР. В этих случаях всегда нависала над бойцом угроза обморожения ног — ведь ранние оттепели сменяются резкими ветрами и морозами. На обязанности интендантской службы лежал своевременный переход с одного вида обуви на другой.

Важная задача тыла — забота о раненых. Надо сказать, что эта задача может успешно решаться только с участием всех служб. Одной лишь медицинской службе она не под силу. Если вдуматься, то судьба раненого зависит от медика лишь в момент медицинского (главным образом хирургического) вмешательства. Все остальное — это уже не медицина, это быт: хорошая палата (или палатка), свет, тепло, питание, одежда, транспорт, эвакуация. Вот почему глубоко не правы те товарищи из медицинской службы, которые в годы войны предлагали выделить их службу из общей системы тыла. Им казалось, что у них тогда будет больше самостоятельности. Но когда они спрашивали меня, что я об этом думаю, то я всегда отвечал, что самая постановка этого вопроса во время войны, по-моему, преступна, ибо речь должна идти не о чести мундира, а о спасении миллионов жизней, и это может быть достигнуто только совместными усилиями всех служб тыла. (Даже и в мирное время такую постановку вопроса следует считать вредной, памятуя о возможных последствиях применения нового оружия.)

Военно-медицинская служба выдержала за годы войны серьезное испытание и многому научилась. Решающее значение при этом имела сама организация медицинской помощи. Дело не только в том, чтобы иметь большое количество персонала — еще важнее найти ему правильное применение, то есть такое, которое обеспечило бы возможно раннее оказание квалифицированной медицинской помощи, уменьшило бы многоэтапность эвакуации, гарантировало бы наличие постоянных резервов для дополнительного развертывания медицинских учреждений в ходе операции и особенно на завершающем этапе ее. Наши медики прекрасно усвоили правило: «Не раненый идет к госпиталю, а госпиталь к раненому», иными словами — в ходе наступления резервные госпитали непрерывно выдвигались вперед и развертывались там, где накапливались раненые. Не сразу обрели этот опыт медики. Буквально крупными, изо дня в день, с каждого фронта отбиралось все новое и прогрессивное в работе медицинской службы.

Большую организующую роль здесь сыграло Главное медицинское управление Советской Армии. Его руководитель Е. И. Смирнов — человек большой воли и настойчивости — в своих частых обращениях и письмах к медицинским работникам фронтов популяризовал все достойные внимания формы и методы. Он хорошо знал все ценное в работе всех звеньев медслужбы, особенно медсанбатов и госпиталей первой линии, ибо сам часто туда выезжал. Широкое применение нашли на фронте специализированные медицинские учреждения: госпитали легкора-

ненных, черепно-мозговые, грудные, полостные и т. д. На фронте выросли в серьезных специалистов тысячи молодых врачей; в смысле приобретения опыта одна неделя на войне часто равна году мирного времени. Е. И. Смирнову принадлежит также заслуга привлечения в ряды Советской Армии таких корифеев медицины, как Н. Н. Бурденко, В. И. Шамов, С. С. Гирголав, Н. Н. Еланский, В. С. Левит, П. А. Куприянов, М. С. Вовси, А. В. Вишневский, М. Н. Ахутин, И. С. Жоров, В. И. Попов, С. И. Банайтис.

Трудным делом была санитарная эвакуация: какие и где транспортные средства использовать — конную повозку, автомобиль, самолет, железнодорожный вагон? По каким путям вести эвакуацию? Самое страшное, когда повозочный или водитель долго ищет медицинские учреждения, а раненые в это время испытывают адские муки от боли, от тряски, от голода и холода. Кроме специального санитарного транспорта, в помощь медицинской службе выделялись дополнительные средства. Так, я уже упоминал об эвакуации в 1943 году по воздуху двадцати одной тысячи раненых в глубь страны с Курской дуги. В ходе Висло-Одерской операции лишь для переброски лечебных учреждений в район Радома и Лодзи было произведено четыре тысячи машино-рейсов автотранспортом фронта. В этой же операции 69-я армия широко применяла (в полках и дивизиях) собачьи упряжки. Надо было видеть эту трогательную картину, когда собаки, выбиваясь из сил, тащили на специальной тележке одного или двух раненых. В той же армии применялась эвакуация по льду на лыжах-носилках через Вислу.

В 1945 году мы уже не эвакуировали раненых и больных в глубокий тыл, в Советский Союз. Мы считали своим долгом возвращать стране только вполне излеченных людей. Возврат в строй после ранения достиг небывало высокой цифры: во фронте — 50—55 процентов, а по стране в целом, с учетом госпиталей глубокого тыла, — 73 процента.

Величайшая заслуга советской медицинской службы, и в частности медиков 1-го Белорусского фронта, заключалась в том, что за все годы войны наши войска не знали сколько-нибудь серьезных вспышек инфекционных заболеваний. Провоцирующих моментов было немало: сыпной тиф, туляремия, дезинтерия и т. д. — но каждый раз героическими усилиями медиков, при поддержке всей системы тыла вспышки эпидемий удавалось локализовать.

Говоря о главном в работе тыла на фронте, часто ставят на первое место коммуникации и транспорт. Это, конечно, не лишено смысла. По территории фронта обычно проходит четыре-пять тысяч километров железных дорог и столько же автомобильных. Тылу легче, когда работают железные дороги; не случайно железным дорогам принадлежала решающая роль в обеспечении стратегических операций. Но бывало и так, что основные железнодорожные магистрали еще не восстановлены, зато сохранялись в полосе той или иной армии отдельные изолированные железнодорожные участки протяженностью в сто—сто пятьдесят километров. В этих случаях армейское командование с помощью тыла фронта стремилось использовать железную дорогу, если на ней оставалось хоть какое-то количество подвижного состава. На одном конце изолированного участка перегружали материальные средства с машины в вагон, а на другом — с вагона в машину. Хотя такие перевалочные операции и замедляли движение груза, но пользование ими особенно в период распутицы и ненастья давало большую экономию горючего, а это всегда было одной из первейших забот командования.

Оригинальный способ использования изолированного железнодорожного участка нашла 65-я армия Центрального фронта в 1943 году на Курской дуге. Во время всенней распутицы даже вездеходы с трудом добивались до этой армии. Решено было использовать изолированный железнодорожный участок протяженностью в пятьдесят километров с двумя-тремя десятками сохранившихся там вагонов. Но паровозов не было. По инициативе начальника военных сообщений армии Супровича, вместо паровоза приспособили для тяги автомобиль

ЗИС-5 на бандажах, сняв с него резину. Одна такая машина тянула пять-шесть вагонов по десяти—двенадцати тонн грузов в каждом. Конечно, здесь было немало трудностей: бандажи разрушались, тормозная система не в состоянии была выдерживать нагрузку на спусках. Но все это было преодолено. Благодаря находчивости работников тыла за два месяца работы армия перевезла по этой дороге двадцать одну тысячу тонн грузов, что заменило ей минимум десять тысяч машино-рейсов.

Хуже всего приходилось нам, когда железные дороги вовсе прекращали свою деятельность, когда восстановление их резко отставало от продвижения войск, которые успевали уйти на триста—четыреста километров вперед. Тогда весь подвоз производился автомобильным транспортом. И тут одновременно вырастали перед тылом две задачи: решительная мобилизация всех автомашин, кому бы они ни принадлежали (различными штабам и пр.), и повышение активности дорожников, чтобы обеспечить бесперебойность прохождения резко возрастающему грузопотоку. В наши дни немало говорится о комплексном использовании всех видов транспорта; опыт минувшей войны дает многочисленные примеры такого метода перевозок. Наряду с железнодорожным, автомобильным и водным широкое применение находил и вьючный транспорт, без которого невозможно было завершать цикл перевозок. В настоящее время война мыслится, так сказать, в безлошадном варианте, но реальная обстановка на фронте так разнообразна, что и о лошади не следует забывать.

Разумеется, огромное значение имеет транспортная авиация, но надо прямо сказать, что в ту войну ее было, во-первых, очень недостаточно, а во-вторых, мы еще не научились пользоваться ею. В 1944 году в Белоруссии, когда растяжка коммуникаций достигла наибольшего предела, мне позвонил К. К. Рокоссовский и поздравил с неожиданной помощью: Ставка дала нам сорок транспортных самолетов для подвоза боеприпасов и горючего. Радости нашей не было границ. Но пока мой штаб создавался в артиллеристами и с «горючниками», чтобы уточнить порядок использования авиации, раздался звонок с командного пункта 16-й воздушной армии: самолеты из Москвы прибыли, давайте грузы.

Легко сказать — давайте грузы! Аэродром в одном месте, склады с боеприпасами в другом, с горючим — в третьем... Специальной тары для заливки горючего под руками не оказалось. Погрузочных приспособлений не было. Самолеты простояли сутки — я получил нагоняй из Москвы. Я готов был от них отказаться, но поступить так было неудобно: Ставка проявила о нас заботу... Потом мы, конечно, научились лучше пользоваться транспортной авиацией, но повторяю: этот мобильный вид транспорта требует мобильности тыла в целом.

В ходе Висло-Одерской операции, когда темпы наступления достигли тридцати — сорока километров в сутки, все было приведено в движение: железные дороги, автомобили, повозки и даже велосипеды. Иначе пехота не могла бы поспевать за противником.

Когда говорят, что тыл должен работать с точностью часового механизма, то имеется в виду прежде всего организация подвоза и эвакуации. Однако быстроты и точности требует, скажем, и трофейная служба, которая на протяжении войны выполняла то одну, то другую обязанность. На нее был возложен сбор исправного или поддающегося ремонту в фронтовых условиях оружия, техники, боеприпасов, брошенных отступающим противником, сбор деревянной тары от снарядов, металлического лома, стреляных гильз; многие миллионы тонн металла поступили с фронта на предприятия страны, чтобы там превратиться в новые станки, пушки, танки, самолеты. Гоня противника на запад, наши войска захватывали склады с разнообразным имуществом, в том числе с мукой, спиртом, сахаром, консервами; надо было немедленно брать эти склады на учет и под охрану. Потом возникла необходимость демонтажа военно-промышленных объектов — очень сложная в техническом отношении задача.

Чем сильнее были удары, наносимые нашими войсками противнику, тем больше работы падало на те органы тыла, которые отвечали за организацию пунктов сосредоточения военнопленных, за снабжение и эвакуацию пленных.



В последние годы войны пленные насчитывались сотнями тысяч. Несмотря на все зло, причиненное гитлеровцами нашей стране, советские люди проявляли к пленным великодушие, не допуская какого-либо глумления над человеческой личностью. Пленных кормили, оказывали им медицинскую помощь, содержали в тепле и чистоте.

В ведении тыла находилась и такая, казалось бы, сугубо гражданская отрасль, как финансовая служба; она подчинялась начальнику тыла, который являлся распорядителем кредитов фронта. Хотя во время войны роль денег снижается, но ведь мы не переставали учитывать военные затраты в денежном выражении.

Личному составу действующей армии регулярно выдавался денежный оклад содержания, одновременно производился безналичный перевод денег семьям военнослужащих; особо тщательное наблюдение требовалось за тем, чтобы все раненые, убывающие в тыл, были снабжены документами на получение пособий и прочего.

Велась борьба за экономию расходования денег, за сокращение количества денежных знаков, находящихся в обращении в полосе фронта. На зарубежной территории финансовая служба участвовала в решении вопроса о денежном обеспечении войск в иностранной валюте.

Необходимо было выявлять и изымать фальшивые деньги, которыми противник пытался расстроить наш денежный рынок.

Наши финансисты контролировали также своевременность и доброкачественность поставляемого фронту имущества; достаточно сказать, что интендантское управление фронта вынуждено было отказаться от уплаты около 50 миллионов рублей из-за несоответствия грузов установленным кондициям.

Безналичные операции содействовали сокращению выпуска денег — этим мы участвовали в оздоровлении финансов страны в целом. Государственный банк фронта учитывал и хранил большое количество ценностей.

Во главе финансовой службы фронта стоял весьма опытный финансист полковник В. Н. Дутов (ныне генерал-полковник, начальник Центрального финансового управления Советской Армии). Он отличался большой гибкостью, не страдал мелочностью, присущей многим его коллегам, и смело шел на финансирование мероприятий, направленных на повышение боеготовности и боеспособности войск, хотя бы это и не укладывалось в инструкции.

Работа тыла фронта будет освещена неполно, если хоть кратко не сказать о бытовом обеспечении женщин на войне.

Исписаны горы бумаги, изданы сотни книг и выпущено много фильмов, посвященных героизму советских женщин в годы Великой Отечественной войны. Женщины — летчицы, снайперы, связистки, врачи, медсестры, санитарки, регулировщицы на дорогах, поварихи, машинистки, продавщицы в торговой сети военторга и труженицы всевозможных других специальностей на фронте, — все они воспеты нашими публицистами и художниками слова, их образы запечатлены в стихах, кинокадрах, картинах и скульптурах.

Но мало кто задумывался над тем, что, скажем, в нашем фронте были десятки тысяч женщин, требовавших специального внимания — их надо было одевать, обувать, организовать для них медицинское наблюдение и создать бытовые условия. Всем известен героизм женщин в бою и труде, но далеко не все знают о тех особых трудностях, которые испытывают женщины во фронтовой обстановке.

На 1-й Белорусский фронт в 1943 году прибыл на должность консультанта-гинеколога профессор Эммануил Моисеевич Каллун, бывший директор гинекологической клиники имени Отта в Ленинграде. Грустный и тревожный доклад его был заслушан мною в 1944 году. Профессор привел весьма выразительную статистику трагических случаев с женщинами на фронте, раскрыл причины их: повсеместное невнимание к элементарным физиологическим потребностям женщин

со стороны начальников, невозможность получить консультацию и квалифицированную клиническую помощь в случае заболевания, почти полное забвение бытовых нужд женщин — не было нужного белья, не было специальных медикаментов первой необходимости и т. п. Все это вело к физическим расстройствам и порождало психическую депрессию у многих женщин на фронте. Профессор Каплун патетически воскликнул: «Знают ли начальники-мужчины, что женщина человек? Думают ли они об элементарных нуждах женщин, когда останавливают воинскую колонну на небольшой привал в пути? Знают ли они о том, что женщина в роте, в батальоне, в полку постоянно находится на виду у мужчин, перенося от этого огромные неудобства? Нормально ли такое положение, когда во фронте и в армиях нет специальных женских госпиталей, а если кое-где и открыты женские отделения, то это сделано в самочинном порядке?»

А насколько сложным было положение беременной женщины на фронте! Хотя и существовал приказ об обязательной отправке в тыл всех беременных. Но ведь это приказ, а жизнь шла своим чередом. Не каждая женщина могла найти себе пристанище в тылу, у многих не стало ни родителей, ни родных, ни жилья; а кроме того, моральная сторона тоже имела большое значение... Следовательно, надо было создать условия для благополучных родов здесь же, на фронте. А вслед за этим вставал вопрос об экипировке новорожденного. Кто должен решать такие вопросы?

В масштабе фронта это была огромная проблема, о которой я доложил командующему. Мне было дано указание подготовить и издать специальный приказ по тылу. Автором приказа был сам профессор Каплун. Во фронте и армиях были открыты специальные женские госпитали. Были созданы благоприятные условия для рожениц, для новорожденных. Начальник военторга фронта Николай Васильевич Каширин изыскал возможность изготовить несколько сот комплектов детского «приданого», которое вручалось молодым матерям. На быт женщин (особенно в роте, батальоне, полку), хотя и с большим опозданием, было обращено самое серьезное внимание командиров всех ступеней.

Пусть не думает читатель, что я сгустил краски. Я хотел показать обратную сторону прекрасной, сияющей медали, чтобы не думали, будто путь женщины на фронте усеян был только цветами славы и всеобщего восхищения. Очень полезно знать и теневые стороны — не только для истории, но и для будущего.

Тыл действующей армии по самому существу своему призван тесно взаимодействовать со многими отраслями народного хозяйства и особенно с административными и партийными органами близлежащих областей и республик. Начальник тыла, не понимавший необходимости органической связи военного тыла с народным хозяйством, едва ли долго мог усидеть в седле.

Мне кажется, большим недостатком в нашей работе было то, что мы, работники военного тыла, слабо знали структуру народного хозяйства и в начале войны нередко грубо-административно подходили к решению вопросов, связанных с местной экономикой. Там, где такие ошибки не допускались, фронт всегда получал более существенную и разностороннюю помощь от местных властей.

Война показала, как велико значение серьезной экономической подготовленности руководителей тыла фронта, армий и дивизий. На своем личном опыте я убедился, что даже те скромные познания, которые я получил в ранней молодости, во многом помогли мне справиться с работой тыловика.

Моя семья жила бедно, и, когда мне исполнилось тринадцать лет, отец отдал меня «за харчи» в ученики к портному Герсону. Пробыл я у него всего полгода. Весною 1915 года отец решил, что нечего мне быть в услужении у хозяев, и начал готовить меня к экзаменам в Обиточенское сельскохозяйственное училище: в это училище принимали в первую очередь уроженцев Бердянского уезда, откуда была наша семья; успешно выдержавшим приемные испытания предостав-

лялось бесплатно общежитие, их обеспечивали за счет училища обмундированием и питанием.

Отец, который давно вынужден был продать наши две десятины земли, занимался портняжеством и был человеком для своего положения хорошо грамотным; он сам готовил меня по всем предметам.

Осенью 1915 года мы жили в Камышевахе — верстах в сорока южнее теперешнего Запорожья. Оттуда он повез меня в Обиточное, более чем за сто верст. Ехали поездом до станции Верхний Токмак, а затем шли пешком. На каждом привале отец «гонял» меня по закону божьему. Экзамена по этому предмету я боялся, потому что надо было помнить много непонятных текстов.

Четыре года учебы в училище были годами подлинного грудного воспитания. Теперь, спустя несколько десятков лет, приходится слышать и читать как о чем-то новом о связи школы с жизнью, о том, чтобы студенты сочетали теорию с практикой, и, говорят, некоторые молодые люди носы воротят от такой постановки обучения. А ведь это единственно правильный метод! Я это узнал, еще когда учился в сельскохозяйственном училище в 1915—1919 годах.

Зимой мы изучали теорию по четыре-пять часов в день, затем два часа работали в мастерских — столярной, кузнечно-слесарной. Иногда дежурили по конюшне, коровнику, парникам. Все лето мы работали в поле и сами обрабатывали 240 десятин земли, в том числе сада — 40, огорода — 20 десятин. Каждый из учащихся должен был сделать табуретку (сперва с прямыми ножками, а затем с точеными), сделать ряшку для мытья в бане, изготовить в кузнице молоток, щипцы, напильник. Мы учились работать на лобогрейке, самоскидке, сноповязалке, очищать семена на триере и работать на других машинах. Нас учили доить коров, сбивать масло, ухаживать за пчелами и т. п. По-моему, это и есть то, что мы называем теперь «связью школы с жизнью».

Трудно оценить, как много это мне дало. И на гражданской и на военной службе мне не раз помогали в работе агрономические знания и практика, полученные в сельскохозяйственном училище.

В январе 1921 года я был принят в ряды Коммунистической партии в Большом Токмаке. Уже как коммуниста меня назначили членом коллегии Больше-токмакского уездного земельного отдела и заместителем председателя уездного посевиома. Подумать только: девятнадцатилетнего парня посылали тогда на такую ответственную работу! Вряд ли я хорошо справлялся со своими обязанностями, но работал, как и другие мои товарищи, прилагая все свои силы, и кое-чему научился, что потом очень пригодилось мне в работе фронтового «тыловика».

Конечно, не только такого рода учебной и рабочей подготовкой вырабатываются данные, полезные для военно-тылового работника крупного масштаба. Для меня, например, много значило то, что до перевода в Харьков и до начала моей «тыловой» специализации я прослужил много лет в Средней Азии, в пограничных войсках, командовал воинской частью. Нечего и говорить о том, как мне пригодился потом личный командный и комиссарский опыт в железнодорожных войсках.

Как в каждой специальности, для того, чтобы научиться по-настоящему работать, нужен ряд факторов. Однако сейчас я имею в виду главным образом одну сторону дела — общеэкономическую подготовку начальника тыла. Ему надо хорошо знать экономику не только своей страны, но и сопредельных стран.

Возьмем, к примеру, тот период войны, когда советские войска вступили в Центральную Европу. Мы оказались на герритории Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии и других государств. Что знали о конкретной экономике этих стран мы, военно-хозяйственные работники? Знали очень мало. Мы плохо были подготовлены к работе на освобожденных от противника территориях. А ведь перед нами буквально на второй день после вступления на эти земли вставала необходимость помогать демократическим правительствам освобожденных стран в восстановлении экономики, чтобы использовать ее в интересах их соб-

ственных и нашей армий. Мы на ходу учились, персучивались, приобретали знания и опыт.

Что и говорить: немало полезных уроков мы извлекли для себя в то время. Но и теперь надо постоянно и решительно повышать уровень экономической подготовки руководящих кадров тыла Советской Армии.

Уже в самом начале войны была введена во фронтах и армиях должность членов Военных советов по тылу. Эти обязанности обычно выполнялись крупными партийными работниками, призванными в армию в ходе войны. Секретари сбкомов, горкомов и райкомов партии благодаря разностороннему характеру своих прежних работ довольно быстро осваивали новые обязанности. Логика вещей подсказывает, однако, что и сам начальник тыла фронта или армии, кадровый военный, должен, во-первых, знать методы хозяйствования в мирное время и, во-вторых, может с большой пользой для дела входить в состав Военного совета (наряду с командующим артиллерией, бронетанковыми войсками).

Как ни кратко изложены в моих воспоминаниях задачи и способы работы тыла, они, вероятно, дают представление о том, насколько эта работа сложна во время войны. Правду сказать, то было серьезное испытание на физическую и психическую выносливость.

Работники тыла переносили много заслуженных, а еще больше незаслуженных уколов (а иногда и ударов) «сверху», «сбоку», «снизу» и часто терпели попытки отдельных лиц за неудачи на фронте взвалить вину на тыл и тем самым оправдать собственную вину.

В устах некоторых военачальников слово «тыловик» звучало как бранное слово. Были и такие невежественные люди (занимавшие иногда высокое положение в армии), которые, кроме грубых окриков, не знали других форм обращения с работниками тыла. Сами эти начальники оставались круглыми невеждами — однако это не мешало им при удобном случае говорить об огромной важности тыла в армии. Хорошо, если при этом действительно наступало у них такое прозрение! Но это случалось редко... До боли обидно и теперь слышать или читать рассуждения некоторых историков и мемуаристов, когда они, изображая недостатки в работе тыла, имеют в виду нехватку специй к борщу, плохо выпеченный хлеб, проштрафившихся работников склада. Не случайно, однако, многие «высокопоставленные» командиры, любившие учинять разгромы тыловикам, сами, когда их назначали начальниками тыла, показывали свою полную беспомощность, отсутствие минимальных организаторских способностей. Да, тыл — это твердый орешек. Не всякому дано его раскусить. Зато каждый и всякий считает себя вправе судить о том, что сделано «тыловиками». Не раз говорил генерал армии А. В. Хрулев, что у нас много всезнаек, всегда готовых давать советы, как воспитывать трудновоспитуемых детей, как лечить неизлечимые болезни, как строить дома и наконец как управлять тылом...

Работники тыла вместе со всей Советской Армией выполняли свои обязанности, обеспечивали разгром вооруженных сил фашизма, перенося многие невзгоды и лишения. Начальники, да и другие работники тыла на фронте отвыкали отдыхать, теряли сон. В первые годы войны я принимал огромные дозы кофеина и всяких других возбудителей, чтобы не спать и сохранять работоспособность до 5—6 часов утра. В 6 часов я обычно ужинал и пробовал уснуть. Если каждого из подчиненных мне начальников управлений беспокоили лишь по их специальным вопросам, то мне звонили отовсюду, со всех направлений, по всем специальностям. Звонили по телефону и приезжали ко мне товарищи из Москвы, от наркоматов, от начальника тыла Советской Армии, от республик и областей. Звонил по телефону и вызывал для доклада командующий фронтом и член Военного совета, звонили все командармы, начальники тыла армий.

На нашем фронте (да, вероятно, и на других фронтах) существовал порядок, по которому почти ежедневно командующий войсками до глубокой ночи выслушивал по телефону (сам или через начальника своего штаба) доклады командармов.

Последний звонок, примерно в 2—3 часа ночи, был к начальнику тыла, чтобы поставить перед ним задачу — точнее, ряд задач. Разговор обычно заканчивался так: «Примите меры и доложите в 9 часов». Разумеется, за оставшиеся часы никаких особых мер не примешь, если до этого не сделал всего необходимого хотя бы в главном. Но до утра я успевал проверить, что делается в соответствии с ранее данными указаниями, и подтолкнуть исполнителей. К 8—8.30 часам утра, после двухчасового отдыха, я уже имел точные данные по состоянию на 6 часов о местонахождении транспортов с боеприпасами, горючим, продовольствием и другим имуществом, о котором беспокоилось в данный момент командование. Ровно в 9 часов утра я уже звонил командующему фронтом и кратко докладывал о положении и принятых мерах.

И так — каждый день.

Иногда спрашивают: когда же спит начальник тыла? Как говорится — на другой день. Иной раз удавалось прикорнуть на сорок—пятьдесят минут, сидя в машине, по пути в первый эшелон или на передовую.

Иногда я обращался к Рокоссовскому с вопросом, не будет ли с его стороны каких-либо указаний в ближайшие десять—пятнадцать часов, и откровенно докладывал ему, что хочу принять снотворное и «уйти в небытие»... Так восстанавливались силы, чтобы снова работать и работать.

Конечно, не я один был в таком положении — большинство лиц командного состава на фронте жило нервами, на то и война. Но каждый год войны вычитает несколько лет из отпущенного человеку срока жизни.

Что неизменно поддерживало бодрость и работоспособность — это сплоченность, товарищеская дружба, глубокое взаимопонимание и взаимоуважение, которые присущи были нашему коллективу на Центральном и на 1-м Белорусском фронтах. Еще здравствующие товарищи из нашей большой семьи нередко встречаются друг с другом и вспоминают о тех сердечных отношениях, которые помогали нам переносить даже самые трудные дни военной жизни.

Мы вспоминаем отличные взаимоотношения, установившиеся у нас, «тыловики», с начальником штаба фронта генералом М. С. Малининым, человеком острого ума, известного своей способностью анализировать обстановку и давать сжатые, но содержательные предложения и советы. Хорошо понимая роль тыла в подготовке планируемой операции, а также и в ее развитии, М. С. Малинин постоянно заботился о непрерывном питании заместителя командующего по тылу необходимой оперативной информацией.

По-настоящему крепкая боевая дружба связывала нас с командующим артиллерией фронта генералом В. И. Казаковым (ныне маршалом артиллерии), с командующим бронетанковыми войсками фронта генералом Н. Г. Орлом, с начальником инженерных войск фронта генералом (ныне маршалом инженерных войск) А. И. Прошляковым, с командующим воздушной армией генералом (ныне маршалом авиации) С. И. Руденко, со всеми руководящими офицерами фронта. Во всех сколько-нибудь существенных мероприятиях органы тыла получали постоянную поддержку и помощь со стороны Политуправления фронта. Начальник его, генерал С. Ф. Галаджев, заслуженно пользовавшийся у нас репутацией чуткого человека, хорошо знающего наши трудности, нацеливал работу политотделов, партийных и комсомольских организаций в войсках на заботу о материально-бытовом обеспечении солдата.

Во время войны и после войны у меня были в качестве комиссаров или заместителей по политчасти замечательные товарищи. Не раз я себя спрашивал: почему мне так «везло» на политических работников? Ведь очень многие из них до войны лишь неподолгу служили в армии, и им приходилось узнавать немало нового, осваиваться с непривычной обстановкой, своеобразной системой подчинения. Однако это давалось им без большого труда, а в очень многом они имели и ценные преимущества перед профессиональными военными политработниками: более разностороннее знание жизни и гибкость в отношениях с людьми, в понимании людей. Все они были до войны партийными работниками. Комиссар тыла

49-й армии Александр Николаевич Рассадин был секретарем Бакинского горкома партии; сменивший его на этом посту Иван Сергеевич Фурсов был секретарем Сталинградского обкома партии; заместитель начальника тыла по политической части в 1-м Белорусском фронте Дементий Иванович Лошаков — секретарем крупного райкома партии в Саратовской области; заместитель начальника Главвоенстроя по политической части (где я был начальником после войны) Сергей Алексеевич Деньгин — секретарем Смоленского обкома партии. Каждый из них прошел серьезную школу общения с рабочими, колхозниками, интеллигенцией, знал экономику своей страны, своей области, своего района, и их знания и опыт оказались драгоценным приобретением для Вооруженных Сил во время войны — в особенности для управления тыла, где, собственно, есть нечто родственное сложной и многогранной работе руководителя, работающего в области, районе. Партийные руководители областей, став партийными руководителями в службе тыла армии и фронта, быстро «врастали» в новые условия. Разумеется, у каждого из них были свои особые качества. Но общей у них была способность создавать атмосферу принципиальности, деловитости и товарищества. А мне, как начальнику, ничего другого от них и не надо было. Вот почему я всегда с глубокой симпатией вспоминаю о своих комиссарах в годы Великой Отечественной войны.

Только квалифицированный и сплоченный коллектив мог справиться с обслуживанием войск фронта, прошедшего с боями от Волги до Эльбы.

Конечно, не только тыл нашего фронта — вся система тыла Вооруженных Сил Советского Союза вышла из войны монолитной, крепко спаянной. Опыт этой системы составляет одну из важных основ теории советского военного искусства. На этом опыте обучаются одно поколение за другим во всех наших военно-учебных заведениях.

Правда, вскоре после войны система тыла в поисках лучших форм претерпела у нас изменения: одни службы были ликвидированы, другие изъяты из подчинения начальнику тыла. Но спустя полтора десятка лет, когда к руководству тылом пришел Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян, единство системы начало восстанавливаться и принцип централизованного управления вновь получил былое значение.

Некоторые из иностранных армий, принадлежащих сильным в военном отношении державам, взяли себе на вооружение советский опыт тылового обеспечения войск. Тем с большим вниманием и уважением мы сами должны относиться к собственному опыту, давшемуся столь дорогой ценой.



---

Академик И. М. МАЙСКИЙ

★

## БОРЬБА ЗА ВТОРОЙ ФРОНТ\*

*Из записок посла*

13

**Т**о были трудные, очень трудные дни... В мае 1942 года немцы захватили Керченский полуостров. 3 июля пал Севастополь. Весь Крым оказался в гитлеровских руках. Харьковская группировка советских войск попала в окружение и лишь с большими потерями вырвалась из него. 29—30 июня враг начал атаку на Воронеж и Старый Оскол. С середины июля военная ситуация стала принимать еще более грозный характер: Гитлер создал две группы армий — группу «А», наступающую в кавказском направлении, и группу «Б», к середине сентября подошедшую вплотную к Сталинграду и завязавшую бои на его окраинах.

Лето и осень 1942 года вызвали немало осложнений в Англии. Черчилль в своих военных мемуарах пишет:

«Уже 28 месяцев я стоял у власти<sup>1</sup>, и в течение всего этого времени нас постигали почти непрерывной цепью военные поражения. Мы пережили падение Франции и воздушную атаку на Англию. Но вторжение на острова не состоялось. Мы все еще сохраняли Египет. Мы были живы, но прижаты к стене... Тот факт, что теперь мы сражались не одни, а в союзе с двумя могущественнейшими нациями в мире, отчаянно сражавшимися вместе с нами, давал уверенность в конечной победе. Однако данный факт, устраняя ощущение смертельной опасности, только развязывал дух критики. Надо ли удивляться, что были поставлены под вопрос весь характер и вся система ведения войны, за которые я нес ответственность?»

В подобной обстановке почва под ногами Черчилля опять заколебалась. В правительственных кругах вспыхнули споры и разногласия. Я не знал всех относящихся сюда деталей, описанных впоследствии Черчиллем в его военных мемуарах, но существо положения мне было известно уже тогда.

Одна группа критиков, возглавляемая лордом Тренчардом, делала основную ставку на воздушное оружие. Как-то мне пришлось разговаривать на эту тему с маршалом авиации Харрисом. Он мне прямо сказал:

— Если бы у меня было достаточно машин и летчиков, я в самый кратчайший срок выиграл бы войну, разрушив до основания Германию. Но у меня их недостаточно — в этом все дело!

Я стал возражать и доказывать, что пресловутая «доктрина Дуэ»<sup>2</sup> сильно преувеличивает значение авиации, но Харрис ни за что не хотел со мной согласиться. Он даже привел мне конкретные расчеты: сколько бомбардировщиков и

---

<sup>1</sup> Окончание. См. «Новый мир», №№ 6, 7 с. г.

<sup>2</sup> Черчилль стал премьер-министром 10 мая 1940 года.

<sup>3</sup> Незадолго до второй мировой войны итальянский генерал Дуэ доказывал возможность выиграть войну только с помощью авиации.

истребителей необходимо, чтобы подавить с воздуха возможность всякого сопротивления со стороны Германии.

Другая группа критиков выдвигала тезис, что Англии, как это не раз бывало в прошлом, надо ориентироваться на длительную войну и соответственно подготавливаться к ней материально и психологически. Помню, осенью 1942 года один из главных представителей «кунктаторов» лорд Ханки опубликовал на страницах, если не ошибаюсь, «Санди таймс» большую статью, в которой доказывал, что вторая мировая война продлится не менее десяти лет.

Третья группа критиков, наиболее ярким выразителем которой был Стаффорд Криппс, считала, что весь механизм руководства войной должен быть радикально перестроен. Криппс полагал, что в ведение войны должно быть внесено возможно больше элементов централизованного планирования. Он предлагал создать Директорат планирования войны в составе Черчилля и трех его верховных советников, которые не занимались бы никакими другими делами. Директорат должен был разрабатывать военную стратегию и будущие военные операции, заменив собой существовавший тогда Комитет начальников штабов. На каждом театре военных действий руководить операциями должен был единый командир, подчиненный непосредственно Директорату. В его ведении должны были находиться все роды оружия на месте, ему должен был помогать небольшой объединенный штаб сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил данного театра военных действий.

Черчилль был не согласен с планом Криппса, считая его непрактичным. Както, изложив мне суть своего плана, Криппс сказал:

— Уинстон считает меня мечтателем и утопистом, а я твердо убежден, что мой план является кратчайшим путем к победе!

Договориться Криппс и Черчилль не смогли. Криппс заявил, что он выходит из состава военного кабинета, ответственного за общее руководство ведением войны, но готов остаться в правительстве в качестве одного из ведомственных министров. Черчилль поручил ему тогда министерство авиационного строительства, которое Криппс и возглавлял вплоть до разгрома Германии.

Вся эта внутренняя борьба в течение нескольких месяцев сильно лихорадила правительственные круги, и одно время даже ставился вопрос о смене премьер-министра. Но у англичан есть пословица: «Лошадей не меняют во время переправы через реку», и дух этой пословицы восторжествовал.

В конце сентября 1942 года я имел большой разговор с Ллойд-Джорджем. Старик был сильно встревожен и откровенно признавал тяжелое положение антигитлеровской коалиции. Быстро пробежав по всем фронтам и охарактеризовав ситуацию на каждом из них, он закончил:

— Конечно, каждый фронт имеет свое значение, и некоторые из наших фронтов имеют даже очень большое значение, но все-таки самое важное сейчас — это то, что происходит у вас на берегах Волги. Эта битва имеет поистине мировое значение. Если вы ее выиграете, Гитлер и все его подгосолки погибнут. Не сразу, не немедленно, лишь в конечном счете, но все-таки погибнут, окончательно погибнут... Ну, а если вы проиграете эту битву... — Ллойд-Джордж на мгновение замолчал и затем с усилием закончил: — Тогда мне страшно подумать, что станется с человечеством... От исхода того, что совершается сейчас на берегах Волги, в полном смысле зависят судьбы мира... Горячо желаю вам самой полной победы!

От тех трудных дней у меня осталось — так причудливо в жизни переплетаются свет и тень! — два ярких воспоминания.

Однажды Криппс, с которым я поддерживал хорошие отношения, пригласил нас с женой послушать музыку знаменитой лондонской пианистки Миры Хесс. Было условлено, что мы сначала поужинаем во французском ресторане в Сого (иностранная квартира в Лондоне), а потом поедим на квартиру к Хесс, с которой Криппсы были близко знакомы.



В назначенное время мы с женой были в Сого, в назначенное время поужинали с Криппсами в ресторане и уже собрались ехать к Мире Хесс, как вдруг завывли сирены: начался налет германских бомбардировщиков на Лондон. После нападения Гитлера на СССР жестокие воздушные атаки на Англию прекратились, но все-таки Геринг от времени до времени старался напомнить британцам о своем существовании.

Что было делать? Можно было, конечно, переждать налет в бомбоубежище при ресторане, однако мы сели в машину и поехали к Мире Хесс, жившей где-то в северо-западной части столицы. Дорога была довольно длинная, то слева, то справа слышались взрывы бомб. Наконец мы прибыли к пианистке. Она выбежала нам навстречу и с радостью воскликнула:

— Ну, слава богу, вы благополучно добрались!

Бомбы продолжали падать. Мира Хесс, сев за рояль, на мгновение задумалась, потом начала играть.

Она всегда играла превосходно. Но сейчас, должно быть благодаря волнению, вызванному драматичностью обстановки, она играла еще лучше обычного. Мы слушали, как очарованные, перестав обращать внимание на зловещую музыку постепенно стихавшего налета...

Другое воспоминание, несколько иного характера.

В первых числах ноября 1942 года в Лондон приехала небольшая группа советских комсомольцев. Их было трое: Н. Красавченко, В. Пчелинцев и Л. Павличенко. В те дни союзники прилагали большие усилия к мобилизации молодежи различных наций для борьбы с фашистскими державами. Мобилизация имела в виду военная и духовная. С этой целью в США и Англии были организованы большие международные конференции юношества, на которых наша комсомольская тройка должна была представлять Советский Союз. Она побывала сначала в Америке, где к ней с особенной теплотой отнеслась жена президента Элеонора Рузвельт, а из Америки прибыла в Англию.

Разумеется, наше посольство и советская колония в Лондоне окружили делегацию самой дружеской атмосферой и оказали ей всемерную помощь. Делегация участвовала не только в международной конференции молодежи, но и совершила ряд поездок по Англии, везде выступая перед юношескими аудиториями, подчеркивая важность второго фронта для скорейшей победы над гитлеровской Германией. Наши юные товарищи везде пользовались большим успехом, но особое внимание привлекала к себе Людмила Павличенко. И это было естественно: студентка Киевского университета, она стала одним из лучших снайперов на советском фронте и, уезжая за рубеж, имела уже на своем счету триста девять сраженных фашистов. Помню, она была «нарасхват» на большом приеме в посольстве, устроенном по случаю ноябрьской годовщины 1942 года. Не подлежит сомнению, что наша комсомольская тройка сделала большое и полезное дело во время своего пребывания на Британских островах. Главное, она так хорошо воплотила юность Советского Союза — сильную, смелую, глубоко верящую в будущее своей страны и своего народа! Это производило большое впечатление, и многие англичане, приходившие в соприкосновение с нашими комсомольцами, потом говорили: «Страну, которая имеет такую молодежь, нельзя победить».

Война подходила к великому перелому...

Это чувствовалось по обе стороны фронта. Недаром Гитлер в своих выступлениях октября — ноября 1942 года два раза истерически выкрикнул: «Я не капитулирую!»

## 14

Двадцатого ноября утром я получил из Москвы для спешной передачи послание Сталина, адресованное Черчиллю. В нем говорилось:

«Начались наступательные операции в районе Сталинграда, в южном и северо-западном секторах. Первый этап наступательных операций имеет целью

захват железнодорожной линии Сталинград — Лихая и расстройство коммуникаций сталинградской группы немецких войск. В северо-западном секторе фронт немецких войск прорван на протяжении 22 километров, в южном секторе — на протяжении 12 километров. Операция идет неплохо»<sup>1</sup>.

Наконец-то!

Радость переполняла меня. Я сразу же перевел послание на английский язык и повез его Черчиллю. Тот быстро пробежал текст и в некотором раздумье сказал:

— Это великолепная новость. Если... если ваше наступление не выдохнется через несколько дней.

— Не выдохнется!

В тот момент у меня, в сущности, не было никаких реальных доказательств этого, но мне страшно хотелось, чтобы было именно так, и я не мог себе представить, чтобы подобное послание было отправлено без достаточных оснований.

Черчилль, мысли которого в тот памятный день 20 ноября были поглощены только что начавшимся англо-американским вторжением в Северную Африку, стал говорить об относительности всех стратегических расчетов:

— Наша высадка в Алжире и других местах оказалась весьма успешной, но зато дальнейшее развертывание операций приносит неожиданности и разочарования... Процесс идет медленнее, чем мы надеялись: то и дело вскрываются трудности, которых мы не предусмотрели. — И затем, желая несколько смягчить впечатление от своего скептицизма, Черчилль прибавил: — Во всяком случае горячо желаю вам самых больших успехов в Сталинградской битве!

Начался великий перелом на Волге, которому суждено было стать поворотным пунктом всей второй мировой войны.

Я не стану описывать ход наших победоносных боев под Сталинградом. Они хорошо известны.

Тридцать первого января была закончена ликвидация последних очагов сопротивления и были взяты в плен Паулюс со своей ставкой, девяносто одна тысяча немцев, в том числе двадцать четыре генерала и около двух с половиной тысяч офицеров.

На Сталинграде дело не остановилось. Немцы теперь были вынуждены поспешно эвакуировать Северный Кавказ. Красная Армия освободила Ростов-на-Дону, Харьков, Курск, Донецкий бассейн и вышла к берегам Днепра. На другом конце фронта наши войска прорвали блокаду Ленинграда. Наступление советских войск продолжалось до конца февраля.

## 15

Одновременно с великой битвой на Волге серьезные, хотя и несравненно меньшие по масштабу события происходили в Северной Африке.

Осенью 1940 года, сразу после падения Франции, Муссолини решил захватить Египет и тем самым нанести тяжелый удар по имперским интересам Великобритании. Обстановка как будто бы благоприятствовала итальянскому диктатору: Абиссиния, Эритрея, Сомали уже находились под его пятой, в Ливии вдоль автомагистрали, протянувшейся по южному побережью Средиземного моря, было расположено до двухсот тысяч итальянских войск, а в Египте англичане в это время имели всего лишь около пятидесяти тысяч человек, притом очень недостаточно вооруженных. Вдобавок египетский король Фарук и все его окружение проявляли явные симпатии к фашистским державам (особенно к Италии) и в меру возможности саботировали защитные меры англичан.

<sup>1</sup> «Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 г.г.», т. I, стр. 75—76.

Тринадцатого сентября 1940 года маршал Грациани, командовавший итальянскими силами в Северной Африке, начал наступление и спустя четыре дня занял Сиди-Барани, находившийся на египетской территории. Однако этот успех не был развит дальше, и в военных операциях наступила пауза, продолжавшаяся почти три месяца. Ею воспользовались англичане. Подкрепив свои войска живой силой и оружием, они перешли в начале декабря 1940 года в успешное контрнаступление и к 8 февраля 1941 года оттеснили итальянцев до Бенгази, расположенного примерно на полпути между Александрией и Тунисом. Одновременно восстали Абиссиния, Эритрея, Сомали и при энергичной помощи со стороны Англии ликвидировали «восточноафриканскую империю» Муссолини.

Для спасения своего итальянского союзника Гитлер послал в Северную Африку в марте 1941 года первые подразделения немецких войск. Объединенные германо-итальянские части выгнали англичан из Бенгази и заставили их отступить к крепости Тобрук. Здесь военные операции вновь замерли на много месяцев.

Только в мае 1942 года бои на севере Африки возобновились. Значительно усиленные германо-итальянские части под командой Роммеля 20 июня взяли Тобрук и быстро погнали противника дальше на восток. К концу июля британская армия окопалась в районе Эль-Аламейна, всего лишь в сотне километров к западу от Александрии. Однако, к счастью для англичан, германо-итальянские войска к этому моменту оказались настолько утомленными, что вынуждены были остановиться. Затишье продолжалось около трех месяцев, и англичане вторично использовали в своих интересах столь удачно создавшуюся паузу. Они подвезли в Египет войска и вооружение.

В конце августа 1942 года на обратном пути из Москвы в Лондон Черчилль сделал остановку в Каире, лично ознакомился с обстановкой и принял решительные меры: во главе средневосточного командования был поставлен генерал Александер, а во главе 8-й армии, оперировавшей на египетском фронте, генерал Монтгомери. Оба считались лучшими представителями британского генералитета.

Двадцать третьего октября 1942 года 8-я армия перешла в наступление. Оно оказалось очень успешным — к 5 ноября враг вынужден был начать отступление. Монтгомери шел за ним по пятам, не давая ему передышки. В рядах германо-итальянских войск быстро обнаружилось разложение: немцы захватывали имевшиеся в распоряжении армии транспортные средства и поспешно уходили на запад, бросая итальянцев на произвол судьбы. Это, естественно, облегчало задачу англичанам. Монтгомери неутомимо наступал, а Роммель отступал, слегка цепляясь за попутные возможности сопротивления. 4 февраля 1943 года 8-я армия пересекла границу Туниса с востока и заставила Роммеля раз навсегда уйти из Египта и Ливии. Отныне эти стратегически и политически важные районы окончательно перешли под контроль англичан, сильно облегчая осуществление другой большой военной операции, ставшей известной под кодовым наименованием «Факел».

Из предыдущего известно, как Черчиллю в июле 1942 года удалось добиться принятия «Факела» (вторжения в Северную Африку) в качестве основной англо-американской операции зимой 1942—1943 года.

С августа началась подготовка этой операции. Она была весьма сложна и многообразна.

Надо было перебросить на судах большую современную армию из США и Англии. Часть войск должна была плыть к берегам Северной Африки прямо из Америки, другая часть из более близкой, но все-таки достаточно удаленной Англии. Эти две части должны были объединиться и действовать по одному плану. Надо было соблюсти секретность по крайней мере важнейших моментов операции. Надо было уберечь перевозивший армию флот от вражеских подводных

и воздушных сил. Надо было обеспечить нейтралитет франкистской Испании. Надо было преодолеть — по возможности без пролития крови — сопротивление французских генералов и их войск, расквартированных в Тунисе, Алжире, Марокко и формально признававших власть Виши. Надо было сразу после оккупации северных берегов Африки наладить военное и административное управление в захваченных районах. Надо было наконец возможно быстрее завершить операцию «Факел», ибо это являлось предпосылкой для операции «Оверлорд» (вторжение во Францию), осуществление которой в 1943 году стояло тогда в стратегической программе союзников.

К концу октября — как раз тогда, когда 8-я армия открыла свое победоносное наступление под Эль-Аламейном, — подготовка «Факела» в основном была закончена, и 8 ноября 1942 года началось англо-американское вторжение в Северную Африку. Оно происходило одновременно в Алжире, Оране, Касабланке, Дакаре и некоторых других портах. Чтобы облегчить оккупацию, всей операции сознательно был придан «американский» характер, вплоть до того, что высаживавшиеся английские войска были одеты в американскую форму; считалось, что французские военные в Африке легче примирятся с вторжением США, в отношении которых у них не было какой-либо особой враждебности, — Англии же они не могли простить расстрела французского военно-морского флота в июле 1940 года. Расчет этот в значительной степени оправдался, и захват важнейших портов французской Северной Африки обошелся англо-американцам, как пишет Черчилль в своих мемуарах, «дешево».

Ставши твердой ногой на североафриканскую землю, англо-американцы, естественно, попытались развернуть свои военные действия и возможно скорее закрепить здесь за собой позиции. В Алжире и Марокко это удалось им сравнительно легко, но в Тунисе Гитлер решил дать серьезный бой. Уже 9 ноября, то есть на другой день после начала вторжения, в Тунис по воздуху прибыли первые германские соединения. К концу ноября численность германских сил поднялась здесь до пятнадцати тысяч и в конце концов дошла до ста тысяч человек. Прибыло также большое число немецких самолетов и даже танков. В итоге Гитлеру удалось создать в Тунисе кулак (по африканским масштабам — крупный), который под командой Роммеля сильно затормозил завершение «Факела».

Англо-американский главнокомандующий этой операции генерал Эйзенхауэр спасовал перед Роммелем и отказался от намерения быстрым ударом захватить Тунис, хотя подчиненные ему войска одно время находились всего лишь в двадцати километрах от города Туниса. Вместо этого Эйзенхауэр занялся накоплением сил и другими подготовительными мерами длительного порядка. Это дало возможность Роммелю перейти в наступление и значительно потеснить англо-американцев, несмотря на то, что 8-я английская армия под командой Монтгомери 4 февраля вступила в Тунис с востока.

Операция «Факел» имела не только военную сторону — она имела также весьма важный политико-административный аспект.

Территории, занятые англо-американцами, несколько различались по своему юридическому статусу: Тунис был просто колонией Франции. Алжир являлся департаментом Франции, а Марокко — ее протекторатом. Фактически, однако, Франция была «хозяином» во всех трех. Везде стояли французские гарнизоны под командой французских генералов, везде административная власть находилась в руках французов, по преимуществу французских военных. После падения Франции в июне 1940 года все ее африканские владения признали правительство Виши, и руководители их относились с явным недоброжелательством к Англии, разгромившей, как уже упоминалось, французский военно-морской флот, находившийся тогда в африканских водах.

Осенью 1942 года во французскую Северную Африку прибыл политический представитель США Роберт Мэрфи. Он развернул здесь широкую деятельность по «обработке» французских военных и административных лидеров и достиг в этом

отношении значительных успехов: не все соглашались примириться с англо-американским вторжением, но многие склонны были рассматривать операцию «Факел» как наименьшее зло в данной ситуации.

Но когда высадка состоялась, остро встал вопрос, кто же будет возглавлять политико-административную машину французской Северной Африки? Не подлежало сомнению, что это должен быть француз, но кто именно? На политическом горизонте в тот момент имелись три возможные кандидатуры: Жиро, де Голль и Дарлан. Жиро был известный французский генерал, только что совершивший сенсационный побег из германского плена, но мало смысливший в политике и ориентировавшийся в основном на США; генерал де Голль был главой «Движения свободных французов», французским патриотом старого стиля и человеком твердого и самостоятельного характера; Дарлан был адмиралом французского военно-морского флота, политическим реакционером, человеком решительным и очень авторитетным в руководящих военных и особенно морских кругах Франции. Его предок — тоже моряк — пал в знаменитой битве 1805 года при Трафальгаре, где адмирал Нельсон разгромил франко-испанскую эскадру, сделав тем самым невозможным вторжение Наполеона в Англию. Дарлан был ярким противником Великобритании, воздействуя в таком духе и на французское морское ведомство.

Легко понять, что Рузвельт покровительствовал Жиро и хотел его видеть в роли военного и административного главы Северной Африки. Напротив, к де Голлю как человеку непокорному американский президент относился с явным недоброжелательством. Однако Жиро, которого американцы накануне вторжения доставили в Гибралтар, встретил среди французских генералов и политиков столь леденящий прием, что об его назначении главой военно-административной машины не могло быть и речи. А так как о де Голле как о главе не хотели слышать американцы, то в конце концов этот пост был отдан Дарлану, который в момент вторжения оказался в Алжире. Англичанам это мало улыбалось — более левые среди них не любили Дарлана как реакционера, а более правые как антибританца, — но до поры до времени Черчиллю пришлось с ним примириться.

Однако демократические круги в Англии не хотели молчать. В парламенте, в прессе, на митингах и собраниях они развернули широкую агитацию против назначения Дарлана. Они не без основания аргументировали: «В только что освобожденных районах Северной Африки союзники ставят у власти столь заядлого реакционера, как Дарлан! Как это совместить с их общеполитической программой?»

Кампания против Дарлана одновременно велась и в США (хотя в несколько меньших размерах, чем в Англии). Вспоминая те дни, Черчилль писал:

«В Англии страсти вокруг назначения Дарлана разгорелись очень бурно... Многие из тех, кто поддерживал со мной тесную интеллектуальную и моральную близость, были в полном отчаянии. Эти чувства еще более подогревались организацией де Голля, находившейся в нашей среде (то есть в Англии. — И. М.). Пресса полностью отражала такие настроения»<sup>1</sup>.

Могу засвидетельствовать, что Черчилль не только не преувеличивает, но скорее преуменьшает силу негодования, вызванную в Англии историей с Дарланом, ибо не упоминает о реакции на нее широких демократических масс, особенно рабочих. В итоге положение Черчилля и его правительства, официально санкционировавшего сделку с Дарланом, оказалось очень трудным.

И вот в самый разгар разыгравшейся политической бури британский премьер неожиданно получил поддержку со стороны Сталина!

Двадцать четвертого ноября 1942 года Черчилль направил главе Советского правительства большое послание, касавшееся самых разнообразных вопросов. В пункте 6-м этого послания он счел нужным извиниться за назначение «мошеника Дарлана» генерал-губернатором Северной Африки и успокоить Сталина

<sup>1</sup> W. Churchill. The second world war, v. IV, p. 572.

(неодобрения которого он явно ожидал) насчет последствий данного шага. Каково же было мое удивление, когда 28 ноября пришло ответное послание из Москвы, в котором пункт 4-й гласил:

«Что касается Дарлана, то мне кажется, что американцы умело использовали его для облегчения дела оккупации Северной и Западной Африки. Военная дипломатия должна уметь использовать для военных целей не только Дарланов, но и черта с его бабушкой»<sup>1</sup>.

Вскоре после этого Черчилль выступил с большой защитительной речью на закрытом заседании парламента. В ней он весьма эффектно процитировал пункт 4-й из послания Сталина. Это произвело впечатление. Протесты против назначения Дарлана постепенно сошли на нет.

Дарлан остался на месте, но стихийный ход событий очень быстро по-своему разрешил возникшую пред Рузвельтом и Черчиллем проблему. 24 декабря 1942 года Дарлан был убит выстрелом из револьвера. Виновик покушения некий Бонье де ла Шапель, юноша двадцати лет, был арестован и два дня спустя казнен. Обстоятельства всей этой истории до сих пор остаются неясными: неизвестно, по каким мотивам Бонье стрелял в Дарлана и кто стоял за его спиной. Как бы то ни было, но смерть Дарлана сняла с порядка дня острый для англо-американцев вопрос. Черчилль пишет:

«Как ни преступно было убийство Дарлана, оно избавило союзников от трудностей, вытекавших из сотрудничества с ним».

В Англии известие об исчезновении Дарлана вызвало всеобщий вздох облегчения, и притом не только в демократических, но и в правящих кругах. Помню разговор, который в первых числах января 1943 года я имел с министром информации Бренданом Брэненом.

— Как вы встретили Новый год? — спросил он меня.

— Великолепно, — ответил я. — У нас замечательный новогодний сюрприз: прорвана блокада Ленинграда. А как вы встретили Новый год? — в свою очередь поинтересовался я.

— Очень хорошо, — откликнулся мой собеседник. — У меня тоже прекрасные новогодние вести: Дарлана не стало.

## 16

На рубеже 1942 и 1943 годов над миром впервые повеял свежий ветер. Хотя великая битва на Волге еще не была закончена, кошмарный туман фашистского засилья начал рассеиваться.

В моем дневнике под датой 1 января 1943 года записано:

«Встречали мы Новый год весело. Настроение было совсем не то, что год назад... Конечно, на сокрушение врага потребуется еще много времени и усилий, но в исходе сомнения нет...»

Мысль невольно забегает вперед. Прежде всего когда можно ждать окончания войны в Европе?

Я остаюсь при своем прежнем мнении, что окончания войны в Европе можно ждать не раньше 1944 года, и то если дела у союзников будут идти хорошо, то есть если между ними не произойдет раскола или таких трений, которые парализуют эффективность совместных операций, и если в 1943 году будет создан хороший второй фронт в Европе. Когда именно в 1944 году можно рассчитывать на конец войны — это трудно предвидеть, но почему-то я склонен думать: весной или летом 1944 года».

Перечитывая сейчас эту запись, я сопоставляю ее с последовавшим затем фактическим ходом событий. Мне казалось, что победа придет примерно через

<sup>1</sup> «Переписка», т. I, стр. 77 и 78.

год после установления «хорошего второго фронта в Европе». Но в 1943 году Англия и США никакого второго фронта в Европе не открыли. После того как второй фронт был создан наконец 6 июня 1944 года, победа пришла 9 мая 1945 года.

## 17

Впечатление, произведенное в Англии победой на Волге, было огромно, но противоречиво.

Всех прежде всего поразил и захватил изумительный героизм Красной Армии и советского народа. Даже Черчилль, вспоминая те дни, пишет о «великолепной борьбе и решающей победе русских армий». Люди менее официальные и более объективные выражали свои чувства еще ярче. Наше посольство было буквально наводнено самыми восторженными письмами. Приходили делегации от рабочих, приносили поздравления и выражали уверенность в разгроме Германии. Приходили представители общественных организаций, комитетов, групп — служащие, интеллигенты, лавочники, домашние хозяйки — и благодарили советский народ и советскую армию за их бессмертный подвиг в борьбе с фашистской чумой. Посещали посольство школьники и дети.

Помню, как-то ко мне пришла группа ребят с молодой учительницей из одной истэндской школы. Истэнд — это район лондонской бедноты. Следы бедности были видны на лицах и одежде моих юных посетителей. Довольно робко они вошли в мой кабинет и стали с любопытством меня разглядывать. Я усадил их на стульях и постарался несколькими шутивными замечаниями рассеять их смущение. Учительница представила мне своих подопечных. Потом встал очень симпатичный мальчуган лет двенадцати и произнес краткую, но умную речь от имени всех учеников пославшей их школы.

— Мы так рады, — закончил мальчуган, — что вы бьете этих проклятых наци. Мы ненавидим наци. Мы вырастем и тоже будем бить наци...

Вскочила девочка и с горячностью сообщила, что она связала уже три пары носков для «наших Томми»<sup>1</sup>. Каждый старался рассказать, как он ненавидит наци и что полезного он сделал или хочет сделать для победы над ними.

На прощанье я сказал моим юным посетителям:

— Запомните, ребята, одно: Красная Армия — это добрая армия, она хочет счастья для всех и прежде всего для таких ребят, как вы.

В создавшейся обстановке и правящие круги не скупились на выражения своего сочувствия. Советское посольство оказалось в центре внимания, на светских и дипломатических приемах нас все поздравляли, нас нарасхват приглашали к себе в гости, нам все старались оказать знаки внимания. Пресса и радио распространяли хвалебные отзывы о Красной Армии, о советском народе, о нравах и обычаях нашей страны. А 23 февраля 1943 года — в день двадцатипятилетия Красной Армии — британское правительство торжественно отметило эту дату в самом большом лондонском зале Альберт-Холле. Присутствовало несколько тысяч человек, в том числе вся верхушка официальной Англии. Сталин прислал этому митингу приветственную телеграмму.

Я думал: «Как фантастична жизнь! Мог ли кто-либо четверть века назад предположить, что заправили Сити и Уайтхолла будут торжественно праздновать день рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии? А вот случилось же это!.. Воистину: в политике никогда не говори н и к о г д а».

Однако великая победа на Волге имела и другой, уже менее приятный эффект. Как-то в начале февраля моя жена была приглашена на великосветский «дамский чай». Присутствовали только жены английских и союзных министров, иностранных послов, видные общественные деятельницы (ведь в то время в Лондоне находилось восемь эмигрантских правительств из оккупированных немцами стран). Вернулась моя жена с приема в страшном возбуждении.

<sup>1</sup> Другое название обозначение солдата в Англии.

— Ты знаешь, о чем шла речь на этой «chicken party»<sup>1</sup>?— воскликнула она, обращаясь ко мне.

— Вероятно, о Сталинграде,— отозвался я.

— Да, конечно, сначала говорили о Сталинграде, и по нашему адресу была отпущена порция комплиментов, соответствующая нынешним настроениям в верхах. Но не это было главное... Почти все время дамы горячо спорили о том, куда лучше всего поехать для того, чтобы отдохнуть и развлечься после войны!

— Ого!— вырвалось у меня.— Знатные люди слишком опережают события.

— Еще как!— продолжала жена.— Они рассуждали так: теперь, после Сталинграда, ясно, что немцы будут разбиты, и притом в самом близком будущем. Стало быть, сейчас надо думать не столько о войне, сколько о том, что делать после победы... И первое, что им приходит в голову, это поехать куда-нибудь для того, чтобы поскорее забыть войну. Но вот вопрос: куда лучше ехать? На привычные курорты Европы — во Францию, Швейцарию, Италию — ехать не стоит. Европа будет еще слишком разорена, разрушена, дезорганизована, в ней еще слишком многое будет напоминать о войне. Нет, нет! Отдых в Европе будет мало приятен. И все под конец сошлись на том, что лучше всего отдохнуть и развлечься можно будет в странах Латинской Америки.

Таков был этот «дамский чай».

Несколько дней спустя один небольшой разговор настроил меня еще более тревожно. У меня на завтраке был Дафф Купер, видный консерватор, бывший военный и морской министр, демонстративно вышедший в отставку после Мюнхена. Это был умный и культурный человек, способный писатель по вопросам политики, с которым интересно было поспорить по различным текущим вопросам. На этот раз Дафф Купер много говорил о значении Сталинградской битвы и высказывал оптимистические прогнозы на будущее. Когда мы прощались, я поинтересовался, чем он сейчас занимается.

— Я вернулся к своему Давиду,— ответил Дафф Купер.

Я думал, что речь идет о знаменитом французском художнике.

— Вас так интересует этот мастер кисти?— спросил я.

— Да нет,— возразил Дафф Купер,— это не французский художник, а библейский царь Давид... Я давно начал писать книгу о нем, но война заставила меня прервать работу. Целых три года пришлось заниматься совсем другими, более неотложными делами... Но теперь ситуация изменилась, и я могу вновь вернуться к древнему царю Иудейского государства.

Я был потрясен. Итак, даже этот умный и видный политический деятель, депутат британского парламента, считал, что после Сталинграда он может больше не беспокоиться о войне и засесть за завершение начатого перед войной литературного труда, не имеющего ни малейшего отношения к грозным событиям современности.

Это заставило меня внимательнее осмотреться кругом, и тогда я увидел многое такое, на что раньше не обращал достаточного внимания. Приведу некоторые выдержки из моей записи в дневнике под датой 5 февраля 1943 года:

«Какова реакция Англии на наши победы? Ответить на это одним словом невозможно. Ибо реакция Англии на успехи Красной Армии сложна и противоречива.

Первое, что бросается в глаза,— это всеобщее изумление силой СССР, мощью Красной Армии. Никто не ожидал, что после тяжелых испытаний прошлого лета мы еще увеличили нашу боеспособность... Это чувство удивления одинаково сильно везде — как на верхах, так и на низах общественной пирамиды.

Второе чувство, порождаемое событиями в СССР,— это огромное восхищение советским народом, Красной Армией. Однако это чувство уже менее всеобщее, чем изумление. Чувство это беспредельно и безоговорочно в массах; здесь

<sup>1</sup> Буквально «встреча кур», шутливое обозначение завтраков, чаев, обедов, в которых принимают участие только женщины. Оно часто употребляется в Англии.



престиж СССР за минувшие три месяца неслыханно поднялся. Но чем выше по этажам общественной пирамиды, тем больше к чувству восхищения примешиваются различные другие чувства, большей частью разъедающего характера.

Вот, например, интеллигенция — интеллигенция всех сортов, в том числе и лейбористская, социалистическая. Реакция этой прослойки на наши победы — недоумение. Английская интеллигенция выросла в представлении, что лучшей, самой совершенной, самой эффективной системой управления является буржуазная демократия. И вдруг какой — с божьей помощью — поворот! На великом историческом экзамене оказалось, что «коммунистическая диктатура» дает совершенно изумительные образчики мужества, героизма, образчики, далеко превосходящие все то, что в этой области до сих пор могла продемонстрировать буржуазная демократия Англии и США. Каким образом? Почему? Отчего?..

Еще более сложна реакция британских господствующих классов на наши военные успехи. С одной стороны, они довольны: очень хорошо, что русские так крепко бьют немцев. Нам легче будет. Экономим потери и разрушения. Еще раз реализуем нашу извечную линию — воевать чужими руками. Но, с другой стороны, господствующие классы обеспокоены: а не очень ли усилятся в результате большевики? И чем больше становятся успехи советского оружия, тем глубже беспокойство проникает в сердца правящей верхушки... Пока Красная Армия — на подступах к Ростову. Каковы будут ощущения даже «черчиллевской группы», когда Красная Армия будет на подступах к Берлину — трудно сказать. Я не исключаю неприятных сюрпризов».

В тот момент важнее всего для нас был вопрос, как подействует победа на Волге на открытие второго фронта в Северной Франции: ускорит она его или, наоборот, оттянет? Вот что говорится в той же записи от 5 февраля:

«По этому вопросу в правящей верхушке опять имеется внутреннее раздвоение. С одной стороны, она хотела бы отложить создание второго фронта на возможно более долгий срок с тем, чтобы дожидаться, когда мы перешибем Германии становой хребет и англо-американцы смогут «комфортабельно» высадиться во Франции и без больших потерь дойти до Берлина. С другой стороны, однако, если Англия и США слишком затянут создание второго фронта на западе, они могут пропустить момент и позволить Красной Армии первой прийти в Берлин. Этого они страшно боятся: призрак «большевизации Европы» тут сразу вырастает перед их воображением; поэтому вопрос о том, когда создавать второй фронт, становится основным тактическим вопросом для английского и американского правительств. С их точки зрения это надо сделать не слишком рано и не слишком поздно — just in time<sup>1</sup>. Но когда именно?..»

Конечный вывод в той же записи сформулирован так:

«Англия и США второго фронта во Франции к весне не создадут, а будут весной и летом развлекаться разными второстепенными операциями в районе Средиземного моря (Сицилия, Крит, Додеканез и пр.). Может быть, сочинят какой-нибудь монстр-Дьепп<sup>2</sup> на севере, но едва ли всерьез пойдут во Францию. Неприятно, но ничего не поделаешь. Нечего закрывать глаза на реальное положение».

## 18

К сожалению, мои опасения оказались правильными. В данной связи необходимо несколько подробнее остановиться на конференции в Касабланке.

Еще в начале декабря 1942 года Рузвельт предложил устроить свидание глав трех держав (США, СССР, Англии) для обсуждения важнейших проблем войны

<sup>1</sup> То есть как раз вовремя

<sup>2</sup> Небольшой город на французском берегу Ла Манша. Незадолго перед тем англичане устроили критиковременный и не очень удачный налет на Дьепп с действиями небольшого морского десанта.

и послевоенного периода. Встречу он намечал примерно на середину января 1943 года в Северной Африке. Черчилль немедленно согласился, а Сталин отказался — почему, мне до сих пор неясно. Сначала в послании Рузвельту от 6 декабря он писал: «...время теперь такое горячее (шла Сталинградская битва.— И. М.), что даже на один день мне нельзя отлучиться». Тогда Рузвельт предложил перенести встречу на 1 марта 1943 года, но Сталин и на этот раз не согласился, ссылаясь на то, что «дела фронта никак не допускают»<sup>1</sup> его отлучки из СССР. Вместо урегулирования стоящих между союзниками вопросов путем личного свидания он рекомендовал метод переписки. Конференция в Касабланке все-таки состоялась, но на ней присутствовали только Рузвельт и Черчилль. Сталина не было, и это неблагоприятно отразилось на интересах СССР.

Конференция в Касабланке происходила 14—23 января 1943 года. Сталинградская битва еще не была закончена, но исход ее уже был предрешен. Это обстоятельство оказало сильнейшее влияние на то, что там происходило. Настроение, в котором Рузвельт и Черчилль находились во время конференции, можно охарактеризовать примерно так: русские прекрасно дерутся — они сами справятся со своими делами; мы, англичане и американцы, можем теперь заняться осуществлением своих собственных планов: надо только поддерживать у русских доброе состояние духа, для чего достаточно широкого потока снабжения, усиления воздушных бомбардировок Германии и, конечно, красивых обещаний<sup>2</sup>.

Печать таких настроений лежит на всех решениях, принятых в Касабланке. Отсутствие Сталина только облегчало Рузвельту и Черчиллю их задачу. В своем совместном послании главе Советского правительства от 27 января 1943 года они писали по поводу этих решений:

«Наше основное желание состоит в том, чтобы отвлечь значительные германские сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта и направить в Россию максимальный поток снабжения... Наше ближайшее намерение состоит в том, чтобы очистить Северную Африку от сил держав оси и создать военно-морские и военно-воздушные базы, чтобы: 1) открыть надежный путь через Средиземное море для военного транспорта и 2) начать интенсивную бомбардировку важных объектов держав оси в Южной Европе... Кроме того, мы намерены сконцентрировать в пределах Соединенного Королевства значительные американские сухопутные и военно-воздушные силы. Эти силы совместно с британскими вооруженными силами в Соединенном Королевстве подготовятся к тому, чтобы снова вступить на континент Европы, как только это будет осуществимо...

В Европе мы увеличим быстрыми темпами бомбардировочное наступление союзников из Соединенного Королевства против Германии...»<sup>3</sup>.

Это было все. Где же открытие фронта в Северной Франции? Его не было. Имелся лишь туманный намек на то, что англо-американцы будут готовить вооруженные силы для такой операции и ждать момента, когда она окажется осуществимой.

<sup>1</sup> «Переписка», т. II, стр. 40—43.

<sup>2</sup> Тогда это были лишь суммарные ощущения. Сейчас я могу привести уже несомненное доказательство их правильности. В четвертом томе мемуаров Черчилль приводит свою записку по вопросам общей стратегии войны, помеченную 3 декабря 1942 года. Это был момент, когда Паулюс уже был окружен Красной Армией, однако исход Сталинградской битвы оставался еще неясен. В записке Черчилля имеется такое место: «Важные события последнего времени изменили и продолжают изменять те предположения, из которых исходили стратегии по обе стороны Атлантики. Русские не были разбиты или ослаблены на протяжении кампании 1942 г. Напротив, разбит был Гитлер, а германская армия понесла тяжелые потери. Среди венгерских, румынских и итальянских войск, оперирующих на восточном фронте, наблюдаются явные признаки разложения. Финны, за исключением немногих егерских частей, вообще не воюют».

Если Черчилль так расценивал положение на восточном фронте еще до разгрома немцев под Сталинградом, то легко себе представить, что он думал после этого разгрома.

<sup>3</sup> «Переписка», т. I, стр. 85.

Тридцатого января Сталин направил ответ Рузвельту и Черчиллю. В нем он писал:

«Понимая принятые Вами решения в отношении Германии как задачу ее разгрома путем открытия второго фронта в Европе в 1943 году, я был бы Вам признателен за сообщение о конкретно намеченных операциях в этой области и намеченных сроках их осуществления»<sup>1</sup>.

Девятого февраля последовало просимое уточнение со стороны Рузвельта и Черчилля, но оно не обещало ничего хорошего. В нем говорилось:

«Мы также энергично ведем приготовления до пределов наших ресурсов, к операции форсирования Канала (то есть Ла-Манша.— *И. М.*) в августе, в которой будут участвовать британские части и части Соединенных Штатов. Тоннаж и наступательные десантные средства здесь будут... лимитирующими факторами. Если операция будет отложена вследствие погоды или по другим причинам, то она будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь. Сроки этого наступления должны, конечно, зависеть от состояния оборонительных возможностей, которыми будут располагать в это время немцы по ту сторону Канала»<sup>2</sup>.

Формулировки Рузвельта и Черчилля носили столь каучуковый характер и содержали так много оговорок, что я решил поговорить лично по этому вопросу с британским премьером. Вот что записано у меня в дневнике 9 февраля:

«— Что касается операции через Ла-Манш,— говорил Черчилль,— то, право, затрудняюсь сказать сейчас что-либо определенное. Мы, англичане, смогли бы выделить для этой цели 12—15 дивизий... А американцы...

Тут Черчилль недоумевающе пожал плечами и воскликнул:

— Пока у американцев здесь только одна дивизия!

— Как одна?— с удивлением отозвался я.— Вы говорили мне в ноябре, что в Англии стоит одна американская дивизия,— неужели с тех пор ничего не прибавилось?

— Так оно и есть!— отозвался Черчилль.— С ноября американцы не прислали ничего.

— А сколько американских дивизий вы ожидаете к августу?— поинтересовался я.

— Если бы я знал!— с комическим отчаянием откликнулся Черчилль.— Когда я был в Москве, я исходил из того, что американцы к весне 1943 года доставят в Англию 27 дивизий, как они обещали. Из этого я исходил в разговорах со Сталиным. Но где они, эти 27 дивизий? Сейчас американцы обещают к августу только 4—5 дивизий. Если они сдержат свое обещание, то операция через Ла-Манш будет проведена силами в 17—20 дивизий...

Черчилль вдруг рассмеялся, точно вспомнил что-то очень забавное, и спросил меня:

— Как вы думаете, сколько человек в американской дивизии?

Я с некоторым недоумением ответил:

— Точно не знаю, но, думаю, вероятно, 18—19 тысяч.

— Правильно,— еще громче захохотал Черчилль,— если считать только бойцов... А если считать и весь обслуживающий персонал, то 50 тысяч!

Я невольно ахнул:

— Как 50 тысяч?

— А так, 50 тысяч человек!— еще раз воскликнул Черчилль и затем с явным сарказмом в голосе начал считать:— Чего только нет в американской дивизии! Ну, конечно, транспорт, медицинская служба, интендантство и пр. Это все в порядке вещей. Но дальше! Два батальона прачек, один батальон стерилизаторов молока, один батальон парикмахеров, один батальон развлекателей, один батальон портных, один батальон сапожников... Ха-ха-ха! Мы бросили в Северную Африку почти полмиллиона людей, а всего-то-навсего это составляет 10—11 дивизий.

<sup>1</sup> «Переписка», т. I, стр. 87.

<sup>2</sup> Там же, стр. 92.

Черчилль еще раз рассмеялся и прибавил:

— Мы, англичане, в этом отношении плохи, но американцы еще хуже».

Разговор с премьером меня окончательно убедил, что на второй фронт в Северной Франции весной 1943 года рассчитывать не приходится. Однако у меня еще теплилась маленькая надежда, что, может быть, он будет открыт в августе—сентябре. Для этого надо было как следует встряхнуть англичан, напугать, крепко ударить по той психологии «complacency» (самоуспокоенности), которая после Сталинграда стала стихийно возрождаться как в низах, так особенно в верхах общественной пирамиды. Именно с такой целью я решил по крайней мере обратиться хоть со словом предостережения к нашим союзникам.

Двадцать третьего февраля 1943 года при активном участии советского посольства и британского министерства информации в Лондоне была устроена большая выставка на тему «25 лет СССР и Красной Армии». Открывая эту выставку, я во вступительном слове, между прочим, сказал:

— Как ни радостны наши победы (под Сталинградом), как ни ценны успехи вашей Восьмой армии (в Африке), было бы величайшей ошибкой думать, что фашистская Германия уже дышит на ладан. К сожалению, это еще не так. Германской военной машине в течение последних месяцев нанесен ряд тяжелых ударов, но она еще не сломлена. Она еще функционирует, она еще сильна. Фашистская Германия еще держит в руках много карт — территориальных и других, — которыми она может играть. И пред союзными нациями лежит еще длинная и трудная дорога, прежде чем будет достигнута их цель: полный разгром и уничтожение врага. Ничем меньшим мы не можем удовлетвориться! Дорога от Моздока до Ростова и от Сталинграда до Харькова была не прогулкой для Красной Армии. Это была дорога трудной и героической борьбы. Слово предостережения кажется мне особенно необходимым потому, что сейчас кое-где, в кое-каких кругах, победы Красной Армии начинают создавать то, что я назвал бы «оптимистическими иллюзиями». Кое-где, в кое-каких кругах, люди начинают думать, что немцы уже бегут, что победа вот-вот, здесь, за углом, что в силу этого можно уже несколько разогнуть свою спину и вернуться к чувствам, привычкам, интересам мирного времени. Нет ничего опаснее такого настроения!

Наша выставка очень удалась, на ней было много посетителей. Одновременно, как я уже рассказывал, в Альберт-Холле британским правительством было устроено торжественное чествование Красной Армии. О выставке отовсюду неслись слова благодарности и восторженных похвал. Но подготовка вторжения в Северную Францию весной 1943 года никак не двигалась вперед.

Весьма странным диссонансом в этой явно неудовлетворительной ситуации явилась телеграмма Сталина Черчиллю, относящаяся как раз к этому времени. В первой половине марта 1943 года британский премьер послал в Москву фильм «Победа в пустыне», снятый английскими кинооператорами в Северной Африке. 29 марта Сталин направил британскому премьеру послание, в котором писал:

«Вчера я смотрел вместе с коллегами присланный Вами фильм «Победа в пустыне», который производит очень большое впечатление. Фильм великолепно изображает, как Англия ведет бои, и метко разоблачает тех подлецов — они имеются и в нашей стране, — которые утверждают, что Англия будто бы не воюет, а только наблюдает за войной со стороны»<sup>1</sup>.

## 19

После Сталинграда все в Англии поверили, что фашистские державы понесут поражение — когда и какой ценой, о том шли споры, но в конечной победе союзников перестали сомневаться. Отсюда естественно вытекало, что именно союзникам рано или поздно придется устанавливать новый порядок на нашей планете. А это в свою очередь значило, что именно союзникам надо заранее подготовиться к разрешению столь сложной и грандиозной задачи. Не удивительно, что после

<sup>1</sup> «Переписка», т. I, стр. 108.

окончания битвы на Волге государственные люди, политики, экономисты, писатели, философы стали усиленно обсуждать проблемы послевоенной организации мира. Я тоже очень интересовался тогда этими проблемами и даже направил в Наркоминдел некоторые свои соображения по данному предмету. Вполне понятно, что в первой половине 1943 года у меня было немало бесед на послевоенные темы с моими английскими знакомыми разных толков и положений. Приведу несколько особенно запомнившихся мне случаев.

...Брендан Брэкен — министр информации и близкий к Черчиллю человек.

Как-то мы встретились с ним в конце апреля 1943 года. После обмена текущими новостями мы затронули вопрос, как будет охраняться мир после окончания войны. Не могу сейчас припомнить, кто первый — Брендан Брэкен или я — коснулся этого вопроса. Сознаюсь, у меня тогда еще не было вполне ясного ответа на него, и потому я больше слушал моего собеседника, чем сам говорил. В голове же Брендана Брэкена имелась уже определенная концепция (хотя и не вполне еще разработанная), которая — он не скрывал этого от меня — в большей своей части отражала взгляды и настроения Черчилля. К чему она сводилась?

— Мир, который выйдет из горнила этой войны, — говорил Брендан Брэкен, — будет сильно разрушенный мир, который станет больше всего стремиться к предотвращению новой войны. Надо обеспечить ему спокойную жизнь... Как?

Тут Брендан Брэкен развил обширную схему, которая в основном сводилась к следующему. Должен быть создан Верховный Мировой Совет в составе США, Англии, СССР и, возможно, Китая; он должен нести ответственность за сохранение мира во всем мире; наряду с Верховным должны быть созданы также три подчиненных ему Региональных совета — для Европы, для Америки и для Тихого океана, каждый из которых должен нести ответственность за сохранение мира в пределах своей области; если Региональный совет не в состоянии уладить споры между входящими в его состав странами, дело переходит в руки Верховного совета; для выполнения Советами своих функций нужна военная сила, которая должна составляться так: каждая страна, входящая в Региональный совет, выделяет определенный контингент войск, который этот Совет и может использовать в случае необходимости; то же самое делают и великие державы, входящие в Верховный совет; между всеми государствами — большими и малыми — должно быть заключено соглашение об общих размерах их вооруженных сил; в состав руководящего органа Регионального совета должны входить представители всех стран, на которые распространяется его компетенция; члены Верховного совета могут входить также и в Региональные советы, если их владения расположены в сфере компетенции того или иного Регионального совета.

Изложив все это, Брендан Брэкен спросил, что я думаю о такой организации мира?

— На бумаге, — ответил я, — ваша схема выглядит очень стройной... Но на практике, несомненно, обнаружатся различные трудности... Вот один и очень важный пример: структура Региональных советов предусматривает представительство каждой страны этого «региона» в его центральном органе, — тут возражений не может быть. Но с Верховным советом дело обстоит иначе: в него должны входить лишь три-четыре самых могущественных державы. Иными словами, предусматривается создание трехчленной или четырехчленной Директории, которая в конечном счете будет командовать всем миром. Это, несомненно, вызовет серьезные и достаточно обоснованные возражения со стороны других государств. Что тогда?

Брендан Брэкен признал справедливость замечания и стал изыскивать способы преодолеть данное затруднение, но выходило это у него не очень удачно, ибо ему все-таки хотелось так или иначе сохранить диктатуру «большой тройки» в будущей организации мира.

Потом я спросил его, как он представляет себе послевоенную Европу. Брендан Брэкен ответил, что больше всего ему хотелось бы, чтобы послевоенная Евро-

па превратилась в «Соединенные Штаты Европы», но, конечно, сразу это недосяжимо. Поэтому Брендан Брэкен считал, что в Региональный совет для Европы должны входить десять—двенадцать государств и федераций государств (под федерациями он понимал, например, Балканскую, Дунайскую федерации). Франция должна быть восстановлена как сильная держава, зато Германия должна быть ослаблена путем отделения Пруссии от остальной Германии. Польша и Чехословакия должны быть в дружеских отношениях между собой, а также с СССР.

— Один вопрос меня сильно беспокоит, — закончил Брендан Брэкен, — это взаимоотношения между США и Европой. США не имеют владений в Европе и потому не могут быть членом Регионального совета для Европы. А вместе с тем трудно себе представить будущую Европу без помощи со стороны Америки. Надо найти какую-то форму ассоциации США с Европой...

— А может быть, этого совсем не надо? — как бы невзначай бросил я (в то-гдашней обстановке мне приходилось быть очень осторожным в суждениях о США).

— Нет, нет! — воскликнул мой собеседник. — Без Америки Европа не проживет.

Вот запись в моем дневнике, помеченная 12 мая 1943 года:

«У нас на завтраке был Герберт Уэллс. Много говорили на разные темы — главным образом о послевоенном будущем человечества. Уэллс все время подчеркивал, современная техника превращает мир в единый комплекс, а старая психология разрывает его на десятки национально изолированных кусков. Если это противоречие не будет разрешено, человечество погибнет. Будет ли оно разрешено? Уэллс в этом не уверен. Он говорил:

— Либо мир быстрыми скачками помчится вверх, либо мир превратится в пустыню. Третьего быть не может.

Уэллс возлагает надежды на СССР, но чувствует, что в душе у него имеются какие-то «резервы», то есть оговорки. Это неудивительно — противоречие, о котором знаменитый писатель говорит, реально. Но дальше? Как это противоречие может быть разрешено? Тут Уэллс вдруг провозглашает:

— Надо создать Пятый Интернационал!»

Примерно через месяц после этого разговора Уэллс прислал мне «программу» Пятого Интернационала из одиннадцати пунктов. Они предусматривали право на жизнь, заботу о детях, свободу труда, право зарабатывать деньги, право на собственность, право свободно передвигаться, право на образование и получение информации, право на свободу мысли, дискуссий и вероисповедания, личную свободу в духе английского «*habeas corpus*», свободу от насилия. Декларация не обязывала человека к труду, но гарантировала ему работу, если он сам того пожелает. Декларация также предоставляла человеку право зарабатывать деньги, но запрещала покупку, хранение и продажу ради получения прибыли.

В сопроводительном письме Уэллс говорил:

«Я надеюсь на всемирную революцию (это, в сущности, является лишь восстановлением материалистического понимания истории); на мой взгляд, это вовсе не требует каких-либо глубоких изменений во внешней, видимой структуре человеческой деятельности. 999 человек из тысячи только выиграют от революции, построенной на принципе равенства».

Я невольно пожал плечами и не стал вступать с ним в дискуссию, а просто переслал его декларацию в Москву.

Привожу еще одну запись из моего дневника, датированную 2 июня 1943 года:

«У меня завтракал Батлер. Говорили много о послевоенных перспективах Англии (Батлер помню того, что является сейчас министром народного просвещения, состоит председателем партийно-консервативного «Комитета по послевоен-

ным проблемам»). Батлер ожидает, что будущее развитие Англии пойдет по таким путям:

1. Смешанная форма народного хозяйства, то есть часть промышленных отраслей (железные дороги, производство электроэнергии, может быть, угля), будет национализирована, часть (дорожный транспорт, морской транспорт, гражданская авиация и пр.) подпадет под «public control» («общественный контроль»), а часть останется по-прежнему полностью в руках предпринимателей.

2. Постепенно народится «конституционная фабрика», то есть фабрика, в которой представители рабочих будут участвовать в управлении предприятием. Эту идею, в частности, отстаивает тесть Батлера Кортон (искусственный шелк).

3. Система образования должна быть демократизирована, то есть ликвидированы почти все «public schools»<sup>1</sup> (но все-таки две-три из них Батлеру хочется сохранить) и очень увеличено количество госстипендий в высших школах.

Я спросил Батлера:

— Итак, вы хотите повести Англию по пути фабианского<sup>2</sup> развития?

Батлер ответил:

— Дело не в названии. Вы знаете, что мы, англичане, можем делать революционные вещи, если они совершаются под старым именем.

Конечно, фабианство — не революция; но для консерватора это почти революция. А Батлер (который, несомненно, отражает настроение руководящей консервативной верхушки), видимо, думает о фабианстве, хотя и не хочет его назвать.

Потом Батлер долго говорил о необходимости дружбы и сотрудничества между нашими странами после войны и под конец спросил:

— Если Англия пойдет по пути того, что вы называете фабианством, — как вы думаете, это будет способствовать укреплению отношений между нами?

— Думаю, что будет способствовать, — ответил я.

И наконец еще одна запись в моем дневнике 3 июня 1943 года:

«У меня завтракал лейбористский лидер Герберт Моррисон. Как-то получилось так, что разговор с Моррисоном тоже касался главным образом послевоенных проблем. Моррисон развивал идеи, уже известные мне из его речей, появившихся на днях в виде сборничка «Перспективы и политика». И чем больше говорил Моррисон, тем сильнее мне бросалось в глаза совпадение его взглядов со взглядами Батлера. Конечно, между тем и другим имеются кое-какие отличия в оттенках, но в основном оба стоят на одной и той же платформе. Поразительно! Слушая Моррисона, я думал, как легко будет после войны консерваторам сговориться с лейбористами по вопросам внутренней реконструкции Англии — если, конечно, пролетариат позволит Моррисонам продолжать свою игру... Боюсь, что позволит!»

Я вспоминаю сейчас все эти разговоры, и мне хочется сказать: реальная историческая жизнь не приняла ни Директории великих держав, которая так пленяла Черчилля, ни Пятого Интернационала, о котором мечтал Герберт Уэллс, ни конституционной фабрики, на которую возлагал свои надежды Батлер. Реальная историческая жизнь пошла иными путями.

Так часто ошибаются и умные политические деятели в своих прогнозах.

Я привожу здесь все эти суждения для того, чтобы показать, какова была атмосфера в Англии тогда, после великой битвы на Волге.

<sup>1</sup> Буквально «общественные школы» — это те привилегированные, содержащиеся не на государственный счет школы (Итон, Винчестер, Харроу и другие), в которых обучаются дети правящей верхушки Англии.

<sup>2</sup> Основанное в 1884 году «Фабианское общество», объединяющее английских умеренных социалистов (в том числе В. Шоу, супругов Вебб, Герберта Уэллса), учило, что Англия перейдет к социализму без революции, путем длинной цепи частичных социальных реформ.

Хотя Черчилль и публично, и в частных беседах обещал быстрое завершение военных операций в Северной Африке, события там, как и надо было ожидать, развивались гораздо медленнее, чем это предполагали. Тут сказывались и трения между Вашингтоном и Лондоном, и неопытность англо-американских войск, и более высокий уровень военного командования у противника (во главе его стоял Роммель), и многое другое.

Дела пошли несколько лучше, когда в конце февраля 1943 года английский генерал Александер был назначен командующим тунисским фронтом (под общим руководством Эйзенхауэра).

Атаки англо-американцев все более усиливались, территория, на которой держался противник, все больше сокращалась, его потери все больше возрастали, его положение становилось все более безнадежным. Наконец 13 мая генерал Александер донес Черчиллю, что кампания в Тунисе закончена, всякое сопротивление врага прекратилось и союзные войска являются хозяевами всего североафриканского побережья.

Вопреки «оптимистическим» предсказаниям Черчилля, операция «Факел» затянулась, таким образом, на целых шесть месяцев, и это сыграло самую отрицательную роль в открытии второго фронта в 1943 году.

Об оценке военных операций 1942—1943 годов в Африке в западной печати после войны разгорелись споры, не законченные еще сейчас.

Черчилль в своих мемуарах о битве под Эль-Аламейном пишет:

«Она по существу означала «поворот судьбы». Можно почти сказать: до Аламейна у нас никогда не было побед, после Аламейна у нас никогда не было поражений». О битве в Тунисе он говорит: «Не может быть никакого сомнения о величии нашей победы в Тунисе. Она выдерживает сравнение со Сталинградом»<sup>1</sup>.

Историки и политики Запада в течение многих лет на все лады развивали и разрабатывали тезис, сформулированный Черчиллем. Некоторые из них при этом заходили так далеко, что поворотным пунктом в ходе всей второй мировой войны признавали именно две названные североафриканские битвы и отводили Сталинграду второстепенное значение.

В свете исторической перспективы пора переходить к более объективной оценке истинного значения различных событий второй мировой войны. Я не собираюсь снижать роль военных операций, происходивших в Северной Африке. Несомненно, Эль-Аламейн и Тунис были крупными успехами англо-американцев и оказали свое влияние на общий ход и исход войны. Но мне тут невольно вспоминается, как сам Черчилль в послании Сталину от 11 марта 1943 года говорил, что «масштабы этих операций (в Тунисе.— *И. М.*) невелики по сравнению с громадными операциями, которыми Вы руководите»<sup>2</sup>. Британский премьер тогда, в самый разгар тунисской битвы, ясно понимал реальные соотношения и пропорции. Почему же потом, когда пушки замолчали и он сел писать свои мемуары, Тунис стал «выдерживать сравнение со Сталинградом»?

Ни один мало-мальски объективный человек в наши дни не согласится с таким заявлением. Дело обстоит совсем иначе. Если битву на Волге сопоставить с одновременными битвами в Африке по количеству вовлеченных сил и понесенных потерь, по размаху военных и политических последствий, по психологическому эффекту на народы мира и особенно на народы гитлеровской коалиции, то лишь безнадежные слепцы смогут усматривать «поворотный пункт» мировой войны в двух африканских битвах.

Когда война в Северной Африке к середине мая 1943 года наконец была завершена, со всей остротой встал вопрос: что же дальше?

Казалось бы, наступил момент для организации вторжения в Северную

<sup>1</sup> W. Churchill. The second world war, v. IV, pp. 341, 398.

<sup>2</sup> «Переписка», т. I, стр. 99.



Францию. Это обещали Черчилль и Рузвельт, начиная операцию «Факел». Свое обещание они повторили на конференции в Касабланке. Но... тот тлетворный дух «сотриасенсу» (самоуспокоенности), который так усилился в Англии и США после Сталинградской битвы, снова одержал победу. Ведущую роль и на этот раз играл британский премьер-министр.

Одиннадцатого мая в сопровождении большой свиты из высших руководителей британских вооруженных сил Черчилль прибыл в Вашингтон и встретился здесь с Рузвельтом и его военными и политическими советниками. Накануне, 10 мая, Черчилль с пути информировал Сталина о своей поездке для свидания с Рузвельтом. Еще раньше, 6 мая, Рузвельт сообщил Сталину о предстоящем приезде Черчилля. Однако ни тот, ни другой не пригласили Сталина также прибыть в Вашингтон или хотя бы прислать туда своего ответственного представителя для участия в совещании<sup>1</sup>. Таким образом, все washingtonские решения были приняты за спиной СССР и только сообщены ему уже постфактум.

Как раз в это же самое время разыгрался один весьма любопытный эпизод. В Москву приехал бывший американский посол в СССР Джозеф Дэвис и привез Сталину личное письмо от Рузвельта, датированное 5 мая 1943 года. В письме президент высказывал желание встретиться лично со Сталиным в частном порядке где-либо в районе Берингова пролива и в сопровождении самого ограниченного числа людей. Рузвельт предполагал взять с собой лишь Гопкинса, переводчика и стенографистку. Из письма также явствовало, что свидание должно было состояться без участия Черчилля. «Между нами состоялось бы то, — писал Рузвельт, — что мы называем «встречей умов»<sup>2</sup>. Сталин ответил американскому президенту 26 мая и выразил согласие на его предложение, но ввиду ожидавшегося тогда большого летнего наступления немцев просил перенести встречу на июль или август<sup>3</sup>. Все это происходило еще до того, как Советскому правительству были сообщены washingtonские решения англо-американцев.

Четвертого июня 1943 года американский посол в Москве адмирал Стэндли вручил Сталину послание Рузвельта (одобренное также и Черчиллем), в котором излагались эти решения. К чему они сводились?

План военных действий на оставшуюся часть 1943 года предусматривал:

1. Усиление борьбы с подводными лодками.
2. Создание предварительных условий для участия Турции в войне.
3. Ослабление Японии путем поддержания неослабного давления на нее.
4. Оказание помощи французским вооруженным силам в Африке с целью подготовки их к будущим операциям в Европе.
5. Выведение Италии из войны «в ближайший возможный момент времени».
6. Всемирное усиление воздушного наступления на Германию и оккупированные ею страны.

Это было все. Ну, а как же насчет второго фронта в Северной Франции?

«Согласно теперешним планам на Британских островах весной 1944 года должно быть сконцентрировано достаточно большое количество людей и материалов, для того чтобы позволить предпринять всеобъемлющее вторжение на континент в это время»<sup>4</sup>.

Итак, второй фронт во Франции снова откладывался на год!

Мне неизвестны были в то время все детали washingtonских переговоров, которые содержатся в мемуарах Черчилля, но, зная людей, участвовавших в них, я легко представлял себе, как британский премьер доказывает необходимость после победы в Африке развернуть операции в столь близком его сердцу Средиземном море (ведь русские и без второго фронта бьют немцев!) и как Рузвельт,

<sup>1</sup> «Переписка», т. I, стр. 128, т. II, стр. 63.

<sup>2</sup> Там же, т. II, стр. 62—63.

<sup>3</sup> Там же, стр. 63.

<sup>4</sup> Там же, стр. 66—68.

произнес горячую речь о важности оказания помощи России, в конечном счете идет на поводу у Черчилля. Главное же, мне было ясно как день — и послание Рузвельта не оставляло в том сомнения, — что на основной вопрос: второй фронт или Средиземное море? — вашингтонское совещание твердо ответило: «Средиземное море».

Нетрудно себе представить, какое впечатление этот ответ произвел в Москве. В послании Рузвельту от 11 июня Сталин писал:

«Как видно из Вашего сообщения, эти (то есть вашингтонские. — *И. М.*) решения находятся в противоречии с теми решениями, которые были приняты Вами и г. Черчиллем в начале этого года, о сроках открытия второго фронта в Западной Европе... Теперь, в мае 1943 года, Вами вместе с г. Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года. То есть — открытие второго фронта в Западной Европе, уже отложенное с 1942 года на 1943 год, вновь откладывается, на этот раз на весну 1944 года... Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе — в народе и в армии — произведет это новое откладывание второго фронта... Что касается Советского Правительства, то оно не находит возможным присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший вопрос...»<sup>1</sup>.

Тон послания явно говорил о том, что вашингтонские решения вызвали в Москве крайнее и вполне законное раздражение. Обдумывая создавшееся положение, я приходил к выводу, что Советскому правительству нельзя ограничиться только словами, что оно должно какими-то практическими действиями выказать союзникам свое неудовольствие. Но какими?

Две недели спустя из Москвы пришла телеграмма, которая предлагала мне срочно вылететь в СССР для участия в обсуждении послевоенных проблем. Хотя, как уже упоминалось выше, после Сталинграда я действительно много занимался этими вопросами, смысл полученной мной директивы был ясен. Советское правительство хотело заявить о своем неудовольствии британскому правительству, отозвав меня из Лондона «для консультации» — наиболее обычная для того форма, принятая в дипломатическом обиходе. Вскоре аналогичную директиву получил и наш посол в Вашингтоне М. М. Литвинов.

Когда я пришел к Идену и, сообщив о полученном мной указании, попросил его устроить для меня возможность полета в Москву, министр иностранных дел взволновался.

— Зачем ваше правительство как раз сейчас вызывает вас для консультаций? — горячо воскликнул Иден.

Я разъяснил ему, что в последние месяцы я много работал над послевоенными проблемами и что время для их более серьезного обсуждения теперь явно наступает. Что же удивительного, если Советское правительство приглашает меня на время в Москву для участия в рассмотрении этих совсем не простых вопросов.

Иден слушал меня с явным недоверием и затем сказал:

— Нет, нет! Тут дело сложнее. Ваш вызов имеет политическое значение.

И тут же при мне Иден сообщил по телефону Черчиллю об услышанной от меня новости.

Так неожиданно оборвалось мое пребывание в Лондоне. Как показало дальнейшее, пришла к концу и моя одиннадцатилетняя работа на посту советского посла в Англии.

\* \* \*

Мне остается досказать немного.

Третьего июля 1943 года в глухую полночь я вылетел из Англии в Москву. «Воздушный корабль» был в стиле военного времени: знаменитый в то время бомбардировщик «Либерэйтер», переделанный под пассажирскую машину. Маршрут отражал тогдашнюю конфигурацию фронтов: Гибралтар — Каир — Багдад —

<sup>1</sup> «Переписка», т. II, стр. 69—70.

Куйбышев — Москва. 10 000 километров. По масштабам начала сороковых годов это было огромное расстояние. В пути мы задержались в Каире на два дня из-за технической проверки самолета и в Хабанийе (под Багдадом) еще на два дня из-за нелетной погоды. Никаких других осложнений не было.

Девятого июля наш «Либерэйтер» приземлился на Внуковском аэродроме, и я оказался в родной, шумной, пышущей глубоким оптимизмом Москве. Настроение здесь было совсем не то, что в декабре 1941 года, когда я приехал сюда с Иденом. Тогда везде чувствовалась суровая решимость «стоять насмерть» против жестокого врага, находившегося в нескольких десятках километров от столицы. — сейчас враг был далеко от Москвы, враг отступал под ударами Красной Армии, и в душах всех советских людей ярко горело пламя подъема и одушевления.

В Москве я пробыл около полутора месяцев: видел большинство руководящих деятелей (кроме Сталина), участвовал в некоторых совещаниях по вопросам послевоенного порядка, встречался и беседовал с друзьями и знакомыми из дипломатического и писательского мира. В середине августа определилась и моя дальнейшая судьба: я был отозван из Лондона и назначен заместителем наркома иностранных дел со специальным поручением возглавить созданную Советским правительством комиссию по подготовке программы наших репарационных требований. Мне, однако, было разрешено вернуться для ликвидации дел на короткое время в Англию.

Двадцать второго августа я вылетел в обратный путь тем же маршрутом, каким прибыл из Лондона в Москву. Со мной вместе летел и начальник советской военной миссии в Англии адмирал Н. М. Харламов, который незадолго перед тем был вызван в Москву для доклада. Теперь он возвращался к месту своей работы. На этот раз пришлось лететь «на перекладных». Это было менее удобно, но никаких «чрезвычайных происшествий» на пути не произошло, и 28 августа мы с Харламовым благополучно приземлились на аэродроме в Англии.

Настали дни прощания с Лондоном, где в разное время и в разных качествах мне пришлось провести целых восемнадцать лет: пять лет (1912—1917) в качестве политического эмигранта из царской России, два года (1925—1927) в качестве советника полпредства СССР и наконец одиннадцать лет (1932—1943) в качестве посла СССР. Это прощание имело несколько различных аспектов.

Прежде всего нужно было урегулировать вопрос о той формальной дипломатической процедуре, которой, по установленному этикету, сопровождается отъезд посла из страны его аккредитования. Обычно каждый буржуазный посол стремится сделать такую процедуру возможно более пышной и торжественной. Однако советская дипломатия всегда старалась максимально упростить и демократизировать дипломатический этикет, правила которого в основном создавались еще в феодальную эпоху. Мне удалось договориться с Иденом свести «прощальные» формальности к абсолютно необходимому минимуму.

Далее нужно было проститься с теми многочисленными иностранцами, особенно англичанами, которые на протяжении многих лет проявляли симпатии к Советскому Союзу или поддерживали постоянные связи с советским посольством. Тут были и министры, и политики, и парламентарии, и дипломаты, и общественные деятели, и писатели, и люди искусства, и журналисты, и работники тред-юнионов. Так как делать всем прощальные визиты было просто невозможно, а собрать их всех на большой прием в посольстве казалось неудобным в обстановке военного времени, то я разослал всем таким лицам несколько сот прощальных писем. На свои письма я получил сотни ответов, среди которых было немало очень интересных.

Но были и личные встречи прощального характера — с людьми наиболее близкими или симпатичными нам. Из них мне особенно запомнились визиты Бернарду Шоу с супругой, Сиднею Веббу, который незадолго перед тем овдовел, и Герберту Уэллсу. Все они были уже глубокие старики, как-то незаметно одрях-

левшие у нас на глазах, и мы не надеемся с ними больше встретиться. Так оно и случилось.

Особенно трагично вышло с миссис Шоу. Мы были у супругов Шоу за два дня до нашего отъезда, намеченного на 14 сентября. Миссис Шоу была сильно больна. В ранней молодости ее сбросила лошадь, и она ушибла позвоночник. Потом все как будто бы прошло. Но с годами старый недуг стал все чаще о себе напоминать. Никакое лечение не помогало. Теперь, в возрасте девяноста лет, Шарлотта Шоу была полнейшим инвалидом: ее всю искривило, она не могла поднять голову и все время проводила в постели. По случаю нашего прощального визита Шарлотта встала, оделась и вышла в гостиную. Она желала нам всего лучшего и с глубоким удовлетворением вспоминала нашу долголетнюю дружбу. Мы в ответ тоже говорили ей хорошие слова, но на душе было грустно и тревожно. Развязка пришла раньше, чем мы ожидали. В самый день нашего отъезда, за час до отхода поезда, мы узнали, что Шарлотта умерла. Первый порыв у нас был поехать к Бернарду Шоу, но это было невозможно: в обстановке военного времени об отсрочке отъезда нельзя было и думать. Я взял лист бумаги и в дружеском письме выразил знаменитому писателю всю нашу горечь и сочувствие.

Многие английские знакомые и друзья приезжали ко мне проститься.

Простились мы и с советской колонией в Лондоне, со всеми теми товарищами из посольства и торгпредства, с которыми мы так долго вместе работали и о которых навсегда сохранили добрую память.

Накануне дня отъезда я пошел в Гайд-парк. В мае 1917 года, когда после февральской революции я возвращался в Россию, мое последнее «прости» Англии было сказано именно в этом замечательном парке. Помню, тогда я прошел его из конца в конец, мысленно пробежал все годы моей эмиграции и затем сказал:

— Прощай, прошлое! Теперь предо мной открываются новые дали.

Сейчас, двадцать шесть лет спустя, опять накануне отъезда в Россию, ставшую Союзом Советских Социалистических Республик, мне снова захотелось проститься с Англией в Гайд-парке. Идя по его тенистым аллеям и открытым полянам, я думал:

«Как бесконечно изменился мир за эти четверть века! Как изменилась Россия! Как изменился я сам! Тогда я возвращался домой безвестным эмигрантом и хотя верил в великие перспективы своей страны, но не знал, как и когда они осуществятся. Впереди был туман — правда, пронизанный розовыми бликами... Теперь я возвращаюсь домой в качестве дипломата великой социалистической державы, который в вихре военной бури и послевоенной сумятицы примет активное участие в строительстве будущего. Жизнь иногда бывает фантастична, как сказка, и я рад, что на мою долю выпало пережить такую фантазию».

Возвращались мы через Атлантику, Средиземное море, города и пустыни Ближнего Востока.

Сорок дней спустя я был в Москве.



# О ЧИЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

К. БУКОВСКИЙ

★

## МАЛЫЕ ГОРОДА

### 1. В ГОРОДКЕ НЕ ЗАШТАТНОМ

**Г**ородок Зарайск стоит на холме. Когда-то для этого были все основания. Четыре или даже больше веков подряд городок служил крепостью на подходах к Москве, и в память об этом здесь сохранился каменный кремль, в котором, впрочем, находятся сейчас кинотеатр, восьмилетняя школа, занятая временно в те дни, когда я приезжал, под городскую поликлинику, и единственный уцелевший собор, обнесенный лесами, но много лет уже не ремонтируемый и не реставрируемый.

Потом — пришло время — городок перестал иметь дело с войнами и стал иметь дело с купцами и со ското- и хлебопромышленниками. Он по-прежнему стоял на подходах к Москве. Но теперь уже к нему стекались не татарские орды и не польские рыцари-копеецсы, а шел и ехал торговый люд: рязанские молочники, льноводы и картофелеводы, приокские сенодержатели, гуртовщики с животноводческого юга, хлебные ссыпщики оттуда же, с южных хлебопашеских земель, более плодородных и более обширных, не занятых ни лугами, ни речками, ни озерами, ни лесом.

А здесь-то был как раз луговой, речной, озерный и лесной край! Не хлебом он был жив и даже не скогом, а сеном, льном, коноплей, птицей, пчелами, картофелем, домашним хлопчатобумажным промыслом, деревянными изделиями, портняжничеством и торговлей. Это была северо-западная часть Рязанской губернии, граничащая с Московской. неплодородная, сравнительно ровная, слегка холмистая к югу и болотистая и лесистая на север, к Москве. Край был земледельчески бедный и потому больше склонный к торговле и к отхожему и к домашнему промыслу. И только поймы были истинным богатством этого края, богатством истинно щедрым, производившим до шести миллионов пудов сена ежегодно, из которого свыше миллиона пудов отправлялось через село Дединово на Оке к северу, в Москву и дальше.

От бедности городок Зарайск стал торговым. Он с войнами покончил. Насыпал холм над ратниками, столкнувшимися грудью с польскими рыцарями. Понастроил соборов и церквей в игрушечном каменном кремле. Засыпал ров вокруг него. Поднял возле него каменные торговые ряды. Воздвиг еще множество церквей и в самом городке, чтобы видны были снизу, с лугов, одни только церковные главы. И стал на пути к Москве с юга уже не крепостью, а просто купеческим, бойким, расгоропно торговым рязанским городком. И, кроме того, городком ремесленно-кустарным.

От бедности, я думаю, он стал потом и промышленным. Не от собственной бедности, а от бедности окружающей, земледельческой. Земли не кормила — поневоле приходилось идти мять и выделявать кожу или мять пух и перо, а потом шить и стегать пуховые подушки и одеяла.

Промышленность в Зарайске как раз такая и возникла: кожевенно-обувная, мыловаренная, перовых изделий, восковая и шерстобитная, молочная и т. д. Что шло через городок и что производилось тут вокруг, то и попадало на переработку — естественный, никем не придуманный процесс.

И таким же точно путем одно безымянное швейцарское акционерное общество решило воздвигнуть тут большое предприятие на дальнем азиатском сырье. Была возведена рядом с вокзалом тогда же проложенной местной железной дороги Зарайск — Луховицы зарайская камвольно-прядельная хлопчатобумажная фабрика. Акционерами руководила отнюдь не какая-нибудь экзотическая идея. Просто вокруг Зарайска и в нем самом было много натерелых на домашнем хлопчатобумажном производстве дешевых рабочих рук.

И вот остался стоять по-прежнему над рекой Осетр, при слиянии его с рекой Мо-настыркой, городок на высоком холме. На склоне его, при спуске к реке Осетр, по-прежнему стоял каменный кремль. В кремле сияли купола. Еще больше куполов сияло в самом городке. Но тут же, рядом с торговыми рядами, соборами и куполами, возникло восемнадцать небольших промышленных предприятий.

В этом вся основа жизни и быта нынешнего Зарайска. Не в кремле, где тоже практические зарайские жители от недостатка жилья и общественных зданий поместили кинотеатр и школу, а в угловой сторожевой башне — даже керосиновую лавку, и не в голубых сияющих главах церквей, из которых одна только приспособлена была рачительным молодым священником к отправлению своих прямых обязанностей, остальные же представляют либо городской краеведческий музей, либо промышленный цех, но именно в этих восемнадцати предприятиях, на которых работало когда-то всего две тысячи человек, а стало работать около девяти тысяч. В этом — вся основа жизни и быта нынешнего городка Зарайска.

Я знаю несколько бывших уездных — торговых, административных, культурных и малокультурных городков. Теперь они просто заштатные, большей частью усадебные городки. Их беда состоит в том, что в них было мало старой промышленности, а мы свою новую промышленность создавали по иному принципу (не всегда естественному), когда не городок и не окружающие его обжитые, натерелые на выработку местных изделий пригородные посады деревни и слободки, а огромные города, уже нагромоздившие вокруг себя через край заводы и фабрики, были объектом нового нагромождения и сталелитейных, и мясоскотобойных, и холодильных, и текстильных заводов и фабрик. Уездная усадебная периферия терпела от этого неизбежную беду.

Можно отнестись иронически и к сегодняшнему Зарайску. Можно посмеяться над рачительным молодым священником с усиками и в модной шляпе, выбелившим единственную действующую церковь в городке и повесившим на дверях объявление, что все требы выполняются только при предъявлении справок и разрешений местных властей. Можно смеяться керосиновую лавку в угловой сторожевой башне исторического зарайского кремля и пивной ларек в часовне бывшей церкви святой троицы, ныне краеведческого музея. Можно сиронизировать по поводу церкви Иоанна Предтечи, занятой под зимний городской кинотеатр.

Поводы для иронии тут есть. Еще больше поводов есть для тревоги, потому что более трети старого жилищного фонда клонится набок и восстанавливать эту треть, как ни бьется горсовет, скоро будет все трудней и трудней.

Можно поиронизировать и над составителями генплана, которые хотели два года назад настроить дворцов, парков, стадионов, увеличить население Зарайска с двадцати двух с половиной тысяч до сорока пяти тысяч человек (ни больше, ни меньше), прежде чем подумать, как перевести треть населения в новые, хотя бы одноэтажные дома на тех же усадьбах, как достроить наконец растянувшийся строительством городской Дом культуры, как перевести в новые помещения медицинские кабинеты, как перебраться со школьными помещениями и т. д.; как, иначе сказать, благоустроить и создать более или менее высокую культуру для жизни и быта существующего городка, а не только будущего.

Посмеяться и поиронизировать, если бы хотелось, тут было над чем. И можно было еще о большем пожалеть. Но все-таки этот городок на холме, переведший в свой кремль керосиновые лавки и оборудовавший под церковными куполами промышленные цеха, по-настоящему живет и трудится. У него есть работа, у него есть четырнадцать предприятий (потом их стало не восемнадцать, а четырнадцать, но они стали больше), на которых работает 8862 работника, которые не просто пишут бумаги, а производят

в день 200 тысяч погонных метров хлопчатобумажных тканей, 12 с половиной тысяч пар обуви, 5 тысяч подушек и 400 одеял, 10 котлов, ремонтируют моторы и машины, выпекают 12 с половиной тонн хлеба, перемалывают на муку более 10 тонн зерна, изготавливают более 25 тысяч литров безалкогольных напитков, печатают газету и книги, выделывают и обжигают кирпич, добывают строительный камень. выпускают картонажные изделия и т. д. Почти девять тысяч жителей этого городка из двадцати двух тысяч с половиной всего его населения не только получают средства к существованию, но и что-то производят еще. Это большое счастье.

Я прожил в этом городке несколько дней. Каждое утро вставал рано, выходил из построенной два года назад городской двухэтажной гостиницы на краю городка и шел к его фабрикам и заводам. К началу работы я угадать не мог. И фабрики и заводы работали в три смены (как и школы, за недостатком школьных зданий), и часы начала работы не сходились. Но я слышал гул ткацких станков из окон прядильно-ткацкой фабрики «Красный Восток», на которой работает больше четырех тысяч человек, большей частью женщины. Я видел, как кроют, шьют и тачают обувь, выпускаемую двумя с половиной тысячами обувщиков на зарайской обувной фабрике. Я наблюдал за нелегким трудом женщин-работниц на фабрике перовых изделий и видел, как складывают жилые дома в новом микрорайоне, в конце улицы Советской, на выходе в поле, из кирпича, выпрессованного и обожженного работниками зарайского кирпичного завода № 1. Это был все труд зарайских рабочих: текстильщиков, обувщиков, кирпичников, металлистов, хлебопеков, картонажников, маслоделов, типографшиков, мельников и т. д.

Хочу еще раз сказать доброе слово истории, заложившей промышленное основание городку Зарайску.

И в самом деле! Ну что бы стал делать такой маленький городок Зарайск (не такой уж маленький, впрочем, теперь), не приди в свое время на смену его крепостному назначению назначение торговое и не приди вслед за тем на смену его торговому назначению назначение промышленное? Прямых экономических связей с деревней, какие были прежде, у него теперь нет. Разве что базар. Но и базар, как я заметил, больше питался пригородными редиской, картофелем и луком и пригородной бараниной вместе с пригородными ранними огурчиками, нежели поемным приокским сеном, поемным приречным молочным скотом, поемным пасечным воском для воскобоя, льняным и конопляным семенем для маслобоек, льняной и конопляной трестой для ткацкого и веревочного производства, овечьей шерстью для шерстобиток и валяльных мастерских, кожами для кожзаводов, салом для мыловаренной промышленности и т. д. и т. п. Прямая экономическая связь между торговым и промышленным городком Зарайском и окружающей его лесной, поемной, озерной, болотистой, малохлебной, но зато богатой другими сырьевыми источниками и продуктами деревней была нарушена. Взамен ее пришли другие экономические источники и связи. Но что до них бывшему крепостному, а затем бывшему торговому городку Зарайску, не будь у него сегодня его четырнадцати промышленных предприятий? Что ему до этих новых источников и связей, не будь у него старой промышленной основы, на которой взамен двух тысяч прежних работников работало теперь почти девять тысяч человек?

Очень много значила для жизни и быта таких бывших уездных торговых и административных городков старая промышленная основа. На ней, как бы там ни было, а легче было создавать новую промышленную основу.

Но речь-то я веду не о ней, а именно об этой новой промышленной основе. Если нет ее — значит, и городку плохо жить: ему некуда приложить ни свои силы, ни свой разум, ни свои молодые руки и голсы.

А есть у нас такие бывшие уездные торговые и административные городки. И сколько к ним прилепилось бывшего сельского населения, теперь пригородного, покинувшего по всем известной уже теперь экономической причине свои насиженные сельские места! В самом Зарайске теперь вместо 8078 душ по переписи 1897 года — 22 500 человек. К его Стрелецкой и Пушкарской слободам — памяти о крепостном назначении городка — прибавились не только улица Кожевников и поселки Металлистов и Текстильщиков, но и поселки индивидуальных застройщиков на том конце, где было

Великое поле, и в районе деревни Беспятово. Да и сама-то деревня Беспятово теперь уже пригород.

Куда бы девать все это пришлое и старожильческое население? Куда направить его материальные и духовные интересы? Кого вырастить из него — каких граждан и какого общественного духа?

Прежде были ратники. Потом купцы, приказчики, хлеботорговцы, скотопромышленники и их работники. Потом появились фабриканты и заводчики, с одной стороны, а с другой — рабочие: кожевники, ткачи и т. д.

А что, если у жителя бывшего уездного торгового и административного городка в его сегодняшнем дне — один только домик, учреждение и усадьба? Хорошо еще, если есть учреждения!

Вот почему каждое утро, пока я жил в Зарайске, я ходил к воротам его старых и новых краснокирпичных заводов и фабрик. Меня даже колокольня над цехом нынешнего заводика нимало не шокировала и не вызвала у меня на устах никаких грустных, сострадательных улыбок. Я был рад, что под этой колокольней что-то такое производят и что-то такое выпускают на свет.

Даже и керосин пусть продают из старых исторических башен исторических кремлей! Лишь бы этот керосин светил станкам и книгам, а не куцему обиходу какого-нибудь луковичного или огуречного городского обывателя.

Вот то главное ощущение, которое я испытал, побыв несколько дней в рабочем городке Зарайске.

## 2. ЕЩЕ В ОДНОМ ТАКОМ ЖЕ ГОРОДКЕ

Городок этот не совсем такой же. Он — горьковский.

Городок стоит посреди болот и лесов. Болота были когда-то богаты железной рудой, и поэтому тут возникли железоплавильные городки. Теперь городки — металлургические. Городки эти — Выкса и Кулебаки.

Я пишу про последний городок.

Опять хочу начать с истории.

Был 1866 год. В России возникал свой промышленный капитализм. Возникал из купцов и помещиков. Помещик Федоров вместе с выксунским купцом Бородачевым построили среди леса, на болотах железоплавильный завод.

Пошло дело шло, потом не пошло. Продали завод англичанам. В Выксе, там был уже не то англичанин, не то немец — Лессинг.

У англичан тоже дело не пошло. Продали завод владельцам коломенского завода братьям Струве.

У тех завод не сразу, но пошел. Нужна была металлургическая база для центра России. Нужно было избавляться от заграничного металла для российских железных дорог, — у братьев Струве дело пошло.

В 1867 году был пущен бандажный цех. Листопрокатный начал давать швеллер, угловое железо, рессоры.

В 1877 году, спустя семь лет после Сормова, был пущен первый мартен. Домна, простоявшая и у братьев Струве шесть лет, начала давать полным ходом металл.

Тогда же, в семидесятых годах, все нынешнее производство и оформилось.

Тогда же стали рождаться и кулебакские «дети»: Навашинский (Ока-Липни) судо-мостовой завод и Кулебакский завод металлоконструкций.

Тогда же и закишел тут, среди болот, человеческий муравейник. До пятнадцати тысяч окрестных и пришлых крестьян превратились в копателей и возчиков железа. Железо возилось на лошадях. Рядом — ни большой реки, ни железной дороги. Река Ока в сорока километрах, в Ока-Липнях, железная дорога — в шестидесяти, на станции Муром. Туда и возили бандаж, швеллеры, рессоры, угловое и прочее железо.

А руду подвозили на лошадях по гатям из соседних болотных «дулок». Добывали ее «клюшками» и ломанами. Зимой добывали, а летом расходились пахать землю. Человеческий муравейник — пятнадцать тысяч полурабочих-полукрестьян!



Да и крестьян ли еще? Не дроворубов ли и смолокуров? Край тут был лесной. Жил народ не столько землей, сколько тем, что рубил и жег на уголь дрова, гнал деготь, курил смолу, выделял деревянные изделия. Лесом жил.

Ну, а сам городок? Он был деревянный. Начинался он с Зеленой улицы, с улицы заводской администрации, с большого двухэтажного директорского дома, с дома главного механика — поменьше, где теперь заводская, она же и городская, гостиница, с целого порядка больших деревянных домов для доменных начальников и мастеров, мартевских инженеров, заводских бухгалтеров, а также и для прочей заводской администрации рангом пониже.

Начинался он с нынешней улицы Труда, старой заводской рабочей улицы, рядом с заводским сбросным горячим прудом, вырытым крепостными крестьянами, с тремя Рудничными переулками — 1-м Рудничным, 2-м Рудничным, 3-м Рудничным, — с заполненными водой карьерами, бывшими рудными выработками, где теперь воляются караси, со следами «дудок» и с дымом заводских труб, выпускающих на рабочие крыши и садики заводскую копоть.

Тут начинался заводской городок.

А рядом с ним, но чуть позже него начинался купеческий.

Он начинался от нынешнего базара. Там стоят каменные дома. Двухэтажные купеческие дома с жилым верхом и торговым каменным низом. Дома, занятые теперь под столовую, парикмахерскую и т. д., а прежде — под чайные, под мануфактуру и галантерею, под заезжие дворы и под другое, в той же степени связанное с двумя базарными днями.

Этот городок был невелик, но прочен. От него-то и шла главная Базарная улица, ныне — Степана Разина. И кончалась она с одной стороны лесным выездом, а с другой стороны — Деловым купеческим клубом. Относят рождение этого купеческого городка к 1904—1906 годам.

А вокруг были лес, болота, выезд к уездному городку Ардатову да два других выезда: на Оку, к Оке-Липне с ее пристанями и баржами, и к Мурому, к железной дороге.

И еще вокруг был лесной и болотный народ: не то крестьяне, не то рабочие, не то просто на все руки мастера — по углю, по смоле, по деревянным изделиям, по бондарному делу, по всякому прочему лесному, неземледельческому промыслу.

И он-то, этот народ, и сидел в «дудках», плавил металл, вытягивал бандажи, рельсовые балки и балки для мостов. Мост через Волгу высотой в шестьдесят метров выстроил он, этот народ, не то смолокур, не то крестьянин, не то металлург.

Потом пошло дело на спад. Уменьшилась руда. Руда была бедная, болотная, тощая. Лежала близко, была доступна, но она иссякала. Для Коломенского завода ее хватало, но для центра России было маловато. И становилась она уже дороговатой.

В 1924 году закрылось в городке Кулебаки доменное производство. Руда иссякла. Чугун, металлолом, кокс начали поставлять с Урала. Городок остался металлургическим, но на привозном сырье.

Как бы там ни было, но металлургическое прошлое городка за ним сохранилось. И оно стало развиваться. Образовалось будущее, связанное не только с металлом, но и с продукцией из него — сельскохозяйственным машиностроением. Завод стал выпускать жнейки и другие сельскохозяйственные машины и инвентарь. Сохранился за ним и прокат.

Вот отчего в этом городке можно «жить не тужить». Заработки-то у металлургов, как и у шахтеров, выше даже, чем у зарайских кожевников и ткачей.

Сейчас я приоткрою и другую сторону жизни этого городка. Сторону не менее существенную. Тут не только получают высокие заводские «металлургические» заработки, но тут и дешевый продовольственный рынок.

В чем же дело?

А дело в том, что это, в сущности, и не городок. Это полугород-полудеревня. Это деревенского облика городок на 50 тысяч жителей, в котором 7500 домов с усадьбами от шести до восемнадцати соток. 1400 коров, несколько тысяч свиней, несколько тысяч овец, более 10 тысяч кур и гусей, 37 тысяч фруктовых деревьев (до войны было боль-

ше — вырубил, но после войны опять насадили), а кроме того, почти рядом — бывший уездный городок Ардатов, в котором рынок еще более дешев. (О нем, этом городке, я буду рассказывать позже.)

Дело, как видим, в том, что здесь не только несколько тысяч рабочих-металлургов, но тут еще и семь тысяч с лишним владельцев усадеб, а на усадьбах этих не только садики и огороды, но еще и домашний скот.

Такого рода полудеревенские металлургические городки, лежащие в стороне от больших дорог, окруженные лесами, а следовательно, и топливом (леса, к сожалению, сильно вырублены), окруженные малоземельными колхозами, для которых рынок сбыта — именно этот городок, — такого рода городки в житейском смысле более чем благополучны.

Перед ними одна лишь проблема: как занять подрастающую молодежь и женщин? Дело в том, что тут — как бы «глушь», «медвежий угол», однако из этих «углов» очень неохотно уезжают. А если и уезжают, то приезжают сюда еще больше.

Тут не один металлургический завод. Тут еще его старое, дореволюционное «дителя» — значительно расширенный во время войны завод металлоконструкций. Тут несколько обычных для такого рода городков местных предприятий. Тут техникум, музыкальная школа, двенадцать общеобразовательных школ, из них три средние. Тут несколько учреждений — административных и культурно-просветительных. Тут торговые заведения. Тут рынок с его небольшими, но — торговыми и постояльческими — доходами. Тут строительство, правда не бурное. Тут кое-какие другие объекты, способные занять население, нуждающееся в работе.

И тем не менее проблема занятости молодежи и женщин здесь не снята. И дело все в том, как я уже сказал, что из такого рода городков неохотно уезжают. И еще больше сюда наезжает.

Я жил в Кулебаках всего четыре дня. Но этого было достаточно.

Я ездил по городку, обычно начиная от заводской части, от гостиницы, бани и Нардома — со шпилем и врытым в землю в саду в 1925 году миллионным по счету бандажом — и кончая вельяминовским выездом, то есть частью пригородно-деревенской. Направо от бани и Нардома, у железнодорожной ветки, построенной в начале века, и за нею — самая современная часть, двухэтажный деревянный, отчасти каменный городок, построенный силами и средствами завода. Это городок коммунальный. Жилищно-коммунальный массив рабочих квартир, начатый строительством в двадцатых годах и оконченный в наши годы, когда строительство жилья силами и средствами цехов было признано «начетистым».

Рядом с современной — сюда, через железную дорогу, влезая в территорию заводских цехов — улица Зеленая. Дома, сохранившиеся от старой заводской администрации, уже мною упомянутые.

Налево, к бане, — между нею и железной дорогой, к заводу металлоконструкций, на возвышении — Дворец культуры, большой, удобный внутри и даже изящный в некоторых деталях, но снаружи похожий на вторую массивную каменную баню. Там же, на месте песчаной горы, скрытой руками молодежи, — стадион, ею же, молодежью, построенный и ею же ныне мало посещаемый.

Там же, в той же стороне, Курмыш — старая, наиболее износившаяся часть города.

И почти там же, на той же половине, — островок жилищно-кооперативный, попытка начать строительство уже не силами и средствами цехов, а силами и средствами самих рабочих. Попытка, потерпевшая в самом начале известную неудачу и связанную с нею трансформацию. Дело в том, что на строительство больших двадцатичетырехквартирных домов пайщики не пошли. Не пошли и на строительство шестнадцатичетырехквартирных. Остановились на восьмиквартирных. Почему? Да по очень простой причине: нужна хоть небольшая, да усадьба. Хоть маленькие, да садики и огородик.

И ничего тут дурного нет. Наоборот. Я вспоминаю, как в прошлом году в Тамбоне пришлось мне в один и тот же день побывать в двух частях города. В одной, современной части, недавно воздвигнутой, с домами без зелени, без возможности для жителей

покопаться в земле, а для детей — выйти на волю и поиграть, но зато, как всегда бывает в таких случаях, со стуком забиваемого «козла» и со звоном пивных кружек, и в другой — обычной окраиной, выездной части, где жители как раз под вечер, придя с работы, возились в садиках, поливали какие-то овощи или цветы, а ребята запросто, по-деревенски играли в городки. Я пожалел тогда «современную» городскую часть и позавидовал «несовременной».

Но я отвлекся. Я начал с объезда городка, а кончил как будто не имеющим отношения к этому объезду рассуждением о собственной ягоде и моркови. Но это имеет отношение. Я именно и перехожу в ту часть рабочего металлургического городка Кулебаки, где сажают свою морковь и ухаживают за ягодниками. И где водят скот. В часть, которая, собственно, и делает дешевой жизнь в городке, поскольку он кормится преимущественно с рынка. Главным образом с рынка.

Я миную уже упомянутую мною при заводскую старую улицу — нынешнюю улицу Труда с ее тремя Рудничными переулками и следами «дудок» и карьеров — и через базар, через старую купеческую часть, ныне тоже торговую и коммунально-бытовую, переведу читателя на тот также упомянутый мною выезд к Ардатову, где мы и увидим теперь ни более ни менее, как «массив» из восьмисот домиков, небольших, не похожих на крепкие, «вечные» горьковские дома центральной части городка, но зато с усадьбами и хлевами. Тут живут пришельцы и отделенные.

Часть эта выросла уже после войны. Восемьсот домиков возникли примерно за десять лет. За эти десять лет население городка увеличилось едва ли не на одну треть. Соответственно убавилось и население собственно сельское, в окружающих колхозах. Теперь если в городке пятьдесят тысяч жителей, то в районе всего сорок тысяч. Ничего страшного: завод рос, колхозное население уменьшалось. Оно подселалось к городку, взяв на себя обязанность не только делить с ним его рабочую судьбу, но и пополнять его рынок продукцией своих подгородних усадеб.

Но много селилось тут и выходцев из самой коммунальной части городка. Это те, кому стало тесно в квартирах и кому средства позволили выделиться на отдельную усадьбу.

Вот, собственно, и весь городок. Остается сказать об усадьбе леспромхоза, от которой контора и клуб еще остались на выезде к Вельтеме, но самих-то лесов почти уже и нет. Их вырубали еще в старые времена, рубили и в наше время. Остались разве что горисполкомовские делянки, которые жители близлежащих городков делят теперь и рубят ежегодно на дрова.

Остается сказать еще о речке Теше в пяти километрах от городка, с красивыми дубовыми рощами, уцелевшими от вырубки, с лугами, с домом отдыха и прочими удовольствиями, достающимися жителям в летнее время и дополняющими общее благополучие городка, как видим, вполне обеспеченного и со стороны заработка, и со стороны удовлетворения запросов, если не целиком духовных, то во всяком случае житейских.

Есть еще и пруд Устимский, расчищенный заводом и также служащий удовлетворению тех же запросов.

И тем не менее остается у управителей городка червяк, который точит их сознание, — проблема дальнейшего трудоустройства. Проблема естественная при пятидесяти тысячах населения и при все убыстряющемся его росте. Да и закон простой: вырос хотя бы и в обеспеченной семье новый человек — надо ему предоставить работу!

В металлургическом городке, как и в шахтерском, груднее всего это сделать с населением женским.

Какой же выход ищут управители городка?

Промышленное развитие. Другого, собственно, выхода и нет. Тоже закон простой — чем больше работает населения на заводах и чем больше отбивается у него новой молодежи, тем больше требуется ему и новых заводов.

Ну, а с духовными запросами как?

В сущности говоря, для удовлетворения духовных запросов у городка есть почти все, что нужно. Есть отличный (некрасивый снаружи, но удобный внутри) Дворец культуры. Есть рабочий клуб. Есть старое здание бывшего Народного дома с кинотеатром.

ром. Есть заводские — рабочая и детская — библиотеки. Есть, как я уже сказал, музыкальная школа. Есть коллектив театральной самодеятельности, и есть даже местный музей, основанный и поддерживаемый старанием местного жителя Петра Александровича Кузина.

Однако есть что-то, что мешает городку в полную силу удовлетворять свои духовные запросы. Что — я и сам не могу объяснить.

Известно только, что в Кулебаках много пьют. Экономическую «основу» этого явления я назвал — высокие заработки, возможность тратить деньги на спиртные напитки. Есть и другая причина — тяга к этому материально благополучному городку людей с преступным прошлым. Я знал, что в городок ежегодно прибывает на жительство до ста пятидесяти отбывших наказание, своих и пришлых. Где распространено пьянство, естественно, распространены и его последствия, преследуемые законом.

Но вернусь к материальной стороне жизни таких вот «глухих» промышленно-усадебных городков. Как видим, они настолько благополучны, что к ним тянутся, сколько могут переполняют и вследствие этого создают для них же известные трудности. «Трудности переполнения», как я бы сказал.

Я уезжал из городка, когда и он сам, и завод уже поговаривали о своем столетии. До него было не более чем два года. Исчезли из памяти нынешних жителей старые домны, работавшие зиму и встававшие летом, когда начиналась крестьянская страда. Не было уже ни рудных карьеров, ни рудных «длуок». Был железоплавильный и железоделательный городок — стал городком сталелитейным.

Нашлось и новое рабочее призвание городку.

И только по-прежнему здесь тянутся не к большим сорокавосьмиквартирным домам, а к восьмиквартирным, а еще чаще — к «своему» небольшому трехконному домику на выезде к Велетьме, с небольшим садиком и огородиком, со своей коровкой, парой свинок, пятком, может быть, овец и десятком кур.

И есть к тому, по-видимому, причины.

Какие же причины?

Должно быть, те, что города-то и городки растут, а деревня не поспевает их кормить. Но это материя особая. Сейчас я занят тем, что хожу и езжу по городкам. По тем городкам, которые были прежде уездной Россией.

### 3. ЕЩЕ ОДИН ГОРОДОК, РАНГОМ НИЖЕ

Городок этот — Ардатов. Тот самый бывший уездный городок Ардатов, на выезде к которому так удобно устроилась усадебная часть металлургических Кулебак. Тот самый Ардатов, где, как мне сказали, самый дешевый продовольственный рынок.

При этом мне добавили, впрочем, что городок этот как бы «несчастный». У него нет промышленной судьбы. Это просто бывший уездный городок — и больше ничего.

Городок и вправду крохотный. Стоит он в стороне от железных дорог, в сорока километрах от Кулебак, в шестидесяти — от Арзамаса. Стоит не в лесу, а среди степи, по косягу двух степных речек, Лемети и Сиязьмы, и походит (походил, вернее), как свидетельствовал еще Мельников-Печерский, «более на село, чем на город».

Промышленности у него действительно нет и, очевидно, не будет, следовательно, и расти его городскому «тесту» будет не на чем, раз нет промышленных дрожжей. Росла только его полусельская заречная часть, такая же точно, как в Кулебаках выездная велетьминская, с той только разницей, что тут не рабочие, а служащие и усадьбы у них чуть-чуть пошире и скота чуть-чуть побольше.

Теперь это тот же «уездный», непромышленный, административный городок. Экономическое же его значение не в нем самом, а в его воскресных базарах. Я потом буду подробнее касаться этой стороны его жизни, сейчас только скажу, что, сколь для Кулебак или Выксы естественны их металлургические заводы (теперь уже, впрочем, потерявшие эту естественность), столь для Ардатова естествен его экономический нерв — воскресный базар.

Начну же я вслед Мельникову-Печерскому с городской статистики. Скажу,

кстати, что тут мне пришлось трудней, и вот почему. Уездный городок Ардатов прошел несколько стадий. До 1929 года он оставался уездным городком, потеряв несколько в своем торговом значении, но сохранив себя в административном. С 1929 года, с момента районирования и коллективизации, он стал районным центром и, не будучи промышленным городком, потерял и свое название — городок. Он стал районным селом. Теперь он снова «уезд» — административный центр четырех прежних районов, и на этом основании он с трудом, но отвоюет себе название — «поселок городского типа».

Какое же это имеет отношение к городской статистике? А вот какое. Городок остался вне статистики. Он теперь что-то среднее между городом и селом, нечто неопределенное, и этому неопределенному не положена статистика. Городскую статистику я выводил сам с помощью двух ардаатовских девушек — райфинотдельской Гали и райстатотдельской Машн. Первая обзванивала все городские учреждения, торговые точки и т. д. и устанавливала на них количество работников; вторая брала какие-то старые сведения, относящиеся к Ардаатову как районному селу, и что-то там прибавляла и убавляла.

Так родилась моя статистика. Вот она.

Дворов (хозяйств) в нынешнем Ардаатове 1100. Коммунальных домов 96, квартир в них 248 и жителей 1200. Домовладельцев 969. Новых домовладельцев за последние три года 200. Городок все-таки растет, но главным образом за счет раздела семей. Но есть и приезжие.

Почти все домовладельцы держат скот. Всего дворов со скотом 792. Коров здесь 419 (с телятами и нетелями), свиней 314, овец 86, коз 342 и птицы (главным образом кур и гусей) 8 тысяч голов.

Я начал с этой стороны жизни городка, чтобы показать характер его быта. Характер, безусловно, сельскохозяйственный, а не городской. Но пойду далее.

Населения в городке 6687 человек. Мужчины 3137. Женщины 3550.

Чем занято это население?

Прежде всего, конечно, работой в учреждениях.

Учреждений здесь множество. С помощью райфинотдельской Гали я их установил. Вот они на то время, когда я приезжал.

Поселковый Совет, производственное колхозно-совхозное управление, партком, райисполком, райфинотдел, райплан, районо, методкабинет, райздрав, райсобес, райдоротдел, отдел культуры, районная инспекция ЦСУ, райком ВЛКСМ, райсберкасса, союзпечат, контора связи, редакция газеты, жилдомуправление, контора коммунальных учреждений, госбанк, госбанк, нарсуд, прокуратура, потарияльная контора, раймилиция, отдел охраны общественного порядка, пожарная охрана, райбольница, райветлечебница, райэпидемстанция, аптека, контрольно-семенная лаборатория, инкубаторная станция, пчеловодконтора, ДОСААФ, райвоенкомат.

Торговые учреждения: рабкооп, коопсбытсекция рабкоопа, райпотребсоюз (коптора и магазины), заготконтора райпотребсоюза, районнивермаг, чайная.

Культурно-просветительные учреждения: Дом культуры, кинотеатр, библиотека, детская библиотека, Дом пионеров.

Учреждения народного образования и детские учреждения: сельхозтехникум, ремесленное училище, школа-восьмилетка, средняя школа, вечерняя школа, детский сад, детские ясли, детдом.

Во всех этих пятидесяти пяти административных, торговых, культурно-просветительных, народнообразовательных и детских учреждениях работает в городке более тысячи жителей — служащих, педагогов, врачей, торговых работников, парикмахеров и т. д. Есть учреждения с тремя работниками, есть и с тридцатью. Мелкие, но множество. И все как будто бы нужные. Во всяком случае для населения непромышленного городка все это — источник его житейского благополучия. Не считая при этом того скота, статистику которого я привел, и не считая тех сельскохозяйственных продуктов, получаемых с усадеб, статистики которых я не вывел и статистики которых вывести невозможно.

Но я не подошел еще к той стороне жизни, которая все-таки называется промышленной. Есть промышленность и в этом непромышленном городке (я только теперь как-то

ощутил, откуда идет это слово «промышленность» — промысел, промышленять. Не производть что-то от земли, а именно «промышлять»).

Какая же это промышленность? Промышленность самая естественная. Пожалуй, даже более естественная, чем нынешняя металлургия для города Кулебаки.

В городке есть крахмальный, картофелетерочный заводик. Такие заводики есть в Михлеве, в Чухмайдане, в Сиязьме (там, кажется, сломан) и в других местах.

Промышленность эта возникла на простой картофельной базе. Тут район картофельный. Земли тут, не считая арзамасских черноземов, преимущественно подзолы и супесь, потому и был принят издавна картофель. Поэтому тут были не только крахмальные, но и небольшие спирто-водочные заводики, из которых остался и развит, кажется, только один — в Арзамасе.

Так вот, в Ардатове и есть такой крахмальный заводик, пусть с сезонной работой, но занимающий делом семь месяцев в году до трехсот сорока жителей. (Вместе с управителями и служащими.)

Двух кожевенных заводов, упоминаемых Мельниковым-Печерским, в городке теперь нет. О них как-то и не вспоминают. По-видимому, их нет уже давно. Но есть небольшой льнозаводик на сорок человек рабочих и есть цех молокозавода. В этом цеху работает также сорок пять человек (главный завод — в соседнем Дивееве.) Что касается льнозаводика, то он тоже старый, и можно только пожалеть, что промышленность эта не получила здесь развития. (Не получило, следовательно, развития само льнопроизводство.)

Это старая, традиционная промышленность. Но есть и новая. Прежде всего «Сельхозтехника», бывшая МТС, позже РТС, теперь — ремонтные мастерские. Тут занято до ста жителей городка.

Есть хлебозавод, выпекающий продукцию не только для городка, но и для окружающего населения, способного посещать городские магазины. (Был даже кондитерский цех, но он закрылся.) На хлебозаводе занято сорок три рабочих и служащих.

Есть еще при редакции газеты небольшая типография с тринадцатью рабочими и служащими.

Есть неперменная промышленная принадлежность всех нынешних «уездных» и районных городков — промкомбинат. В нем занято сто сорок рабочих и служащих, преимущественно саночники, тележники и рабочие, выделяющие и обжигающие кирпич.

Есть такая же неперменная принадлежность — комбинат бытового обслуживания. Здесь занято девятью три человека — преимущественно сапожники и портные.

Есть так называемый «Межколхозстрой», организация, насчитывающая тридцать одного работника.

Есть ремстройгруппа для самого городка. В ней значительно больше — сто сорок работников, и девяносто при мне должны были набрать новых в связи с разделением группы на коммунальную и строительную.

Есть довольно большая группа мастеров, главным образом токарей, занятая обучением и производством в мастерских, расположенных в здании бывшего монастыря.

Есть работники пригородного скотооткормочного совхоза, в котором занято сорок скотников.

Есть небольшое подсобное хозяйство при ремесленном училище с шестнадцатью работниками, и есть такое же учебное хозяйство при сельхозтехникуме с гораздо большим количеством работников — сто двадцать один человек, но это уже не население городка. Этим занято небольшое сельцо Поляны, бывшее колхозное сельцо, отстоящее от городка всего в трех километрах.

Это, кажется, все. Но и этого не мало. Во всяком случае если служилый элемент городка составляет одну половину его занятого населения, то вторую половину составляют рабочие перечисленных заводиков и производственных организаций: крахмального заводика, льноперерабатывающего, хлебопекарного, молочного, кирпичного, типографщины, саночники, тележники и столяры, строители ремонтных и строительных контор, токари, животноводы и огородники. Всего эта часть населения составляет также более тысячи человек. Вместе с группой служилого элемента и городскими специалистами количество занятого населения в городке — 2292 человека.

Если прибавить сюда юношей и подростков — 258 учащихся сельхозтехникума и 390 учащихся ремесленного училища, — то количество занятого взрослого населения вырастет до 2940 человек, то есть до 80 процентов всех жителей городка в возрасте от семнадцати до шестидесяти лет.

Если же прибавить сюда еще пенсионеров, которых содержит государство, да исключить из общего населения домашних хозяек и престарелых, то и окажется, что хоть и непромышленный городок, а занят лучше промышленного, и жизнь течет в нем и более размеренно, и более безмятежно. Только что земледелием городок больше не занимается в том виде, в каком занимался прежде, но скот по-прежнему водит, приусадебные участки обхаживает даже с еще большим старанием.

Хоть и тут есть свои тревобления, но, в общем-то, горожане живут себе вкуче и влюбле, ходят на службу, немного производят, немного ремонтируют, живут больше в старом, пока еще прочном жилфонде, но что-то выводят на свет и новое (и тут есть «микрорайон» с четырьмя вынесенными в степь каменными домами), а главное, выращивают молодую поросль, в достаточной степени начитанную и в достаточной степени благовоспитанную.

Я вернусь еще к этому последнему вопросу, а пока скажу, что в городке с его шестью с половиной тысячами населения, в котором занято (не слишком, правда, производительно, а относительно служилого элемента лучше сказать — совсем непродуцательно) около половины, есть еще и более полутора тысяч детей школьного возраста, которые все учатся, и учатся прилежно.

Я, к сожалению, приехал в этот городок не летом, во время студенческих каникул, а в марте. Будь бы я тут летом, я застал бы до двухсот студентов, загорающих на степной, некрасивой, но свежей и рыбной Лемети и питающихся таким же свежим домашним молоком. Я застал бы тут и вдвое большее количество отдыхающих родственников: москвичей, ленинградцев и горьковчан.

А теперь займусь опять прогулками по городку. Пройдусь по его «индустриальной» части, до части культурной и торговой, затем по заречной. Он весь тут, как на ладони, этот городок, будто бы «отсталый», но в чем-то очень прочный и, может быть, даже более прочный, чем все мои прежние городки. Он ближе к земле, и он больше питается землей. Он даже питает других.

Я выхожу не из заводской гостиницы, а со второго этажа каменного Дома крестьянина и поднимаюсь вверх, к центральной улице. Она короткая и сплошь каменная. Тут прежде были лавки, теперь — магазины. Мясной, хлебный, строительный, хозяйственный, комиссионный, два продовольственных, универмаг, культмаг, детский магазин. Должен сказать, однако, что оборот продовольственных магазинов далеко не соответствует здешнему базарному обороту (о чем будет речь ниже) и держится главным образом на продукции двух известных арзамасских заводов.

Тут же и столовая. В ней много народу, и с самого утра. Тут и приезжие из окружающих сел, особенно в базарный и предбазарные дни. Тут и местные шоферы и механизаторы. Тут и просто бессемейные, не устроенные с бытом холостяки. Тут и пенсионеры. Эти за кружкой пива, так же, впрочем, как и остальные, кроме женщин. Еда недорогая, но плохо приготовлена. В домах едят лучше.

Улица эта прежде называлась Базарной. Она шла от Соборной площади до площади Ильинской церкви, и на ней, начинаясь на обеих церковных площадях, шли по средам и воскресеньям городские базары. Продавался хлеб, свинина, скот, до четырехсот голов рогатого скота — питание Кулебак и Выксы. И сейчас, после прошлого воскресного базара, перенесенного теперь на край городка, тут еще следы неподобранного рачительными жителями конского навоза и сена.

Перехожу на другую сторону улицы. Тут, напротив райисполкома, в двухэтажном доме внизу — книжный магазин, а наверху — районная библиотека. В книжном магазине полные полки. Но покупают только книги о войне и детективные, шпионские романы. Художественная литература стоит. Стоит и западная. И совсем не берут сельскохозяйственную. За все десять лет, утверждает продавец, взяла только несколько брошюр в помощь садоводу и пчеловоду. Летом литературу покупают отпускники, а сейчас выручка всего тридцать — сорок рублей — «на плакатах».

Поднимаюсь наверх. Знакомлюсь с девушками-библиотекарями. Одна девушка, самая трудолюбивая, топит печи и, подоткнув короткую юбку, моет пол (заболела уборщица). Вторая знакомит меня с содержимым библиотечных полок. Тут двадцать три тысячи томов. Читателей по Ардатову тысяча шестьсот (только взрослых, детская библиотека отдельно) и четверста числятся за читальней. Библиотекарей здесь всего четыре, и есть заведующая, Евдокия Михайловна Офицерова. Днем здесь пусто, но вечерами довольно оживленно.

Рядом — культмаг с чернилами и тетрадями для школьников, а еще рядом в одноэтажном деревянном доме — поселковый Совет. Тут трудятся бухгалтер и счетовод — молодая девушка Вера. Председатель в отпуске, а секретаря, Антонину Андреевну, застать трудно. «Ушла в Заречье». — «Скоро ли будет?» — «Трудно сказать — Заречье большое».

Тут же рядом продовольственный магазин. На втором этаже, занятом прежде любительским театром, арендуемым у купца Крашенинникова, с платными представлениями, бильярдом и помещениями для купеческих и чиновничьих кутежей, теперь — городской Дом культуры. Тут проводятся лекции для пенсионеров и танцы для молодежи. Большой частью Дом культуры бывает закрыт. Но иногда в нем устраиваются молодежью на западный манер балы с призами за красоту или за лучшее платье.

На бывшей Соборной площади в бывшем соборе теперь очень удобный кинотеатр. Он посещается, но слабо. В субботние и воскресные дни значительно лучше.

Вся культурная, торговая и административная часть, следовательно, тут, на этом каменном красно- и белокирпичном бывшем купеческом «пяточке». Часть бывшая дворянская и духовная — тут же рядом с ней — в одной боковой улице, где теперь горсад, сельхозтехникум, общежитие сельхозтехникума и в другой, продольной, где в доме князя Звенигородского, председателя земской управы и уездного предводителя дворянства, теперь райпотребсоюз, в доме отставного полковника Григоровича — коммунальные квартиры, в бывшей уездной больнице — нынешняя районная больница с новым родильным отделением, пристроенным главврачом хирургом Паниным и где два новых здания: хлебозавода и молокозавода.

Любопытно, что само ардатовское дворянство, так же, впрочем как и купечество, мирно жило в городке до самого почти 1930 года. Сыновья, например, одного из двух братьев-князей Звенигородских — один работал тут же, в Ардатове, заведующим отделом народного образования, другой стал художником, еще один представитель рода Звенигородских — известный теперь библиотечный работник. Остались известные и неизвестные отпрыски и фамилии Фаворских, один из представителей которой был председателем Ардатовского окружного суда.

Купечество же просто покинуло городок, кто с семьями, а кто и без семей, в те дни, когда стало слышно в Ардатове о ликвидации кулачества. Да и то не все покинули. Мелкая торговая часть купечества осталась.

Иду в часть Заречную. Через речку Леметь — два моста. Один бетонный, другой деревянный. Бетонный еще недостроен, не заделаны подходы. На реке еще лед, но уже ноздреватый. Не сегодня-завтра лед пройдет.

За самой рекой — слобода, когда-то хороший, крепкий колхоз, теперь свободное от большого земледелия, все растущее село, занятое службой, как я сказал, и земледелием малым. Тут приусадебные сады и огороды, тут мычаг коровы, блеют овцы, стучат копытцами козы, кудахчут куры, дерут весенние голоса петухи, и тут же ладят скворечни и пахнет прелым навозом. Тут сельская часть, без городских заборов, ворот и калиток, неизвестно зачем сохранившихся, будто врытых навек там, в собственно городской, прикаменной части.

Тут и ходить нечего, тут все ясно. Настолько ясно, что даже и понимаешь, зачем пропадает тут Антонина Андреевна, секретарь поселкового Совета, у которой всего восемьдесят девять тысяч рублей на городском бюджете, но зато девятьсот шестьдесят усадеб, и большинство из них за рекой. А у каждой усадьбы свои почему-то склонные к самопередвижению границы!

Я все-таки походил по Заречью и вернулся к себе, на бывший «заезжий двор»



\* \* \*

Я ждал воскресенья, воскресного базара.

В субботу я встретился еще со старым ардатовским учителем, бывшим артистом в купеческом любительском театре, немного революционером, отчасти бывшим ардатовским мешанином и земледельцем, ныне пенсионером Антоном Васильевичем Букановым. Поговорил с ним. Прошелся с его помощью, теперь уже мысленно, опять по всем улицам и улочкам Ардатова — купеческим, дворянским, духовным и мешанским. Потом пошел в баню.

Баня тут тоже старая. Я в ней попарился. Потом дождался вечера и пошел в бывший собор, ныне кинотеатр. Просмотрел две картины. Выпил в буфете бутылку арзамасского кислого пива, послушал, как свирепо расправляется пожилая женщина-контролер с терпимо хулиганящими подростками из ремесленного училища, и опять пришел к себе, на «заезжий».

Там жили командированные. Они даже и тут, в Ардадове, зачем-то живут. Эти жили, кажется, ожиданием, когда наступит весна и колхозы начнут сеять хлеб. Им надо было при этом присутствовать.

Я лег на койку и принялся читать вместе с командированными их же загоскинского «Юрия Милославского», со штампом ардатовской районной библиотеки. Так и заснул, чтобы завтра утром встать пораньше и посмотреть, как съезжается и как торгует воскресный базар.

Я забыл еще сказать, что даже в пятницу я уже слышал голос поросячьего подторжья. По улицам Ардатова шли мужчины и женщины и несли в мешках визжащих и бьющихся поросят.

В субботу, на следующий день, визг настолько усилился, что мне показалось, не случился ли тут, в городке, какой-нибудь массовый опорос. Но нет, это опять было подторжье, теперь уже главное, и, как мне сказали, назавтра поросят если и привезут на базар, то уже не столько. Пятница и суббота — это главные поросячьи дни.

Поросячья сторона, как я уже знал, подлесная, по левой стороне Лемети. Там лесные подзолы, речной песок, но зато эта полоса — картофельная. Есть целые деревни, где и колхозы и сами колхозники водят свишей, а весь поросячий выводок — иногда десять — двенадцать поросят — вывозят на базар.

Кто же покупает? Покупают муромские, кулебакские, мухтоловские, выксунские жители — рабочие, служащие, просто жители. Покупает и сам Ардатов, но меньше. Причем осенью поросята самые дешевые — от двух до пяти рублей. Весной же, теперь, они дороже: сейчас они и двадцать и тридцать рублей, и даже тридцать пять<sup>1</sup>.

Утром в воскресенье я встал действительно рано. Ночь была морозная, и слышался па уллице, со стороны Заречья, скрип полозьев. Я услышал его еще со двора.

Да, воскресный день — гут, конечно, особенный день. Не торонится вставать городок по будним, служебным дням. Семь часов, полонина восьмого, а по улице, разве что окраиной, пробежит какой-нибудь хлебопек или слесарь. В восемь часов появляются женщины с сумками. Идут за хлебом. В половине девятого количество жителей прибавляется. А в девять, без пяти минут, вся учрежденская служилая публика спешит к своим отделам и конторам.

Не то в воскресенье. Городок-то, может, еще спит, а деревня окружающая уже тянется затемно сюда со всех сторон — и с песчаной подлесной стороны, и со стороны черноземной арзамасской, и с дивеевской скотной и молочной, и с других — каждая со своей продукцией, пусть не крупной, пусть не колхозной и совхозной, пусть приусадебной и личной, но продукцией, и продукция эта и составляет суть экономической воскресной жизни городка.

И пусть сам-то городок не спешит на базар — он свою долю мяса, молока, творога, картошки, муки, масла, как и свою долю поросят, овец и ягнят, успеет купить, — но зато к нему спешат, а в этот последний, перед тем как станут дороги, базар — особенно мухтоловские, муромские, выксунские, кулебакские и даже павловские-на-Оке жители.

<sup>1</sup> Все это относится к марту 1964 года.

Пять часов утра, а на улицах городка уже скрип полозьев, гуканье колхозных автомашин, конское ржание, сигналы городских автобусов, голоса полянских и тоторшевских молочниц, кужендеевских картофельниц, леметьевских и заречных огородниц.

Везут зареченские женщины сено на салазках на базар, и я иду за ними.

У забора, при входе на базарную площадь, как в моем детстве в торговом тамбовском селе, — горшечники. Гончары из села Котовка. Там глина, хлеб родится плохо, из самой старины везут там горшечное дело. Стоят с молочными крынками, с судками, обливными блюдами, глиняными трубами для крыш. Стучат палками по глиняным бокам, зовут покупателей.

За горшечниками, с правого боку площади, — сеной ряд. Возов десять с сеном. Возле них две длинные вереницы санных конешек на салазках. Уже ходят ардастовцы вокруг возов, прицениваются. Дорогое сено — два рубля пуд! Не уступают ни залесье, ни подлесье, а брат надо.

Рядом в том же углу — скотный ряд. Коров немного, больше телок. Но есть и коровы. Прицениваются и к ним. «Сколько просншь?» — «Пятьсот пятьдесят». Отходят.

Тут же, рядом с коровами, в саях — овцы с ягнятами. Весенний окот. Овца с одним ягненком — шестьдесят — шестьдесят пять рублей, а с двумя — семьдесят. Овец берут. Это дешево. Будет и мясо и шерсть.

Тут же опять ряд саней. В саях деревянные ящики, а в ящиках поросячий визг. Не разобрали в два подторжья — разбирают теперь. Тут же плетеные корзинки. Корзинка полтинник, поросенок тридцать пять — тридцать восемь рублей. Берут! Берут даже больше, чем овец.

Эта часть базара самая шумная. Она и торговать начинает раньше другой, той, что обнесена забором.

А там что?

Зашел и туда, прошел прежде по мучному ряду. Год-то засушливый прошлый, есть ли мучной ряд? Есть. Тут год был как раз хороший. Стоит с мешками пшеничной муки вся арзамасская сторона. Стоят из Личедеева, из Стексова, голятинские, надежинские, хрипуновские. Есть мука и на машинах — машины колхозные, мука крестьянская. Но больше так, в мешках. Мучной ряд большой, пожалуй, не проберут. Но базар последний — колхозники дорожатся. Была мука зимой восемьдесят копеек, теперь рубль. У колхозов свои мельницы, размол отличный.

Да и ряд-то проберут, пожалуй. Прoberет не кто-нибудь — вся песчаная, бесхлебная, поросячья сторона. Залесье вместе с подлесьем проберут! И хотя сейчас не осенний сброс скота и не время, когда запасаются хлебом, но базар-то последний зимний, и муку — пшеничную, ржаную, даже пшеничную, — конечно, проберут.

Вышел из мучного ряда, прошел в картофельный. Картошка к весне тоже подорожала — пять рублей мешок, десять копеек килограмм. А была за мешок три рубля, край-то картофельный!

И из картофельного ряда тоже вышел, прошел в бондарный. Тут калушки, ушаты, окоренки, лоханки. Продукция левашовских бондарей. Спасибо еще села зеленые сохранили свою профессию. Есть тут еще Тучарово — село жесгянщиков. Есть Левашово — бондари. Есть село Туркуши — плотники. Есть Полховский-Майдан — игрушечники. И есть даже лапотники — село Леметь, до последней поры плели лапти для торфоразработчиков. Торф добывать лучше всего в лаптях — дешевле и удобней.

Ушел из бондарного ряда, прошел через березовые метлы и венки к самым базарным воротам. Тут, у ворот, — разная мелочь. Кто с мочеными яблоками, кто с махоркой. Почти в самых воротах — ящик свежих яблок. Это, должно быть, либо надежинские, либо из Хрипунова — там сады.

Тут же, у ворот, — один с арзамасским луком, один кто-то с медом, с солеными огурцами, с мочеными помидорами, с квашеной капустой, с сушеными фруктами. Весна, не много всего этого. Но есть.

За воротами — мясной крытый ряд. И опять — весна, не бьют в это время скот, но есть и мясо. Свиинна есть, есть немного баранины, у одного или двух — телятина.

Цена божеская, не дороже кооперативного комиссионного магазина. Только мясо тут лучше. Сейчас как раз городские хозяйки проснулись, торгуются в мясном ряду.

Тут мясной ряд, тут же, справа, и молочный. Тут хозяек больше. Молоко двадцать пять копеек, масло топленое четыре рубля (тут торгуют на фунты — один рубль шестьдесят копеек), сметана, второг по цене, соответствующей молоку. Тут весна сказывается иначе. Окончился весенний отел — подешевели молочные продукты.

За мясным и молочным рядами — тоже крытая сельповская торговля. Сельповские ларьки. В ларьках обувь и одежда, мужская, женская, детская. Тут полесские, залесские, заречные колхозницы. Продали поросят — покупают галоши, шали и полушалки. Спешат купить быстрее, да в базарную чайную, за мужьями. Пока дорогу не развезло, надо обратно — в полесье и залесье.

Десятый час, базар уже расходится. Пробрали сено, пробрали скотные ряды, пробрали муку, пробрали даже березовые метлы и веники. Схлынул базар, толятся мухоловские, муромские, кулебакские, выксунские покупатели за соборным кинотеатром, у автобусной станции ждут автобусов и попутных машин. Расходятся и жители, кто с сумкой с мясом и молоком, кто с визжащим поросенком в мешке, кто с салазками, и на салазках тоже базарные покупки — либо мешок картошки, либо мешочек муки.

Схлынул базар, только женщины подбирают граблями в кошелки и в ведра остатки скотной и сеной торговли, да воробьи вместе с галками ярятся на месте мучного ряда и там, где стояли мешки с зерном — пшеницей и рожью, — дерутся за просыпанное зерно.

Галочный крик над городком! Воробьиный писк! Вozy с сеном на улице Ленина, возле столовой и у дверей продовольственных магазинов. Запах сена, запах конского навоза и капель, весенняя мартовская капель...

\* \* \*

Утром в понедельник обхожу в последний раз городок. Завершаю с девушками мою городскую статистику. Заглядываю в поселковый Совет — счетовод Вера тут, секретаря Антонины Андреевны нет, с утра ушла в Заречье.

Неспешная жизнь. Неспешно и я хожу по учреждениям. В большом одноэтажном доме люд грачными гнездами, в райпотребсоюзе, молодая красивая Антонина Григорьевна подготовила мне месячный оборот по Ардатову по всем городским магазинам. Я хочу сравнить его с рыночным, но у меня нет рыночного оборота. Когда-то такой оборот учитывали. Теперь не учитывают. Я хотел учесть его сам, но не смог.

Я знаю только, что если сам городок торгует в месяц на двести сорок четыре тысячи рублей, то вся округа, которая вчера, на воскресном базаре, продавала и покупала сено, скот, мясо, масло, муку, молоко, картофель, овощи, гончарные и бондарные изделия, веники, метлы, махорку, пшеницу, рожь, пшено, живую и битую птицу, свои соленья и моченья, мед, яблоки и прочее, конечно же, наторговала и накупала гораздо больше.

С таким выводом я вышел из райпотребсоюза и пошел по старокаменному городку, не промышленному, но торговому, не земледельческому, но усадебному, не вузовскому, но все-таки с техникумом, училищем, школами, библиотеками, Домом культуры и кинотеатром. По городку небольшому и незаметному. Без индустриального будущего, но и не такому уж «захирелому». Да нет, вовсе не захирелому.

Я очень скептически относился недавно еще к таким городкам. Я и приведу мой разговор с читателями по поводу не таких, а вовсе уж заштатных, маленьких городков и поселков, выбитых даже и из административного «седла». Там жизнь глуше и тише. Но и там своя жизнь. И там своя судьба. И там своя часть естественного жизненного процесса, пусть негромкого и незаметного, но все-таки часть, и часть еще нужная и естественная.

Я приведу этот разговор с читателями и вслед за ним еще один разговор, а пока спрашиваю на время с этим моим третьим городком.

#### 4. РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЯМИ О СОВСЕМ УЖ «ЗАШТАТНЫХ» ГОРОДКАХ И ПОСЕЛКАХ

Больше чем два года назад был опубликован мой очерк «Размышления о районном центре». Там я негодовал по поводу общественно и экономически бессмысленного роста ничего не производящих, а только поедающих самих себя и даже округу таких именно «заштатных» сел, городков и поселков. Мой гнев был скорее направлен против причин, которые порождают эти села, городки и поселки. Но даже и моя мать, которая живет в районном селе, встретив меня, сказала с упреком: «Что ж, значит, и я, сынок, «потребитель»?»

Несколько позже писатель Сергей Воронин вновь поднял этот вопрос. Он выступил с очерком «Только для себя». Здесь тоже говорилось о крупном поселке, который живет обеспеченной жизнью, но ничего не производит для общества и государства. Живет дачниками, усадьбами, комиссионным магазином и т. д.

Гнев писателя Сергея Воронина был прямо направлен против такого «потребительства». Писатель не находил ему оправдания, хотя и давал понять, что он не хочет никого обижать. Он предлагал выход: строить в таких поселках, с населением в шесть-семь тысяч человек, промышленные предприятия. Считаю бессмысленной ту жизнь, которую ведут сейчас жители ничего не производящего поселка, писатель осуждал самое утро, которое над ним занималось: «Зачем оно занимается?»

В те дни, когда публиковался этот очерк, и я, не зная о нем, написал свой очерк, привезенный вновь с моей Тамбовщины. Очерк так и назывался: «В заштатном селе». Речь шла о бывшем районном центре, утратившем даже административную судьбу, и в примечании говорилось: «Мы не можем позволить, чтобы рядом со все более укрупняющимися производственными центрами у нас, в недалекой от них «глуши», все более росло количество «сел-мещан» и «поселков-обывателей». С ними надо что-то предпринимать. Но что? — вот в чем вопрос».

Я не находил тогда ответа на этот вопрос. Учитывая тот процесс укрупнения и централизации, который у нас шел, и процесс, как мне казалось, неотвратимый, я назвал утопией предложение писателя Сергея Воронина строить в нынешних сравнительно мелких «потребительских» поселках и городках промышленные предприятия. Когда-то и я это предлагал. Причем предлагал строить мелкие перерабатывающие предприятия, больницы, школы, магазины, театры даже не в районных «потребительских» поселках, а в самих селах — колхозах, там, где рождается производство, и там, где нужно удержать от утечки, найти применение «избыточному» населению. Я брал в кавычки слово «избыточное», потому что в социалистическом обществе не должно быть избыточного населения, социализм должен найти применение всем рабочим рукам.

Потом я и это свое предложение готов был найти утопическим. Не тот шел процесс, и остановить его было нельзя. Но что-то надо было действительно предпринимать. Вопрос был настолько серьезен, что стоило его опять задеть, как пошел поток писем.

Эти письма надо было разобрать беспристрастно.

Писатель Сергей Воронин предлагал строить государственные промышленные предприятия. Читатель Таукул из города Даугавпилса с ним был согласен.

«У нас в Советском Союзе, — писал он, — из года в год растет количество тех или других промышленных предприятий. И большинство их, как правило, строится и открывается в городах. Вместе с ростом промышленности растет и население городов. Из-за этого все время в городах ощущается острая недостача жилого фонда.

Если все вновь намеченные строительства промышленных предприятий в будущем планировать не в городах, где уже и так достаточно имеется промышленности, а в бывших районных центрах — поселках городского типа, — положение менялось бы. Для строительства рабочие руки нашлись бы на месте. Эти же рабочие стали бы и рабочими предприятия. Государству не нужно было бы на первых порах тратить средства, скажем, на строительство домов культуры или клубов, больниц, школ, детских учреждений — ведь в бывших районных центрах эти учреждения имеются».

Согласен с этим был и читатель Н. Дорогушин: «Вот поэтому-то и странным показалось мне замечание К. Буковского, что предложение писателя С. Воронина строить

в поселках и селах заводы — это утопия. Ведь смотрите: рабочей силы много, жилье готовое, остается только построить завод, немного домов для специалистов... Государство получит прямую выгоду, а бывшие «мещане» перейдут в разряд рабочих, самого передового класса».

Согласны с этим были и многие читатели, искавшие выхода для «потребительских» поселков и городков. Читатель каменщик Алексей Кирсанов из города Сызрани отнесся, однако, к этому предложению критически:

«Ну, если бы были только такие поселки и если бы они свалились к нам с луны, то дело обстояло бы проще, именно так, как предлагает автор в конце очерка, организовать в них предприятия государственного типа. Но, организовав предприятия, не пришлось ли бы производить набор рабочей силы для них на стороне. Почему? Да потому, что такие поселки-пригороды есть и в городах, где есть промышленные предприятия».

Чем живет поселок, описанный в очерке С. Воронина? Дачниками! Кроме того, там есть комиссионный магазин, в который сельские сдают капусту, картофель, ягоды, яблоки, яйца... «Сельские» городов, те сами реализуют свои продукты, нередко за тысячи километров от своего города разъезжая по стране. Из Средней Азии, с Кавказа, Молдавии едут к нам с фруктами, их пролают, закупают грибы, картофель, едут обратно. Наши выращивают помидоры — реализуют их в городах Севера и Сибири...

Оплата труда в центральных районах, — писал А. Кирсанов, имея в виду колхозы центральных районов, — еще много желает лучшего. Трудодень этих и многих других мест и в сравнение не идет против собрата, скажем, из Молдавии или Средней Азии и Закавказья».

Он смотрел в корень вещей. И вправду, если бы в колхозах по-прежнему отступовал интерес к общественному производству и по-прежнему колхозы не могли занять все свое население общественным, хорошо оплачиваемым трудом, то ничего, кроме новой прибавки пригородно-поселкового усадебного населения, не получилось бы и никто из владельцев усадеб здесь от них не отказался бы, и от них не могло бы отказаться даже и государство. Не могло до тех пор, конечно, пока колхозы и совхозы не начали бы производить продукцию и в избытке и с выгодой и для своих работников, и для своего общественного производства.

Вот тогда, мне кажется, усадебная периферия оказалась бы на мели. Тогда для нее поневоле пришлось бы искать выход, либо она сама начала бы его искать. Начала бы искать выход либо на предприятии, либо в колхозе и совхозе. И это при всем моем нынешнем уважении к ней.

Начинать поиски выхода для поселковой и «уездно»-городской усадебной периферии надо не с нее самой, а с производства. С общественного сельскохозяйственного производства прежде всего. Пенсионерам искать выхода не надо. Они свое поработали, им дали пенсию — хорошо бы еще дать и участок (только небольшой), они бы и производили что-то, и утешали бы в труде свою собственную старость. Речь идет не о них. Речь идет все-таки о тех, кого мы называем «мещанами». Вот им пришлось бы искать выход в общественном производстве.

Но это не раньше, чем станет окончательно на ноги само общественное сельскохозяйственное производство. А когда оно станет окончательно на ноги, во-первых, и работа для очень многих найдется, а во-вторых, и это важнее всего, и сами «мещане поневоле» найдут для себя большую радость на общественной, чем на личной усадьбе.

Я даже больше скажу: само общественное сельскохозяйственное производство, когда оно экономически развернется, приберет к рукам эту усадебную периферию — и свою собственную, и поселковую, и часть «уездно»-городской. Оно найдет возможность строить здесь свои кирпичные, деревообделочные, торфодобывающие и тому подобные заводы, свои мельницы и крупорушки, свои санные, тележные, корзиночные, слесарные, сапожные, валяльные, кузнечные, столярные, ремонтные и другие мастерские, свои льнотеребилные, капустоквасильные, овощесушильные, картофелетерочные, крахмало-паточные, молочные и другие цеха, свои огородные и садово-плодоягодные хозяйства (объединяющие, скажем, и нынешних усадебников в бывших районных, ныне «заштатных» и отчасти «уездных» поселках и городках) — и оно, если только это все будет на

основе разумного кооперативного, коммерческого начала, приберет к рукам если не всю, то большую часть нынешних городских, пригородных и поселковых потребителей-производителей вместе со всеми их разъездными «селянами-поселянами».

Надо вынуть из рук «селян-поселян» коммерческое начало и передать его им же, в их же руки, но на основе общественного кооперативного сельскохозяйственного и промышленного производства. В этом, мне кажется, выход, и это не мной придумано, а записано во многих партийных документах, во многих трудах и во многих решениях съездов и конференций.

Значит, все-таки предприятия для таких «заштатных» поселков и городков?

Да, предприятия, но на основе самого общественного сельскохозяйственного производства, через него и ради него. Не просто построить в бывшем районном центре, ныне поселке или городке, государственное предприятие, которое здесь и дорого и неудобно и на которое владельцев усадеб может и не хватить, а построить его силами окрепнувшего, экономически сильного, владеющего средствами и для оплаты труда, и для развития производства, могучего и крупного сельскохозяйственного коллектива, способного не только дать работу всему усадебному населению, но и вдохнуть в него коллективный, а не частный интерес.

В этом я вижу выход и в этом я вижу ближайшее будущее мелких «заштатных» городков и поселков.

## 5. ЕЩЕ ОДИН РАЗГОВОР НА ЭТУ ЖЕ ТЕМУ

В начале 1964 года в московском филиале Географического общества СССР состоялось совещание, тема которого так и была обозначена: «Малые и средние города Центральной России». Я не был на этом совещании, но, занимаясь малыми городами, живя в них, участвуя в их судьбе, я попросил дать мне его стенограмму.

Вот какие мысли были высказаны географами и экономистами.

Существует четыре группы малых городов относительно перспективы их развития.

Первая группа. Малые города с перспективой развития в ближайшие двадцать лет. К ним относятся малые города — спутники больших, малые города, занимающие «удачное» место в радиально-кольцевой системе вокруг Москвы, малые города с развитием уже существующего старого направления и малые города для вывоза в них промышленности из Москвы.

Вторая группа. Малые города как будущие научно-исследовательские центры.

Третья группа. Малые города как центры сельскохозяйственных и лесных районов. (Такие малые города, как Ардатов или как Мухомолово, до того, как было свернуто там лесозаготовительное производство.)

И четвертая группа — малые города как будущие центры отдыха и туризма.

Общая мысль для всех четырех групп этих малых городов: не растить из них крупные, но и не плодить новые малые. Есть у нас, в центре России, сложившаяся уже хорошая сеть малых городов. О них и надо думать.

Наибольший приток трудовых ресурсов и наибольшее развитие сейчас получают областные города: Рязань, Брянск, Кострома, Смоленск, Калинин, Ярославль и другие. Большинство же средних и малых городов развивается медленно. А есть города и городки просто затухающие, теряющие население.

В Ивановской, Тульской и Костромской областях все города, кроме областных, с отрицательным сальдо миграции.

Откуда же отток?

Из малопромышленных, сельскохозяйственных городков.

Из деревообрабатывающих.

Из текстильных вследствие диспропорции мужского и женского труда («женские города»).

Из угледобывающих вследствие той же диспропорции в обратном смысле («мужские города»).

В малых городах и городках больше незанятости, больше усадебников, но для крупного предприятия самостоятельного населения недостаточно. В этом трудность и в этом противоречие.

Есть, например, два малых города в одном и том же подмосковном районе — Клину и Солнечногорск. В Клину развита промышленность. В нем 21,2 тысячи рабочих. Из них 13,2 тысячи женщин. Больше заняты мужчины. Город превратил окружающие села практически в свои рабочие поселки. Автобус доставляет рабочих за двадцать пять километров, а железная дорога за сорок—сорок пять и больше. Одновременно город взял на себя всю переработку сельскохозяйственной продукции. Молочный завод перерабатывает все молоко в районе. Мясокомбинат — весь скот и даже из соседнего района — Волоколамского. Промышленность города снабжает весь район готовой пищевой продукцией и строительными материалами. Удобство транспортного узла создает из города межрайонную товарораспределительную базу, тут же хлебо- и нефтебаза для всего своего района.

А вот Солнечногорск не растет. Он для района в промышленном смысле уже ничего почти не значит.

Центростремительные силы Москвы и центра России дают перспективу окружить Москву кольцами малых и средних городов и создать из них сплошную сеть. Здесь лучше жить. Здесь выгодно размещать все производства. Здесь население стремительно увеличивается. В будущем это, возможно, обернется обратной тенденцией, тенденцией рассредоточения, но пока этот процесс идет и перспектива такова.

Принцип возникновения прежних городов, помимо укреплённо-крепостного и феодально-вотчинного, был еще и в том, что города возникали на окружающей их промышленного характера сырьевой базе. Что давала природа и деревня — на том и выросал город. Сейчас — концепция «промышленных комплексов». Вопрос, что лучше?

Экономгеограф Б. С. Хорев пришел к выводу (в Прибалтике), что небольшие города, сложившиеся и выработавшие форму хозяйственной деятельности, наиболее экономически эффективны. Но это, очевидно, в разных районах по-разному. Города и обязанности быть разными.

Проблема малых и средних городов и городков — проблема занятости населения. История показывает, что, если мы будем обращать внимание только на «промышленные комплексы», на промышленные узлы, на развитие крупных фабрик и заводов, — мы не решим этой проблемы. У нас эти города и городки все больше будут переходить на третий и четвертый план, фактически приходиться в упадок. Надо исходить из потребностей населения. Это более реально и более гуманно...

\* \* \*

Дойдя до этого места большого географоэкономического разговора, я опять вернулся в свой малый городок Ардатов. Я вспомнил также о городке, в котором я был не так давно, льяном калининском городке Кашине, вспомнил о тамбовском, бывшем уездном, потом районном, ныне снова «уездном» городке Кирсанове. Да много их знаю я, таких бывших уездных, потом районных городков, еще больше бывших районных, ныне выведенных за штат поселков, «рабочих поселков», «поселков городского типа» и т. д. Все они ждут решения, все ждут экономического приговора.

..Утром в понедельник, после воскресного базара, я обошел еще раз городок, его учреждения, его заводики, его заречную часть, и к полудню купил билет на Мухтолово.



# В МИРЕ НАУКИ

Е. ФЕЙНБЕРГ

★

## ОБЫКНОВЕННОЕ И НЕОБЫЧНОЕ

*(Заметки о развитии современной науки)*

**В** «толстых» и «тонких» журналах, в «Литературной газете», просто в газетах встречаешь статьи, в которых как о само собой разумеющемся говорится о «необычайном развитии науки в наше время», о «революции, которая происходит и в области науки», о «громадной и, кажется, выигрываемой битве за Большое знание» и т. п. Об этом пишут прозаики и поэты, литературные критики и драматурги. В самом деле, разве не очевидно, что наука<sup>1</sup> именно теперь, в середине XX века, переживает совершенно особенный этап своего развития, что мы находимся в совершенно особом положении, мы — современники небывалого «расцвета науки, свидетели зарождения небывалой ее мощи, небывалого влияния на общество? Так ли это? Во многом, конечно, так. Но предмет все же слишком важен, чтобы можно было ограничиться общими словами. Хорошо бы по возможности четко выяснить, какие из восторженных фраз в действительности характеризуют обычные для науки явления, а какие относятся к нашему времени.

Верно, что каждый год приносит поразжающие воображение открытия. Точные методы исследования все шире внедряются в естествознание. Еще недавно использование атомной энергии казалось утопией; когда физики говорили о разрушительных возможностях урановой бомбы, то многие склонны были считать ученых пустыми фантазерами. А теперь термоядерная бомба дает в тысячи раз более мощный взрыв, чем урановая. Полеты в космос, античастицы, электронно-вычислительные машины, разгадка механизма передачи наследственности, антибиотики — да можно ли сомневаться? Нейлон и лавсан, пластмассовые подшипники и застежки «молния» — можно ли рядом со всем этим ставить науку и технику прошлых веков?

Но ведь наука по самому смыслу этого понятия для того и существует, чтобы открывать новое. Она и во все прошлые века создавала и открывала небывалое. Легко убедиться, что она всегда вызывала почтительное изумление, восторг и преклонение современников, способных видеть, и нужно еще выяснить, в чем мы здесь более правы, чем наши предки, превозносившие свою науку.

Об исключительности переживаемого этапа, с другой стороны, можно судить и по тому, как изменилось место научной деятельности в обществе. Еще тридцать—сорок лет тому назад исследовательская работа как массовая специальность не существовала. Занятие математикой, физикой в глазах многих выглядело чудачеством. Теперь же маститый литературный критик с горечью пишет: «...все естествознание в целом пользуется в нашем обществе исключительным вниманием, признательностью и почетом, а гуманитарные области... оказываются на вторых и третьих ролях».

<sup>1</sup> Это слово употребляется здесь и дальше для обозначения точных и естественных наук (в общем, в смысле английского, французского science); однако в примерах прежде всего фигурирует физика как более близкая автору (автор — физик-теоретик). Ей отнюдь не придается особое значение.



Впервые за всю историю человечества начинают появляться талантливые книги профессиональных журналистов и писателей, посвященные биографиям ученых и истории открытий.

Искусствоведы и экономисты довольны, если могут украсить свое сочинение ссылкой на квантовую механику или теорию относительности. И это воспринимается как должное, как знамение времени. Поэт с горькой иронией признает: «Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе». Действительно, происходит что-то небывалое.

То, о чем пойдет речь дальше, имеет целью прежде всего сформулировать ответ на два вопроса: что в переживаемом нами этапе развития науки обычно и что необычно?

Уже небольшое углубление в историю показывает, что во многих отношениях современный этап есть закономерная стадия единого многосотлетнего пути, очередное осуществление одной общей закономерности. Никакая особая «битва за Большое знание» именно сейчас не выигрывается. Она шла и выигрывалась еще многие века назад — это можно количественно доказать. Она продлится в будущем неограниченно — это можно предвидеть.

И в то же время можно столь же количественно доказать, что наука достигла совершенно особой стадии, что существует «мировой закон», выражающий необычность момента. Совершенно ново, в частности, и место науки в обществе.

Как следствие этого по-новому встает и проблема взаимоотношений науки с литературой и искусством. Этот третий вопрос будет также затронут в предлагаемых заметках, адресованных прежде всего гуманитариям, людям литературы и искусства.

## 1. ОБЫКНОВЕННОЕ

На протяжении многих веков сложилась своеобразная традиция: современники, способные оценить научные достижения, не только восхищаются «успехами своей науки, но неизбежно преувеличивают значение переживаемого ими этапа. Наука поражает их воображение, они преклоняются перед ней столь неумеренно, что вызывают снисходительную улыбку последующих поколений.

«Мы переживаем небывалую революцию в науке». Но что было, скажем, полвека назад, на рубеже двадцатого века? Именно тогда был открыт радиоактивный распад, была обнаружена зависимость массы тела (электрона) от скорости, создана теория относительности со всеми ее парадоксами, найдено, что свет состоит из квантов. И это если даже ограничиваться только физикой и брать самое крупное. Но можно было бы добавить достижения техники — появление авиации, массовое использование электричества для связи (телефон, радио), в транспорте, энергетике. Можно было бы найти грандиозные события и в медицине, и в химии, и в биологии. Современники были настолько потрясены этими открытиями и развитием техники, ломка привычных представлений была столь велика, что, как известно, в умах многих поколебалась вера в закономерность и объективность природы. Распространилось даже опасение, что мир не может быть понят рационально. Во всяком случае убеждение в небывалости, необычности, исключительности происшедшей в то время «революции в науке» было почти всеобщим.

Однако не все так думали. В появившейся тогда книге французского физика Люсьена Пуанкаре (не смешивать со знаменитым математиком Анри Пуанкаре) «Эволюция современной физики» подобная точка зрения была опровергнута весьма просто. Автор мысленно перенесся на сто лет назад, в начало XIX столетия, когда, с точки зрения человека XX века, наука находилась в ребяческом состоянии. Между тем, как оказывается, современники столь же преклонялись перед ней. Они имели для этого все основания. Пуанкаре перечисляет открытия в физике и химии только первого десятилетия XIX века, и нельзя не признать, что они тоже решительно меняли мир, видимый человеком, что они тоже открывали небывалые возможности преобразования этого мира. В 1804 году Румфорд доказал, что трение рождает теплоту, значит — об этом догадывались до того только отдельные выдающиеся ученые, — тепло, быть может, вовсе не жидкость особого рода. Появилась серия исследований Юнга, доказывающих, что в

споре с Гюйгенсом великий Ньютон был не прав, что свет — это не поток отдельных кулочков вещества, а волнообразное движение в какой-то непонятной, гипотетической среде — в эфире. что свет способен огибать препятствия, что свет может погашать свет (интерференция) и т. п. Были получены новые вещества — новые чистые металлы. Создавалась химия как наука. В 1803 году Фултон провел первый паровой суд на Сене, а в 1807 году — по Гудзону. Лаплас завершил многолетнюю «Небесную механику»: последовательную математическую теорию строения Солнечной системы — и на недоуменное замечание Наполеона: «Но я не вижу здесь бога!» — ответил знаменитой фразой: «Я не встретил необходимости в этой гипотезе, ваше величество»

Не удивительно, что современники были столь же потрясены, как и их потомки спустя сто лет и еще позже мы — через сто пятьдесят лет. Л. Пуанкаре цитирует сочинение одного из таких современников — аббата Аюи: «Изучение электричества, обогащенное трудами стольких знаменитых физиков, дошло, казалось, до такого предела, когда не может уже быть заметного движения вперед (подчеркнуто мною. — Е. Ф.), а будущим работникам в этой области остается лишь надежда подтверждать открытия предшественников... И вот когда наука, казалось, приближается уже к состоянию покоя (это писалось, когда весь мир использовал для освещения свечу, лампаду или лучину, когда не было известно магнитное действие тока, то есть не было ни электрического телеграфа, ни динамо-машины, не было даже электрической сахарницы. — Е. Ф.), явление конвульсивных движений, подмеченных Гальвани в мускулах лягушки при соприкосновении их с металлами, привлекло к себе внимание и изумление физиков». А Вольта обнаружил возникновение контактной разности потенциалов при механическом соединении разных металлов, и «этот факт превратился в его руках как бы в зародыш изумительного прибора, занявшего благодаря своей плодотворности одно из первых мест среди всех аппаратов, которыми гений человека обогатил физику» (между тем в теперешнем учении об электричестве это явление занимает одно из скромнейших мест).

Эту длинную цитату стоит прочитать, чтобы убедиться в типичном отсутствии объективности, непонимании роли переживаемого этапа науки и законов ее развития. Из всего электричества была известна только электростатика (разделение электричества на положительное и отрицательное, индукция, опыты Франклина с молнией и т. п.), и в то же время весьма квалифицированный ученый-наблюдатель, автор курса физики, думал, что «все исследования, имеющие целью дальнейшую разработку результатов опыта, уже исчерпаны и что даже теория может развиваться, лишь повышая степень точности в применении уже известных принципов».

В конце XIX века, после создания теории электромагнетизма, термодинамики, волновой оптики и кинетической теории газов, великий физик (а не малоизвестный Аюи) лорд Кельвин тоже говорил, что будущее физики состоит только в уточнении созданных учений, составляющих величественное целое. Но уже в следующее десятилетие появились квантовая теория, радиоактивность и теория относительности, и мир представлений Кельвина оказался крайне узким.

Пример такого самообольщения современников, убежденных, что именно они свидетели завершения науки («Большое знание!»), должен послужить уроком и нам. Нужно ясно понимать, что успехи современной науки ничто в сравнении с наукой будущего. Развитие науки не есть процесс заполнения клеток заданного кроссворда. За каждым ее поворотом открывается новая бесконечность. Выражаясь более научно, можно сказать, что в процитированных высказываниях видно непонимание законов развития знания, непонимание соотношений между абсолютной и относительной истиной.

И в то же время аббат был прав в своем восхищении. Хотя опыты Гальвани с лягушкой состояли только в том, что ее ножка дергалась под влиянием наложенного электрического потенциала, это было одно из великих открытий.

Примечательно, однако, что их видели и понимали отнюдь не все. В эти же годы в Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге профессор Петров построил самую большую в мире гальваническую батарею напряжением в тысячу семьсот вольт, изучал электрический разряд в газе (в частности, открыл электрическую дугу) и произ-

вел много других замечательных опытов. Но о нем не писали ни Державин, ни Карамзин. Если они и слышали о Петрове, то это был для них лишь ученый-чудак, заслуживающий даже уважения, но никак не внимания.

\* \* \*

Однако, может быть, и эта эпоха открытий была эпизодом и мы попали на нее случайно? Возьмем тот же совершенно наудачу выбранный Л. Пуанкаре масштаб и шагнем еще через одно столетие «в тьму веков».

Вот далекое время конца XVII — начала XVIII века. Тьма веков? Ньютон завершил свой великий труд по математизации физики и тем создал основы современной механики. Его двухтомная «Оптика» тоже вышла в то время. Торжество ньютоновского метода было безграничным. Далее: Гук именно в первое десятилетие XVIII века выдвинул идею восстановления истории Земли по окаменелостям, идею о том, что в прошлом поверхность Земли испытывала изменения, влиявшие на ее фауну и т. д. Восхищение точными, математизированными науками было всеобщим. О впечатлении, которое произвела на современников эта эпоха грандиозной научной революции, можно судить хотя бы по эпитафии Александра Попа на смерть Ньютона. В буквальном переводе она звучит так:

Природа, законы природы были сокрыты в ночи.  
Бог рек: да будет Ньютон! И вот стал свет.

Может быть, рискнем и пойдем еще на сто лет дальше? Конечно, в первом десятилетии XVII века наука была скромнее, ученых — да и тех, кто мог оценить достижения науки, — было мало. Но значит ли это, что не было ни великих революционизирующих открытий, ни восхищения пораженных этими открытиями современников? Конечно, нет.

Именно в это время были изданы труды великого астронома Кеплера — «Новая астрономия» (1609) и «Гармония мира» (1619), в которых было доказано, что планеты движутся по эллиптическим орбитам.

Этот простой факт имел огромное философское значение. Ранее планетам приписывали круговые орбиты, исходя из убеждения, что круг — наиболее совершенная кривая. Оказалось же, что нельзя на большей или меньшей гармоничности тех или иных геометрических фигур основывать законы природы (а в это верил и сам Кеплер, в своем исследовании он шел против своих убеждений). Это был удар по Аристотелевым принципам, перешедшим в схоластику и признанным всеми авторитетами и властями. Не меньший удар по этим принципам, укрепившимся в сознании каждого образованного человека, нанесли утверждения голландского биолога и химика Ван-Гельмонта, математика Кардана и лейб-медика английской королевы Елизаветы Вильяма Гилберта, что огонь не один из четырех материальных элементов мира (земля, вода, воздух и огонь), а особое состояние вещества, «не вещество, а сила». Далее, в ночь на седьмое января 1610 года Галилей впервые направил зрительную трубу на небо и через сутки обнаружил спутников Юпитера. Он открыл солнечные пятна, фазы Венеры, кратеры и горы на Луне, обнаружил, что казавшийся сплошным Млечный путь разлагается на отдельные звезды. Человеку открылся космос в близких деталях. В 1600 году Гилберт обнародовал трактат «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле...», трактат, который положил начало научному магнетизму, в частности геомагнетизму. Он же обнаружил, что свойство притягивать другие тела появляется при натирании не только у янтаря, но и у других веществ, и назвал это притяжение «электрическим». Так появилось слово «электричество», появился новый мир явлений и представлений.

Значит, и в начале XVII века были совершены потрясающие открытия, решительные преобразовавшие представление о мире. Значит, и тогда достаточно просвещенные современники могли по заслугам оценить величие науки, могли поверить, что именно теперь, при них происходит грандиозная научная революция, грандиозная ломка привычного мировоззрения.

Так оно и было. Выдающийся английский поэт и религиозный деятель Джон Донн (1573—1631) в 1611 году написал поэму «Анатомия мира», в которой были такие строки (буквальный перевод):

..Из параллелей и меридианов  
Сеть человек соткал и эту сеть набросил  
На небеса, и ныне — они в его владенье.

В другом месте поэт пишет (явно имея в виду ниспровержение Аристотелевых элементов): «И элемент огонь совсем исчез». Он потрясен разрушением мира: «Ни тверди, ни округлости!» Он горюет об исчезновении круговых орбит и сферичности как основы мироздания, видит в этом исчезновение симметрии и гармонии: «Обезобразены пропорции мира». Его потрясают новости

И в сфере звезд, и в облике планет,  
На атомы вселенная крошится,  
Все связи рвутся, все в куски дробится.  
Основы расшатались, и сейчас  
Все стало относительным для нас<sup>1</sup>.

Нужно протереть глаза, чтобы удостовериться — это написано не в начале XX века, а за триста лет до того. «Все в куски дробится» — это не по поводу радиоактивного распада ядер, не по поводу обнаруженной делимости атомов. «Все стало относительным для нас» — это не тот (хотя, впрочем, именно тот самый) философский релятивизм, который так неожиданно вспыхнул в связи с открытием изменчивости массы электрона, в связи с обнаруженной относительностью многих прежде считавшихся незыблемыми физических законов и понятий.

Но, может быть, и это случайность? Давайте же шагнем еще на сто лет дальше. Это, конечно, рискованно. Где уж ждать великих открытий в Европе, все научные очаги которой — это редкие монастыри да единичные университеты. Наука, кажется, не развивалась, а тлела. Но так только кажется. Мы и здесь находим грандиозные научные события. Как свидетельствует Большая Советская Энциклопедия, «основные идеи новой, гелиоцентрической системы мира были вполне осознаны Коперником еще в годы его пребывания в Лидзбарке (1507—12)» «По-видимому, начиная с 1512 он стал рассылать рукописные копии краткого изложения основ гелиоцентрической системы мира...»

Не требуется большого усилия, чтобы представить себе, какое впечатление на корреспондентов Коперника (даже если они с ним не соглашались) производили эти манускрипты. Но, хотя это была эпоха Рафаэля и Микеланджело и Европа не была сплошь невежественна, голос науки звучал несравненно слабее, чем голос искусства. Идеи Коперника были восприняты и оценены только очень немногими. Оставались неизвестными и работы Леонардо да Винчи, который первым широко применил математические методы в физике («Механика — истинный рай для математических наук, потому что при ее посредстве можно вкушать от плодов математического познания», — писал он), изучил принципы действия наклонной плоскости и знал, что человеческий глаз действует, как камера-обскура.

Однако переворот в общественном мирозерцании в то время производили не эти, так сказать, лабораторные научные открытия, а путешествия — открытие Америки и кругосветное плавание Магеллана, как бы экспериментально доказавшие шарообразность Земли. Значение этого факта вряд ли уступает значению современных нам открытий середины XX века.

Да, не скажешь, что это было время без новостей. Современники имели право считать, что живут в эпоху необычайных революционных преобразований в науке.

Придирчивого читателя прошу поверить, что подобная же картина получилась бы и в том случае, если бы мы выбрали другие периоды в истории науки, например, шагая через столетия не по началам каждого века, а по его серединам — от наших

<sup>1</sup> Перевод В. Томашевского

дней до XVII столетия, когда творил Декарт, про которого Ньютон сказал: «Если я видел дальше, то потому, что стоял на плечах гигантов».

Итак, и сто, и двести, и четыреста пятьдесят лет назад научные открытия потрясли современников. Значит, мы не первые, кто в преклонении перед наукой воспевает ее (очередную) «небывалую революцию», ее (очередной) этап «необычайного развития». Это обыкновение.

\* \* \*

Все, что говорилось до сих пор, содержало по существу примеры и качественные соображения. Они показывают, что в течение полутысячи лет наука развивалась неуклонно и закономерно. Они подсказывают, что существует некий единый закон ее развития, в свете которого современные успехи науки — обычный этап единого пути, обычное звено в цепи научных переворотов. Было ли в действительности развитие науки столь же быстрым, были ли эти перевороты столь же важными, как в наши дни, или нет — об этом можно спорить, обвиняя противника, так сказать, во «вкусовщине».

Однако мы сейчас увидим, что для этой закономерности можно найти и точное количественное выражение и тем придать высказанному утверждению большую доказательность. Нужно лишь привлечь данные статистики.

В наши дни с разных сторон началось количественное изучение уровня научных исследований во всем мире за последние четыре века. Задача эта непростая, и мы видим пока первые попытки. Уровень науки может быть охарактеризован такими показателями, как число научных работников, число опубликованных за год статей, число основанных научных журналов, денежные средства, затрачиваемые в течение года на научные исследования, и т. п. Подобные мировые данные были приведены в одной американской книге<sup>1</sup> и частично в статье Г. Э. Влэдуца, В. В. Налимова и Н. И. Стяжкина «Научная и техническая информация, как одна из задач кибернетики»<sup>2</sup>. Данные недостаточно полны, но все же они приводят к впечатляющим выводам. Как оказывается, всюду, где удается найти цифры, по всем изученным показателям имело место удивительное постоянство скорости роста. Начиная примерно с 1700 года и по 1950 год число основанных научных журналов, а также число реферативных журналов, а за более близкое к нам время и число научных работников, и научная продукция, измеренная числом статей, и финансовые затраты росли с редким упорством — процентов на пять в год, удваиваясь примерно за пятнадцать—двадцать лет. Число основываемых университетов в Европе за пятьсот лет — с 950 года по 1450-й — росло, удваиваясь каждые сто лет, а в последующие пятьсот лет оно удваивалось каждые шестьдесят лет.

Что это за закон роста? Случаен ли он? Это рост по закону «сложных процентов» или геометрической прогрессии, и задним числом он вполне понятен. Если есть столько-то квалифицированных ученых, то они могут подготовить новых ученых в количестве, составляющем определенный процент от числа «учителей» — один и тот же в разные века. Мы не видим на кривых особенно значительных изломов, искажений, которые свидетельствовали бы об «изменении режима» работы всей саморегулирующейся системы, называемой наукой. Закономерность развития — единая за многие сотни лет.

Конечно, изменения структуры общества, смена социальных формаций, войны не могут не сказываться на ходе развития.

Пятьсот лет глубокого средневековья, от III по VIII век нашей эры, дали меньше не только чем последующий такой же период, но и чем предшествующий период античности. Однако уже время от IX по XIV век отнюдь не было вполне темным и не обнаруживает очень сильного противоречия с закономерностью развития, найденной для более близких к нам времен.

<sup>1</sup> D. Price. Little science big Science. Columbia University Press. 1963.

<sup>2</sup> «Успехи физических наук» за 1959 год, т. 69, стр. 13.

Нужно подчеркнуть, что этот закон роста — в математике он называется экспоненциальным — только выглядит скромным. В действительности в своем неумолимом постоянстве он чудовищно силен по окончательным результатам. Древняя легенда о великом хане, пришедшем в восторг от шахмат и предложившем их изобретателю самому назначить себе награду, прекрасно иллюстрирует его. К удивлению хана, чужак скромно попросил положить на первую клетку шахматной доски одно пшеничное зерно, на вторую — два, на третью — четыре, на четвертую — восемь и так далее. Оказалось, однако, что при этом на последнюю клетку следовало бы положить число зерен, приблизительно выражающееся единицей с десятинадцатью нулями, а весить они должны многие миллиарды тонн.

Экспоненциальный закон роста имеет одну очень важную особенность, которая позволяет нам, так сказать, на количественной основе понять, почему стало традиционным такое массовое самооболащивание, почему современники склонны оценивать научные и технические достижения своего времени как ни с чем не сравнимые и совершенно особенные. Дело в том, что они действительно особенные по сравнению со всем прошлым. При этом бешеном законе роста накопление возрастающей величины за последний по времени период удвоения равно ее накоплению за все предшествующее время. Так, если выпуск книг в стране регулярно растет, увеличиваясь вдвое, скажем, за каждые двадцать лет, то легко сосчитать, что за каждые двадцать лет издано книг примерно столько же, сколько за всю предшествовавшую историю книгопечатания в стране. Подобно этому в древней легенде на каждую клетку шахматной доски пришлось бы положить на одно зерно больше, чем на все предшествующие вместе взятые. Если принять, что объем научной деятельности в мире возрастает вдвое в среднем за двадцать лет, то это значит, что объем выполненной работы и, следовательно, научная продукция за последние видимые нам двадцать лет такие же, как за всю предшествующую этим годам историю научной деятельности человечества (или, точнее, за время действия этого закона).

Значит, и при Толстом за двадцать лет было опубликовано столько же научных работ, сколько за все предшествующие годы, и в пушкинские времена современник мог высказать такое же утверждение. Конечно, редкие гениальные открытия не укладываются в эту схему так строго: по законам статистики для них и следует ожидать больших выбросов из гладкой кривой — «флуктуаций». Однако все же указанное свойство экспоненты позволяет понять своеобразие воздействия развития науки на психологию современников. Люди правы, когда, потрясенные тем, что на их глазах сделано больше, чем за всю прошлую историю, возносят хвалу науке своей эпохи. Они не правы, если думают, что это исключительная ситуация, характерная только для их времени.

Итак, количественные законы развития науки в среднем для всего мира едины за долгое время, за многие сотни последних лет. Но, может быть, новый переживаемый нами этап принес что-то новое в принципах построения или в методе науки? Может быть, само научное мышление содержит теперь новые элементы, позволяющие говорить о небывалой революции? Здесь, конечно, особенно грудны объективные высказывания, и можно лишь обсудить отдельные точки зрения.

Так, например, иногда говорят, что принципиально новое приходит с появлением кибернетики. В такой простой форме, без количественного анализа, этот тезис легко опровергнуть. Принцип авторегулирования в более элементарном или в более сложном виде характерен почти для любого механического устройства. И жаккардовский станок для изготовления тканей с узорами (устройство с детально развитым программированием, использующим даже перфокарты), и обычный ткацкий станок, и часы (особенно часы с кукушкой), и сложный фейерверк во времена Анны Иоанновны — все это устройства кибернетического типа. Однако здесь, конечно, существует и принципиальное отличие, и указанная точка зрения имеет известные основания. О ней речь будет ниже.

Но иногда, желая во что бы то ни стало найти качественные отличия науки XX века от науки прошлого и испытывая (обычное, как мы видим, для всех веков) преклонение перед современной наукой, стремятся принизить и ученых, и методы науки прежних времен, часто при этом утрачивая историческую перспективу. Так появ-

ляются утверждения, что «наука в XIX и начале XX века», в отличие от современной науки, была наукой «эпохи увлечения частностями, эпохи собирания фактов». Мне непонятно, откуда могла взятая подобная оценка. Здесь нельзя согласиться ни с противопоставлением «собирания фактов» (которые, как говорил Павлов, «воздух ученого») обобщениям, ни с утверждением о гипертрофии частностей в прошлом. Возьмем только одну физику. Разве можно считать, что и волновая теория света, и такое великое и необычайное по широте охвата учение, как термодинамика с ее законом сохранения энергии и принципом возрастания энтропии, и электромагнитная теория Фарадея—Максвелла, лежащая в основе всей последующей электротехники, радио и оптики, и статистическая механика, и квантовая гипотеза, и теория относительности, и множество других великих созданий науки, порожденных XIX и началом XX века, весь этот поток грандиозных обобщений, столь же типичен для всех точных и естественных наук,— разве можно считать, что он был нехарактерной случайностью, порожденной «отдельными» гениями в отрыве от всего стиля науки своего времени? Можно ли, с другой стороны, думать, что в наше время примерно миллион научных работников, имеющихся в мире, только и занят обобщениями?

Нельзя согласиться и с распространенным утверждением, что в прошлом различные науки были разобщены глухой стеной, и лишь для современности характерно их взаимопроникновение, появление синтетических наук вроде биофизики, биохимии и т. д. То, что Фарадей соединил электричество с магнетизмом, с химией и с оптикой, что спектральный анализ дал начало астрофизике; то, что химия и медицина породились издавна; что человека изучали, как машину, используя, в частности, законы механики, еще в XVIII веке; что почти каждая ветвь математики развивалась в тесной связи с физикой и астрономией — неужели все это тоже случайности?

Но есть и другие, более распространенные, не столь очевидно ошибочные доводы в пользу мнения о качественной особенности науки XX века. Говорят, например, что в наши дни физика раскрыла такие новые элементы мира, создала такие качественно новые представления о внешнем мире, которые означают беспрецедентную смену самой логики мышления, смену основных понятий и методов научного мышления. Так, например, теория относительности обнаружила, что длина тела и длительность процесса в известной мере условны величины, разные для разных наблюдателей (точнее, для установленных ими объективно регистрирующих приборов), если скорости этих наблюдателей (приборов) различны. Это непостижимо, противоречит здравому смыслу. А квантовая механика говорит, что вообще нельзя предсказать точное местоположение и скорость электрона, искусаемого при экспериментальных условиях, созданных со всей возможной точностью и определенностью. Оказывается, поведение электрона может быть предсказано лишь в вероятностном смысле, и здесь речь идет о принципиальном факте.

Однако что касается теории относительности, то релятивизация отдельных физических понятий, даже таких, которые относятся к наиболее фундаментальным элементам мира, например, к пространству, в принципе вещь привычная. В весьма сильной мере она проявилась и тогда, скажем, когда была осознана шарообразность Земли (понятия «верх» и «низ» оказались относительными, разными для Европы и Америки, а всегда считались абсолютными), и при открытии гелиоцентрической системы мира, когда оказалось, что Земля — твердая и надежная — движется, а Солнце, явно движущееся, покоится. Всегда эта релятивизация понятий в основе имеет открытие других, в гораздо большей степени заслуживающих названия абсолютных физических величин и закономерностей взамен тех, которые ранее ошибочно считались абсолютными, и теория относительности в этом смысле исторически ничего не меняет.

Более сложен вопрос о квантовой механике с ее соотношением неопределенностей, с утверждением о первичном характере статистической закономерности, с вытекающей отсюда новой формой закона причинности.

Квантовая механика утверждает, что, произведя опыт по определению положения электрона в каждой из, скажем, миллиона одинаковых систем, например, в одинаковых атомах, мы, вообще говоря, получим различные результаты, и предсказать можно лишь, в какой доле случаев электрон окажется в данном месте. Этот вероятностный,

статистический характер научного предсказания выглядит действительно необычно и на первый взгляд подрывает принцип беспредельной познаваемости природы, на котором основывается вся наука. Однако в действительности этот вероятностный элемент связан не с какой-либо неполнотой нашего знания, а со специфическими физическими свойствами электрона. Электрон, как обнаружила физика, это такой физический объект, к которому не во всех условиях применимо понятие определенного положения. Оно неадекватно свойствам электрона потому, что подразумевает описание состояния электрона в отрыве от макроскопических условий, в которые этот электрон поставлен (в отрыве от «прибора»). Неоднозначность предсказания положения есть результат именно того, что мы вопреки природе электрона и природе его взаимоотношений с измеряющим устройством пытаемся описать состояние электрона с помощью неадекватного понятия. Другая величина — волновая функция, наоборот, является адекватной, и ее значение в каждой точке может быть предсказано на будущее вполне точно.

Ограниченная верность, приближительность тех или иных физических понятий, оказывающихся недостаточно точными при последующем развитии науки, при расширении человеческого опыта есть безусловный закон. Особенно разительно он проявляется, когда, как в квантовой физике, обнаруживается, что понятие (в данном случае понятие местонахождения) в прежнем своем значении не точно, а принципиально неприменимо. Есть забавная английская шутка, как черт поймал трех путников и согласился отпустить их, только если они зададут ему невыполнимую задачу. Один — жадный — наивно попросил сделать растущее дерево золотым; другой — рациональный — заставить реку потечь обратно. Черт шутя справился с этим и забрал обе души. Но третий свистнул, сказав: «Пришей к этому пуговицу!» — и посрамил черта. Как нельзя пришить пуговицу к звуку свиста, так же электрон в атоме нельзя охарактеризовать вполне определенным положением. Это новый факт в физике, пусть даже столь же революционный и многозначительный, как другие факты, как отсутствие эфира, вскрытое опытом Майкельсона и теорией относительности, как гелиоцентрическая структура мира, как взаимосвязь электричества и магнетизма или кинетическая природа тепла, обнаруженные в начале XIX века. Это «нормальное гениальное открытие», которое меняет многое в нашем понимании природы, но не меняет сколько-нибудь фундаментально закономерности развития науки, самую структуру научного мышления.

В этих примерах из теории относительности и квантовой механики проявилась по существу одна общая черта современной науки — парадоксальность новых теорий, новых понятий, их противоречие со «здравым смыслом», отсутствие наглядности. Именно это побуждает рядового наблюдателя воскликнуть, как перед клеткой жирафа в известном анекдоте: «Не может быть!»

Можно, однако, утверждать, что парадоксальность — почти обязательная черта каждого действительно крупного открытия, и что то же впечатление производили такие открытия и раньше. Так же трудно было примириться с шарообразностью Земли («Почему же не падают ангиподы, висящие по отношению к нам вниз головой?»), с электромагнитной сущностью света («Что же колеблется в световой волне, если не эфир?»), с самой волновой природой световой волны («Почему же луч света, если он волна, распространяется прямо, как пуля?») и т. д. — без конца на каждом этапе. Это и неудивительно. Так называемый здравый смысл, наглядность вырабатывается в нас как обобщение привычного опыта, как автоматически создающаяся сводная картина всех закономерностей мира, осязаемого нами (часто бессознательно) день за днем. Новые представления в науке есть результат расширения этого опыта, результат обнаружения новых фактов, которые могут качественно, принципиально отличаться от бывших привычными. Это и порождает парадоксальность, которая не исчезнет, пока с годами новые факты не станут столь же привычными и повседневными, как были прежние. Тогда они станут наглядными и сами собой понятными. Особая психологическая трудность наступает тогда, когда внедрение все новых и новых фактов и соответствующих им новых понятий и представлений происходит через интервалы времени, которые недостаточны для психологического приспособления отдельного человека или целого поколения.



Здравый смысл как сгусток опыта не отбрасывается в научной деятельности полностью. Он используется, но все время находится под взыскательным контролем по принципу «доверять, но проверять». Опасность бесконтрольного доверия к «очевидности» хорошо понимал и оспорил Пушкин:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.  
 Другой смолчал и стал пред ним ходить.  
 Сильнее бы не мог он возразить:  
 Хвалили все ответ замысловатый.  
 Но, господа, забавный случай сей  
 Другой пример на память мне приводит:  
 Ведь каждый день пред нами солнце ходит,  
 Однако ж прав упрямый Галилей.

Не будучи физиком, Пушкин показал здесь понимание и принципа относительности, и зловерности «здроваго смысла».

Столь же точно понимал это Цицерон, сказавший: «Не стыдно ли физыку, то есть исследователю и испытателю природы, искать свидетельство истины в душах, порабощенных обычаем?»

Как много людей, называвших себя чуть ли не философами, уже в наши дни мешали науке, порочили ее, исходя из того же великого принципа всех обывателей: «Не может быть!»

\* \* \*

История науки — цепь потрясающих революций, переходящих одна в другую. Она состоит из этих революций, как горение Солнца состоит из термоядерных взрывов. Перефразируя Маяковского, можно сказать, что развитие науки — «это единственная перманентная революция из всех, которые знала история». Каждый этап сам по себе революция, ослепляющая современников, но предстающая как обычная норма, если ее рассматривать в исторической перспективе.

## 2. НЕОБЫЧНОЕ

Так что же, неужели все теперь происходящее с наукой ничем не отличается от бывшего раньше? Если так, то почему именно теперь возникла «проблема» физиков и лириков? Почему именно теперь, а не сто лет назад каждый со смешанным чувством уважения, восхищения (а кто и страха) перед наукой ждет ее следующего шага? Не может быть, чтобы это не свидетельствовало об отличии, об особенностях именно нашего этапа развития науки.

Можно было бы сказать: никогда еще наука во всем мире не привлекалась так прямо при осуществлении конкретных экономических и политических мероприятий в общегосударственном масштабе. И это верно. Но без указания количественной меры это утверждение остается неясным. Государя всегда ценили и использовали ученых. Их ввозил и ласкал Петр Великий. Джемсу Уатту поставлен памятник в Вестминстерском аббатстве наравне с памятниками лицам королевской крови. Французские химики и математики оказали неоценимые услуги революционной армии Конвента.

Можно было бы сказать: да, только теперь наука широко замечена и уважается народом, обществом. И это верно. Но ведь какие-то слои народа уважали ее и раньше — опять нужна количественная мера.

Оба соображения вместе со сказанным ранее означают: изменилась наука не сама по себе, не ее внутренние законы развития. ●ни те же, что и чегыresta лет назад. Новое — в ее особом положении в современном обществе. Этот новый этап следует охарактеризовать количественно, и подобная характеристика действительно возможна. Можно назвать по крайней мере два количественных показателя.

Во-первых, сейчас наука (включим сюда и прямо связанную с развитием науки технику, передовую для данной эпохи) вовлекла в сферу своей прямой деятельности относительно большую часть общества. Доля населения, непосредственно занятая «деланием» науки и обслуживанием науки (в форме ли

изготовления приборов, в форме ли издательской деятельности и т. п.), занятая опытным внедрением принципиально новых достижений науки в практику, эта доля населения уже непренебрежимо мала и продолжает расти. В планах развития наших научных учреждений на ближайшие десятилетия численность всех сотрудников, работающих в данной отрасли науки, выражается в масштабе страны уже миллионными цифрами. Доля народного дохода, затрачиваемая на науку, составляет заметный процент. Сейчас каждый человек, хочет он этого или не хочет, повседневно «натывается» на научных работников, на научные учреждения. Научный мир в его подлинно высоком, или вульгаризированном, или прямо опошленном виде обступает нас со всех сторон. Как бы ни был критик умственно слеп, как бы ни был поэт душевно глух, он неизбежно встречается с этим миром и вынужден его замечать.

Во-вторых, резко сократились сроки между «абстрактным» научным открытием и его внедрением в повседневную практику, его поражающей воображение реализацией, входящей в жизнь всякого, даже далекого науке человека. Время между научным открытием и реализацией стало много меньше длительности человеческой жизни и даже меньше той части человеческой жизни, за которую успевает сформироваться психика человека. Новый этап в развитии науки, в ее применении, в развитии представлений о мире наступает прежде, чем удается психологически свыкнуться с предыдущим этапом. Это создает или усиливает впечатление небывалости, непостижимости, революционности.

Сто лет назад жили люди, которые еще в детстве слышали, что есть какой-то магнетизм, обнаруженный греческим пастухом Магнусом за две тысячи лет до них, и есть электричество, от которого дергается лягушечья ножка и от которого еще при жизни их дедов погиб неосторожный петербургский академик Рихман. А в юности они могли узнать об опытах, в которых проявляется связь электричества и магнетизма — стрелка компаса чувствует прохождение тока по рядом расположенной проволоке. А еще через десять—двадцать лет эта связь использовалась для устройства электрического телеграфа. Это было грандиозное техническое достижение. Но к этому времени у повзрослевшего и несколько обрюзгшего наблюдателя уже вырабатывалась привычка не очень удивляться, поскольку все развивалось постепенно. Можно было привыкнуть к тому, что телеграф не выдумка, а реальность. А в старости можно было узнать, что ученые изобрели электрическое освещение да еще даже электрический двигатель. Ко всему успевали привыкнуть, во все успевали вжиться.

Но от открытия деления урана, которое взволновало поначалу лишь узкий круг ученых, до осуществления цепной реакции, пригодной для промышленного использования, прошло около четырех лет, а до атомной бомбы — шесть. Между тем еще за год до того, как было сказано «слово» — как был открыт процесс деления, серьезные ученые считали использование атомной энергии темой разве что не очень разумного научно-фантастического романа. От первого искусственного спутника до фотографирования невидимой с Земли стороны Луны прошло два года. Между тем за несколько лет до того межпланетный полет считался проблемой конца века. И так во всем. Величие науки обрушивается на мир, как неожиданный и непредсказанный шквал, как цунами. Развитие так называемых абстрактных разделов науки очень часто с интервалом всего в несколько лет прямо загрызает каждого — своей хорошей или дурной стороной.

Разумеется, оба количественных критерия можно было бы выразить и математическими формулами. Первый гласил бы: отношение числа людей, занятых в сфере науки, ко всей численности населения, отношение, которое всегда было очень мало, теперь уже не очень мало по сравнению с единицей.

Второй критерий выражался бы так: отношение промежутка времени, проходящего между «абстрактным» научным открытием и его внедрением в практику, к длительности человеческой жизни, отношение, которое было всегда порядка единицы или больше ее, теперь гораздо меньше единицы.

Не следует, конечно, принимать эти формулы как некие точные определения законов. Они приведены, чтобы проиллюстрировать особенность ситуации. Вместо первого критерия или наряду с ним можно было бы привести и такой: доля народного дохода, затрачиваемая на научные и научно-технические исследования, и е пренебрежимо мала.

Или другой: доля общественного труда, совершаемая с помощью устройств кибернетического типа, не мала, и в этом смысле правы те, кто видит во внедрении кибернетики сущность современного этапа. Благодаря этим качественным изменениям наука стала одним из основных элементов производительных сил. Вряд ли стоит особенно спорить о точном выборе того или иного показателя. Важны, по-видимому, две основные черты: во-первых, массовость науки, во-вторых, быстрота перехода от «абстрактной» науки к практике, быстрота, ставящая перед психикой трудную задачу приспособляемости.

\* \* \*

В статистических рассуждениях, которые мы приводили выше, все упоминавшиеся показатели роста науки (число научных журналов, число научных статей, число научных работников, затрата средств на науку) характеризуют, собственно говоря, лишь рост приложенных усилий в области науки. Возникает вопрос: а как растут плоды, таков же ли результат?

Измерить рост самой науки числами невероятно трудно. Где найти критерии, которые позволили бы оценить, насколько Фарадей, Максвелл, Менделеев, Больцман, Гельмгольц, Кирхгоф, Лобачевский, Гаусс, Коши и другие ученые в XIX веке сделали больше, чем Кеплер, Галилей, Лейбниц, Декарт, Ньютон в XVII? Число научных статей в журналах здесь не надежно, оно может быть характеристикой лишь массовости научной деятельности да легкости печатания книг. Можно, однако, высказать два соображения на этот счет.

С одной стороны, мы видели, что время от фундаментального открытия до его приложенности в практике резко сократилось. В XVII—XVIII веках от открытия законов давления газа до практически полноценной паровой машины прошло чуть ли не столетие. В XIX от закона индукции Фарадея до пригодного для широкого промышленного применения электродвигателя — полвека. Для современной науки такие сроки редкость. Почему же это так? Видимо, резко возрос удельный вес исследований, посвященных разработке, доведению до практики фундаментальных открытий. Резко возросла численность «вспомогательного персонала». Если это так, то можно сделать вывод, что основополагающие научные исследования растут гораздо медленнее, чем масштаб научной деятельности в целом.

Второе соображение хотя и подтверждает этот вывод, еще более косвенное. Мы можем оценить рост самой науки, например, так. Возьмем обстоятельную четырехтомную «Историю физики» Ф. Розенбергера, написанную в восьмидесятых годах XIX века, и посмотрим, сколько страниц понадобилось автору для описания достижений физики в разные эпохи. Оказывается, начиная примерно с XIV века число страниц, затраченных на каждый век, возрастает опять же приблизительно по экспоненте<sup>1</sup>, но удваивается не за двадцать лет, а примерно за шестьдесят. Нечто подобное (удвоение за пятьдесят—семьдесят лет) получится и в том случае, если мы тем же способом проанализируем трехтомную «Историю естествознания» Ф. Даниелана (здесь, однако, анализ затруднен тем, что этот труд написан не в строго хронологической последовательности). Понятно, что автор мог описывать науку далеких веков более подробно, чем более близкую нам, и выбранный нами показатель очень ненадежен. Однако если мы его все же примем, то выйдет, что основные, принципиальные успехи науки (о каковых, собственно, только и говорится в истории физики) росли гораздо медленнее, чем число ученых, затраты на науку и число научных работ. Это в то же время объясняет, почему так ускорились реализация, доведение до практики крупных научных достижений: гораздо быстрее, чем фундаментальные исследования, росли вспомогательные средства, росла суммарная продукция и численность ученых, занятых на разработке и внедрении.

\* \* \*

Вернемся, однако, к статистическому выводу об экспоненциальном росте всей научной деятельности, удваивающейся примерно за пятнадцать—двадцать лет. Он при-

<sup>1</sup> Заметим, что при переходе от XVII к XVIII веку при такой оценке даже нет роста, хотя другие показатели растут по-прежнему. Видимо, переход от Галилея, Декарта, Лейбница и Ньютона к Эйлеру, Лапласу, Уатту и другим означал не столько рост числа новых фундаментальных открытий, сколько развернутую разработку ранее сделанных.

водит к заключению, что мы действительно переживаем особый этап в развитии науки. Если масштаб научной деятельности растет согласно экспоненциальному закону и сейчас уже захватывает значительную долю людей, труда и средств всего общества, то скоро должны наступить какие-то изменения самого закона.

Экспоненциальный закон не может быть продолжен в будущее неограниченно далеко. Так, например, население земного шара тоже растет «по экспоненте» (хотя и с несколько меняющимся показателем). Как подметил один физик-теоретик (Дайсон), при современной скорости роста уже через 3500 лет люди, населяющие земной шар, все вместе своими телами должны были бы составить такую же физическую массу, как и сам земной шар. Ясно, что это невозможно. Значит, либо закон роста замедлится, либо начнется заселение других миров. При этом все мы, как и Дайсон, исходим из того, что человечество не даст себя уничтожить неразумным обращением с силами природы (хотя именно эта возможность катастрофы, созданная успехами науки, составляет третью важнейшую особенность современного этапа развития науки и в значительной мере обуславливает особое отношение к науке в наше время).

То же самое можно сказать и о развитии науки. Не может число научных журналов расти по тому же закону и дальше — иначе очень скоро на каждого жителя земного шара получится по одному названию журнала, и некому будет их ни издавать, ни читать. Значит, будут найдены другие способы научной информации. Этот вопрос, кстати, сейчас интенсивно изучается в научных кругах.

Не может и число научных работников расти по тому же закону неограниченно долго — очень скоро все жители Земли стали бы учеными, что нелепо (во всяком случае эта доля не может превысить ста процентов). Конечно, все эти несуразности будут избегнуты, неизменный до сих пор закон роста затормозится. Однако здесь с детальными предсказаниями нужно быть очень осторожным.

Вот, например, одна возможность. Быть может, применение роботов, вычислительных машин, обучающих машин, машин, производящих себе подобные машины, будет расширяться таким темпом, что общий рост научной продукции, развитие самой науки, осуществляемое человеческим мозгом, разгруженным от второстепенной умственной работы, не замедлится, хотя доля работников науки в общем населении и достигнет постоянной величины и, следовательно, численность научных кадров будет возрастать гораздо медленнее, чем теперь, — примерно так же, как будет расти все население.

Однако это только фантазия, она может оказаться неизмеримо беднее действительности. Мы уже хорошо знаем по опыту истории, что самая, казалось бы, безудержная фантазия оказывается угнетающе худосочной перед лицом возможностей, которые обнаруживает жизнь и в науке, и в технике, и в социальном устройстве.

### 3. СЛЕДСТВИЯ. НАУКА, ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА

Итак, непрерывное, последовательное развитие науки полтысячи лет было «обыкновенным» в количественном и — в некотором весьма обобщенном смысле — даже в качественном отношении, было традиционным. Но в наши дни она достигла такой массовости, что мир науки уже нельзя не замечать, такой быстроты перехода от отвлеченных открытий к практическим применениям, что ее воздействие на не успевающую приспособиться психику заставляет каждого даже весьма далекого от науки человека почувствовать ее мощь, ее величие. От мира науки нельзя отмахнуться.

Но почему только теперь появляются писатели, поэты, художники всех видов искусства, которые с такой неистовой любознательностью, с такой почтительностью (иногда даже с самоуничижением, в котором нетрудно угадать порой иронию, порой кокетство) стараются уяснить себе, что же такое мир науки, что же такое мир ученого? Ведь все эти полтысячи лет перед писателями и художниками была та же наука — лишь в меньшем масштабе, те же ученые — лишь в меньшем числе. Неужели литература и искусство в целом — этот тончайший и мудрейший инструмент человечества, способный замечать то, что упускают великие философы, способный постигать и объяснять то, что не может понять и рационально объяснить никакая наука, — неужели же лите-

ратура и искусство пропустили, не поняли, не заметили, недооценили весь этот огромный мир?

Как это ни парадоксально, если судить в основном, отстраняя небольшие частности и исключения, на этот вопрос приходится дать недвусмысленный ответ — не заметили, не поняли, недооценили.

А может быть, люди науки так изменились качественно, что раньше они не представляли интереса для литературы, которую ведь интересуется внутренний мир человека, а не его профессия?

Нет, все, что нам известно о жизни ученых, о характере их творчества, об их поведении в грудных обстоятельствах, все, о чем мы можем судить по манере рассуждений, по стилю изложения научных работ и т. п., — все это показывает, что в основном и этот мир изменился не больше, чем все люди. И страсти, и эстетика творчества, в общем, те же самые. Только их, этих внутренних миров, было довольно мало, они были заслонены внешней оболочкой обычаев, броней конкретного знания, без которого здесь мало что можно понять, заслонены наконец чувством собственного достоинства, даже гордости, усиленными окружавшей науку атмосферой непонимания. Их было мало, они были странные, и постороннему легко было убедить себя, что здесь все просто и неинтересно. Теперь приходится расплачиваться вдвойне: во-первых, собственным недоумением, иногда даже растерянностью; во-вторых, тем, что молодежь склонна отдавать предпочтение науке. Как понять, в чем тут дело, как проникнуть в этот мир?

Разрыв между двумя главными сферами духовной деятельности человека — между искусством и наукой — последние почти полтысячи лет был огромным и поразительным. Этот разрыв, правда, имел в значительной мере односторонний характер, поскольку люди науки могли в полной мере пользоваться плодами искусства.

Выше приводились примеры преклонения перед достижениями науки в разные века. Но все цитировавшиеся высказывания принадлежали редким квалифицированным людям, достаточно понимающим содержание научного открытия, чтобы хоть в некоторой мере оценить его значение. В то же время большинство так называемых образованных людей — и прежде всего литераторы и художники — относилось к науке с уважением, но без внимания, с позиции, которую можно передать парафразом вроде: «Сказать не ложно, тебя без скуки слушать невозможно, а лучше и вообще не слушать». Ученый вызывал скорее сожаление и сочувствие, чем восхищение. Поэт-воин мог воскликнуть: «О ты, убивший жизнь в ученом кабинете» — и никто не замечал здесь ничего странного, считалось очевидным, что в ученом кабинете подлинной жизни быть не может.

Создалась версия об узости духовного мира ученого. «Специалист подобен флюсу», — сказал Козьма Прутков, и считалось само собой разумеющимся, что это относится к ученому или технику. Математик, физик — узок, даже если это ученый-универсал, равно сильный во всех областях необозримого, огромного мира своей науки.

Но не та ли же это узость, что узость живописца, забывающего про все другие искусства и про всю науку, что узость музыканта, для которого весь мир существует лишь постольку, поскольку он может быть выражен в звуках? Известная «узость» есть следствие любой одержимости, любой творческой поглощенности своим — единственным — делом жизни. Для постороннего и неквалифицированного наблюдателя есть некая наука вообще или некая математика вообще, и различить необычайное разнообразие этого великого мира он не способен. Но ведь для невежественного и поэтому самоуверенного европейца тоже «все китайцы на одно лицо», а культура и цивилизация ограничены Европой.

Есть и другая узость — есть ученые, посвятившие себя одной, частной проблеме. Но Гиббс, создатель статистической термодинамики, столь же мало может быть обвинен в узости, как Тютчев, в «однобоком» творчестве которого нет почти ничего, кроме лирических стихотворений, как Шопен, который писал почти исключительно для фортепиано. Так же как Тютчев и Шопен, Гиббс своим созданием охватил огромный мир.

Мир ученого ограничен, но ограничен и мир любого художника, не знающего, что такое наука. Однако узкими и уродливо однобокими мы назовем их только в том случае, если они этой своей ограниченности не понимают

\* \* \*

Самое интересное, пожалуй, это то, что отдаленность от мира науки характерна даже для величайших художников, и это должно иметь глубокий смысл.

Цитированная выше поэма Джона Донна поражает не только осведомленностью автора, но и быстротой реакции на достижения науки последнего десятилетия, последних лет. Однако в те же годы, что и Джон Донн, и в той же стране жил еще один поэт — Вильям Шекспир. Оказывается, отраженная в его произведениях наука — это наука Аристотеля и средневековых схоластов. В оксфордском коллективном труде «Шекспировская Англия» отмечается, что только в одном случае Шекспир упоминает о расположении Солнца в центре планетной системы («Троил и Крессида», акт I, сцена 3) и в одном (первая часть «Генриха VI», акт I, сцена 2) намекает на злободневную астрономическую проблему — непонятность движения Марса (проблема, разрешенная через семнадцать лет после написания хроники Кеплером, который обнаружил, что орбита Марса эллиптическая, а не круговая, как думали раньше). Во множестве же других мест астрономия у Шекспира — птоломеевская, весь дух — аристотелевский. Между тем идеи Коперника находили поддержку в книгах многих английских астрономов начиная с 1556 года. Англичане ездили к Кеплеру, употребляли оптические приборы и т. д.

В науке это было время яростной борьбы против схоластики и Аристотелевой физики. Наука изобиловала людьми и судьбами, которые по самой сути были близки шекспировским трагедиям. Вот математик, физик, медик, философ Кардан («подвес Кардана» знает и использует теперь каждый механик), человек сильных страстей, который бестрепетно присутствовал при казни своего сына, а сам умер в 1576 году семидесяти пяти лет, по преданию, от добровольного голодания, имевшего целью проверку одного из его предсказаний. Вот француз Рамус (или Раме), сын обедневшего дворянина, ставшего угольщиком, читавший в Коллеж де Франс лекции перед двухтысячной аудиторией, в двадцать один год выпустивший первую, а в двадцать восемь лет вторую страстную книгу против Аристотеля, судимый за это специальной комиссией короля Франциска I и изгнанный королевским указом из Парижа. Его отвергла кальвинистская Швейцария все за ту же антиаристотелевскую ересь, и он был убит по возвращении в Париж в Варфоломеевскую ночь (есть предание, что по наущению его главного научного оппонента). Вот блестящий защитник коперниканства Джордано Бруно, посетивший в 1583—1584 годах Лондон и Оксфорд, эту цитадель схоластики, где астрономии учили по Птолемею, космографию — по Плинию, Страбону и Платону, где с бакалавров и магистров по уставу взимали пять шиллингов штрафа «за каждое расхождение и каждую ошибку, совершенную против Аристотелева «Органа». Здесь он блестяще провел диспут против схоластов и даже, покровительствуемый королевой Елизаветой, читал лекции. Как раз в тот год, когда он в Италии был казнен по приговору инквизиции «без пролития крови» (1600), окончился первый — «светлый» — период творчества Шекспира, который прожил потом шестнадцать лет, написал «Гамлета», «Макбета», «Короля Лира», «Антония и Клеопатру» и еще многое другое, что составляет понятие «Шекспир». Но наука и ученые ему не понадобились. Конечно, это можно было бы объяснить и тем, что сам круг людей науки был узок и, как принято говорить, «типизировал» общество меньше, чем обычные шекспировские персонажи — короли и привратники, монахи и актеры, дворяне и нищие. Можно, далее, полагать, что, поскольку наука оказывала влияние на общество, она все же проявлялась в шекспировском творчестве, однако не в конкретной форме, а тем, что способствовала созданию атмосферы неустойчивости, дисгармоничности, изменчивости, атмосферы, так выразительно отраженной в стихах Джона Донна, о чем говорит в своей статье академик Н. Е. Конрад («Новый мир», № 9, 1964), который и обратил в этой связи внимание на поэму Донна.

Можно сказать и больше. Ведь перед Шекспиром проходила жизнь с неизмеримо более очевидными потрясениями в обществе, чем потрясения, производимые наукой. Шестнадцатый век был веком религиозных войн, Реформации, Лютера, Кальвина и гугенотов, веком Крестьянской войны в Германии и Варфоломеевской ночи в Париже. Рядом, за Северным морем, шла борьба Нидерландов за независимость, с революциями, порабощениями и войнами, сменявшимися друг друга в течение столетия. Все эти

события конкретно, сюжетно тоже не отражены в творчестве Шекспира (чему мы отнюдь не удивляемся), но по существу-то обо всем этом Шекспир и писал.

Однако эта традиция опосредствованного отражения мира в последующие века в живописи и в музыке, в поэзии и в драме постепенно ослабевала. У Веласкеса и Бетховена, у Шиллера и Пушкина уже есть все — и близкая история, и современность, отраженная в бытовых деталях. Однако ни здесь, ни во всем остальном художественном творчестве не было места лишь одному — науке. Дважды исключениями выглядят «Урок анатомии» Рембрандта и «Скучная история» Чехова. В обоих случаях выбрана медицина — близкая и понятная каждому. Вероятно, можно указать и на более глубокие примеры сближения искусства с наукой — французских энциклопедистов и т. п. Разумеется, эти редкие исключения не опровергают ничего. Разрыв с наукой продолжался неуклонно и дальше, по крайней мере до начала XX столетия, а по существу с не меньшей силой продолжается и сейчас.

В седьмом томе пушкинского «Современника» Т. Космократов (псевдоним литератора В. П. Титова) писал:

«Войдите в любую столичную гостиную, когда в ней много народу, — и вы непременно остановитесь на каком-нибудь из трех характерных впечатков современной общественной жизни, литераторе, дипломате или светском человеке... иногда найдете в дополнение четвертый отличительный признак — боевой наряд и вооруженные воина». Об ученых, естествоиспытателях он даже не вспоминает. Их здесь не было.

Это рассматривалось как норма и никому не мешало. Не мешало людям науки, потому что они не были лишены того, что им давала литература и искусство. Не мешало и литераторам.

Тютчева не беспокоило, что физики могут оказаться в большем почете, чем лирики. Он, при всей его интеллектуальности, нигде даже не упомянул о существовании подобной науки.

На протяжении жизни Пушкина и Тютчева возникли пароходы и паровозы, был открыт электромагнетизм, вскоре преобразовавший мир, создана научная химия и новые грандиозные разделы математики. На точно предсказанном месте была открыта новая планета. Рядом с ними жили такие гении, как Лобачевский, Гаусс, Фарадей. Рядом с ними лежал огромный мир духовного величия, в котором была и мощь мысли, и грандиозность фантазии, и красота формы. Как это ни покажется парадоксальным, в нем была и красота литературного стиля. Но «прелесть нагой простоты», «краткость и точность», так почитавшиеся в прозе Пушкиным, те самые качества, которые отличают, например, «Путешествие в Арзрум», не способны понять читателя, если он не способен понять отраженное здесь состояние души Пушкина. Такие же черты литературного стиля научных сочинений, скажем Ньютона, нельзя распознать и оценить, если не уметь видеть мир идей и понятий, который в них отражен. Этот мир был за пределами досягаемости даже великих писателей. Они его не знали.

По мере того как наука и мир науки количественно становятся в обществе относительно не малыми, а их влияние на психологию остальной части общества становится сравнимым с влиянием любых других факторов — экономических, политических, военных и т. д., — кажется все более сомнительным, чтобы литература могла ограничиться той позицией изоляции, которая была возможна для Шекспира или Тютчева. Изменение необходимо не для того, чтобы обязательно «отразить» профессиональную сторону науки, специфику ее жизни, но для того, чтобы литература и искусство смогли установить взаимопонимание со значительными слоями общества, которые отдают предпочтение науке и технике, с людьми, на внутренний мир которых литература и искусство хотят — и должны — влиять. Но как достигнуть этого? Неужели путем профессионального овладения наукой?

Белинский и Пушкин не спорили между собой, нужно ли литераторам изучать физику, как спорят современные критики и поэты. Но в пушкинском «Современнике» мы находим три, как мы сказали бы, научно-популярные статьи князя Козловского, написанные прекрасным языком того времени.

Уже в первом томе Пушкин помещает статью Козловского «Разбор парижского математического ежегодника на 1836 год». Она еще не очень научная. Автор описывает

широкую научно-популяризаторскую деятельность в Европе и сетует на то, что в России хотя число издаваемых книг удесятирилось, все они посвящены только литературе и истории.

В третьем томе сразу после открывающих журнал шестнадцати стихотворений Тютчева Пушкин помещает вторую большую статью Козловского — «О надежде», излагающую основы теории вероятностей, которую автор называет «исчислением удобобсбытностей». Эта вполне серьезная (хотя и популяризаторская) статья содержит основные теоремы и формулы, много примеров применения теории.

Наконец в седьмом томе, вышедшем после гибели Пушкина, на одном из первых мест печатается еще большая и еще более серьезная статья Козловского «Краткое начертание теории паровых машин». Здесь и очень подробные чертежи машин, и изложение законов Архимеда, Торичелли и Мариотта с формулами и т. п. Надо помнить, что паровая машина для той эпохи значила то же, что атомная установка для нашей. «Никогда, конечно,— пишет Козловский,— мудрое соединение механического, физической и химической теорий не оказало еще человечеству такой блистательной услуги».

Из примечания Вяземского, предпосланного статье, мы узнаем, что Пушкин накануне дуэли, 26 января на балу у графини Разумовской, следовательно, зная, что через несколько часов ему стреляться, просил его, Вяземского, написать Козловскому и напомнить об обещанной статье. «Поэт чувством и воображением, дипломат по склонности и обычаю, жадный собиратель кабинетных тайн до сплетней включительно, был вместе с тем страстен и к наукам естественным и особенно математическим, которые составляли значительнейший капитал его познаний и были до конца любимым предметом его ученых занятий и глубоких исследований»,— писал об этом ученом Вяземский. Сам Козловский, закончив статью о паровых машинах, сообщает в письме к Вяземскому, что писал ее «срп атоге» (с любовью). Это и видно.

Вероятно, даже Пушкина при этом интересовали больше предмет и результаты науки, чем ее внутренний мир или внутренний мир ученого. И все же, чтобы поступать так, нужно было быть Пушкиным.

Конечно, были исключения и в прошлом. Но Леонардо да Винчи и Ломоносов умирали, и «личная уния» науки и искусства обрывалась. Как ни зывал Ломоносов: «Испытание натуры трудно, слушатели, однако приятно, полезно, свято» — его призыв не находил отклика.

Духовный мир науки был наглухо закрыт для посторонних.

В чем же была причина?

В основе здесь, вероятно, лежало одно существенное различие в условиях восприятия произведений искусства, с одной стороны, науки — с другой.

В той или иной мере прийти в восхищение от гениальной картины может почти всякий, даже эстетически неразвитый зритель. Правда, находясь на самой низшей ступени, он оценит, быть может, лишь, как написан шелк — «прямо хочется потрогать». И он будет думать, что понял картину. Другой, более зрелый, поймет характер изображаемого лица (если это портрет) и оценит полноту его раскрытия. Третий, еще более развитый, оценит, кроме того, гармонию красок. Возможности такого постепенного постижения, если творение гениально, безграничны, потому что художник не накапливал эти черты по элементам, а схватил все их необозримое множество разом (что и есть вдохновение). Важно, что приближение к подлинному проникновению в мир художника возможно и малыми ступенями, и находящийся на любой ступени ценитель может обманываться, думая, что он все понял, хотя до подлинного постижения еще очень далеко. Оно приходит отнюдь не ко всем, а лишь к тем, кто способен охватить разом многообразные элементы и связи произведения, то есть к тем, кто способен сам заразиться вдохновением, подобным вдохновению художника.

К науке ведут крутые ступени.

Уже первая из них требует известной подготовленности. Нужно овладеть определенным багажом конкретных знаний и воспитать в себе привычку, дисциплину научного мышления. В наше время это может в принципе обеспечивать в массовом масштабе уже школа (хотя в действительности учеников с гуманитарными склонностями она очень часто, к сожалению, лишь отталкивает от естественных наук еще дальше). Не то



было в прошлом. Общее образование, которое получали молодые люди в пушкинское время, было почти исключительно гуманитарным. Кроме того, развитие науки идет так быстро, что уже через пятнадцать — двадцать лет школьных знаний оказывается недостаточно. Все это, конечно, и в прошлом было преодолимо, хотя и требовало (как и теперь требует) известных усилий. Уже на этой первой ступени может происходить приобщение к науке. Уже здесь приоткрывается ее красота и мощь.

И все же это далеко не все. Скорее это начало пути. Более того, может случиться, что иной ценитель, полагающий, что он уже в святилище, поскольку он даже «изучал высшую математику», будет разочарован и принесет своим не достигшим и этого уровня собратям ложную информацию. А между тем и для преодоления следующих ступеней необходимо напряжение. Если суметь осознать разнообразные связи явлений, теорий, экспериментов, а в некоторых случаях если к тому же овладеть довольно специальным аппаратом науки (например, математикой), то постепенно раскрываются все новые стороны обаяния науки, становится доступным то эстетическое наслаждение, которое дают ее великие произведения вроде теории относительности в физике или теории групп в математике.

Не желая или не умея преодолеть путь испытаний, не умея найти иные — свои, характерные для искусства — пути постижения мира науки, многие литераторы предпочитали в прошлом (а часто и теперь предпочитают) укрываться под зонтиками избитых представлений.

\* \* \*

Самое ходячее из избитых миссий во все века — представление о сухости, голый рациональности, аэмоциональности, аэстетичности и предмета, и процесса, и результата научного творчества. Откуда оно взялось? Может быть, из обычая ученых выносить на суд товарищей только окончательный итог, плод своих скрывааемых терзаний и мучений, уже облеченный в ясную и законченную форму? Или из того, что свой доклад ученый читает внешне бесстрастно? Но его слушатели за ясной и спокойной формой сами увидят и поймут все, что он хочет.

Различия в природе искусства и науки разнообразны. Пути познания мира у искусства иные, чем у науки. Действительно, одно из основных различий состоит в повышенной эмоциональности искусства, с одной стороны, в преимущественной рациональности науки — с другой. Но искусство не может быть только эмоциональным. Чтобы быть подлинным искусством, оно должно быть «умным», включать рациональный, логический элемент, хотя «ум» этот, сама логика иные, чем логика науки, и убедительность достигается включением в логическую цепь чисто эмоциональных элементов, которые обладают здесь большей доказательностью, чем рациональная логика науки.

Подобно этому и наука включает эмоциональный, а также и эстетический элементы, хотя роль их иная, чем роль рационального элемента в искусстве. Так, эстетический элемент не необходим самому научному «произведению» органически. Однако не будь его, вероятно, не много нашлось бы людей, предпочитающих науку всему остальному. Более того, эстетический элемент играет роль и в создании атмосферы творческого подъема, столь важного для достижения нового существенного научного результата. Важность эстетического критерия подчеркивали многие ученые, например, Эйнштейн, хотя никто из них никогда не жертвовал научной истиной ради эстетики, да и эстетика эта, конечно, иная, чем в искусстве. В научной среде об эстетике научного «произведения» говорят редко, здесь сдерживающее влияние оказывает известная целомудренность. И все же как часто на обсуждении новой научной работы можно услышать неожиданное суждение: «Красиво!»

Однако ходячее мнение устойчиво.

Даже в наши дни можно прочитать:

«Пусть философов и поэтов не гипнотизирует это торжественное шествие бесцветных интегралов, холодных, как само космическое пространство».

Бесцветный интеграл! Конечно, при повседневном употреблении им не любят, как не любят музыкальной гаммой или палитрой красок. Но уж если на то пошло, само понятие интеграла полно красоты — это удивительное соединение бесконечно мно-

гих элементов, каждый из которых бесконечно мал, и такое соединение, которое умеет отлиться в определенную форму конечной величины. Интеграл, этот емкий сгусток самых разнообразных процессов и явлений, был плодом невероятного взрыва творческой фантазии Лейбница и Ньютона, которые создали это чудо.

Интеграл бесцветен, как бесцветен холст с «Девушкой, освещенной солнцем», если его рассматривать с обратной стороны. Как бесцветен мир, обозреваемый через неправильно повернутое граненое стекло. Но (да простятся мне несколько не всем понятных строк) поверните это стекло — и тот же обычный интеграл вы вдруг видите совсем с новой стороны, как интеграл по вещественной оси в плоскости комплексного переменного. Доверните стекло еще немного — и контур замыкается полукругом бесконечно большого радиуса, и вот волшебным образом значение того же интеграла оказывается зависящим только от особых точек функции, попавших внутрь контура. Еще один поворот — и вы деформируете, мнете этот контур, а значение интеграла остается тем же самым, пока контур не подошел к какой-либо особой точке, и тогда контур должен повиснуть на ней или, если это точка ветвления, нужно разрезать плоскость и ряд комплексных плоскостей наложить друг на друга и в особом порядке сшить по линии разреза, а контур будет переходить с плоскости на плоскость по винтовой лестнице, пока вдруг не окажется опять на исходной ступени; и эта цепь трансформаций длится все дальше — без конца, и нужно все это видеть сразу, потому что нужно еще догадаться, какой угол зрения наилучший и самый удобный для вычисления интеграла.

Но критик ни во что такое не верит. Он, так сказать, «научно-эстетически слеп». И он последователен: «В логике движения мысли по рельсам математики есть та принудительность, форсированность выводов, которые так пленяют всякого ученого».

Вот он, успокаивающий и отнюдь не возвышающий самообман. «Принудительность выводов» только часть, хотя и важная, но лишь часть того, что пленяет. Главное же — это сочетание необходимости, принудительности с преодолением ее, логики с фантазией, определенности и четкости с бесконечным разнообразием скрытого, подразумеваемого, видимого за высказанным, в богатстве ассоциаций, в неожиданном сближении удаленных, совершенно различных и не связанных на первый взгляд явлений, теорий, понятий. Научное творчество — это буря эмоций и страстей, страданий и радостей, сдерживаемая необходимостью некоторых твердых ограничений. В этом отношении здесь нет отличия от любого искусства. Никакое подлинное искусство не является просто игрой безудержной фантазии. Безудержная фантазия — то же самое, что бред. Искусство же всегда подчинено определенным правилам — стихосложения в поэзии, композиции, сочетания форм и красок в живописи. Охватив в состоянии высокого вдохновения весь предмет целиком, художник все равно остается в рамках глубоко вошедших в его сознание разнообразных ограничений, он все равно должен «алгеброй гармонию поверить». Если какой-либо мастер отказывается от этих правил, он по существу заменяет их другими, не менее строгими (хотя сознательно новые правила выявятся и будут сформулированы, быть может, не скоро). В этом отношении научное творчество вполне сродни художественному. Только узда, надетая на фантазию, здесь еще повелительнее — это природа, опыт. Фантазируйте, меняйте закон движения, заменяйте классическую механику квантовой, выдумывайте новую систематику элементарных частиц, но следите, чтобы в конце концов не получилось противоречия с твердо установленными фактами.

К слову, о фантазии. Литератор, похлопывая ученого по плечу, готов, пожалуй, признать: да, вам тоже нужна фантазия. «Тоже!» А вот крупнейший математик XX века Гильберт, когда ему сообщили, что один его ученик бросил математику ради поэзии, сказал: «Он пошел в поэты?.. А почему бы и нет? Для математики ему явно не хватало фантазии». Может быть, именно из-за того, что наложившие условия здесь более повелительны, фантазия действительно должна быть богаче, чем в искусстве: надо нафантазировать гораздо больше разнообразных вариантов, чтобы хоть один из них удовлетворил всем требованиям, которые безжалостно предъявляет природа. Недавно в сверхсерьезном американском журнале по теоретической физике одной статье ее авторы предположили элиграф

из Оскара Уайльда: «Чтобы узнать истину, нужно вообразить миллион неправильностей». Здесь нельзя допустить «грязь» или приблизительность, объяснив это для собственного успокоения как реформаторство, приходится искать и фантазировать снова и снова.

То же справедливо и в искусстве. Вот что пишет Игорь Стравинский — один из самых «бунтарских» композиторов, обладающий необытной фантазией:

«Необходимость ограничения, добровольно принятой выдержки берет свое начало в глубинах самой нашей природы и относится не только к области искусства, но и ко всем сознательным проявлениям человеческой деятельности. Это потребность порядка, без которого ничего не может быть создано... А всякий порядок требует принуждения. Только напрасно было бы видеть в этом помеху свободе. Напротив, сдержанность, ограничение способствуют расцвету этой свободы (подчеркнуто мною.— Е. Ф.) и только не дают ей переродиться в откровенную распущенность. Точно так же, заимствуя уже готовую, освященную форму, художник-творец насколько этим не стеснен в проявлении своей индивидуальности. Скажу больше: индивидуальность ярче выделяется и приобретает большую рельефность, когда ей приходится творить в условных и резко очерченных границах».

Сознание необходимости смелой, «неограниченной» фантазии глубоко свойственно человеку науки и техники. Широко известно, как за несколько лет до своей смерти Нильс Бор высказался по поводу предлагавшейся Гейзенбергом нсвой теории элементарных частиц. Он сказал: «Это, конечно, сумасшедшая теория. Однако мне она кажется недостаточно сумасшедшей для того, чтобы быть правильной теорией». Не удивительно, что каждая успешная великая теория поначалу казалась сумасшедшей.

Наука близка тому искусству, которое высшую похвалу вкладывает в пушкинские слова: «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!» Но музыка Моцарта, о которой это было сказано, отнюдь не бедна фантазией.

Нельзя гармонию сводить к «логике движения мысли», убедительность и стройность — к «принудительности выводов».

Я не ищу гармонии в природе.  
Разумной соразмерности начал  
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе  
Я до сих пор, увы, не различал,—

писал Заболоцкий. Гармония возникала, однако, в самих этих стихах.

Вся жизнь Эйнштейна была посвящена именно поискам высшей гармонии природы. Когда он создал общую теорию относительности, то одной из важнейших причин, порождавших его абсолютную веру в правильность теории, была ее внутренняя стройность и гармония. Эта гармония возникала, однако, из фантастического материала — из искривленного четырехмерного мира, из эквивалентности поля тяготения ускорению системы отсчета и т. п.

Нелепо ждать или требовать от людей искусства, чтобы они сами достигли знания науки на профессиональном уровне и таким путем приблизились к адекватному пониманию этой гармонии. Их счастье, если это произойдет. Но, не будучи спортсменом, можно поверить в ощущение полного счастья от совершенного овладения своим телом. Нужно уметь поверить в ощущение полноценного счастья от жизни в науке, в технике, поверить в значительность этой жизни. К пониманию этого искусство, конечно, должно идти своими путями, хотя некоторый «образовательный ценз» все-таки необходим, как об этом уже говорилось.

Есть, конечно, и другие, второстепенные причины отрыва искусства от науки. Среди них — некоторое сектантство, замкнутость мира науки. Известные павловские слова о том, что наука требует от человека всей жизни, не фраза, а точное выражение выработанной веками нормы. Так возникает тенденция отрешенности, уход от деятельности, не необходимой для выполнения основной задачи. Конечно, тот же афоризм может применить к себе и каждый художник. Однако различие в том, что выполнение главной задачи художника необходимо связано с обращением к людям, находящимся вне процесса его творчества. Литература и искусство образуют, так сказать, «открытую» систе-

му. Наука же в заведомо большей степени система «закрытая». Здесь берет начало характерное для многих ученых пренебрежение к популяризации науки, к обсуждению ее проблем вне научной среды. Несомненно, что значительную роль в этом играет то самое непонимание науки так называемыми образованными людьми из числа гуманитариев, о котором речь шла выше, нежелание этих людей приложить усилия для постижения науки. В этих условиях каждый выход за пределы «замкнутой» системы науки грозит превратиться в вульгаризацию, а это для каждого научного работника и унижительно и неприемлемо. В «Скучной истории» Чехова профессор-медик гордится тем, что он не запятал себя произнесением речей ни на обедах, ни на могилах коллег, тем, что «не искал популярности в полемике с невеждами», что «не совал своего носа в литературу и политику». В научной среде весьма достойные люди иногда принимают этот образ как идеал, прощая ему и его антиэстетизм (этот чеховский герой считает театр излишним — он уверен, что хорошую пьесу достаточно прочесть), и его по существу безжалостное отношение к единственному близкому человеку.

Но в той же стране и почти в одни и те же годы с чеховским героем жил химик Бородин, написавший одну из лучших современных музыкальных драм. Жил Менделеев, «совавший нос» по крайней мере в экономическую политику. Жила Софья Ковалевская, занимавшаяся и литературой и политикой. Жил физик Лебедев, из-за «политики» сломавший свою жизнь. А несколько позже — переводчик с латыни основного труда Ньютона, выдающийся математик А. Н. Крылов, автор многочисленных блестящих юбилейных речей и некрологов, не раз с удовольствием и отнюдь не в поисках популярности разоблачавший невежд.

Вряд ли можно думать, что все они себя «запятали» этим поведением, как и Эйнштейн, виновный и в выступлениях со скрипичными концертами (а играл он, как известно, не так уж блестяще), и в произнесении обеденных речей, и в развернутой политической деятельности. Всех этих очень разных людей отличает от чеховского героя отнюдь не меньшая щепетильность, а иной темперамент, большая «открытость» натуры, наличие потребности в таком «внеаучном» и «околонаучном» общении. Они отнюдь не составляют исключения в научной среде. Но традиция замкнутости, опасение вульгаризаторства, порождающие некоторый снобизм, были всегда сильны в этой среде, сильны они и теперь. Рассматриваемые как причины разрыва науки и искусства, они, разумеется, могут играть лишь второстепенную роль.

#### 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что-то физики в почете.  
 Что-то лирики в загоне.  
 Дело не в сухом расчете,  
 Дело в мировом законе.  
 Значит, что-то не раскрыли  
 Мы, что следовало нам бы  
 Значит, слабенькие крылья —  
 Наши сладенькие ямбы...

В этом грустном стихогворении Слуцкого — свидетельство проблемы нашего времени. От этого факта нельзя закрыться ни окриком, ни причитаниями, ни радостью по поводу того, что есть люди, которые считают, что «ветка сирени нужна и в космосе». Когда роль искусства, роль поэзии хотят свести к ветке сирени, это само по себе грустно и страшно. Не для украшения существует искусство пять тысяч лет.

Почему молодежь идет в физику, в технику — в естественные науки вообще?

Эти науки, в особенности их теоретические ветви, всегда были прежде всего делом молодых. Эйнштейн, Бор, Дирак создали свои самые выдающиеся работы в возрасте двадцати шести — двадцати семи лет. Менделееву, когда он сообщил об открытии периодического закона, было тридцать пять лет. Лобачевский доложил о создании неевклидовой геометрии в тридцать четыре года. Джемсу Уатту не было тридцати, когда он изобрел свою паровую машину. Ньютон сделал самое главное в физике и математике очень молодым, и во всяком случае до сорока. Линней опубликовал «Систему

природы» в двадцать восемь лет. К своей теории происхождения видов Дарвин пришел в тридцатилетнем возрасте (и лишь опубликовал ее в завершенном виде через двадцать лет). Это — правило. Редко кто даже среди гениев создал что-либо сопоставимое с их главными достижениями после сорока — пятидесяти лет. Совсем не то в искусстве, гуманитарных науках, в практической медицине, где значительная творческая деятельность продолжается, по-видимому, до старости, а иногда даже возрастает с годами.

Непонимание научного мира проявилось в литературе и искусстве, в частности, в том, что ученого всегда изображали стариком.

В наши дни молодежь идет в науку потому, что она находит здесь радость постижения истины, творчество, значительность идей, смелость фантазии, своеобразную красоту, дух борьбы, требующей максимального напряжения сил, ясность мысли, правдивость и достоверность, демократичность и сознание духовной близости с товарищем, сознание нужности совершаемого дела, безусловную современность существа и формы, даже спортивный элемент — соревнование.

Она находят это отнюдь не только в великих открытиях, о которых уже шла речь. Эти открытия создают общую атмосферу, дают ощущение счастья от приобщения к ним. Но и участие в повседневном научном труде, в решении частных, отнюдь не мировых проблем несет в себе те элементы, о которых говорится в этом перечислении.

А ведь все это молодежь могла бы найти и в искусстве, но, видимо, не всегда находит. «Значит, что-то не раскрыли...»

Но, может быть, сверх того, что обеспечивается наукой, ничего больше и не нужно?

Конечно, нет. Наивно было бы думать, что эстетическое чувство может быть достаточно разносторонне удовлетворено наукой. Дело не только в том, что эстетика — лишь побочный, как он ни значителен, элемент науки. Не менее важно, что эта эстетика принципиально отличается от эстетики всякого искусства хотя бы тем, что она эстетика понятий, эстетика абстракций. Это «головная» эстетика, не адресующаяся непосредственно к чувствам. Уже поэтому необходимо искусство, открывающее иные миры, с иной логикой красоты, с иными путями воздействия. Без них эстетический мир человека не полон. Ощущение этого, вероятно, и приводит к столь распространенной в научной среде тяге к искусству. Однако и это далеко не все. Есть еще нечто, о чем не принято говорить и о чем действительно говорить довольно трудно.

Как легко заметить, в перечислении того, что дает человеку наука, по существу не было одного — того, что учено называется этикой, а попросту — совестью. Если «интеграл бездушия», то именно в том отношении, что наука внутри себя не содержит этического критерия. Более того, очарование науки влечет за собой, особенно при первом увлечении, фетишизацию логического мышления, и это может привести (и иногда приводит) к пренебрежению этическим элементом, которому нет необходимого, естественного места в научной системе. Он вне ее. Важно, однако, что он не противоречит этой системе и может быть с ней совмещен.

Можно, конечно, сказать, что наука, которая «требует от человека всей его жизни», полного поглощения своим делом, всегда воспитывала ограниченность личных потребностей, «пренебрежение к благам жизни», ко всему второстепенному, «суетному» (если известное честолюбие и присуще, вероятно, даже необходимо каждому человеку науки, то главным призом для него является не чисто внешний успех, а достижение значительного нового научного результата и связанное с этим признание коллег).

Крупным ученым эти черты всегда были органически свойственны. И даже когда на них сваливалась самая оглушительная слава, она в большинстве случаев уже не могла поколебать их сложившуюся натуру.

Однако, конечно, этого мало. Преданность своему делу, пренебрежение всем посторонним распространены среди людей любых профессий и совместимы даже с отнюдь не гуманной деятельностью.

Можно далее сказать, что наука необходимо требует добросовестности (и тем воспитывает традицию честности). Каждый ученый может ошибаться, но если он сообщил ложные выводы, полученные даже не в результате сознательного обмана, а лишь

веледствие, так сказать, «преступной небрежности», недостаточной требовательности к себе, то его жизнь будет очень нелегкой. Доверие к нему будет утрачено, если даже он сохранил все свои ученые звания.

Но и простой добросовестности, как она ни важна, для людей мало. Ведь и Макиавелли написал своего «Государя» в форме логического трактата, построенного по образцу Эвклидовой «Геометрии». В нем все «добросовестно», последовательно и логически неопровержимо. Макиавелли способен удовлетворить «очень умного человека» и в том случае, если это «государь», и тогда, когда это обыкновенный «борец за собственную судьбу», или, попросту говоря, эгоист.

Можно наконец заметить, что среди крупнейших ученых и прошлого и современности мы часто находим людей выдающихся, а порой и необыкновенно высоких личных качеств, и это наводит на мысль, что само занятие наукой почему-то оказывает в целом благотворяющее влияние. Однако, с одной стороны, нельзя утверждать, что здесь существует жесткая закономерность. С другой стороны, не исключено, что в действительности причина и следствие здесь переставлены: условия занятия наукой до недавнего времени были таковы, что происходил естественный отбор — в науку шли люди определенного духовного склада. Положение меняется, и опасность особенно обостряется теперь, когда занятие наукой становится делом почетным, широко признанным в обществе, материально поощряемым и сравнительно с прошлым легко доступным. Исчезают черты некоторой жертвенности и чувство приобщенности к ограниченной секте единомышленников, игравшие раньше несомненную роль.

Наука действительно покоряет в значительной мере стройностью, логичностью, последовательностью, и это огромная сила. Между тем у своего удовлетворенного приверженца она этим может породить эстетическое и — шире — душевное невежество. Такое невежество не вызовет у него никаких сомнений в своей человеческой полноценности, хотя по существу человек в нем будет потерян. Однако в самодовольстве ученого одичания он сам этого и не заметит. Конечно, такой ход развития отнюдь не обязателен. Но мы знаем, что он возможен, по тем случаям, когда он осуществляется.

Какими же средствами можно преодолеть ограниченность логически безупречной схемы? По-видимому, путь здесь и открывает искусство. «Тогда почему же учат детей свободным художествам? Не потому, что они способны дать добродетель, но потому, что они готовят нашу душу к восприятию ее», — писал Сенека.

Пусть среди людей искусства и литературы макиавеллистов и эгоистов никак не меньше, чем среди ученых. Здесь вовсе нет автоматической связи в каждом случае. Любовь к искусству сама по себе тоже ничего не значит. Гитлер любил музыку Вагнера и Брукнера; покровительствовали искусствам и Медичи. Это ничего не меняет в существе вопроса, в той роли, которую играет и должно играть искусство в целом как продукт деятельности человечества. Сейчас нет никакой опасности, что молодежь отвернется от науки. Есть, однако, опасность, что она гиперболизирует значение науки и отвернется от искусства или принизит его до роли украшателя жизни. Поэтому роль искусства и литературы сейчас особенно важна.

Много веков единственным соперником искусства в борьбе за человека была религия. В этом соперничестве, история которого полна взаимопроникновениями и компромиссами, искусство развилось как независимая сила. И вот теперь появился новый соперник, незаметно выросший и представший, как по меньшей мере равный, перед изумленным взором художников, привыкших взирать на науку высокомерно и с пренебрежением. Здесь, разумеется, нет речи о победе какой-либо одной из сторон. Но выполнить то высокое назначение, о котором шла речь в этих заметках, литература и искусство смогут, только если непредвзято осмыслят, поймут необозримый духовный мир науки, если будут ориентироваться на тот же высокий уровень, который молодежь ищет и так часто находит в науке.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. АНИКСТ

★

## «НОСОРОГИ» В НЬЮ-ЙОРКЕ

1  
**М**не довелось быть в Нью-Йорке как раз тогда, когда в одном из бродвейских театров была поставлена пьеса французского драматурга Эжена Ионеско «Носороги». Мы прочитали объявление о премьере в рекламной листовке, сообщавшей репертуар нью-йоркских театров на текущую неделю. Признаюсь, любопытство мое разыгралось: «Вот бы посмотреть!»

В некоторых кругах нашего литературного мира отношение к пьесам Ионеско определилось тем, что за ними прочно утвердилось кличка «пьес абсурда». Очевидно, поэтому ни одна из них у нас не переведена и не поставлена, хотя они идут по всему миру, в том числе в Чехословакии и в стране, откуда Ионеско родом, — в Румынии.

Пьесы Ионеско я читал и прежде, смысл их мне был известен, но мне хотелось увидеть театральное воплощение хотя бы одной из них, чтобы проверить свои впечатления.

Коротко говоря, я не разделяю предубеждения против этого драматурга, которое есть у некоторых моих собратьев по перу. Я люблю комическое в искусстве, парадоксы, эксцентриаду, и мне не кажется, что они враждебны реализму. Когда я сталкиваюсь с произведениями такого рода, то всегда вспоминаю слова В. И. Ленина, сказанные им однажды М. Горькому «об эксцентризме», как особой форме театрального искусства: «Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!»<sup>1</sup>.

Комический абсурд у Ионеско отнюдь не только смешон. Недаром некоторые свои пьесы он назвал трагифарсами. В «Носорогах» сохраняется все своеобразие драматургического метода Ионеско, и в этой пьесе особенно наглядно обнаруживается, что абсурд является не столько стилем писателя, сколько реальной основой жизни современного буржуазного общества.

В творчестве Ионеско гораздо больше традиционных элементов, чем кажется на первый взгляд. Можно спорить об эстетической ценности его фарсов или трагифарсов, но делать это нужно так, чтобы не отринуть заодно всю традицию народного театрального лубка, комедию дель арте и всех тех драматургов-классиков, которые не брезгали вызывать смех публики изображением чудовищно неправдоподобных, гротескных, но тем не менее в существе своем жизненных положений.

Чего не следует искать у Ионеско — это полнокровных характеров. Его персонажи — типы, отличающиеся однолинейностью. Абсурда в комедиях Ионеско много, но что бы делало комедийное искусство за последние столетия, если бы жизнь не представляла ему столь обильно объекты для сатирического осмеяния...

Итак, мы, советские туристы, сопровождаемые американским гидом, едем в машине в театр «Лонгакр» на 48-й Западной улице Нью-Йорка. Я заметил, что наш гид Джон и на этот раз захватил книгу, которую он почитывает всякую свободную минуту.

— Что читаете? — полюбопытствовал я.

Он протянул мне одно из тех дешевых изданий без переплета, которые сейчас очень распространены в странах Запада. На обложке черным, красным и голубым

<sup>1</sup> М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. т. 17, стр. 16.

написано: «The Organization Man, by W. H. Whyte».

— Как перевести заглавие,— спросил я,— «организованный человек»?

Оказалось, что скорее это «организующий человек», «организатор», а точнее всего — «тот, кто служит Организации». Под «Организацией» подразумевается учреждение, принадлежащее какой-нибудь крупной корпорации. Одним словом, это те, кто работает в аппарате монополий, выполняя организаторские функции. Речь идет не о государственных служащих, а о тех, кто служит истинным хозяевам США — владельцам крупных монополий.

— Позвольте,— прерывает читатель,— вы, кажется, поехали в театр. Расскажите же нам о постановке «Носорогов». К чему это авторское отступление об американских «организейшн мэнах»?

Дело в том, что между ними и «Носорогами» существует связь, что я и постараюсь показать.

## 2

На сцене перед нами площадь маленького провинциального городка. На заднем плане — двухэтажный дом. В нижнем этаже — витрина бакалейной лавки. Слева (если смотреть из зрительного зала) — маленькое кафе. Столики стоят на площади. Справа видно, как уходит вглубь узкая улочка. Солнечно, тепло, люди одеты полетнему и даже несколько парадно, так как сегодня воскресенье. Через площадь проходит женщина, на одной руке у нее корзина с продуктами, другою она держит кошку.

Скучный, сонный городок, где никогда ничего не происходит и только сплетни да пересуды занимают головы обывателей. Немногие интеллигентные люди этого города задыхаются в его душной атмосфере. Вот один из них. Жан, высокий, полный мужчина с круглым лицом, лысоватый, нос картошкой, но глаза живые и язык острый. (Эту роль играл один из лучших характерных актеров Нью-Йорка Зиро Мостель.)

Жан нарядился и сидит за столиком кафе. Он назначил здесь свидание своему другу Беранже, но тот опаздывает. Наконец он появляется небритый, без шляпы, с растрепанными волосами, подвыпивший. На упреки Жана Беранже отвечает, что ему осточертела монотонная и бессмысленная жизнь.

В то время как друзья переругиваются,

раздается отдаленный топот какого-то грузного животного. Шум становится все ближе, и мы понимаем, что зверь пробежал где-то совсем близко.

Жан первым закричал: «Носорог!» — и как эхо повторили это слово все другие, оказавшиеся здесь: официантка кафе, бакалейщица, ее муж, какой-то пожилой человек ученого вида, женщина, которая в начале прошла с корзиной и с кошкой.

Вдруг снова раздается топот копыт, рев зверя, а когда шум затихает, все начинают говорить, перебывая друг друга. Маленькая площадь полна разных людей, обсуждающих, откуда мог появиться носорог. Беранже, зевая, говорит:

— Может быть, он убежал из зоопарка?

— Но у нас в городе нет зоопарка с тех пор, как зверей унесла чума, а это было давным-давно,— возражает Жан.

Беранже с таким же равнодушным видом высказывает предположение:

— Тогда, может быть, он из цирка?

Но в городе нет и цирка. Жан обижается на своего друга, ему кажется, что Беранже издевается над ним, высказывая нелепые предположения о том, откуда мог появиться носорог.

В это время появляются два новых собеседника: Старик и Профессор логики. Профессор объясняет Старому господину основы своей науки. И начинается «числгий Ионеско». одновременно происходит два диалога — между Жаном и Беранже и между Старым господином и Профессором логики.

«Профессор (Старику). Вот пример силлогизма. У кошки четыре ноги. Исидор и Фрико имеют четыре ноги. Следовательно, Исидор и Фрико — кошки.

Старик (Профессору). У моей собаки четыре ноги

Профессор (Старику). Значит, она кошка.

Беранже (Жану). Мне уже нечем жить. Может быть, нет и желания жить.

Старик (Профессору, после глубокого раздумья). Значит, рассуждая логически, моя собака должна быть кошкой?

Профессор (Старику). Логически да. Но верно и обратное.

Беранже (Жану). Меня гнетет одиночество. Но меня гнетет и общество других людей.

Жан (Беранже). Ты противоречишь себе. Что же тебя гнетет — одиночество



или общество других? Ты считаешь себя мыслителем, но совершенно лишен логики.

Старик (*Профессору*). Логика — прекрасная вещь.

Профессор (*Старику*). Пока ею не злоупотребляют.

Беранже (*Жану*). Жизнь — это ненормальная вещь.

Жан. Наоборот. Нет ничего нормальнее, чем жизнь, и это доказывается тем, что люди живут и живут.

Беранже. Но мертвых людей больше, чем живых. И число мертвых все время увеличивается. Живых же становится все меньше.

Жан. Но мертвые не существуют. Это же ясно!.. Ха-ха! (*Громко хохочет.*) Они тебя тоже гнетут? Как же может угнетать то, что не существует?

Беранже. Иногда я задаю себе вопрос: а существую ли я?

Жан. Ты не существуешь, мой дорогой Беранже, потому что ты не мыслишь; начни мыслить — и ты будешь существовать...»

Поучая друга и советуя ему переменить образ жизни, Жан убеждает его, что внутренняя культура — лучшее противодействие убожеству окружающей действительности.

«Ходи в музеи, читай литературные журналы, слушай лекции, — говорит Жан. — Это рассеет все твои заботы и разовьет ум. За четыре недели ты станешь культурным человеком...»

«Культура», за которую ратует Жан, не настоящая, а поверхностная. Из его же слов ясно, что это не та культура, которая действительно решает противоречия жизни, а та, которая «снимает» их посредством сублимации. При таком понимании вещей между жизнью и культурой оказывается полный разрыв. Жизнь может оставаться пошлой, ничтожной, бесцветной, а культура, как нечто независимое от жизни и даже противоположное ей, должна служить заместителем подлинной активности.

В критике уже утвердилось мнение об Ионеско как о противнике интеллекта. Оно основано на его первых пьесах: «Лысая певица», «Урок», «Стулья»<sup>1</sup>. Комедия «Носо-

роги», пожалуй, впервые ясно обнаруживает причины и сущность антиинтеллектуализма Ионеско. Ионеско восстает против пустошной интеллектуальщины, против всех умствований, которыми забавляются интеллигентные люди, не применяющие своего ума к решению назревших жизненных задач.

В только что приведенном «квартете» Профессор логики воплощает интеллектуальную деятельность, лишенную цели; Жан выражает мораль, которая также не имеет цели. Зачем Беранже быть культурным, если эта культура остается при нем и будет без «отдачи», ибо в его жизнедеятельности, на работе она ему ни к чему?

Философией рождавшегося буржуазного общества был рационализм. Все, что не отвечало требованиям разума, было осуждено на уничтожение. Теперь, когда это общество вступило в эпоху упадка, происходит вырождение его духовной культуры. Декарт, наверное, переворачивается в гробу от тех злоупотреблений логикой, которые Ионеско пародийно представил в образе Профессора.

Удивительно ли, что там, где происходит вырождение разума, где логика стала служить оправданием бессмысленности, появляются носороги? Рассуждения героев Ионеско опять прерываются топотом бегущего носорога. На этот раз под копытами зверя погибает кошка, которая соскользнула с рук проходившей мимо горожанки.

Только что Профессор логики и Старый господин дискутировали проблему: что есть кошка, сколько у нее ног, может ли у кошки быть меньше или больше четырех ног и может ли быть кошка совсем без ног? Кошка, о которой они рассуждают, абстракция. Но существуют настоящие кошки, и одна такая обыкновенная кошка стала первой жертвой носорога. Старый господин и Профессор логики имеют наготове утешение: «Ничего не поделаешь, мадам, кошки смертны».

Пока отхаживают владелицу затоптанной кошки, возникает спор: кто убил кошку — тот ли носорог, который появился в

М. 1964, стр. 93—94; А. Дорошевич. «Человек без качеств» на подмостках. «Театр», № 4, 1965, стр. 138—141. Я не претендую в этой статье на то, чтобы дать характеристику всего творчества Ионеско, поэтому отсылаю читателя к названным работам, отражающим разные оценки писателя в нашей критике

<sup>1</sup> См. Я. Фрид. Фарсы-кошмары Эжена Ионеско. «Иностранная литература», № 6, 1960, стр. 186—197; Г. Бояджиев. Театральный Париж сегодня. «Искусство». М. 1960; Т. Вачелис. Париж плачет, Париж смеется... «Новый мир», № 1, 1961, стр. 255—258; В. Зингерман. Жан Вилар и другие.

первый раз, или какой-то другой? Жан утверждает: «Нет, это был другой носорог. У первого было два рога на носу, это был азиатский носорог, а у этого всего один рог, и это был африканский носорог». Беранже возражает: носорог пробежал слишком быстро, чтобы можно было разглядеть его. К тому же, говорит Жану Беранже: «Ты педант, который даже не знает простейших фактов, потому что один рог у азиатского носорога, а у африканского их два». Друзья ссорятся.

Возникшую проблему берется решить Профессор логики, и опять начинается логическая абракадабра. Прежде всего он устанавливает, что они могли видеть: 1) оба раза одного и того же носорога с одним рогом, 2) оба раза одного носорога с двумя рогами, 3) сначала — носорога с одним рогом, затем — с двумя, 4) или сначала — с двумя, а затем — с одним рогом. Далее, если сначала пробежал носорог с двумя рогами, а затем с одним, то это еще не дает оснований для окончательного вывода. «Ибо,— говорит Профессор,— возможно, что после своего первого появления носорог потерял один из своих рогов и поэтому, когда он появился вторично, то это был тот же самый носорог». Могло быть и то, что оба были сначала двурогами, а потом потеряли по одному рогу. Таким образом, заключает мастер умозаключений, первый носорог был либо азиатским, либо африканским, а второй либо африканским, либо азиатским, «ибо правильная логика не допускает, чтобы одно и то же существо могло родиться одновременно в двух местах». Беранже замечает, что это и без того было ясно и во всяком случае не решает проблему. Тогда Профессор с многозначительной улыбкой разъясняет ему: «Может быть, но зато теперь вопрос правильно поставлен».

«Все это, может быть, и весьма логично,— заявляет Бакалейщик,— но разве можно терпеть, чтобы на наших глазах наших кошек давили однорогие или двурогие носороги, как бы они там ни назывались — азиатскими или африканскими?» Его поддерживают остальные.

Тем временем Беранже, жалея, что он поссорился с Жаном из-за каких-то нелепых носорогов, с досады заказывает двойную порцию спиртного: «Я слишком расстроен, чтобы идти в музей. Своим культурным ростом я займусь в другой раз». На этом заканчивается первое действие.

По сравнению с ранними произведениями Ионеско это уже не антипьееса, а настоящая пьееса, комедия, написанная в классической французской традиции. Такие обыватели встречаются во многих французских комедиях. Профессор логики ведет свое прямое происхождение от педантов Мольера и напоминает учителя логики из «Мещанина во дворянстве».

Пошлая и пустая провинциальная жизнь не раз уже была осмеяна в литературе. Клошмерль Шевалье, над которым мы смеялись в кино, так же нелеп, как и местечко, изображенное Ионеско. Ионеско, однако, изображает не какое-нибудь захолустье, противопоставляемое столице, а все буржуазное общество, погрязшее в тине пошлости и провинциализма. Это общество характеризуется духовным застоем, умственной отсталостью, мелочностью интересов, тупым эгоизмом.

Как же чувствуют себя в этом мире те, у кого еще остались какие-то духовные стремления? Одни, подобно Жану, тешат себя мнимым подобием культурной жизни, такой трескучей интеллектуальной активностью, за которой ничего серьезного нет. Другие, вроде Беранже, опускаются в болото ботемы и живут без интересов, без веры, совершенно равнодушные не только к мелким заботам, но и к большим тревогам нынешней эпохи.

Таким выглядит «культурный» Запад в первом акте «Носорогов».

### 3

В американских театрах нет фойе, где можно прогуляться в антракте. Мы остаемся на своих местах. Я спрашиваю Джона:

— О чем же пишет автор книги об «организейшн мэнах»?

— Он рассказывает об особой группе людей, которые за последние десятилетия фактически заняли господствующее положение в нашем обществе. «Из их рядов,— пишет Уайт,— приходят первый и второй эшелоны нашего руководства».

— Расскажите об этом поподробнее.

— Охотно. Уайт пишет о тех, кто управляет промышленностью, производством, финансами и торговлей. Не о тех, кто владеет, а именно о тех, кто управляет. Они и есть «организейшн мэны». Это служащие корпораций, или, как называет их Уайт, Организаций (с большой буквы). Они от-

нюдь не рядовые клерки. В руках каждого из них сосредоточено управление большими предприятиями и крупными материальными ценностями. Правда, они не владельцы этих предприятий, но фактически они выполняют функции хозяев.

— Это что же — капиталисты без капитала, хозяева без собственности?

— Парадоксально, но это так. Они администраторы, полноправно руководящие большими отраслями производства и торговли, и психологически они имеют все основания чувствовать себя как крупные капиталисты.

— А кто они по происхождению?

— Как правило, они происходят из буржуазной среды. Однако вместо того, чтобы продолжать «дело» отца или заводить свое собственное, они предпочитают поступить на службу в крупные корпорации. Это дает им гарантированный доход, более прочный, чем тот, который имеют мелкие предприниматели.

— Скажите, а что, «организейшн мэны» есть только в коммерческом мире?

— Нет, не только. Конечно, основной массив составляют руководители промышленных и коммерческих предприятий. Но к числу «организейшн мэнов» надо отнести юристов, работающих в корпорациях, а также и некоторые другие интеллигентные профессии. Инженеры, руководящие конструкторскими бюро, химики и физики в лабораториях Организаций, врачи клиник, принадлежащих корпорации, — все они тоже входят в число «организейшн мэнов». Даже священник тоже может быть «организейшн мэном», если он возглавляет какую-нибудь из церковных организаций.

— В чем же отличие этих «организейшн мэнов» от старых дельцов?

— Видите ли, прежние бизнесмены вели собственные дела, а нынешние бизнесмены ведут дела крупных Организаций. Они уже не мыслят категориями личного предпринимательства.

— Значит, господствующая сила вашего общества создала особый бюрократический слой, который занят организацией производства и торговли. Капиталисты уже дошли до той грани, когда они нанимают даже мозги, чтобы они работали за них. И вы говорите, люди этого слоя influential?

— По мнению Уайта, они теперь фактически управляют всем. Таким образом, в

нашем обществе произошли серьезные изменения. Это должно было отразиться и на нашей идеологии, но она, если можно так выразиться, отстаёт от действительных отношений, которые установились в обществе.

— Это ваше мнение?

— Нет, я вам все время излагаю то, что пишет Уайт. Один из главных тезисов его книги состоит в том, что формы и практика общественной жизни у нас одни, а идеология совсем другая, притом такая, которая в корне расходится с тем, что характеризует «систему», как называет Уайт господствующий у нас строй.

— В чем же состоит расхождение между реальными условиями и господствующей идеологией?

— Общеизвестно, что идеологией американцев всегда был индивидуализм. Официально считается, что наше общество и сейчас имеет своим основанием принципы индивидуализма, то есть что оно основано на частной инициативе.

— А разве это не так?

— В том-то и дело, что не так. Современная американская действительность может быть понята только тем, кто усвоит, что все виды деятельности так или иначе оказались в сфере крупных Организаций. Самый принцип работы этих Организаций требует новой морали. Официальной моралью буржуазного общества по-прежнему остается «протестантская этика», философия индивидуализма. На самом деле экономической базы этот индивидуализм уже не имеет.

По мнению Уайта, практически уже возникла новая идеология. Он прямо говорит: его задача помочь осознанию того, что на жизнь надо смотреть в соответствии с реальными условиями, существующими в современном американском обществе. Пора отбросить устаревшие представления о самооценности личности, о том, что она тот центр, вокруг которого вращается жизнь. Это похоже на то, как в средние века верили, что Солнце и планеты вращаются вокруг Земли. Пора в общественной этике принять систему Коперника. Не общество служит человеку, а человек обществу — через посредство Организации, в которой он работает.

— Иначе говоря, по Уайту выходит — если хочешь служить обществу, служи монополиям.

— Но ведь ваша коммунистическая мораль тоже требует того, чтобы человек служил обществу.

— Какое же тут может быть сравнение? Весь вопрос в том, куда и кому идет прибыль. У вас ее присваивают монополии. Уайт мистифицирует все тем, что вместо понятия «капитал» он пользуется расплывчатым термином «Организация».

В книге Уайта есть глава, которая называется «Поколение бюрократов»; она посвящена тем, кто избрал себе профессией службу в крупных Организациях. «Бюрократ в качестве героя — новая фигура для Америки», — пишет Уайт, но значительная часть буржуазной молодежи находит в этом свой идеал.

«Организейшн мэны» стараются жить отдельно от остального населения. Уже возникают поселки в пригородах больших городов, где в домах дачного типа живут целые колонии таких бюрократов. Обитатели таких богатых пригородов представляют собой замкнутую касту. Они общаются только друг с другом. Современное общество переживает возрождение корпоративного начала, которому Уайт дает название «социальной этики».

— Почему американцы считают эту «социальную этику» новой? Это было придумано раньше и нашло применение в Старом свете.

— Что вы имеете в виду? — спросил мой собеседник.

— «Теоретиков» итальянского и немецкого фашизма. Корпоративное государство уже существовало и успело потерпеть крах, как и «система», построенная на лояльности.

— Позвольте, но Уайт пишет совсем о другом...

— Нет, именно об этом. Уайт достаточно откровенно признает, что эра свободного капитализма окончилась. Буржуазия США, правда, еще пытается сохранить внешние атрибуты демократии, но не много уже осталось от нее, если «социальная этика» — этика рабьей верности монополиям, идеология лояльности «системе» — стала последним словом буржуазной морали...

Звонок. Нас ждет второй акт «Носорогов».

## 4

Комната какого-то учреждения, которое издает юридическую литературу. Так как до начала рабочего дня еще осталось несколько минут, служащие обсуждают вчерашнее происшествие: появление в городе

носорогов. Ботар, бывший школьный учитель, считает все это чепухой, газетной уткой. Ему уже пятьдесят лет, но он сохранил живость и резкость суждений. Уверен в себе: знает все, понимает все, судит обо всем. На голове у него берет, он в длинной серой блузе, с очками на длинном носу. За ухом у него карандаш. С ним спорит Дюдар, который намного моложе, ему лет тридцать пять, но он имеет преимущество как любимчик начальника и его ближайший помощник. Бьет девять часов, и пора приступать к работе. В последнюю минуту вбегает запыхавшийся Беранже. Все заняты спором о носорогах: были ли они и сколько их было? Ботар восклицает: «Вот вам образец массового психоза, точно как религия — опиум для народа!»

Начальник отдела месье Папийон, сорокалетний мужчина, усатый, со стоячим крахмальным воротничком, черным галстуком, красной ленточкой ордена Почетного легиона в петлице пиджака, приказывает прекратить бесплодный спор. Но стоит ему уйти с гранками в свой кабинет, как перебранки разгорается с новой силой. В это время в контору поднимается по лестнице полная дама, она входит запыхавшись, и ее усаживают на стул посреди комнаты. Это мадам Беф, жена одного из здешних служащих. Она сообщает, что ее муж не смог прийти на работу. Почему она так запыхалась? Ей пришлось бежать, так как всю дорогу от дома ее преследовал носорог! Он добежал за нею сюда, и слышно, как кто-то начинает топтать по лестнице. Потом раздается страшный грохот: лестница обвалилась. Теперь носорог уже не миф: один из них бродит вокруг этого дома и кричит. Все наблюдают за ним из окна. Мадам Беф присоединяется к наблюдающим и вдруг издает ужасный крик:

— Это же мой муж! О Беф, мой бедный Беф, что с тобой случилось?

Господин Беф<sup>1</sup> превратился в носорога. Его жена падает в обморок. Когда ее приводят в чувство, она заявляет, что не оставит мужа, а Ботар заверяет ее, что он и их профсоюз не откажут Бефу в поддержке теперь, когда с ним приключилась такая беда. Когда Папийон заявляет, что он увольняет Бефа за то, что тот опоздал на работу и к тому же превратился в носорога, Бо-

<sup>1</sup> Здесь игра слов. Беф (Boef) по-французски — «бык».

тар от имени профсоюза служащих протестует против незаконного увольнения.

Призывное рычание носорога настолько подействовало на мадам Беф, что она прыгает в пролет обвалившейся лестницы, падает прямо на спину носорогу, и служащие конторы видят в окно, как тот, трубя изо всех сил, с торжеством уносит свою жену.

Фарс Ионеско приобретает все более ясный смысл: в атмосфере затхлости, отупления, пошлости возникает одичание. Человек возвращается вспять, к первобытной дикости. Мы наблюдаем это не только когда господин Беф превращается в носорога, но и тогда, когда его жена решила последовать за своим супругом.

Во второй сцене второго действия, которая кажется мне лучшей сценой спектакля, мы видим дом, в котором живет Жан. На одной площадке с ним проживают какие-то старички — муж и жена. Жан лежит на кровати спиной к публике и вошедшему в комнату Беранже. На расспросы друга Жан отвечает ворчливыми отрывистыми репликами. Наконец он поворачивается к нему и говорит, что чувствует себя плохо. Он охрип. Кроме того, у него появилась шишка на лбу, прямо над носом. Жан убегает в ванную, где у него висит зеркало, и признает: да, у него вскочила шишка. Он ощупывает ее руками и чувствует, как она растет под пальцами. При этом кожа у него становится зеленоватой.

Продолжая беседовать с Беранже, Жан от времени до времени убегает в ванную. Каждый раз, возвращаясь, он становится все более зеленым. Так сказано в ремарке пьесы. В постановке, которую показывают в Нью-Йорке, отказались от этого слишком прямого иллюстративного приема. Жан там тоже от времени до времени выбегает, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Ему кажется, что он меняется внешне. На самом деле меняется он внутренне, а внешне остается человекоподобным.

Еще не понимая, что происходит с Жаном, Беранже хочет вызвать врача. Следуют мольеровские шутки:

«Жан. Врачи выдумывают болезни, которых не существует.

Беранже. Они делают это с лучшими намерениями — ради удовольствия заботиться о людях.

Жан. Они выдумывают болезни, я тебе говорю, они выдумывают их.

Беранже. Может быть. Но, выдумав их, они затем излечивают от них.

Жан. Я доверяю только ветеринарам.

Мы еще не понимаем в этот момент, почему Жан вдруг стал верить в ветеринаров. Но скоро нам это станет ясно.

Беранже уверяет его, что его заботы вызваны исключительно дружескими чувствами. Жан хриплым голосом злобно отвечает: «Дружбы не существует. Я не верю в твою дружбу... Я мизантроп. Ненавижу людей. Мне нравится ненавидеть их».

И немного спустя Жан добавляет: «Я не то что ненавижу людей, а просто равнодушен к ним, или, вернее сказать, они мне неприятны. Пусть они лучше держатся от меня подальше, не то я их затопчу». И еще: «У меня только одна цель в жизни. И я иду к ней прямым путем».

Когда Беранже рассказывает о том, что его сослуживец Беф превратился в носорога, Жан уверяет его: «Я тебе скажу, это не плохо. В конце концов носороги — живые существа, как и мы. Они имеют такое же право на существование».

Беранже. Да, если в процессе своего существования они не уничтожают нас. Кроме того, надо признать разницу в умственном развитии.

Жан. Тебе кажется, что наш образ жизни лучше?

Беранже. По крайней мере у нас есть моральные нормы, которые несовместимы с нормами этих скотов.

Жан. Моральные нормы! Они мне осточертели. Надо выйти за пределы этих норм.

Беранже. А чем ты их заменишь?

Жан. Природой. У природы свои законы. Мораль противоречит природе.

Беранже. Не хочешь ли ты заменить законы страны законами джунглей?

Жан. Мне бы это как раз очень подошло.

Беранже. Как ты можешь это говорить. В глубине души каждого...

Жан (*прерывает его, ходит из угла в угол*). Жизнь надо перестроить на новых основаниях. Надо вернуться к первобытной цельности.

Беранже. Никак не могу согласиться с тобой.

Жан (*тяжело дыша*). Я задыхаюсь.

Беранже. Ну, подумай. Ты должен признать, что мы обладаем философией, а у животных ее нет. У нас есть незаменимые

ценности, которые человечество вырабатывало веками...

Жан (*из ванной*). Когда мы разрушим все это, нам будет гораздо лучше! (*Жан выбегает из ванной, он рычит.*) Не говори мне о человечестве!

Беранже. Но я говорю о человеческой личности, о гуманизме.

Жан. Гуманизму крышка. Ты устарелый смешной сентименталист.

Он все больше распаляется, и Беранже тщетно пытается утихомирить его. Беранже с ужасом наблюдает превращение своего друга: «Твой рог растет с каждой минутой — ты носорог!»

А Жан выскакивает из ванной и рычит: «Я затопчу вас, затопчу!» И в это время он выбрасывает вперед правую руку, как это делали гитлеровцы, крича «хайль!».

Беранже хочет вызвать швейцара, чтобы схватить друга, превратившегося в носорога. Он сбегает вниз по лестнице и в ужасе возвращается: «Целые стада их наводняют улицу. Армия носорогов движется по проспекту... Орды носорогов! А еще говорили, что носороги живут в одиночестве. Это неправда. Эту концепцию придется пересмотреть. Они сломали все скамейки на бульварах».

Беранже мечется в отчаянии, ломает руки: «Что делать? Носороги! Везде носороги!»

Раздается страшный треск. Это Жан, убежавший в ванную, сильным ударом головы пробил дверь и с рычанием просунул в дыру свою морду. Вылитый носорог!

Антракт.

## 5

Если говорить правду, то беседу с Джоном я придумал. Правда лишь то, что был Джон и в руках у него я увидел книгу Уильяма Уайта об «организейшн мэнах». Книгу эту я нашел в библиотеке, когда вернулся на родину. По ней я изложил некоторые из положений автора.

Одна из глав этой книги посвящена литературе конформизма. Глава называется «Люби эту систему». Здесь рассказывается о том, какое отражение получила в литературе и искусстве идеология капиталистической бюрократии США.

Уайт излагает гипотетический сюжет, в котором, по его словам, как в капле воды отражается вся идеология «организейшн мэнов». Представьте себе, пишет он, среднего чиновника, руководителя, который оказался в беде. Он обнаруживает, что маленькая

фабрика, которой он управляет, вот-вот взорвется. Есть только один путь спасения: нажать определенную кнопку — и взрыв будет предотвращен. Однако в тот самый момент, когда он собирается нажать кнопку, на горизонте появляется его босс, негодяй и дурак, который к тому же сейчас так напуган, что вообще ничего не соображает. Он приказывает: «Не нажимай кнопку».

«Организейшн мэн» вообще не бунтарь по природе. Он знает, что его начальник, хотя и глуп, является представителем Организации. Тем не менее нашему герою хотелось бы спасти всех от гибели. Возникает дилемма: если он нажмет кнопку, то поступит как плохой слуга, но зато Организация и фабрика будут спасены; если он не нажмет кнопку, то покажет себя хорошим «организейшн мэном» и все они будут разорваны взрывом на мелкие куски.

Это, конечно, идиотская дилемма, признает Уайт. Но именно эта ситуация, в сущности, составляет сюжет романа Германа Уоука «Бунт на «Кэйне»<sup>1</sup>, одного из самых крупных бестселлеров на американском книжном рынке в послевоенные годы. Роман разошелся в сотнях тысяч экземпляров и его экранизировали.

Лейтенант Мэрик, офицер небольшого судна, вылавливающего мины, с любовью выполняет свое дело. По всему складу он, что называется, службист. Кораблем, на котором он служит, командует Куиг, психопат, самодур, трус, совершенно непригодный быть командиром.

«Кэйн» попадает в тайфун. Перепуганный Куиг поворачивает судно против ветра. Мэрик пытается уговорить его держать по ветру, ибо это единственная возможность спастись. Куиг, охваченный паническим страхом, отказывается поставить судно по ветру. Кораблю грозит гибель.

Как должен поступить Мэрик? Если он ничего не предпримет, то все они наверняка погибнут. Если он применит статью 184 Морского устава и отстранит Куига по нездоровью от командования, то не миновать ему впоследствии крупных неприятностей.

Мэрик принимает решение. Оказывая Куигу все подобающие почести, он отстраняет его от командования и ставит судно по ветру. Оно трещит, но все-таки держится. Подвиг Мэрика становится особенно очевидным, когда «Кэйн» проплывает мимо переверну-

<sup>1</sup> Hermann Wouk. The Caine Mutiny.

шегося вверх дном военного судна, не выдержавшего шторм.

Потом, однако, Мэрика и остальных офицеров корабля предадут военному трибуналу. Защитник Барни Гринуолд посредством перекрестных допросов делает для судей очевидным, что Куиг — патологический трус. Суд оправдывает Мэрика. Карьере Куига пришел конец.

Затем автор делает совершенно неожиданный поворот. Он вкладывает в уста одного из персонажей следующую речь: «Я вижу теперь, что мы были не правы. Даже если нам попался балда-кипер — это одна из случайностей военного времени, — вам остается служить ему, точно он самый мудрый и лучший командир, покрывать его ошибки, держать судно на ходу и терпеть». Такова рабская мораль конформизма.

Беллетристика не может обойтись без конфликта. Как же поступают буржуазные писатели? Они, по определению Уайта, обходят эту трудность следующим образом: герой сначала не понимает, как все хорошо. Задача автора просто в том, чтобы сбросить завесу, мешающую герою увидеть, что все кругом не просто хорошо, а прекрасно!

Более того, **отныне** в такой беллетристике, рассчитанной на массовое потребление, один из персонажей выступает, так сказать, в качестве аккредитованного представителя «системы», в которой живут и действуют персонажи. «Система» через посредство ее выразителя решает все очередные дилеммы героя, и для того, чтобы герой лучше усвоил мораль, оратор произносит под конец несколько поучительных изречений.

Можно установить такую «закономерность» моральных характеристик персонажей. Раз «система» хороша, то представители ее выражают высшие моральные принципы. Они играют роль главных благодетелей. От них исходят добро, мудрость, справедливость и все то, что делает жизнь прекрасной.

Не случайно, что в беллетристике такого рода значительную роль играют чины и ранги персонажей. Показательно и то, что буржуазные авторы особенно охотно пользуются ситуациями военного порядка. Все это связано с разгулом милитаризма в США, проповедью войны и идеологической подготовкой к ней.

Об этом Уайт молчит. Едва ли он настолько несведущ, чтобы не знать о милитаристских тенденциях значительной части правя-

щих кругов. Военщина — генералитет и офицерство — тоже составляет часть «организмизм-мэнов».

Военные и штатские «организмизм-мэны» в равной мере враги личности и гуманизма. И когда я слышал, как в нью-йоркском театре персонаж Ионеско рычал: «Гуманизму крышка!», «Затопчу!» — мне не казалось, что пьеса далека от действительности.

Накануне нью-йоркской премьеры своей пьесы Ионеско сказал в интервью, данном газете «Нью-Йорк таймс»: «Почему я решил превратить моих героев в носорогов? Потому, что носорог — самое глупое и самое злобное животное в мире, а также и самое уродливое. Все видели, как в нацистской Германии народ превратился в носорогов. Они сами обесчеловечили себя и стали ордой ужасающих разрушительных скотов. Вот почему эта пьеса имеет такой успех в Германии, где ее играют в шестидесяти городах. Немцы сразу же узнали себя. Глупыми и фанатичными их сделали тоталитарная доктрина и массовый психоз».

Как известно, далеко не все фашистские носороги были истреблены. Многие из них оправились и — не без поддержки американских монополий (тех самых Организаций, которые Уайт пишет с заглавной буквы) — снова топают по Западной Германии. Но носорожество может развиваться не только на немецкой почве. Факты современной действительности показывают, что монополистический капитал создал и укрепляет свою систему тоталитаризма.

Ошибочно думать, будто фашизм имеет только такой облик, какой он принял в нацистской Германии. Ведь существовал и итальянский его вариант. Старой системе классового неравенства фашизм создает новое обоснование.

В одном из авторитетных научных изданий дана такая характеристика философии, оправдывающей господство паразитарного меньшинства: «Антидемократическая фашистская идеология, отвергая «миф» политического равноправия, выдвигает теорию элиты, «героев», противопоставляемых «толпе», которая должна, как утверждают идеологи фашизма, беспрекословно подчиниться и слепо верить в «историческую миссию» фашизма».

Основное место в социальной «философии» фашизма занимает реакционная концепция нации и государства. Фашизм, идеология крайнего национализма и шовинизма, воз-

водит государство в абсолют. Государство, по определению фашистских «теоретиков», это высшая форма проявления универсального духа, «имманентное сознание», «воля» нации. Сама нация, согласно концепциям итальянского фашизма, порождается государством. Индивид должен всецело слиться с государством, полностью подчинить ему свою волю»<sup>1</sup>.

«Социальная этика» Уайта — это не что иное, как американский вариант подчинения личности государству.

Есть прекрасная книга, в полной мере раскрывающая облик господствующего класса тоталитарной Америки. Я имею в виду труд американского социолога Райта Миллса «Властвующая элита», давно уже переведенный у нас, но привлечший меньше внимания, чем он заслуживает. Прочитав эту книгу, не трудно убедиться в том, что фашизация уже стала фактом жизни США. Конечно, она прикрывается демагогией. У Америки, видите ли, своя «историческая миссия» — спасти «западную цивилизацию», иначе говоря, удержать привилегии господствующей верхушки, элиты. Мир видит, какова сущность этих «цивилизаторов», по их действиям на земле Вьетнама и в Доминиканской республике.

Правда, в США имеется видимость демократии. Но вот свидетельство современного публициста Кристофера Лаша, который показывает, что честная и мыслящая часть американского общества совершенно бессильна, ибо все средства массового воздействия находятся в руках правящей элиты. Он отмечает, что американская радикально настроенная интеллигенция испытывает отчаяние — «чувство бессилия в гигантской стране, где политические дебаты подчинены органам массовых средств коммуникации, где общественное мнение дезинформированное и направляемое по ложному пути, оканчивается совершенно бессильным, когда надо убедить правительство проводить более либеральную политику, и оно же всецело, когда надо побудить его проводить политику еще более антилиберальную, чем та, которую оно намерено проводить...»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «Современная философия и социология в странах Западной Европы и Америки (Историко-философские очерки)». Под редакцией М. А. Дынника и др. «Наука». М. 1964. стр. 159.

<sup>2</sup> Christopher Lasch. The New Radicalism in America. 1899-1963: The Intellectual as a Social Type. Knopf. N.-Y., 1965: цит. по «The New York Review of Books», May 20, 1965, p. 3.

Если подлинная интеллигенция, вдохновляемая идеалами гуманности и справедливости, хотела бы добиться от тоталитарного правительства действий, направленных на благо народа, то псевдоинтеллигенция подогревает все реакционные тенденции правящей элиты, озабоченной только сохранением своего привилегированного положения. Идеологи элиты предупреждают о всех случаях либеральной крамолы, создают видимость общественного мнения своим шумом в печати, по радио и телевидению. Они кричат громче всех, для того чтобы правительство, чью точку зрения они выражают, могло сказать, проводя реакционную политику: мы делаем то, чего хочет народ.

Ионеско, о котором нам пора опять вспомнить, по-видимому, отдает себе отчет в том, что представляют собой наглые и крикливые идеологи реакционной властвующей элиты во Франции, США, ФРГ и других странах «свободного» Запада.

В интервью, которое я уже цитировал, Ионеско сказал: «Простой человек, по моему, превосходит полуинтеллигента. Нацистские лозунги вырабатывали полуинтеллигенты — нацистские журналисты, романисты, художники, идеологи».

Он прав, полуняйки способны создать только демагогию, хлесткие лозунги. Важен даже не смысл этих лозунгов. Важно, чтобы в них была видимость какого-то принципа. Демагогия фашистского типа не стремится апеллировать к сознанию. Она просто обещает наполнить желудки и карманы. Всякая демагогия имеет и своих фанатиков. Как они появляются, показано в пьесе Ионеско на примере Жана.

Сначала Жан боялся, что другие увидят его превращение в носорога. Но чем больше он становился им, тем больше проникался сознанием своего носорожьего достоинства. Носорог должен считать, что он соль земли. Это компенсирует его неполноценность, которую он хочет скрыть от себя и от других демонстрацией своей носорожьей силы: он может затоптать, и ему кажется, что это дает ему превосходство над полноценными людьми.

Вначале Жан поучал Беранже и советовал ему приобщаться к культуре. При первом же испытании Жан легко поддался массовому психозу, и вот уже этот незадачливый культуртрегер рычит на культуру



громче всех остальных носорогов, грозя затоптать ее...

Третий звонок Начинается последний акт.

Чем же кончится трагифарс Ионеско? Неужели победой носорогов и носорожества?

## 6

Теперь мы попадаем в скромную квартиру Беранже. Она осталась одиноким островком человечности в мире, где восторжествовали носороги.

Беранже спит на тахте, его давят кошмары. Он кричит во сне: «Берегитесь рогов!» Неловко повернувшись, Беранже скатывается с тахты на пол. Его первый жест: дотрагивается рукой до лба, проверяет, не вскочила ли шишка. Беранже с облегчением вздыхает: на лбу ничего нет.

Слышен топот носорогов. Они заполнили весь город. Беранже спрятался от них в своей квартире. Он боится общения с внешним миром, боится заразы, охватившей всех. В нем есть искренность и некоторая наивность. Беранже вовсе не герой, а рядовой человек. Но человечен он несомненно...

Навестить Беранже приходит его сослуживец Дюдар.

Дюдар не испытывает страха перед носорогами. Ему вообще кажется, что Беранже напрасно в такой панике из-за них. «Они не нападают сами,— успокаивает его Дюдар.— Не обращайтесь на них внимания, и они оставят вас в покое». Он советует ему не думать о них, какое ему дело до всего этого?

«Беранже. Я чувствую себя ответственным за все, что происходит.

Дюдар. Не судите, да несудимы будете. Если беспокоиться обо всем, что творится на свете, то невозможно будет жить.

Беранже. Если бы это случилось где-нибудь в другом месте, в чужой стране и мы только читали бы об этом в газетах, тогда об этом можно было бы спокойно рассуждать, рассмотреть вопрос со всех точек зрения и сделать объективный вывод. Можно было бы организовать дискуссии с участием ученых, писателей, поэтов, синих чулков, художников и простого народа. Да, с участием рядовых людей—это было бы весьма интересно и поучительно. Но когда это касается вас непосредственно, когда вы сталкиваетесь лицом к лицу с этими звер-

скими фактами, это вас берет за живое. Это потрясает так сильно, что невозможно сохранить хладнокровие и спокойно смотреть со стороны».

Дюдар уговаривает его не мучить себя, ибо все равно с этим уже ничего нельзя сделать: «Дорогой Беранже, всегда нужно стараться понять. А для того, чтобы понять явление и его последствия, надо сделать умственное усилие и докопаться до первоначальных причин. Мы должны поступать так, ибо ведь мы же мыслящие существа в конце концов. Как я вам говорил, я еще не достиг этого и не знаю, смогу ли, но во всяком случае начинать надо с доброжелательного или хотя бы объективного отношения. Надо широко посмотреть на вещи—такова основа научного мышления. Во всем есть своя логика. Понять—значит оправдать»

«Беранже. Еще немного, и вы присоединитесь к носорогам.

Дюдар. Отнюдь нет. Ни в коем случае. Так далеко я не зайду. Я просто стремлюсь спокойно смотреть в лицо фактам. Я стараюсь подходить ко всему реалистически. И я полагаю, что не может быть дурным то, что возникает естественным путем. Нельзя во всем видеть дурное. Так могут рассуждать только инквизиторы».

Подумать только: самое узколобое, что может быть на свете—носорожество,—оправдывается тем, что, видите ли, и к нему надо подходить с самой широкой точки зрения!

Ионеско прекрасно показал, как у полунинтеллигентных людей рождается психология, которую можно определить словами «применительно к подлости». Горький гениально воплотил эту психологию в образе Клим Самгина. Ионеско не соревнуется с Горьким. Возможно, что он даже не читал его романа, но это не важно, ибо подобные типы существуют не только в литературе и не столько в ней, сколько в жизни.

Современные самгины стали поставщиками идеологии, оправдывающей зло и несправедливость. Их философская опора—релятивизм и скептицизм, которые им служат для того, чтобы подвергнуть сомнению действительные и безусловные ценности нормального человеческого общежития. Послушайте, например, как рассуждает Дюдар:

«Дюдар. Что может быть естественнее носорога?»

Беранже. Для носорога — да, но совершенно неестественно, чтобы человек превращался в носорога.

Дюдар. Это еще как сказать...

Беранже. Нет, это не подлежит сомнению! Ни в коем случае!

Дюдар. Вы напрасно так уверены в этом. Кто может сказать, где кончается нормальное и начинается ненормальное! Можете ли вы дать точное определение того, что нормально и что ненормально? Никто еще не сумел решить эту проблему ни с медицинской, ни с философской точки зрения. Вам бы следовало это знать».

Вот он, этот «высший разум» современного человека, подвергающий сомнению ясное и очевидное! Здесь интеллект служит для того, чтобы обезоружить человека. Разум на службе у безумия, разум, отрицающий разумность, — разве не к этому пришел современный буржуазный иррационализм, и все это совершается во всеоружии «логики».

Во время спора вдруг под окном появляется голова носорога, и на ней канотье, соломенная шляпа знакомого нам из первого акта Профессора логики. «Философ тоже превратился в носорога!» — это восклицание Беранже подводит итог его спору с Дюдаром. Оказывается, логика и философия могут оправдать любую жестокость и несправедливость. А при желании можно отказаться даже от них. Разве так уж необходимо оправдание для притеснений и преследований тому, у кого в руках власть?

Но где же и в чем может сохраниться человечность? В примитивности, считает Ионеско. В пьесе образцом «естественного человека» является Беранже. «Герой моих «Носорогов», — объяснил Ионеско, — более или менее дитя. Лишь он один сохраняет здравый смысл. Только он и понимает, что происходит нечто ужасное. У него человеческое сознание, и это сознание являетсяместилищем первейших человеческих истин».

Философия «естественного человека», как известно, не нова. Она неизбежный спутник глубочайшего кризиса социальной системы. Назад к природе, к простоте, к естественности зовут иные из честных людей, стремящиеся вырваться из пут ложной цивилизации, не оправдавшей надежд человечества. Но Ионеско должен был бы заметить, что враги прогресса тоже зовут к опрощению.

Недаром Жан, превращаясь в носорога, вопит о том, что он возвращается в лоно природы. Не помогает и то различие между двумя концепциями возврата к природе, которое пытается установить Ионеско: дескать, одно дело инстинкт (носороги, Жан), а другое — интуиция (Беранже). И то и другое представляет собой ориентацию на неподвластные сознанию стороны человеческой природы. Различить, где действует инстинкт, а где интуиция, подчас трудно. Превращаясь в носорога, человек может сослаться, что ему это было подсказано интуицией.

Ионеско прав лишь в том, что существуют простейшие, но несомненные и великие основы человечности: истина, добро, справедливость, красота. Они подверглись чудовищным извращениям. Надо очистить жизнь от той софистики, которая превращает ложь в истину, жестокость — в справедливость, уродливое объявляет прекрасным.

Легко сказать — очистить! Ведь мы же видели — носороги победили. Победила «система», как это назвал Уайт. Можно ли бороться с «системой» носорогов? Уайт говорит, что надо признать победу этой «системы», но, ему кажется, ошибочно считать, будто в ней нет места для индивидуальности. Сначала Организация приспособляет личность к себе, а затем личность якобы может приспособить к себе Организацию. Эта словесная эквилибристика не в состоянии скрыть того, что в так называемом «свободном» мире не осталось места для свободы личности.

Путь Уайта — это путь приспособленчества, совершаемого с иллюзией, будто, войдя в Организацию, став в ней «своим», ее можно будет подчинить себе и таким образом осуществлять благие дела.

Это, конечно, наивно. Уайту самому достаточно ясно, насколько могущественна «система». Никакой партизанщиной изнутри ее не переделать. Измениться все может только в том случае, если «система» будет сломлена в самом ее основании. Это старая истина, давно уже установленная и доказанная марксизмом-ленинизмом.

Вымышленный автором Дюдар приспособился к «порядкам», созданным носорогами. Он относится с искренней симпатией к Беранже и, желая ему добра, советует, не артачась, примириться с носорогами.

«Я никогда не присоединюсь к вам!» — кричит Беранже Дюдару.

Между тем людей остается все меньше и меньше. Не только Профессор логики, но и «радикал» Ботар тоже превратился в носорога. Об этом Беранже узнает от своей возлюбленной Марго, пришедшей к нему с новостями. «Он сказал о причине?» — спрашивает ее Беранже. «Он сказал только, что надо идти в ногу со временем. Это были его последние человеческие слова». К этому Марго добавляет, что ее кузен с женой тоже стали носорогами и, насколько ей известно, добрая четверть города уже превратилась в носорогов.

Ботар — незначительная эпизодическая фигура в пьесе Ионеско. Однако надо отдать должное писателю: он отразил в ней печальное явление в эволюции некоторой части левой интеллигенции Запада. Общеизвестно, что немалая часть немецкой интеллигенции тридцатых годов в страхе перед гитлеровскими концлагерями перестроилась на фашистский лад. Но не только там произошло «оносороживание» интеллигенции.

В начале сороковых годов в странах буржуазной демократии наблюдались значительные сдвиги вправо в среде интеллигентов, которые в тридцатые годы поддерживали Народный фронт и так или иначе связывали свои идеи с коммунизмом. В пятидесятые годы в США под давлением маккартизма часть американской левой интеллигенции отреклась от своего прошлого. Нашлись в ее среде люди, которые на допросах комиссии по расследованию антиамериканской деятельности выдавали имена своих товарищей, участвовавших в прогрессивном движении.

Сейчас среди наиболее рьяных защитников «западной цивилизации» и так называемого «свободного мира» встречаются люди, некогда щеголявшие левой фразой. Горестно думать, что люди ума и культуры могут служить реакции и несправедливой власти, забывая о своем долге перед народом и всем человечеством. Среди трагедий XX века эта одна из самых страшных.

Но история о носорогах еще не закончилась. Вернемся к ней.

Слышен страшный топот орды носорогов. Их становится все больше. Они сметают все на своем пути. Дюдар решает, что лучше ему уйти к носорогам, чем оставаться здесь. Беранже пытается остановить его:

«Человек все-таки превосходит носорога». Дюдар отвечает уклончиво: «Может быть, раньше он и превосходил. Но теперь я не уверен в этом. Не знаю. Только опытом можно это проверить». И Беранже с Марго наблюдают из окна, как Дюдар присоединяется к стаду носорогов. Он настолько сливается с ним, что его уже не отличить среди других. «Они все как один, все как один!» — восклицает Марго.

Беранже и Марго остаются вдвоем среди города, полного носорогов. Некоторое время кажется, что любовь ограждает их от опасности. Но Марго не выдерживает. Ей не хочется «спасать мир», как это предлагает Беранже. Она начинает перерождаться. «Настоящие люди — это они, — заявляет пережившая Марго. — Они выглядят счастливыми, они довольны, что они именно такие». Беранже пытается спорить с ней, но она возражает совсем в духе Дюдара: «Не существует абсолютной истины. Где большинство, там и правда, и вовсе не мы с тобой правы».

Носороги начинают уже казаться Марго и красивыми, и музыкальными, и изящными. Она ссорится со своим возлюбленным и уходит к носорогам.

Беранже остается совсем один.

В какой-то миг и его охватывает сомнение — не лучше ли присоединиться к носорогам. Он смотрит на себя в зеркало: может быть, Марго права и человек по сравнению с носорогом уродлив. Да, человек не очень красив, рассуждает сам с собой Беранже, и все-таки он не сдастся. Поздно меняться. «Я пойду один против всех! Я буду бороться против всей этой орды. Я последний, кто остался человеком, и я им останусь до конца! Я не сдаюсь!»

Последние слова Беранже произносит в зал. Он бросает их в лицо публике как вызов, как призыв порвать с миром носорогов и отстаивать человечность.

## 7

Спектакль окончен.

Когда репортеры допытывались у Ионеско, зачем он написал пьесу, он ответил: «Мои «Носорогам» я хочу сказать, что фанатизм лисбого толка — зло. Критики спрашивают: «А что вы предлагаете взамен? Каков ваш вывод?» Я отвечаю: «Писатель не господин-бог. Он не всеведущ. Он человек, как все. Не надо требовать от него

ответов. Он ставит вопросы и требует, чтобы ему самому тоже объяснили. Как и все другие, я ишу.

«Носороги» были написаны с целью вдохновить людей на сопротивление массовым психозам с тем, чтобы они не страдали от чувства своего одиночества... Я не стану предлагать решений, и вообще нет ответов на все случаи жизни. Истина — дело сугубо личное, внутреннее, это то, что каждый должен установить на основе своего жизненного опыта».

Эти слова Ионеско мог бы сказать его герой Беранже. Тот самый, который, по словам автора, «более или менее дитя».

Но герой может рассуждать, как ребенок, а автор, даже если он прячет свои мысли, должен подсказывать читателям и публике недетские идеи.

Слабость Ионеско в том, что он пытается рассуждать вне политики. Откуда такая тенденция — понятно. Грязь, коварство, предательство, массовые убийства, большие и малые войны — вот что стояло за политическими лозунгами, оправдывавшими любые акции буржуазных правителей.

Ионеско, по-видимому, разделяет мнение тех, чьим девизом является: «Чума на оба ваши дома!» Но проблемы гуманности, личности, свободы, культуры в современном мире нельзя решить вне политики. В этом отношении прав Сартр, который считает, что и уклоняющиеся от прямого ответа на вопрос о своей позиции вольно или невольно оказываются «ангажированными», то есть связанными с той или иной линией современной политической действительности.

Чистая человечность безусловно прекрасная вещь, но это же иллюзия. Позиция скрещенных рук — как раз то, что нужно носорогам. Им нужна пассивность всех остальных, чтобы взять в свои руки или удержат уже подвластных им людей.

В современном мире, как, впрочем, и двадцать и тридцать лет тому назад, единственная реальная возможность противостоять носорожеству — это борьба за мир, за социализм, за национальную независимость, за подлинную демократию.

Если ранние пьесы Ионеско были довольно мрачными, но по-своему остроумными шутками о полном отсутствии логики и смысла в нравах, понятиях и установлениях буржуазного мира, то в «Носорогах» у драматурга появляется герой, не желающий

мириться с обезчеловечиванием. Он еще не знает, что ему делать, совершенно не представляет себе, как бороться против мира злобы и тупости, но одно для него ясно: человеком остаться может лишь тот, кто не войдет в орду носорогов, а попытается остаться самим собой.

Едва ли есть необходимость говорить о том, что проблемы, встающие перед героем Ионеско, не могут быть по-настоящему решены в пределах капиталистического строя. Пока существует экономическое неравенство, проблема личности не может получить своего решения, не может она быть решена и потому, что экономическое неравенство дополняется и усугубляется неравенством политическим. Какая демократия может существовать там, где при внешних признаках свободного волеизъявления на самом деле власть все время находится в руках узкой касты, не имеющей ничего общего с народом?

Даже видимости свободы не так много осталось в США. Еще недавно американская пресса уверяла, будто с маккартизмом покончено. На самом деле явные полицейские репрессии были заменены более тонкими, скрытыми мерами воздействия на инвакомыслящих. Но стоило обостриться внутривнутриполитическому и внешнему положению, как машина маккартизма была снова вытащена на свет. Размах движения за гражданские права негров, растущий протест против агрессии и подавления национально-освободительных движений других народов встревожили правящие круги. И вот мы узнаем, что летом 1965 года в США снова активно заработала комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Трехдневная сессия этого фашистского судилища, состоявшаяся в Чикаго, проходила под охраной двухсот полицейских и, сверх того, многочисленных агентов в штатском.

Итак, экономически и политически человек «свободного мира» не свободен. Остается сфера культуры.

В «Носорогах» Ионеско представлено два вида культурной деятельности в буржуазном обществе. Есть в этом обществе «вольные» философы наподобие Профессора логики, которые имеют сравнительно небольшой набор готовых истин, изрекаемых к месту и не к месту. Они совершают вольные упражнения, манипулируя имеющимся у них набором понятий, не очень

даже заботясь о смысле. В потоке их слов нет ни одной живой мысли, ничего, что могло бы понять действительность.

Второй вид интеллектуальной деятельности представлен у Ионеско в виде того учреждения, в котором работает Беранже. Это своего рода идеологическая контора. Заведует ею господин Папийон. Но не он главный начальник. Из текста мы узнаем, что это учреждение подведомственно некоему директору. С помощью иерархии маленьких и больших начальников мышление и культура забюрократизированы.

В книге Уайта есть специальная глава под названием «Бюрократизация ученого»: мыслящая личность становится частью аппарата. Индивидуальная воля, интересы и склонности приносятся в жертву тому, что Уайт называет «групповым» интересом. По существу же люди мысли превращаются в инструменты мысли, работающие на монополистов.

О какой свободе личности можно говорить в обществе, которое забюрократизировалось настолько, что даже исключительная одаренность не ценится администраторами от науки. Для характеристики положения в США показательна та глава книги Уайта, которая называется «Борьба против гения». «Система» предпочитает иметь дело с посредственностями, которых легко запречь для выполнения определенных заданий.

Таково положение личности в современном буржуазном обществе. Я привел два свидетельства — мнение драматурга и мнение публициста. Оба далеки от марксизма. Книгой Уайта я воспользовался как свидетельством, исходящим от человека, который в целом предан «системе» и хотел бы найти пути для преодоления ее противоречий. Уайт как бы говорит: давайте перестанем морочить друг другу голову разговорами об индивидуализме, свободе личности и прочих вещах, которых на самом деле давно нет, и выработаем идеологию, соответствующую действительному положению вещей. Уайт выболтал небольшую долю правды, но буржуазные политики не собираются пока отказываться от своей демагогии. Они по-прежнему утверждают, что их мир — это «свободный мир». Другого от них не приходится ждать, ибо идеология эксплуататорских классов всегда была и будет лживой.

Ионеско претит эта ложь, которой господствующие классы опутывают жизнь

людей. Он, как и Уайт, тоже хочет сказать: перестаньте морочить нам голову вашими выдумками. Но если Уайт пытается иллюзорную идеологию заменить идеологией, якобы отвечающей действительному положению вещей, то Ионеско отвергает всякую идеологию. Он отражает то явление, которое, по определению буржуазного публициста Даниела Белла, есть «конец идеологии».

Смех остался последним прибежищем для людей, которые ни во что уже не могут верить — ни в бога, ни в разум, ни в священные права личности. Ионеско является драматургом, чье творчество отразило именно этот процесс в духовном развитии современного Запада.

Ионеско — мрачный драматург, несмотря на то, что его фарсы заставляют публику смеяться. И все же я не сравню его с Бекетом, который утверждает непреодолимость абсурда жизни. В «Носорогах» есть персонаж, выражающий единственную надежду Ионеско: это Беранже, менее других испорченный лживой цивилизацией, наивный и беспомощный, но при всем том единственный сохранивший черты подлинной человечности.

Несмотря на свою кажущуюся интеллектуальную изощренность, Ионеско наивен. Но, при всей своей беспомощности найти действительные решения противоречий современной жизни, он честен и искренен, и это отличает его от тех писателей Запада, которые разделяют и укрепляют мешанские иллюзии.

Мне, пожалуй, повезло, что я видел «Носорогов» именно в Нью-Йорке. Здесь особенно ошутим контраст между мощью тоталитарной системы монополистического капитала и попытками личности отстоять себя.

Бедняга Беранже, пока существует эта система бездушной власти корыстных интересов, тебе будет трудно в мире носорогов. Но хорошо, что ты по крайней мере не испугался их и не примкнул к ним. Очень многое отделяет нас от тебя, но мы разделяем твою ненависть к носорогам и твою веру в то, что человек когда-нибудь победит этих толстокожих скотов. Но только победит он их не своей наивностью и не «возвратом к природе», а вооруженный реальной мощью, которую человеческий ум способен создать для того, чтобы жизнь расцвела на благо всех. Пассивного

презрения к миру носорогов мало. Все больше людей начинает понимать это.

Вот одно из последних свидетельств печати: «Среди молодежи Соединенных Штатов происходит большой прогрессивный подъем. Массовое движение среди молодежи началось в борьбе за гражданские права негров, которая рассматривалась как вопрос большого морального значения. Теперь оно захватило и вопросы борьбы за мир, в особенности борьбу против американской интервенции в Южном Вьетнаме и Доминиканской республике. Последнее выступление молодежи было против новой охоты на ведьм комитета по расследованию антиамериканской деятельности в течение трех лихорадочных дней в Чикаго»<sup>1</sup>. В Чикаго состоялся митинг протеста, были организованы пикеты, которые в течение всех трех дней заседания комиссии осаждали здание, где собрались американские каратели. Полиция арестовала семьдесят два человека, многие были избиты, но демонстранты не расходились, пока не кончилось судилище.

Комментируя эти факты, видный коммунистический деятель США Гилберт Грин пишет: «В массовом митинге и в пикетировании участвовали все главные организации

борьбы за гражданские права и юношеские организации. Молодежь пришла из всех окрестных университетов. Эта боевая молодежь не является прокоммунистической, но она определенно и не антикоммунистична. Она не хочет допустить маккартизма ни в какой форме. Это наиболее обнадеживающее явление в американской действительности».

Интуицией, господин Ионеско, ничего не сделаешь. Ирония истории заключается в том, что в конечном счете даже носороги вынуждены прибегать к услугам интеллекта, коим сами не обладают. Но это их не спасет. Разум — столько раз побежденный и скомпрометированный — все же существует, и он не может примириться с господством носорогов.

Будет ли конец их царствию?

Будет.

Не так скоро, как хочется людям, живущим под их гнетом, но несомненно будет. В истории человечества не раз бывали периоды страшнейшего мрака. Они кончались.

«Крот истории» роет невидимо. Кончилась черная почва нацистской формы фашизма. Придет конец и другим его разновидностям. Ради этого и работают лучшие умы и все честные люди, которые, как и герой Ионеско, говорят носорогам свое «нет!».

<sup>1</sup> «Daily Worker» (London), 7/VI, 1965, p. 3.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Сергей Львов.** Библиотека, которой еще нет.— **Юрий Полетина.** Никогда! — **Ю. Рюриков.** Пагубные тенета.— **И. Борисова.** В поисках прошлого.— **С. Розанова, В. Фридлянд.** Тургеневский том «Литературного наследства».

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Е. Скрипилев.** Серьезный вклад в историческую науку.— **Вл. Тендряков.** Знакомьтесь — Ломоносов, Франклин, Резерфорд, Ланжевен.— **И. Юньев.** Краеведы-энтузиасты.— **Г. Манаров.** У обочины.

## Литература и искусство

### БИБЛИОТЕКА, КОТОРОЙ ЕЩЕ НЕТ

Из дневников современников. Составитель Г. Марчик. «Молодая гвардия». М. 1965. 496 стр.

Интерес читателей к запискам, дневникам, воспоминаниям, переписке — словом, к литературе «человеческих документов» (термин этот не очень удачен, но прием его, покуда не найден другой, более удачный) — не падает, но растет. Издательская и библиотечная статистика могут это засвидетельствовать.

Но и без свидетельств статистики каждый внимательный читатель помнит, какое впечатление произвели первые публикации документов, открывшие нам имена Сергея Чекмарева, Василия Кубанева, Евгении Рудневой, Нины Костериной. Я назвал четыре имени, мог бы назвать и больше. Прежде этих людей знали только их друзья и близкие, после появления их писем и дневников в печати их образы вошли в сознание читателей с силой и отчетливостью не меньшей, чем образы, созданные на страницах известных литературных произведений. Без них картина времени кажется нам неполной. Так, ни один самый сильный художественный фильм о войне не

заслонит впечатления от подлинных кадров документальных лент.

В отличие от четырех только что названных Марк Щеглов был уже при жизни известен читателю как талантливый литератор. Но когда посмертно были опубликованы его дневники и письма, они помогли понять, как человек столь молодой пришел в своих статьях к зрелости мысли, отразившей время и в чем-то даже опередившей его.

Словом, документальные свидетельства о времени и о себе, страницы, написанные людьми, помышлявшими или не помышлявшими о том, что у этих страниц будут читатели, становятся одним из самых необходимых и влиятельных литературных жанров. Поэтому нельзя не порадоваться тому, что издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу «Из дневников современников».

Книга адресована молодежи. Это определило ее замысел. Он выражен в кратком обращении к читателю: «Эта книга особая.

Она состоит из дневников и писем юношей и девушек. Они входили в жизнь в разные годы. Одни мужали в первые дни революции. Юность других совпала с Великой Отечественной войной, с борьбой за социализм. Есть среди авторов книги и предстатели того поколения комсомольцев, кто первым пришел на целину, на стройки Сибири, кто сегодня состоит в огромной армии молодых строителей коммунизма.

Вот имена тех, кто объединен в этом томе: Люся Лисинова, Вера Хоружая, Николай Островский, Борис Горбатов, Владимир Молодцов, Сергей Чекмарев, Нина Костерина, Василий Кубанев, Петр Сагайдачный, Женя Руднева, Сергей Воропаев, Марк Щеглов, Виктор Головинский, Ляна Даниленко, Рита Власова, Борис Гайнулин, Наталья Притвиц, Геннадий Желобов.

Имена и биографии многих из них общеизвестны. Другие известны менее, но их путь характерен для поколения, которому они принадлежат. Разведчик Петр Сагайдачный погиб в боевой операции на фронте, не дожив двух недель до своего совершеннолетия. А этому последнему бою предшествовали недолгие месяцы службы в армии, работа на военном заводе, школа, отрочество, детство. В плену написаны записки Сергея Воропаева, найденные после его смерти под соломенным матрасом лагерного барака. Деревенский парень, комсомольский активист, солдат, он и в плену не сдался, оставаясь человеком, патриотом, борцом. Виктор Головинский прошел свой путь испытаний после войны — работа на целине, геологическая партия в Восточных Саянах. Библиотекарь в далекой таежной деревне Ляна Даниленко, Рита Власова — фельдшер в Якутии, Наталья Притвиц — молодой ученый Сибирского отделения Академии наук продолжают биографии молодых до сегодняшних дней.

Все авторы этой книги предстают перед нами в пору их юности — они ровесники друг другу и двадцатилетнему читателю. Здесь каждое десятилетие нашей истории увидено молодым взглядом — восторженным и зорким одновременно. И всегда — не сторонним взглядом зрителя, а взглядом участника или по крайней мере человека, страстно стремящегося участвовать в том, что свершается.

«На наших плечах возлежит история», — записал однажды в своем дневнике Василий Кубанев. Самые яркие страницы этой

книги написаны тогда, когда желание быть тем, от кого зависит история, реализуется. Самые горькие страницы — когда обстоятельства ограничивают, затрудняют возможность полнокровного и полноправного участия во всем, что совершается вокруг.

У Марка Щеглова этим внешним обстоятельством была болезнь, и не только болезнь, а те препятствия, какие приходилось ему порой преодолевать, отстаивая право полноценно жить и учиться наравне со своими сверстниками. Для тех казенных душ, которые не хотели допустить его к учению в вузе, он был человеком с медицинскими ограничениями, тогда как на самом деле это был прежде всего человек таланта и безграничного жизнелюбия. Для Нины Костериной тяжелым обстоятельством, в связи с которым ярко проявился ее характер, был арест отца и все вытекающие из этого трудности при выборе будущего пути. Но драматизм личной судьбы не лишил ее мужества и оптимизма.

И еще одно свойство записок, вышедших из-под пера очень разных юношей и девушек, живших в разное время. Люди высокой гражданской активности, они много думают о жизни и о своем месте в ней, тянутся к знанию, хотя все по-своему осмыслить. Может быть, я не ощутил бы этого так остро, если бы с чтением дневников не совпало чтение одной газетной статьи, в которой я прочел: «На первый взгляд, забота об «интеллекте» героя — явление положительное. Но порой это выливается в подмену активно действующего героя героем-созерцателем» (Ив. Куприянов, «Компас театрального корабля», «Известия», 4 июня 1965 года). Как стойки, однако, иные предрассудки!

Авторы дневниковых записей, собранных в книге, были гораздо моложе, чем автор упомянутой статьи, и жили они, во всяком случае большинство из них, гораздо раньше его, а потому не обладали его историческим опытом. Но сколько ни просматривай их дневники, в них не найдешь страха перед тем, что можно оказаться «слишком интеллектуальным», то есть, попросту говоря, «слишком» умным, «слишком» образованным. Если они и страшатся чего-нибудь, то как раз обратного — страшатся, что слишком мало знают, сетуют, что не обо всем всерьез думают. «До суда уже только три недели. Дни летят, а мы хотим как можно лучше использовать время — учимся до из-



неможения», — пишет в 1928 году из польской тюрьмы Вера Хоружая. «Я очень много читаю по теории и истории литературы и культуры... Беда моя и всего моего поколения еще и в том, что мы все знаем. Мы обо всем слышали... Надо заявить себе: я ничего не знаю, — и сесть за все сначала» — это в том же 1928 году пишет двадцатилетний Борис Горбатов. «С уважения к человеческому знанию должно начинаться уважение к человеку вообще» — это пишет перед войной двадцатилетний Василий Кубанев.

Что же касается дневников послевоенных лет — тут и говорить нечего. Тяга к интеллектуальным ценностям — важная сторона записок Ляны Даниленко, Натальи Притвиц и их сверстников. Стремление осмыслить дело и претворить мысль в дело отчетливо выражены на страницах этой книги. Доказательств высокого уважения к интеллекту мы найдем тут множество, убогого противопоставления активности интеллекту не найдем совсем.

Книге этой в целом присуще все, что свойственно юности — обостренная душевная восприимчивость, тяга к решению вечных проблем любви и дружбы, размышления о природе подвига и путях подготовки к нему, лиричность, порой некоторая юношеская декларативность, но всегда — искренность.

И все-таки многие авторы этой книги в жизни еще интереснее, мысли их еще значительнее, раздумья еще шире, чем это отражено в сборнике, где их дневники и письма представлены в кратких извлечениях.

Объем сборника, разумеется, не позволял включить автобиографические документы так полно, как это делалось в отдельных публикациях, скажем, в журнальной — дневников Нины Костериной — или в книжной — Василия Кубанева.

Читатель, которого заинтересуют записки, фрагментарно представленные в книге, захочет познакомиться с ними в более полном виде. Жаль, что составитель не пошел навстречу этому желанию и не указал, где они печатались ранее. Одна строчка библиографии после каждого имени не только не была бы лишней, она просто обязательна.

Можно понять, почему столь кратки биографические справки об авторах этой книги — ведь они сами рассказывают о своей жизни, и составитель прав, когда хочет,

чтобы читатель узнал о ней из собственных свидетельств писавших. Но порою краткость эта становится чрезмерной.

Что произошло с Виктором Головинским в геологической экспедиции? Биографическая справка позволяет догадаться, что он трагически погиб, но прямо этого не сказано. Почему?

Если о записях Ляны Даниленко говорится, что они случайно попали в руки корреспондента, то пути появления в печати некоторых других записок, датированных уже нашими днями, не объяснены, а ведь читателю это интересно знать. И не из праздного любопытства. Автобиографический документ и автобиографический очерк — вещи разные, и природа их восприятия тоже разная.

Словом, при всей оправданной краткости, в справках составителя недостает информации. Зато в них, пожалуй, многовато словесных красот. Из записок Риты Власовой, Натальи Притвиц, Ляны Даниленко, Геннадия Желобова возникают образы людей скромных, дельных и не без чувства юмора. Вряд ли им в качестве предисловия к своим записям ловко читать такие характеристики: «Алмазная россыпь души нашего молодого современника», «в юной душе, словно огромный, огненно сверкающий солнечный шар, все сильнее и ярче горела мечта...» Без такого риторического суесловия книга выглядела бы строже и лучше.

И наконец последнее соображение, выходящее, пожалуй, за пределы этой книги. Можно вспомнить другие «человеческие документы», другие дневники и исповеди молодых людей, которые могли бы по праву войти в нее.

Вскоре после войны отдельной книжкой вышла в свет книга «Дневник офицера» молодого фронтовика Н. Чеховича, недавно был в журнале «Звезда» опубликован дневник вильнюсской школьницы Марии Рольникайте, а несколько лет назад на страницах «Комсомольской правды» публиковались письма молодого партизана Отечественной войны шестнадцатилетнего ленинградского комсомольца Валентина Мальцева. Это только наиболее яркие из публиковавшихся документов. А сколько еще не опубликовано!

Мне пришлось недавно в связи с подготовкой сборника, посвященного студентам

ИФЛИ, погибшим на фронте, знакомиться с письмами и дневниками наших товарищей. И снова можно сказать: многие страницы этих пока еще не изученных и не опубликованных документов могли бы войти в дополненное издание книги «Из дневников современников».

Но и дополненная, она не вместит всего достойного внимания материала. Не настало ли время подумать о библиотеке, которая смогла бы выполнить задачу книги «Из

дневников современников» с неизмеримо большей полнотой?

Перед тем, кто взялся бы за это, открылось бы увлекательное поле деятельности. Ведь такая библиотека потребовала бы не только составления книг из опубликованного, но и отыскания неизвестного. Ни в обилии источников документального материала, ни в интересе читателей к нему можно не сомневаться.

Сергей ЛЬВОВ.

★

## НИКОГДА!

М. Рольникайте. Я должна рассказать. «Звезда», №№ 2 и 3, 1965.

Весь мир обошли переведенные на многие языки записки девочки, рассказавшей о том, как во время оккупации Голландии немцами ее семья пряталась на чужом чердаке, пытаясь избежать истребления, на которое гитлеровцы обрекли еврейское население. Там девочка вела записи о том, что видела и слышала, и «Дневник Анны Франк» стал памятником ужасающих злодеяний фашизма и свидетельством человеческого подвига, потому что девочка бесхитростно и наивно рассказала людям о красоте человеческого духа, преодолевающего страх смерти.

Маше Рольникайте не было четырнадцати лет, когда гитлеровцы ворвались в Вильнюс. Они создали там гетто, куда селили все еврейское население города и откуда завоеватели черпали время от времени человеческий материал. Отобранных отправляли в пригородную местность Понары, где производились кровавые акции — массовые убийства еврейского населения. Целью безжалостного истребления было повесить на воротах города претенциозно-гнусную табличку «Юденфрай» — «Свободен от евреев».

Девочка всем сердцем ощущает трагедию своего народа. Одна из ее записей полна непередаваемого отчаяния: «Что я сделала? Что сделала мама, другие люди? Разве можно убивать только за национальность? Откуда эта дикая ненависть к нам? За что?»

Маша Рольникайте прожила в гетто почти до конца 1943 года. Все это время она стоит на краю могилы, так как каждый день семью могут отправить в зловещие Понары. Перед ее глазами изо дня в день

проходят раздирающие душу сцены прощания детей с родителями, мужей с женами, стариков с молодыми. Примеры самого высокого мужества и беззаветной любви, и рядом — бездны низости и злодейства...

Когда успехи Советской Армии заставили гитлеровцев «ликвидировать» гетто, оставшимся в живых его обитателям объявили об эвакуации в специальные лагеря, где они будут работать. Но этому уже не верит даже малолетняя сестренка Маши: а может, они говорят неправду и погонят в Понары?

Вместе с семьей идет в последний путь Мария, идет, растерзанная отчаянием: «Все живет — каждый листочек, капелька дождя, даже малюсенькая мушка. Она и завтра будет жить, а нас уже не будет... Нет, нет! Я не пойду в Понары! Я останусь здесь! Зароюсь в землю, но никуда не пойду! Я не хочу умереть!»

Как обострены ее чувства на этом пути! Она навсегда запоминает, как щекочет ее шею теплое дыхание сонного Рувика, запоминает робкий вопрос, который младшая сестренка задает матери: «А когда расстрелявают — больно?» Запоминает даже воробья, который «повертел головкой, огляделся и упорхнул. Улетел в ту сторону, за охрану. Воробью можно».

У Рольникайте особое отношение к окружающей природе, признание своей слитности с ней, неразрывности бытия природы и человека. Ее «листочки», «капелька дождя», «маленькая мушка», которые живут и будут жить даже после нас, воробей, которому «можно», словно имеют право на не-

зависимую внутреннюю жизнь, идущую рядом с нашей жизнью..

Смерть еще раз отошла от девочки: на краю города гитлеровец — им еще нужна рабочая сила! — толкает Машу в калитку, а ее семью уводят за оцепление, им путь — в Понары. Мария еще не понимает, что произошло, она просит солдата пропустить ее к матери, не зная, что их разлучили навеки.

Об этом рассказано простыми и страшными словами:

«Вдруг я услышала мамин голос. Она кричит, чтобы я не шла к ней! И солдата просит меня не пускать, потому что я еще молодая и умею хорошо работать... Я кричу изо всех сил: «Тогда вы идите ко мне! Иди сюда, мама!» Но она мотает головой и странно охрипшим голосом кричит: «Живи, мое дитя! Хотя ты одна живи! Отомсти за детей!» Она нагибается к ним, что-то говорит и тяжело по одному поднимает, чтобы их увидела. Рувик так странно смотрит... Машет ручкой...»

За все время в Понарах было уничтожено сто тысяч человек.

Нельзя без волнения читать отдельные записи Рольникайте о жизни ее после того, как она вышла из гетто. Еще полтора года она мучится в лагерях, рассчитанных на истощение человека и отправку его в крематорий, переносит бессмысленные издевательства и побои, голодает у кулака-фашиста. Ее записи этого периода строже и суше, «калейдоскопичнее», из пластических становятся регистрирующими и протокольными: нет бумаги, нет времени, не хватает сил — не только писать, но даже жить.

Ее спасли советские воины. Они открыли ворота забитого сарая и вытащили из него «доходяг», которых фашисты, ликвидируя лагерь, хотели съечь заживо.

В дневнике Рольникайте, при всей молодости автора, поражает одна черта — это зрелая осознанность общности своей судьбы со своим народом, с другими жертвами гитлеровцев. Конкретный виновник зла для нее не только немецкие фашисты, но и их прислужники, те, которые искали своего спасения ценой гибели других. Тут и «юденрат» — совет гетто, созданный из еврейской знати Вильнюса, и полицейские, помогающие гитлеровцам истреблять свой народ, лишь бы спастись самим, и распоясавшийся диктатор гетто, его комендант

Генсас с присосавшейся к нему камарильей из родственников и богатеньких. С недетской пронизательностью девочка предвидит их конец, с чисто девчоночьей непосредственностью делает записи о бесславном конце «юденрата», полицейских и наконец самого Генсаса. Им не помогло предательство народа, не спасли деньги — всех их по очереди отправили в Понары.

Зато с каким уважением девочка записывает, что в гетто есть какая-то тайная партизанская организация, что появились листовки. Она гордится случаями вооруженного сопротивления фашистам, тем, что молоденькая партизанка Ася Биг плюнула в лицо палачу, который ее вешал. С нескрываемой болью она рассказывает о том, что глава партизанской подпольной организации коммунист Витенберг отдал себя на растерзание фашистам, чтобы не допустить истребления гетто. «Сегодня он меня спас. Не только меня — маму, Миру, детей, тысячи матерей и детей...» — записывает она с горем и благодарностью.

«Я должна рассказать» — так назвала Рольникайте свои записи. Она делала их украдкой сначала в ученической тетрадке, потом на кусках мешка для цемента, наконец запоминала наизусть... Это был ее подвиг. Она совершила его, не считаясь с возможностью смерти, в условиях, когда ее легко могли поймать, — в условиях безнадежности и отчаяния. Мы уже говорили о неравноценности ее записей, но и в том виде, в каком они дошли до нас спустя двадцать лет, их нельзя читать равнодушно. «Ее дневник — одна из ужасных страниц истории XX века, написанная кровью», — пишет в предисловии к публикации дневника литовский поэт Эдуардас Межелайтис. Ее записи и воспоминания запечатлели трагедию целого народа, великая любовь и великая ненависть писали ее книгу...

Далеко не всегда литература имеет адресатом человеческую совесть. Но в тех случаях, когда это бывает, такая книга приобретает особое звучание, сзывая живых, пробуждая спящих, предостерегая беспечных и равнодушных.

Можно ли думать, что Рольникайте когда-нибудь согласится простить и забыть то, что видела? Что согласимся простить и забыть мы, ее читатели?

Никогда!

**Юрий ПОЛЕТИКА.**

Конотоп.

## ПАГУБНЫЕ ТЕНЕТА

Евгений Пермяк. Счастливое крушение. Маленький роман. «Наш современник», № 3, 1964.

Все, наверно, помнят времена, когда из нашей литературы стала пропадать настоящая, полнокровная любовь. Люди, о которых Ильф и Петров писали, что «поцелуйный звук для них страшнее разрыва снаряда», старались тогда отлучить плотскую любовь от нравственности и разлучить с ней искусство.

Сейчас у этого ханжеского обкрадывания человека много противников — иногда странных; среди них есть даже такие, которые воюют с аскетизмом по-ханжески.

Герой повести Е. Пермяка «Счастливое крушение» говорит, что в этой повести ему хотелось «зло посмеяться над своим не слишком взыскательным и примиренческим отношением к марьяжному болоту (марьяж — по-французски женитьба.— Ю. Р.), в котором я очутился».

Очутился он там лет сорок назад, когда квартировал у попа. Его прельстили прелести молодой поповны, и жизнь, как сообщает герой, «улыбнулась мне первой улыбкой женщины».

Была весна, пишет он, и все дышало любовью, «и сама земля, высвободившись из-под белого одеяла... не противилась солнцу, целовавшему ее своими день ото дня горячими лучами». Все вокруг напоминало герою его поповну: и «вышедшая на крышу» кошка, и «истосковавшаяся по теплу» пашня, и «зазывное покрякивание уток», и особенно «двусмысленное поведение сизокрылых голубок на базарной площади, то подбегающих к голубям... то убегающих от голубей, как только их воркование становилось настойчивым, нетерпеливым и громким».

Сообщив об этом без всякой улыбки, герой — тоже всерьез — предается социальному самоанализу. «Я вырос в полумещанской семье...— говорит он.— Оказавшись в Сибири, в изломе классовых боев, я хотя и познал и принял иную жизнь, так или иначе участвовал в ее утверждении, но не мог все же окончательно освободиться от родимых пятен прошлого. И они проступили отчетливее с введением нэпа, когда госпожа частная собственность начала открыто плести свои пагубные тенета, ловя в них нередко и хороших людей, которые объездной

путь экономики страны приняли за главное направление».

Громоотвод от критической молнии поставлен. Теперь «хороший человек», который «так или иначе участвовал в утверждении» новой жизни, но которого тенета частной собственности «в изломе классовых боев» заставили принять «объездной путь экономики страны... за главное направление»,— теперь он может заняться воспоминаниями о том, как перед пасхой они с Шурочкой варили самогон.

«— Сережа, милый Сережа, я совершенно пьяна,— весело смеясь, созналась Александра Евгеньевна.— Отнесите меня, пожалуйста, в мою комнату...»

Я исполнил просьбу Александры Евгеньевны и отнес ее.

— Сережа, милый Сережа, не сердитесь,— шептала она, обвиняя руками мою шею.— Я обязательно спущусь с небес к вам, на землю... И может быть, сегодня... Нет, лучше завтра, когда воскреснет Христос...»

Перед нами, очевидно, злой сарказм и насмешка. В разоблачительных, видимо, целях автор наглядно показывает Шурочкино искусство искусства, точь-в-точь такое, как у маркизы, которая соблазняет пажу.

«Как у меня бьется сердце... Вы послушайте, Сережа... Дайте вашу руку, я вам покажу, как оно бьется... И помогите снять кофту».

Разоблачение — уже не в переносном, а в прямом смысле — продолжается. Искусительница завлекает героя еще откровеннее, и автор с чувством, с толком, с расстановкой демонстрирует это завлечение.

«Посидите возле меня,— говорит она.— И если вам вздумается, когда я засну, поцеловать меня в плечо или... или в другое плечо,— это останется на вашей совести».

И оставив эзопов язык, она переходит на язык Мессалины: «Делайте со мной, что хотите,— я не буду знать этого».

Но «не таковы,— информирует герой,— были у меня чувства к Александре Евгеньевне, чтобы я мог последовать ее советам. Она,— продолжает он,— была для меня первой женщиной, ради которой еще так недавно хотелось мне расти, совершенствоваться, работать, не покладая рук, стать ее

мужем, а потом, может быть, и отцом ее детей». Обратите внимание, как высоко-морально выстраивает он очередь своих желаний: сначала — «расти», «совершенствоваться», «работать, не покладая рук», потом — «стать ее мужем», и только потом — «может быть», «отцом ее детей».

Но искустительницу такая очередность не устраивает. Она не хочет, чтобы он сначала рос, совершенствовался и работал, не покладая рук. Она хочет совсем другого. Еще настоячнее она соблазняет юного героя.

«Александра Евгеньевна, раздеваясь при открытых дверях, спросила меня:

— Вы, надеюсь, не смотрите?

— Нет,— ответил я,— я не могу не смотреть, как раздевается женщина, которая для меня все еще не безразлична».

Но и этот стриптиз, над которым так зло насмехается автор, не втягивает героя в пучину наслаждений. И тогда, вспомнив о недавно умершем отце, героиня решает пустить в ход веру в привидения. Вот как выглядит это в изложении героя:

«Просыпаюсь. Кто-то лежит рядом со мной.

— Простите меня, Сережа, я вся дрожу... Отец ходит по комнатам... Мне страшно,— жмется ко мне Александра Евгеньевна.— Не прогоняйте меня. Я могу умереть от ужаса». И опять повторение пройденного: «Посмотрите, как бьется мое сердце. Дайте руку».

Но и тут герой не падает с высоты своей нравственности,— видимо, чтобы автор мог описать еще несколько соблазнов. К сожалению, изобретательность изменяет ему. Привидение вынуждено посетить свой дом еще раз, Александра Евгеньевна вынуждена опять искать спасения в алькове постояльца, а постоялец вынужден снова испытывать муки святого Антония.

Правда, тая в объятиях поповны, он вдруг почувствовал, что «эти объятия будут началом нашей супружеской жизни» и что «самообладание готово было покинуть» его.

Но не тут-то было. Александра Евгеньевна «вдруг выскользнула» из его рук, и тогда герой стал предлагать ей и эти руки и сердце. И они договорились, что он съездит в Омск, а вернувшись, увяжет вместе с ней в марьяжном болоте.

Перед отъездом на вокзал он встретился с Гришкой Каялиасом, мордастым перекупщиком, который частенько посещал их дом

и сейчас был тут же. Конечно, герой проторчал на вокзале до ночи, не смог уехать и пошел домой. По дороге он «наломал безрезовый букет», потому что «девственно-зеленые листочки так соответствовали» его чувствам — тоже, видимо, девственно-зеленым.

И, конечно, дальше все происходит так, как вы догадываетесь.

Подойдя к спальне своей Шурочки, герой заглянул в шелку ставня — и «увидел Александру Евгеньевну и Гришку в такой бесстыдной близости, что незачем было выяснять что-то еще».

Вслед за этим идет мораль эпилога — глубоко нравственная и высоко этическая.

Я, говорит герой через много лет, наверно, выгляжу здесь «законченным мягкотелым ослом на проволочных ножках». «Но что было,— продолжает он,— то было. И, как знать, может быть, давно прошедшее сослужит для кого-то добрую службу. Ведь ходят же и в наши дни среди нас тени бессовестных «шурочек» и «гришек», неотразимых совратительниц «ангелин»...

Вот, оказывается, с какой дидактической и педагогической целью описывалась эта составленная из литературных заимствований любовная совратительность — чтобы предостеречь неопытных юнцов, сообщив им об уловках, к которым прибегают оболстительницы. Что ж, высота этой цели равна ее глубине; на уровне цели стоит и средство, которым она достигается,— смесь откровенной моралистики с сокровенно клубничной начинкой.

Дело, конечно, совсем не в том, что Е. Пермьяк пишет об «эротике», о каких-то совершенно естественных для любви вещах. Если говорить греческими словами, то «эрос» человека, его телесная, любовная привлекательность, не уступает его «этосу» — привлекательности духовной, этической. Дело совсем в другом.

В последнее время у нас — видимо, по примеру прикладных искусств — разрослась как бы прикладная литература. Часто она подделывается под художественную; сюда относятся книги, чьи авторы излагают в беллетристической форме инструкции по подъему отстающего колхоза или морального уровня человека, по строительству завода или построению семьи.

И пока эта прикладная литература жива, может быть, ее потребителям нужны и книги вроде «Счастливого крушения».

Такая литература совсем не противоположна старому, «производственному» подходу к любви, когда та выступала как премия положительному герою за успехи в работе. Недаром так сочетаются в «Счастливом крушении» (и так одинаковы по уровню) любовные описания и упрощенно социологические пассажи.

Кстати, такой социологизм часто попадает в «теоретических» работах о любви, которых немало появилось в последние годы. Вот, например, книга В. Чекалина «Любовь и семья», которая вышла в свет прошлым летом. Исследуя разницу между дореволюционными и послереволюционными временами, автор говорит: «Следует признать, что физическая красота и в наше время играет существенную роль в пробуждении любви...» Этот вывод В. Чекалин добыл научным путем, путем анализа и опроса. «Автор этих строк, — пишет он о себе со стороны, — неоднократно беседовал с различными людьми на моральные темы. На вопрос: «За что вы полюбили жену?» — многие мужчины отвечали: «За красоту».

«Однако, — заявляет автор этих строк, — советский человек сейчас достиг такой ступени духовного развития, когда ему уже недостаточно для устойчивой любви внешне ярких, но мало существенных качеств в любимом существе». Куда важнее для любви другое: «Почет, слава, известность, популярность, окружающие людей труда в нашей стране, — черты новой, социальной, более богатой красоты, чем физическая привлекательность».

Итак, у нас есть два сорта красоты: первый сорт — социальная, которая состоит из почета, славы, популярности, а второй — физическая, которая состоит из «внешне

ярких, но мало существенных качеств». Причем социальная красота — это, если пользоваться словами Руставели, «сон, что избранным лишь снится», а у рядовых и неизвестных людей, которые «не окружены» почетом, славой, популярностью, этой первосортной красоты, видимо, нет.

«В нашем обществе... — новаторствует автор, — шире стал круг достоинств человека, вызывающих восхищение им и любовь к нему». «Уже не имущество и не только физическая красота вызывают взаимный интерес молодых людей (значит, прежде этот интерес вызывало только имущество и физическая красота? — Ю. Р.), а достоинства, рожденные новым общественным строем».

И он перечисляет эти «рожденные новым общественным строем» стимулы любви. На первом месте, как и полагается, стоит «общественное положение» жениха и невесты, потом идет их «образование», потом «трудолюбие», потом «нравственные и умственные достоинства» и только в конце, как придаток, «учитывается в той или иной степени и физическая красота».

Вот, оказывается, какая нынче иерархия любовных ценностей, вот за что и в какой последовательности любят у нас друг друга. Из этой шкалы ясно, что министр у нас больше достоин любви, чем продавщица, потому что «общественное положение» у него выше, профессора любят крепче, чем студента («образование»), а к передовику производства пылают страстью сильнее, чем к тому, чья производительность труда обычна («трудолюбие»).

Такая прикладная теория — достойная пара тому подражательному голому эмпиризму, который терпит крушение в повести Е. Пермяка.

Ю. РЮРИКОВ.

★

## В ПОИСКАХ ПРОШЛОГО

Михаил Лохвицкий. *Неизвестный. Роман.* Издательство «Литература да хеловнеба». Тбилиси. 1964. 316 стр.

Имя героя этого романа читателю остается неизвестным, так же как неизвестно оно всем остальным персонажам, так же как неизвестно оно — и в этом завязка романа и его суть — самому герою.

Последствия контузии оказались тяжелыми: не только покалечены руки и на время потеряно зрение — он потерял память. Все

прошлое, вся предыдущая жизнь, включая собственное имя и звание, забыты. Он неизвестен не только для окружающих, но и для себя самого. С той минуты, когда к нему, лежащему в госпитале, возвращается сознание и он понимает, что ничего не помнит, и начинается роман.

«В голове давящая пустота. Мысли —

мелкие, отрывочные, кружатся все вместе, словно рой мошканы. Если одна отделяется и ее удастся поймать, она всегда не та, которая нужна ему. Она из настоящего. А ему нужно схватить прошлое. Если бы кто-нибудь помог, спросил, напомнил!..»

Роман и разворачивается в этих двух плоскостях — прошлого и настоящего.

Прошлое возникает вразброд: случайными картинками-вспышками — из разных времен, возрастов, состояний. А настоящее разворачивается естественно, несбивающейся цепочкой. Но это прошлое герою куда дороже. Ведь, вспоминая, он не только реконструирует имена, факты, даты, но добирается до самого себя, выясняет, «что есть Я». Не случайно повествование о прошлом ведется от первого лица.

А настоящее, лишенное основы, лишенное истории, кажется только зыбкой пленкой, которую ничего не стоит порвать и уничтожить. Поэтому таким чужим и непрочным чувствует он себя в этом настоящем, хотя здесь сейчас в отличие от прошлого все связи отчетливы, прямы и непрерывны. Есть врачи, медсестры, соседи по палате; с каждым из них складываются свои простые или сложные, хорошие или плохие отношения, в которых сегодняшний день зримо вытекает из вчерашнего и впадает в завтрашний. Но ведь это настолько поверхностно, настолько, как ему кажется, далеко от него самого, что деликатный автор, не торопя своего героя, не заставляя его раньше времени обрести себя, когда говорит о настоящем, пишет о герое в третьем лице, называя его Неизвестным.

Итак, герой стремится пробиться в свое прошлое. «Узнав, что он может надеяться только на самого себя, он словно раздвоился. Одна часть стала заскорузлой и равнодушной, другая продолжала воспринимать все, что происходило вокруг. Он ненавидел себя за слабость. Интерес ко всему, что не могло ему помочь, казался предательством. Он был обязан отодвинуть окружающее — погрузиться в себя и упорно бить в стену, чтобы вспомнить не только себя, но еще что-то очень важное и необходимое».

Что это — история болезни? Стоит ли писать роман, чтобы показать медицинский феномен, хотя бы и очень любопытный? Но подобно тому, как в истории летчика Мересьева победа над травмой превратилась

в торжество человеческой воли, убежденности, страсти, так и в истории, случившейся с Неизвестным, травматологический случай дает писателю возможность исследовать весьма важные свойства человеческой натуры, взятые при этом не отвлеченно, а принадлежащие определенному времени. Но, точно найдя эту возможность, М. Лохвицкий использует ее очень робко.

Он очень серьезен в своих вопросах и интересах. Но, выбирая пути, на которых их можно познать, разгадать, он бывает слишком торопливым и оттого легкомысленным. Поэтому роман его разительно противоречив.

Своеобразие и сложность ситуации, избранной М. Лохвицким, заключается в том, что у его героя под угрозой оказывается не только судьба профессии, но и судьба личности — ведь оборваны самые первоначальные жизненные связи, без восстановления которых он дальше не может жить, без которых для него невозможно дальнейшее нормальное кровообращение между ним и миром. Человек здравого смысла и ясной головы, он не может, однако, начать свою жизнь заново с любой новой точки, а ведь такой вариант возможен и даже наиболее легок. В самом деле, он сейчас взрослый, зрелый человек со сложившимся характером и сложившейся моралью. Зрение ему возвращено, лицо путем пластической операции восстановлено, руки тоже будут вылечены. В госпитале у него появились друзья, появилась большая любовь, на которую он уже готов ответить. Живи себе да живи. А ему не живется.

Гейне говорил, что под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история. В своем романе М. Лохвицкий пытается показать непрерывность и неразрывность этой истории. Он совершенно справедливо исходит из того, что все прожитое человеком не только факт его биографии, но реальная плоть его души. Поэтому прожитое существует в человеке действительно и каждоминутно, оно участвует в каждой новой минуте его существования. Участвует мать и сложные отношения героя с ней. Участвуют трое фронтовых друзей, подвиги, и обиды и гибель которых живут в его душе. Участвует множество случайных встречных, которые тогда, казалось, скоро забылись, а сейчас выясняется — оставили свою борозду.

Сейчас, когда прошлое потеряно, забыто, Неизвестный ощущает эту потерю необычайно остро, как нечто противоестественное. Не замечает он только одного — что новая жизнь, от которой он отмахивается все имя прошлого, в которой он искал только поводов и зацепок, чтобы это прошлое вспомнить, незаметно для него самого тоже уже лепит свою историю, которая входит в него той же реальной плотью, что и та, забытая жизнь.

В конце романа, когда он вспомнил все, восстановил все звенья и само повествование — теперь уже сплошь — начало идти от первого лица, Неизвестный подытоживает:

«Мое Я выпрыгнуло из времени так стремительно, что я растерялся... Казалось бы, ты вернулся к прошлому, но ты уже не тот, который был... Ты не тот матрос, каким был, и не тот Неизвестный, каким был... Лишь — в одном — главное, ты остаешься прежним — ненавидишь то, что ненавидел, и любишь то, что любил».

Потому-то ему и удается сравнительно быстро восстановить забытое, что нынешние переживания и страсти выхватывают из памяти прошлые. Нынешняя ненависть заставляет вспомнить прошлую ненависть. И любовь тоже вспоминается через любовь. Нынешняя ненависть к соседу по палате Бесфамильному, который мечтает разбогатеть на вывезенном из Германии чемодане трофейных иголок, постепенно вызывает в его памяти другую ненависть — к случайному пассажиру, которого он и его друзья матросы приняли за спекулянта и отобрали сало, чтобы отдать его голодным детям, ехавшим в том же поезде.

Но в жизни все не так-то просто. Слепший на фронте Бесфамильный кончает жизнь самоубийством, потому что, как ему кажется, с миллионом награбленных иголок у него отберут последнюю надежду на богатую жизнь, о которой он так мечтает. А пассажир в поезде, оказывается, был вовсе не спекулянтом, а честным рабочим человеком, который выменял на сало для своих детей последнее тряпье. Да и в отношении к Бесфамильному теперешнее наказание, пусть даже справедливое, оказалось неосмотрительно резким. Благородная принципиальность обернулась жестокостью. Повторяются и чувства, и ошибки чувства.

Он не разрешает себе ответить на любовь медсестры Зины, которая нравится ему,

потому что, хотя он и не может вспомнить венгерскую девушку Илонку, встреченную в освобожденном Будапеште, в нем живы любовь, преданность и ответственность перед ней, пусть они сейчас и безымянны.

Это память чувства, память, не подверженная разрушению, это врожденные и обретенные «каркасные» свойства натуры, которые, собственно, и являются ее материализованной историей и которые не позволяют сводить эту историю к мимолетности, скольжению событий и лиц.

В самом деле, восстанавливая вместе с Неизвестным его прошлое, мы видим в этих очень и не очень давних событиях корни его сегодняшних ощущений и поступков, побуждений и решений. В сбивчивой линии прошлого М. Лохвицкий ищет наиболее драматические, наиболее «влияющие» моменты, вроде ухода матери из семьи или истории капитуляции румынского судна и похорон немецкого офицера. Каждый из этих эпизодов написан отличным рассказчиком, чувствующим ритм новеллы, знающим цену острой психологической интриги. Правда, порой он бывает склонен к литературщине — так, история любви к Илонке выглядит откровенно декоративной. Но на такого рода просчетах вкуса не хочется останавливаться, потому что по мере чтения романа возникает куда более коренное возражение, которое рождается и слабыми и сильными эпизодами в равной мере.

М. Лохвицкий взялся писать о вещах тонких, сложных, имеющих отношение к основам человеческого бытия. Его интерес искренен, ни в малейшей степени не подделан и не претенциозен. Действие романа разворачивается на стыке биологической и социальной жизни человека, где, казалось бы, вневременные, чисто физиологические свойства человеческой психики оказываются прочно связанными с его психологией, которая исторична. Причем разворачиваются в момент, когда эти связи обнажены, потому что нарушены.

Сюжет выбран серьезно, смело, но обаяюще. Первые ощущения Неизвестного, когда он только-только «вынырнул» из небытия и начал восстанавливаться самые первоначальные координаты (эти страницы цитировались вначале), написаны М. Лохвицким бережно и терпеливо. А дальше начинается спешка. Спешка эта сказывается отнюдь не в торопливости и беглости письма — нет, писатель подробен и обстояте-



лен. Спешка сказывается в упрощенности, порой даже грубости художественного исследования.

Звенья воспоминаний отличаются в романе друг от друга только своим местом в хронологическом ряду, но не качественно. А ведь в действительности они бывают по-разному и отчетливы, и полны, и остры, и драматичны. Один и тот же эпизод может представиться по-разному воображению, недавно очнувшегося, выбитому из колеи, и воображению, нашедшему равновесие и привычность. Здесь писателю надо учитывать напряжение пробуждающейся памяти, которая по-разному окрашивает воспоминания только-только родившиеся и более поздние. И не только это.

Вся сегодняшняя жизнь человека, сегодняшнее его состояние откладывают неизбежный отпечаток на его воспоминания о прошлом. Меняется освещение. Меняется окраска. Словом, время знает и обратную связь.

М. Лохвицкий все это сознает. Об этом в романе говорится немало. И все-таки стоит ему, рассказчику, приступить к прошлому, как он тут же как бы забывает сегодняшнего Неизвестного, а ведь повествование ведется практически от первого лица. Новеллы-воспоминания оказываются слишком независимыми, автономными. Писатель рассказывает одну историю за другой то живо, то надуманно, то ярко, то вяло, и постепенно, когда читаешь эти страницы, начинает казаться, что вся история с травмой, с потерей памяти — только повод поделиться с читателем или слушателем всякого рода жизненными бивальщинами.

Наконец эти новеллы-воспоминания сами по себе, кажется, так увлекают автора, что он как будто забывает, насколько они важны — в этом их главная роль — как духовная предыстория героя, как источник его сегодняшнего характера. Оттого, что нам ясны ход события и его мораль, не значит, что мы видим, как оно отстоялось в характере.

Как психолог и романист М. Лохвицкий понял одно важное обстоятельство — что память человека не механична, что не факт цепляется за факт, событие за событие, что память рождает и поддерживают все силы природы, все накопившиеся чувствования. Поэтому-то ключ к роману в том, что чувства вызывают и обновляют чувства же, а

не только случайные ассоциации «по сходству».

Верно, что любовь медсестры Зины и чувство ответственности перед ней заставляют Неизвестного вспомнить наконец Илонку, а сходный цвет волос, пронизанных солнцем, оказался только последним толчком, поводом, чтобы восстановить забытое. Принцип верен. Он точно выразился в композиции романа, в развитии этой, к примеру, сюжетной линии. Но, кроме линий, проложенных на карте, существуют земные колеи со всеми рытвинами и кочками, которые надо ощущать каждоминутно, чтобы почувствовать прелести и невзгоды этого маршрута. И вот здесь-то роман оказывается часто слишком пунктирным, слишком условным, слишком по сути дела бесплотным.

Травма, которую нанесла в детстве ушедшая из дома мать, самопожертвование, несправедливости, успехи, которые испытаны были Неизвестным и тремя его фронтовыми друзьями, случайная девчонка на станции с ее непризнанной красотой и случайная любовь в теплушке, где ехали эвакуирующиеся женщины и дети, схватка со «спекулянтом», оказавшимся честным человеком, — все эти впечатления способны были «образовать» и более сильно натуре. И все это действительно необходимо для той истории, которую рассказывает М. Лохвицкий. Необходимо, но недостаточно.

Стремясь исследовать «историю одной души», движение времени в его непрерывности и неразрывности, писатель на самом деле берет несколько хотя и важных, но неподвижных точек, а все пространство между ними оставляет как бы незаполненным.

Живая ткань переживаний, воспоминаний, ощущений героя во всей подвижности ее взаимопереходов и взаимопревращений, та живая плоть души, характера, в которой прежде всего и овеществляется связь времени и чему, собственно, отдан пафос романа, — все это соткано автором из пряжи жестковатой и негибкой. А здесь требуется очень тонкое руно.

Чтобы то чувство историзма человеческого характера и судьбы, которое М. Лохвицкому несомненно присуще, выразило себя — для этого нужна другая художественная материя.

**И. БОРИСОВА.**

## ТУРГЕНЕВСКИЙ ТОМ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»

«Литературное наследство», т. 73. Из парижского архива И. С. Тургенева. Книга первая — неизвестные произведения И. С. Тургенева, 582 стр.; книга вторая — из неизданной переписки, 507 стр. «Наука». М. 1964.

Парижский архив Тургенева издавна привлекал исследователей литературы. Ведь именно там следовало искать многие недостающие звенья биографии художника, там оставалась огромная часть его переписки, рукописи, черновые планы и наброски.

Новые материалы, опубликованные в двух книгах «Литературного наследства», обогащают наше представление о Тургеневе — писателе, художнике, гражданине, приближая к нам его как человека, раскрывают многогранность этой щедро одаренной природой личности.

Материалы парижского архива и исследовательские работы, их осмысляющие, вносят существенные дополнения в историю работы Тургенева над своими произведениями и, в частности, над «Записками охотника». Впервые публикуемый на страницах «Литературного наследства» незавершенный рассказ «Русский немец и реформатор» (он не вошел в книгу «Записок охотника» лишь по цензурным соображениям) рисует нам остро сатирический, «щедринский» образ цивилизованного помещика, «русского немца». Благообразный деспот, доводивший людей до иступления мелочным «беззлобным» тиранством, — герой рассказа оказался, по собственному признанию Тургенева, «поразительно похож» на императора Николая Павловича...

Черновой план первого тургеневского романа «Два поколения», занимавшего воображение художника в течение почти шести лет (1850—1855), интересен с другой точки зрения. Творческая история этого неудавшегося романа убеждает в том, что уже в начале пятидесятых годов писателя захватили поиски «центрального» характера, героя русской жизни. В сущности, это означало для Тургенева переход к созданию произведений, посвященных нравственным, духовным исканиям русской передовой интеллигенции.

В том же томе мы впервые знакомимся с интересным поздним замыслом писателя. Перечень персонажей романа о русских революционерах, названного «Наталья Карповна», писатель продиктовал Полине Виардо за несколько дней до кончины. Об одном из его героев сказано: «Новый в России

тип — жизнерадостный революционер». До конца дней автор «Нови» остался, таким образом, верен себе, своим привязанностям.

Листая страницы тургеневского тома, обращаешь внимание и на другие новые материалы. В разделе «Критические статьи» публикуется неизвестная до сих пор статья Тургенева «О современной русской литературе. Пушкин—Лермонтов—Гоголь», написанная им еще в 1845 году для популярного французского журнала «Illustration». «Символом веры» Тургенева можно назвать следующие строки статьи: «Те, кто имеет обыкновение изучать современное состояние и будущую судьбу народов, отлично поймут, что в наше время взволнованное изображение отрицательных сторон человеческой жизни, сожаление о том, чего людям недостает, — должно пробуждать сильнейшее сочувствие».

Особое место среди других материалов тома занимает публикация И. С. Зильберштейна «Выставка художника В. Верещагина». Эта работа открывает неизвестную страницу в истории русской культуры. Творческий почерк замечательного русского живописца-реалиста был особенно близок Тургеневу. Тургенев собирался даже написать книгу о Верещагине, рассказать его историю. Обоих русских художников объединяли ненависть к войне, разрушению, любовь к человеку и природе, активное сочувствие национально-освободительной борьбе славянских народов. Есть что-то закономерное и естественное в том, что автор «Накануне», создавший образ Инсарова, особенно выделял среди картин Верещагина его «балканский цикл». «Это военные сцены, — писал Тургенев в открытом письме о выставке художника, — лишнные, однако, всякого шовинистического духа. Верещагин не думает поэтизировать русскую армию, рассказывать о ее славе, а стремится показать все стороны войны: патетическую, уродливую, страшную, равно как и другие, в особенности же психологическую сторону, предмет его постоянного внимания».

Писатель-прозаик, поэт, драматург и критик, Тургенев известен еще и как либреттист, соавтор Полины Виардо, писавшей на его тексты музыку. Либретто оперетт

«Последний колдун», «Слишком много жен», «Зеркало», музыкального водевиля «Ночь в гостинице Большого Кабана» написаны легко, изящно, с тонким и лукавым юмором, порою иронично. Долгое время тексты тургеневских либретто оставались неизвестными, и только теперь мы наконец можем их прочитать, кстати, в хороших переводах. К этим, казалось бы, «пустячкам» писатель относился со всей серьезностью профессионала — об этом говорят тщательно правленные им автографы.

Куртавнельское общество, окружавшее писателя, отдавало свой досуг не только музыкальным спектаклям. На протяжении более чем двадцати лет (1856—1877) друзья, близкие, знакомые писателя и семьи Виардо были увлечены так называемой «игрой в портреты». «Как отлично мы проводили время в Куртавнеле! — писал Тургенев в октябре 1856 года своему другу В. П. Боткину... — Мы играли отрывки из комедий и трагедий... переиграли все симфонии и сонаты Бетховена... потом вот еще что мы делали: я рисовал пять или шесть профилей... и каждый писал под каждым профилем, что он о нем думал... Я сохранил все эти очерки — и некоторыми из них... воспользуюсь для будущих повестей». Около двухсот таких профилей и словесных их характеристик, принадлежащих Тургеневу и Виардо, стали теперь нам известны. Связь многих тургеневских «подписей» с образами его художественных произведений очевидна, и легко представить себе, что среди портретов, набросанных рукою мастера, можно отыскать героев его неосуществленных книг.

«Автобиографические записи» принадлежат к самым волнующим страницам новых публикаций. Их читаешь с каким-то особым чувством — ведь происходит первое знакомство с очень личными строками писателя, никогда не предназначавшимися для посторонних глаз.

«Мемориал» — так названа краткая канва наиболее важных событий в жизни Тургенева начиная с 1830 по 1851 год. Почти все, что занесено рукой писателя в «Мемориал», было известно из его собственных писем, писем его друзей, из воспоминаний современников. И главная ценность этого необычного мемуарного памятника не в том, что он вносит некоторые уточнения, поправки и дополнения в летопись жизни Тургенева, хотя и это важно. Самое ценное здесь — о т б о р событий, запись того, что сам Тур-

генов считал значительным, оставившим след в его жизни. «Мемориал» — документ глубоко интимный, — заключает автор публикации Андре Мазон, — и вся ценность его — в полной искренности».

«С 1851-го г(ода) я стал вести дневник...» — предпоследняя запись в «Мемориале». С 1851 года и до конца своих дней, то есть больше тридцати лет, как убедительно доказал автор публикации «Последний дневник Тургенева» И. С. Зильберштейн, писатель вел дневниковые записи. Но следы этого полного дневника давным-давно потерялись, и даже появилось сомнение в том, что он вообще существовал.

Исследователь убеждает нас в том, что дневник — неотъемлемая часть творческой внутренней работы писателя. Что значил дневник для Тургенева, с каким поистине рыцарским чувством он относился к высокой миссии художника, можно судить по одному весьма примечательному его высказыванию: «...писатель не может, не должен поддаваться горю!.. он чувствует сильнее других. Но потому-то он и обязан держать себя на узде, обязан решительно всегда наблюдать и себя и других... например, случилось с тобой большое горе,— садись и запиши... Горе пройдет, а превосходная страшица останется...»

Последний дневник Тургенева, который он вел уже неизлечимо больной, с ноября 1882 года по январь 1883 года, лаконичен и суров, в нем нет места отчаянию и сентиментальности. Чужая краткие записи, понимаешь смысл тургеневских слов «держатъ себя на узде». Внутренняя собранность Тургенева в его борьбе с сонмищем одолевающих его недугов создает нечто новое для нас, мужественный и вместе с тем мягкий облик писателя в последний год его жизни.

Почти не покидающий своей комнаты, подолгу вынужденный лежать в постели, Тургенев остается деятельной личностью, полной любви к людям. Он всегда готов был прийти на помощь «дерзанию», «непокорности». Странички дневника пестрят фамилиями тех, кто стоял у «порога» революции — изгнанников, политических эмигрантов. О некоторых мы узнаем впервые: это русский революционер Н. П. Цакни, бежавший из ссылки за границу, болгарский патриот и революционер К. Плевако.

Вторая книга «Литературного наследия» целиком посвящена эпистолярному жанру.

Читатель найдет здесь семьдесят девять писем автора «Отцов и детей», адресованных одному из видных идеологов революционного народничества П. Л. Лаврову, четыре письма к Н. В. Чайковскому, с именем которого связана известная революционная организация «чайковцев», три письма к английскому политическому деятелю и издателю критико-библиографического журнала «Аthenaeum» Чарлзу Дилку. Более масштабны и по составу и по содержанию разделы, составленные из писем к самому Тургеневу. Правда, сенсационных открытий тут мы не найдем. Не разыскано пока ни одно из десятка затерявшихся писем Л. Н. Толстого, нет здесь и писем Герцена, которые значатся в списках не дошедших до нас текстов. Но семь писем одного из редакторов «Современника» И. И. Панаева, сорок семь писем А. Ф. Писемского, четырнадцать писем Я. П. Полонского, сорок восемь писем М. А. Маркович (Марко Вовчка), то есть писателей, чье эпистолярное наследство до настоящего времени еще не собрано, весьма интересны и в отношении собственно тургеневской темы, да и сами по себе.

Письма Панаева писались в те переломные для «Современника» годы, когда началась процесс отмежевания демократической мысли от той, которую Панаев охарактеризовал как «гнилсй консерватизм». «Мы с Чернышевским,— сообщал Панаев в одном из писем Тургеневу,— употребляем все усилия, чтобы придать журналу разнообразие направления и значение, и потому советуемся об этом часто». Он и к Тургеневу обращается с просьбой о поддержке журнала: «Ждем от тебя советов, наставлений, указаний для придания журналу свежести и современности». Письма Панаева, снискавшего репутацию легкомысленного жуира, франта и даже хлыща, рисуют его здесь совсем в другом свете — как энергичного журналиста, страстно преданного «Современнику».

В одном из писем к П. Л. Лаврову Тургенев коснулся проблемы «общественной нравственности». Как явствует из писем, впервые ставших нам известными, это означало для него глубокую личную ответственность, внутреннюю честность, активное сочувствие всякой деятельности, защищающей интересы народа. Переписка с Лавровым показывает, что Тургенев, в сущности, вопреки своим политическим взглядам и убеждениям, оказывал активную помощь

русской революционной эмиграции, субсидировал создание журнала «Вперед», организовывал литературно-художественные вечера в пользу эмигрантов.

Никогда не отказывал он эмигрантам и в литературном совете. В своих письмах он подверг подробному разбору пропагандистские издания типографии «Вперед», предостерегал от опасности впасть в простонародный стиль, ибо «это может только сбить с толку мужика». «Мне кажется,— писал Тургенев,— такие книжки должны быть писаны гораздо проще и толковее и безо всяких (даже реалистических) литературных затей».

Переписка Тургенева с Лавровым может служить как бы реальным комментарием к известным словам народолюбческой прокламации, выпущенной в связи со смертью писателя: «Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру, «постепеновец» по убеждениям, Тургенев, быть может, бесознательно для самого себя своим чутким и любящим сердцем сочувствовал и даже служил русской революции».

Маркович в одном из своих писем приводит слова Тургенева: «Что такое добрый, честный человек? Что такое злодей? Что правда — неправда? В сущности, все одинаково». Эти слова, разумеется, не более чем парадокс, шутка, ибо из всех материалов, с которыми нас познакомил «Литературное наследство», встает облик художника, твердо знавшего, «чтс такое добрый, честный человек». Все его отношения с современниками — и, в частности, бескорыстная поддержка Я. Полонского и А. Писемского — свидетельствуют о большой душевной щедрости, о подлинной доброжелательности, лишенной какого бы то ни было оттенка приторной сентиментальности.

Обе книги тургеневского тома сделаны в лучших традициях «Литературного наследства». Их отличает прежде всего высокая культура исследования, широта взгляда в сочетании с точностью и полнотой аргументации, подчеркнута бережное отношение к историческим фактам. Правда, на этом пути встречаются некоторые излишества — мы имеем з виду перегруженность сопроводительного аппарата порой второстепенными сведениями. Но в целом статьи и примечания, основанные на большом, часто совсем новом материале, расширяют границы публикаций, служат как бы естественным их продолжением.

Тургеневский том «Литературного наследства» много даст для будущего капитального биографического труда о русском писателе. Отрадно, что наряду с советскими учеными деятельное участие в создании этого интересного тома принимали ученые Фран-

ции (Андре Мазон, Анри Гранжар, Робер Оливье), ГДР (Хорст Раппих, Грегор Швириц), Англии (Моника Партридж).

С. РОЗАНОВА,  
В. ФРИДЛЯНД.

★

### Политика и наука

## СЕРЬЕЗНЫЙ ВКЛАД В ИСТОРИЧЕСКУЮ НАУКУ

Е. Н. Городецкий. Рождение Советского государства. 1917—1918 гг. «Наука». М. 1965. 531 стр.

Выход в свет этого труда, посвященного пока еще недостаточно разработанной теме — рождению первого в мире социалистического государства,— приметное явление в исторической науке.

В книге раскрыт сложный процесс создания Советского государства, прослеживается выдающаяся роль в этом Коммунистической партии и В. И. Ленина. Автор убедительно опровергает измышления буржуазных историков о «случайности» победы Октября. Он подвергает резкой критике фальсификаторов истории возникновения Советского государства, показывает их классовую ограниченность и прислужничество перед империалистической реакцией.

Е. Н. Городецкий проделал огромную работу по исследованию архивных источников и изучению литературы, собрал богатейший фактический материал, и это помогло ему нарисовать яркую картину становления советской власти и создания государственного аппарата

Что же нового вносит эта монография в наши представления о том, как происходил слом старого государственного аппарата и создавался аппарат пролетарской диктатуры?

Не секрет, что еще не так давно у кое-кого складывалось впечатление, будто достаточно было пролетариату пожелать слома старой государственной машины, чтобы это осуществилось просто и безболезненно. В действительности этот процесс был сложным и трудным, что и доказывается всем содержанием книги. Важное достоинство ее состоит еще и в том, что автор трактует многие вопросы не только с позиций историка, но и юриста. Он анализирует структуру, функции, компетенцию, правовое положение различных государственных уч-

реждений и звеньев государственного аппарата.

Политико-юридический анализ декретного материала отличается основательностью и глубиной. В книге даются четкие и ясные определения, чего порой не найдешь и в работах юристов.

Е. Н. Городецкий исправляет ряд неточностей и ошибок, допущенных некоторыми историками. Так, он критикует бытовавшее в годы культа личности мнение, согласно которому большевики допустили вхождение левых эсеров в Советское правительство якобы лишь с целью разоблачения их в глазах трудящихся.

Характеризуя позицию Коммунистической партии и В. И. Ленина по этому вопросу, автор подчеркивает, что у большевиков было искреннее намерение работать совместно с левыми эсерами. И не наша вина, что эсеровская партия скатилась в лагерь контрреволюции.

В прошлом высказывалось мнение, будто первоначально предполагалось сокрушить контрреволюцию с помощью таких органов власти, как суд, прокуратура и милиция. Автор в связи с этим напоминает, что первоначально прокуратура вообще не создавалась в системе советских судебных органов, задачи милиции сводились в основном к охране общественного порядка, а судебные органы еще только возникали и были очень слабы. Он подчеркивает, что функции борьбы с контрреволюцией выполняли прежде всего военно-революционные комитеты в центре и на местах, а затем органы ВЧК.

Рассказывая о ВЧК, автор отмечает, что вначале этому органу не были присвоены судебные функции. Но в дальнейшем бешеное сопротивление контрреволюции, белый

террор заставили объединить в одних руках и розыск преступников, и суд над ними. В ряде случаев органы ВЧК вынуждены были брать на себя функции правосудия, что было необходимо в то время.

В исторической литературе не было четкого понимания того, что народные комиссары, вошедшие в первый состав возглавляемого Лениным Совнаркома, с одной стороны, строили новый центральный аппарат, а с другой — подчиняли себе старый аппарат, постепенно ликвидируя его. Автор нашел точное обозначение этих двух основных функций народных комиссаров. На первых порах не ставилась задача немедленного уничтожения старых министерств. Они продолжали свою работу под контролем комиссаров. Но постепенно заменялись новыми органами.

Еще в недалеком прошлом законодательная функция Совета Народных Комиссаров объяснялась в нашей литературе чаще всего особенностями исторической обстановки, саботажем, который был организован внутри ВЦИКа капитулянтским блоком. Утверждали также, что в начальный период строительства нового государства трудно было отделить законодательную власть от административно-распорядительной. Поэтому-де СНК был вынужден брать на себя законодательные функции. Городецкий же видит в указанной функции СНК проявление той самой особенности Советского государства, которую Ленин отмечал еще до Октября: соединение законодательной и исполнительной власти. Оба верховных советских органа — ВЦИК и СНК — в своей законодательной работе действовали согласованно, а не независимо друг от друга. Соединение законодательных и исполнительных функций предполагало единство в выполнении их этими органами.

Столь же основательно рассмотрел автор и такую область государственного строительства, как создание органов охраны революционного порядка в лице советской рабоче-крестьянской милиции. Постановлением Народного комиссариата внутренних дел от 28 октября 1917 года «О рабочей милиции» она была подчинена местным органам государственной власти — Советам, а не городским думам или другим органам старого самоуправления. Автор замечает, что этот акт относился к рабочей милиции, но не давал указаний о сельских районах страны и не упоминал о старой милиции, соз-

данной после февраля. Революционная практика мест пошла по линии временного и частичного использования советской властью прежней милиции, точнее — ее демократической части, при должном контроле и проверке.

Е. Н. Городецкий высказал ряд соображений методологического порядка, с которыми нельзя не согласиться. Надо признать, что до XX съезда КПСС многие из нас пользовались иногда так называемым «декретным» методом изложения законодательных актов: принятие того или другого постановления или закона трактовалось как факт, равнозначный его осуществлению, а живая ткань исторических событий, драматизм и острота борьбы за реализацию директив и законов зачастую игнорировались.

Нельзя далее не согласиться с автором, что история Советского государства не может рассматриваться лишь в плане историко-правового, юридического исследования. Формы, структура, функции органов диктатуры пролетариата необходимо исследовать в тесной связи с их творческой, созидательной ролью во всех областях общественной жизни.

Книга написана историком. Но числить ее по «ведомству» истории можно только формально. Она представит значительный интерес и для философов, социологов, правоведов. Она поможет читателю лучше усвоить вопросы теории социалистической революции, глубже понять закономерности и созидательно-творческий характер этой революции. Книга не оставляет ни малейшего сомнения в том, что Великая Октябрьская социалистическая революция, ее опыт блестяще подтвердили ту марксистскую истину, что правильная теория становится материальной силой, когда она овладевает массами. В свою очередь революционное творчество народных масс — пролетариата и беднейшего крестьянства нашей страны, — создавших советский строй как форму пролетарской диктатуры, обогатило марксистско-ленинскую теорию социалистической революции. Так происходит взаимное проникновение и обогащение революционной теории и практики. Автор показывает творческий, созидательный характер Октябрьской революции, единство процессов разрушения и созидания, слома старого государственного аппарата и строительства нового — закономерность, совершенно недоступная пониманию даже наиболее серьезных

нынешних буржуазных авторов. Наглядно показаны в книге пределы и методы использования старого аппарата, именно той его части, которая выполняла функции учета и распределения и не принимала непосредственного участия в подавлении трудящихся масс. Эта проблема имеет не только историческое и теоретическое значение, но и практически политическое. Она неизбежно встает перед всякой народной революцией современности.

Несколько частных замечаний. Хотя в книге основное внимание уделено послеоктябрьскому периоду, в ней говорится и о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую. К сожалению, период от февраля до октября освещен не так полно, как того хотелось бы и как того требует сама логика событий. Так, поскольку автор пишет о влиянии февральской революции на демократизацию русской армии, следовало бы упомянуть о знаменитом приказе № 1 по петроградскому гарнизону. Несомненно, что идеи, заложенные в этом документе, сыграли свою роль и в послеоктябрьский период. Положение автора о том, что уже в ходе демократизации старой армии создавались элементы новой, социалистической армии, очевидно, следовало дополнить указанием на опыт Красной гвардии.

Автор уделил всего лишь две страницы вопросу об Учредительном собрании (как он стоял в дооктябрьский период). Как известно, идея Учредительного собрания после февраля стала объектом спекуляций со стороны кадетов и соглашателей, которые непрестанно твердили, что до созыва «правильно избранного» Учредительного собрания не могут проводиться в жизнь какие бы то ни было серьезные реформы. Большевики же, протестуя против оттяжек Учредительного собрания и требуя его созыва, разъясняли в то же время, что никоим образом нельзя откладывать до Учредительного собрания решение жизненно важных для рабочих и крестьян вопросов. Видимо, об этом стоило сказать в книге обстоятельней.

Думается, что было бы целесообразно оттенить мысль о том, что вследствие большевизации Советов и роста рядов Красной гвардии после разгрома корниловщины революционные массы во главе с большевиками пришли к Октябрю почти с готовым

аппаратом будущей социалистической государственности.

Нельзя не выразить сожаления, что в книге специально не исследован важный вопрос о сломе старой буржуазно-помещичьей правовой системы и возникновении и развитии советского социалистического права. Революционные массы, творя новое право, опирались как на собственный опыт дооктябрьского периода, так и на свое пролетарское правосознание. Правовые требования рабочего класса были четко сформулированы в первой, а затем второй программах большевистской партии.

Революционная законность с самого начала существования Советского государства становится важнейшим принципом деятельности государственного аппарата. Коммунистическая партия, В. И. Ленин постоянно требовали строжайшего соблюдения законов советской власти. Между тем многочисленные буржуазные «специалисты» по истории России твердили, будто большевики и до и после победы Октября отрицали вообще право и законность.

Было бы неверно думать, что названные здесь проблемы составляют исключительную прерогативу правоведов, историков права. Всем содержанием своего исследования автор доказал, что он был достаточно вооружен для постановки и правильного решения этих вопросов.

Автора можно понять в том смысле, будто создание в ряде волостей Тверской губернии к весне 1918 года волостных судов было явлением положительным. Но ведь подобное местное правотворчество все-таки не соответствовало установкам декрета о суде № 1, что и было констатировано Наркомюстом РСФСР. В глазах крестьян волостные суды дискредитировали себя еще в дооктябрьский период. Недаром даже либеральная буржуазия высказывалась за упразднение волостных судов и передачу их функций мировым судам.

В книге приводится решение Тверского Совета от 19 января 1918 года об избрании местных судов из членов Совета и об установлении контроля Совета над работой этих судов. У читателя сразу же возникает вопрос: не было ли здесь противоречия тому важному принципу правосудия, что суд независим и подчиняется только закону? К сожалению, автор ограничился лишь констатацией этого факта, но не выявил своего отношения к нему.

Когда заканчиваешь чтение этого солидного труда, остается впечатление какой-то незавершенности его. Следовало бы, на мой взгляд, «дописать» книгу, прибавив раздел о первой Советской конституции 1918 года.

Опыт Великой Октябрьской революции имеет громадное международное значение. Он глубоко изучается и в нашей стране,

и за рубежом. В последние годы советские историки трудятся над тем, чтобы создать серьезные обобщающие труды по истории Октября. Е. Н. Городецкий, несомненно, внес серьезный вклад в решение этой задачи.

**Е. СКРИПИЛЕВ,**

*кандидат юридических наук.*

★

## ЗНАКОМЬТЕСЬ — ЛОМОНОСОВ, ФРАНКЛИН, РЕЗЕРФОРД, ЛАНЖЕВЕН

**Академик П. Л. Капица. Жизнь для науки. «Знание». М. 1965. 62 стр.**

Старая истина — каждая книга должна иметь свое лицо. Именно лицо, обличье, то есть то, что сразу бросается в глаза читателю еще до того, как он откроет книгу, углубится в текст. Поэтому лично я не большой сторонник того, когда на книгу надевают мундир-обложку той или иной серии, как бы заранее подверстывая ее под десятки других книг, отказывая в оригинальности.

Перед нами книга в весьма сереньком мундире — «Серия 9. Физика. Математика. Астрономия. 1965». И только имя автора — академик П. Л. Капица — заставляет обратить на нее внимание.

Известный ученый рассказывает о жизни четырех великих ученых: русском Ломоносове, американце Франклине, англичанине Резерфорде, французе Ланжевене. Сам подбор имен напоминает о международности науки, о том деятельном интернационализме, перед которым расступаются государственные границы.

Первый в ряду — Ломоносов. Его имя и его облик для всех нас уже прочно связаны с бронзой памятников. А тех, кто теперь взирает с высоких пьедесталов, трудно представить живыми, еще труднее анализировать их жизнь. Однако здесь не парадный Ломоносов: перед читателем неожиданно открывается величественная трагедия гения.

Петр I «прорубил окно» в Европу. Но, зная, окно это еще не было достаточно широким, чтобы культурная Европа разглядеть сквозь него возросшего на русской почве ученого, способного обогатить великими открытиями мировую науку. Ломоносова не узрела Европа. Ломоносова не способна была разглядеть и Россия, только приобщавшаяся к европейской культуре.

Гипотеза Ломоносова о природе электрического заряда в облаках остается неизвестной. Крупнейшее экспериментальное доказательство «закона сохранения материи» повторяет семнадцать лет спустя Лавуазье. А открытие атмосферы на Венере, сделанное Ломоносовым в 1761 году, ученый мир должен был открыть вторично... через 121 год! Через полтора столетия после открытий Ломоносова большие русские энциклопедии, как Брокгауза, так и Граната, ничего об этих открытиях не пишут.

Кончая рассказ о Ломоносове, академик Капица говорит о роли здоровой общественности в творчестве, будь то творчество ученого-физика, литератора, художника, музыканта. «Если бы мы не создали своей передовой научной общественности, то сколько бы Ломоносовых у нас ни рождалось, мы не смогли бы создать в стране передовой науки». Создание здоровой общественности — «это труднее, чем обучение отобранной талантливой молодежи...».

Восемьдесят четыре года прожил на свете Веньямин Франклин, из них он за семь лет (с 1747 по 1753 год) сделал свои выдающиеся открытия в области электричества, обессмертил себя. Автор одинаково живо рассказывает и об остроумных научных экспериментах, и об отношении общественности к открытиям ученого, и о самом Франклине как человеке. Не может не заинтересовать, например, такое сообщение, связанное с изобретением Франклина — громоотводом. «...Господин де Виссери поставил громоотвод на своем доме, его соседи были этим так испуганы и возмущены, что подали на него в суд. Процесс произвел много шума и длился несколько лет в период между 1780 и 1784 годом. Интересно, что на сто-



роне защиты громоотвода выступал молодой адвокат Максимилян Робеспьер, и это громкое дело положило начало его известности. Любопытно также, что одним из экспертов со стороны истца выступал Марат, который считал громоотвод опасной затеей и был против его установки. После долгой борьбы и апелляций де Виссери выиграл процесс».

А вот пример, который показывает Франклина с другой стороны: «...во время войны с Англией, когда знаменитый исследователь капитан Кук возвращался из своего плаванья, Франклин дал указания всем американским кораблям и корсарам отнестись с уважением к капитану Куку, где бы они его ни встретили...»

Резерфорда и Ланжевена автор знал лично, работал с ними, дружил, эти люди составляют часть его собственной биографии.

В 1891 году совсем молодой студент Резерфорд выступает в одном маленьком научном обществе с докладом, где утверждает, что все атомы состоят из одних и тех же частей. «Этот доклад был встречен очень неодобрительно, и ему пришлось извиниться перед обществом». Через двенадцать лет Резерфорд доказал, что он напрасно извинялся.

Великий ученый, разработавший фундаментальные проблемы атомной теории, он был и великим учителем, воспитавшим прославленных ученых многих национальностей, в том числе и русских. Его ученик П. Л. Капица на маленьком примере открывает перед нами «секрет» педагогического успеха Резерфорда:

«— У нас работает Х., он работает над безнадежной идеей и напрасно тратит время, приборы и т. д.

— Я знаю это,— отвечал Резерфорд.— Я знаю, что он работает над абсолютно безнадежной проблемой, но зато эта проблема его собственная, и если работа у него не

выйдет, то она его научит самостоятельно мыслить и приведет к другой проблеме, которая уже не будет безнадежной».

Большим ученым и большим учителем был и последний из четверки — Поль Ланжевен. Ланжевен, кроме того, на протяжении всей жизни боролся за справедливость. Начало этой длительной борьбы связано еще с позорным процессом Дрейфуса. Студент Ланжевен выступил в защиту Золя, подвергавшегося преследованиям. «Да,— вспоминает позднее ученый,— это были хорошие времена, когда, представьте себе, судьбой одного человека можно было заинтересовать весь земной шар».

Семидесятилетний антифашист Ланжевен во время оккупации Франции гитлеровцами бежит через горы в Швейцарию. Его дочь — в Освенциме, его зять-коммунист расстрелян. В 1942 году сам Ланжевен вступает в коммунистическую партию и до конца своей жизни остается одним из активных ее членов.

Наряду с этими высокими чертами автор никогда не забывает упомянуть и о чисто человеческих чертах своих героев. Ланжевен, например, имел слабость — любил вино, не вульгарно, любил как поэт. «Вино не пьют, о нем говорят!» Он «открыл» новый сорт марочного вина и гордился этим едва ли не больше, чем своей теорией магнетизма.

В книге всего шестьдесят две страницы. На маленькой площади раскрыты большие дела, выписаны удивительные характеры, сообщены настоящие открытия о людях, которые, казалось бы, нам уже известны. И то, что издательство «Знание» выпустило в свет эту книгу — подарок для читателя. Невольно прощаешь даже унылое оформление, бесцветный мундир под названием «Серия 9».

Вл. ТЕНДРЯКОВ.



## КРАЕВЕДЫ-ЭНТУЗИАСТЫ

О краеведческой работе в Эстонской ССР. Сборник статей. Таллин. 1964. 118 стр.

В этой небольшой книжке, изданной Академией наук Эстонской ССР, так серьезно, глубоко и обстоятельно освещены основные принципы современного краеведения, что, как говорится, дай бог солидным томам вместить столько.

Она нужна многим тысячам любителей родного края, ибо дает верное направление развитию народного краеведения. И не только в этой республике, но и по всему Советскому Союзу. Тем более что до сих пор не изжито еще скептическое отношение, а то и просто отрицание краеведения, долгое время насаждавшееся у нас как результат недоверия к общественной самостоятельности.

Ведь нередко и теперь можно услышать скептические рассуждения: зачем краеведение, когда у нас есть специальные научные и хозяйственные плановые органы, которые занимаются этими проблемами?

В самом деле, не должна ли измениться оценка общественной и научно-практической значимости краеведения, когда в нашей стране выросла такая огромная сеть научно-исследовательских учреждений, когда все важнейшие проблемы коммунистического строительства разрабатывает множество экспедиций и проектных институтов?

Может быть, теперь краеведение действительно удел лишь доживающих свой век старичков, которые просто заполняют свой досуг воспоминаниями, забавляются прожектерством в масштабах их маленького уголка? Да еще, может быть, в школах стоит сохранить приют для краеведения, поскольку оно развивает любознательность и наблюдательность?

Заслуга рассматриваемой книжки в том, что она убедительно и исчерпывающе опровергает скепсис и домыслы относительно краеведения и раскрывает его многообразную общественную, политическую и научно-практическую ценность в наше время. Это особенно убедительно показано в статье члена-корреспондента Академии наук СССР Х. Х. Крууса.

Авторы помещенных в книге статей понимают краеведение как разностороннее изучение родных мест — района, города, села, поселка, предприятия... Обстоятельно гово-

рится об этом, в частности, в статье ученого секретаря Комиссии по исследованию родного края Академии наук Эстонской ССР Э. Л. Мааринга. Важно, чтобы краеведы видели свой родной край в целом — и природу, и явления общественной жизни, настоящее и прошлое. Конечно, требовать этого от всех невозможно, потому что каждый любитель родного края изучает в первую очередь то, что больше всего интересует его. Но и в самостоятельной научной работе, хотя бы это была простая запись, фотографирование и т. п., обязательно соблюдение требований научной методологии. Обработку собранных краеведом материалов следует вести совместно с научно-исследовательскими учреждениями или заинтересованными учеными, особенно при изучении таких вопросов, где требуется специальная подготовка.

Специфическая особенность краеведения, подчеркивается в книге, состоит в том, что оно стремится выявить особенность природы, жизни, экономики, культуры именно данного микрорайона. «Без этого, в сущности, и нет краеведения», — пишет Х. Х. Круус. — В природе любого края нашей страны есть свои неповторимые особенности, имеющие свою ценность, которые необходимо беречь и охранять, а также разумно, бережно и рационально использовать».

Важнейшим объектом краеведческих исследований, подчеркивают авторы, должна быть «сегодняшняя хозяйственная и культурная жизнь на местах». Особо важное значение они придают всестороннему комплексному изучению экономики. «Без тщательного изучения своего края, — читаем в статье В. Ю. Тармисто, — не может быть и речи о целесообразном и отвечающем местным условиям развитии и планировании его экономики, культуры, просвещения и т. д.». Краеведы могут оказать большую помощь при решении конкретных вопросов перспективного размещения производства в крае, они могут выявлять узкие места, скрытые резервы и тем помогать лучшей организации производства. В связи с этим весьма правильно указание авторов, что микрорайонные экономические исследования выявляют «конкретные проявления в местной действительности об-

и их закономерностей общественного развития» (подчеркнуто мною.— И. Ю.).

Однако это не значит, что мы должны предать забвению более далекое прошлое родного края, труд и творчество предшествующих поколений. Особенно ценным в этих отношениях будет сбор конкретного материала, необходимого для изучения исторического пути развития населения, материальной и духовной культуры, местного быта. Авторы привлекают внимание краеведов к народным воспоминаниям исторического значения преимущественно за период жизни двух очередных поколений, то есть за шестьдесят—семьдесят лет, начиная с последнего десятилетия прошлого века.

Интересны и полезны для многих такие виды работы, как изучение быта, этнографических особенностей, литературоведческих материалов, регистрация явлений природы и данных о распространенности тех или иных объектов природы.

Особенный интерес и ценность представляют главы, освещающие организацию и содержание краеведческой работы в Эстонии. При Академии наук Эстонской ССР создана Комиссия по исследованию родного края, которая осуществляет общее руководство краеведческой деятельностью и координацию связанных с нею мероприятий. В основу своей работы комиссия положила принцип комплексности исследований; эта комплексность достигается путем сотрудничества краеведов-любителей с учеными. Комиссия организует специальные совещания с краеведами, семинары и т. д., издает журнал «Вестник краеведения». На местах созданы районные и городские краеведческие комиссии.

Все это необычайно оживило краеведение в республике. Эффективно организована охрана природы и памятников культуры и истории. Эстонские краеведы собирают фольклорный и этнографический материал, около двухсот из них — постоянные корреспонденты

Литературного музея при Академии наук Эстонской ССР. Ценный вклад вносят краеведы в изучение говоров и диалектов, топонимки, принимают участие в археологических раскопках и т. д.

Большое внимание уделяется разумному развитию школьного краеведения — в процессе как учебной, так и внеклассной работы. В эстонских школах краеведческая работа носит комплексный характер, и в ней принимают участие преподаватели истории, географии, естествознания, литературы. А ведь как полезна для воспитания материалистического мировоззрения, эстетического и художественного вкуса, коллективистических взаимоотношений краеведческая работа в школе! Она прекрасно сочетается с экскурсионно-туристскими походами, в которых школьники одновременно и закаляются физически, и набираются сил и здоровья для нового учебного года.

Важному вопросу охраны природы посвящена помещенная в сборнике статья Я. Х. Эйларта. Автор говорит о тесной связи охраны природы с краеведением. Читателям будет небезынтересно узнать, например, что в девонском песчанике близ Тарту, в Арукюла, имеется крупнейший в Эстонской ССР подземный пещерный лабиринт — весьма ценный палеонтологический памятник природы. Неподдалеку находится и таргуский парк Тоомемяги (холм Тооме) — примечательный элемент ландшафта.

В ряде статей рассказывается об особенностях краеведческой работы в различных районах республики.

Эта книжка — полезный вклад в нашу краеведческую литературу. Она впервые раскрывает многообразие самодеятельного краеведения, намечает пути его развития. Она, несомненно, заслуживает широкого распространения, и не в одной только Эстонии.

*Проф. И. ЮНЬЕВ.*

★

## У ОБОЧИНЫ

Когда восходит солнце. Сборник. «Молодая гвардия». М. 1964. 128 стр.

«Наш юный друг! — говорится в аннотации к этой книге. — ...Посмотри, может быть, рядом с тобой есть кто-то, кому трудно, кто только что вышел на прямую дорогу или, наоборот, может свернуть на

обочину. И этому человеку нужна твоя рука. Протяни ему руку, руку друга!»

Я представил себе на миг, что около меня как раз в эту минуту находится человек, которому необходима помощь, необходима

заботливая «рука друга». Как помочь ему? Как сделать это так, чтобы моя помощь не оскорбила, не оттолкнула, не принесла еще большего вреда его страдающей, мятушейся в поисках правильного пути душе? Что надо для того, чтобы мое участие было естественным и незаметным, чтобы оно принесло те плоды, которые я хочу видеть? «Ответы на эти вопросы, вероятно, и будут даны в лежащей передо мной книге», — подумал я, переворачивая титульный лист.

Очерк Аллы Трубниковой о деятельности секты «истинно православных христиан странствующих» не может оставить равнодушным. Трудно смириться с мыслью, что речь в нем идет о наших днях, что события, описываемые в нем, происходили совсем рядом, может быть даже в соседнем доме или на близлежащей улице.

«По восемь, а то и по двенадцать часов ежедневно (а в религиозные праздники и целые ночи напролет) проставали они, коленапреклоненные, молясь, крестясь и отвешивая в иной день до тысячи земных поклонов. Лишь дважды в день «рабам божьим» разрешалось вкушать постную пищу. И два раза в день, не всегда, однако, удавалось донести ложку до рта — то и дело находились поводы для поста... выходило, что нужно поститься не менее пяти месяцев в году».

Нужно быть очень отчаявшимся в жизни человеком, чтобы принять добровольно подобные условия и добросовестно их выполнять, или же крепко любить идею, ради которой необходимо все это терпеть. Что же держало этих людей в их мрачных ямах, именуемых «схронами», и, возможно, продолжает кое-кого держать там еще и сейчас? Откуда берется фанатичная вера, заставляющая человека предпочесть беды и радости земной жизни желанию «узреть пресвятую богородицу»?

«Разные причины привели их в секту. В одном случае это была несчастная любовь и поруганная девичья честь, в другом — пьяница муж, в третьем — религиозное влияние матери, в четвертом — конфликт с учительницей», — перечисляет автор причины ухода в религию героев своего очерка.

Нельзя не заметить, что перечень подобных причин можно было бы еще долго продолжать, совершенно не надеясь когда-нибудь выяснить дело по существу. Не может удовлетворить в достаточной степени нас

то, что автор считает «первопричиной всего». «Но первопричиной всего, — пишет А. Трубникова, — было не столько само несчастье, происшедшее с каждым из них, а тот вакуум, который образовался вокруг».

Такие неприятные вещи, как несчастная любовь и конфликт с учительницей, видимо, будут встречаться еще долго. Но, надо думать, не все, кто их пережил, обязательно бросятся в объятия религиозных деятелей, которые, как это свидетельствует автор, «специально выжидают такого часа, чтобы явиться тотчас вслед за бедой». Поэтому все перечисленные А. Трубниковой причины (число их можно было бы увеличить) не являются на самом деле причинами в подлинном значении этого слова. Спору нет, одиночество, душевный «вакуум», иной раз просто житейская неудача способствуют тому, что человек начинает искать смысла жизни на тех путях, где его никак не может быть. Но ясно и то, что все это лишь побочные явления.

Мне кажется, что А. Трубникова имела если не все, то во всяком случае достаточные возможности для выявления причин, толкающих людей в объятия «религиозных деятелей». Перед ней прошла целая вереница людей, извлеченных совсем недавно из глухих «схрон» и вернувшихся, порой по принуждению, к нормальной жизни. Автор охотно перечисляет фамилии этих людей, но не считает нужным остановиться и пристально взглянуть в жизнь и характер хотя бы нескольких из них. Вместо этого она подробно рассказывает биографию одного из заправил секты, отца Мины, — человека подлого и бесчестного. Что ж, вполне возможно, что сектой заправляли люди, биография которых, мягко говоря, не вызывает к ним никакой симпатии. Но разве это объясняет хоть в малейшей степени, почему люди все-таки шли к ним в секту и доверяли им духовное руководство собой?

Мало что дают для выявления этой проблемы, а следовательно, и для наиболее действенной борьбы за искоренение религиозного сектантства из нашей жизни и очерки других авторов, напечатанные в книге. В очерке Олега Моисеева «Отречение от бога» приводится конкретный случай отказа молодой девушки Терезы Абрамович от служения богу. Но, в сущности, автор ограничивается описанием самого факта публичного ее отречения от веры. Я не хочу сказать, что атеисты не должны использо-

вать подобные факты в своей пропаганде. Но когда за пропагандистским эффектом «отречения» забывают об отречшемся, когда в поведении человека, порвавшего с религией, видят всего лишь повод пошуметь, поставить галочку в отчете, то создается положение, заставляющее краснеть всякого честного человека и поощряющее возможность контрпропагандистской работы церковников и сектантов.

Конечно, борьба с религией, как и всякая борьба, требует мужества, принципиальности, порою и жертв. Но мне кажется, что уже настала пора перестать восхищаться теми случаями, когда человеку, порвавшему с религией, приходится претерпевать множество лишений и невзгод, отстаивая свое право на свободу совести. Подобные примеры приводятся еще до сих пор в качестве образцов мужества, принципиальности и непримиримости. Но писатели и журналисты, описывающие эти истории, проходят мимо того, что на самом-то деле все эти героические поступки как раз и свидетельствуют нередко о слабости и неудачах нашей антирелигиозной работы. Читая рассказы и очерки о таких событиях, не знаешь, восхищаться ли стойкостью и принципиальностью героя или возмущаться пассивностью и безответственным поведением людей, его окружающих.

История, происшедшая с Терезой Абрамович, которой пришлось перенести зверские побои родителей, покаяться в грехе отречения, уйти из дома и наконец, бросив техникум, уехать из родных мест на далекую стройку, очень убедительно это доказывает. Неужели необходимо девочке-девятникласснице было перенести все это только потому, что она хотела отстаивать свое право говорить о боге то, что думает? Ведь совсем немного надо было сделать, чтобы события, описываемые в очерке, развивались совершенно иначе. И ни особенного героизма, ни особенного мужества для этого не потребовалось бы. Просто чуть-чуть человечности, искренней заботы о человеке. Но как раз этого-то и не встретила Тереза Абрамович у людей, к которым пришла, отказавшись от бога. Вот тогда-то и потребовались ее воля и мужество, так восхищающие ныне журналиста.

Создается впечатление, что наши воинствующие атеисты принимаются за дело тогда лишь, когда на свет божий выплывают неблагоприятные делишки духовных пасты-

рей или фанатичные мракобесы в религиозном рвении устраивают какое-нибудь изуверское действие, наказуемое законом. Однако все-таки зал судебного заседания не лучшее место для антирелигиозной пропаганды. Необходимость такого суда только говорит, что дело с атеистическим воспитанием в данном случае шло из рук вон плохо. И когда из очерка Эллы Черепеховой «Крушение идолов» мы узнаем, что перевоспитание героя началось по существу с суда над ним, то нам как-то слабо верится, что этот случай может быть удачным примером, заслуживающим широкой популяризации. Ясно, что подобные исключительные условия воспитательной работы невозможно рекомендовать для массовой атеистической работы.

Но как же следует вести тогда нашу антирелигиозную пропаганду? А. Трубникова, рассказывая о внимании и заботе, какими окружили извлеченных из «схронов» бывших членов секты, с тревогой пишет: «Конечно, не может не радовать, что девочка хорошо учится, старается получать хорошие отметки. Но верит ли она в то, что записывает в своих тетрадках, не слишком ли быстро произошла молниеносная перестройка?»

Поговорив с Ниной, с учителями, я увидела, что пока еще налицо лишь механическое зазубривание, с той лишь разницей, что раньше Нина зазубривала библейские тексты, а теперь цитаты из Николая Островского, раньше — допотопные даты, теперь — послереволюционные». А вот что пишется о другой ученице: «Спросите ту же Зину о чем-нибудь в рамках школьной программы — она ответит бойко, без сучка и задоринки. Но ответит, как по писаному, от точки до точки, от «а» до «я». Но не больше. Своих мыслей, своего мнения у нее пока нет. По существу ученица восьмого класса по-прежнему находится в плену религиозно-идеалистических представлений».

Значит, для того, чтобы покончить с религиозно-идеалистическими представлениями, одной заботы и внимания окружающих еще недостаточно.

И А. Трубникова права, когда говорит, что преодолеть влияние религиозного мировоззрения можно только в том случае, если «все эти бывшие Сидонии и Гаафы смогут научиться самостоятельно ходить по жизни» и «думать не по указке».

В самом деле, сменить текст из святого писания на цитаты из произведений художественной литературы не так уж трудно. Но какой в этом прок? Разве что человек, преклонявшийся до сих пор перед догмами веры, будет теперь преклоняться перед догмами школьной науки. Разве это является целью атеистического воспитания?

В издательской аннотации призывают читателя протянуть «руку друга» тому, кто «может свернуть на обочину». Но не надо думать, что это такое уж легкое дело — научить человека «самостоятельно ходить по жизни» и «думать не по указке». Ведя за собой людей на правильную дорогу, нуж-

но быть крепко уверенным, что эта дорога самая правильная. Эта уверенность необходима не для того, чтобы подавлять ею инакомыслящего, а затем, чтобы, не боясь, вступать с ним в спор, имея в запасе аргументы, основанные на прочных убеждениях, на трезвом анализе жизни, на самом пристальном и бескомпромиссном изучении объективной действительности. И тогда уже ни несчастная любовь, ни двойка в тетрадке и обида на учительницу, никакая другая беда посерьезнее не толкнут человека в объятия «религиозных деятелей», не сбьют с правильного пути.

**Г. МАКАРОВ.**



---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## ЕСЛИ СПРОЕЦИРОВАТЬ НА ЖИЗНЬ

Главный герой романа Е. Леваковской «Сентябрь — лучший месяц» («Москва», №№ 9, 10, 1964) молодой писатель Феликс Гуров, по словам автора, «всегда испытывал чувство неловкости, говоря о своей профессии. Ничего не проверишь, ничего не докажешь — ни логарифмической линейки, ни даже таблицы умножения...». Совершенно верно: ни линейки, ни весов для проверки писательской продукции не существует. Однако это не значит, что вообще не существует никаких критериев. И один из основных критериев называет другой герой того же романа, Ракитин: «А что получится, если спроецировать эту книгу на жизнь?» Прodelать подобную операцию бесполезно с любой книгой, поэтому попробуем «спроецировать на жизнь», сверить с жизнью и роман Леваковской.

В романе этом говорится, что «обычно пересказ содержания мало что дает — на один и тот же сюжет можно написать хорошо и плохо». Однако тут же положительная героиня редактор Ася Васильевна, «с пристрастием вчитываясь в рецензию... подумала, что об авторе ее и по пересказу кое-что узнаешь». В тексте романа здесь, правда, логический скачок от вопроса, что можно узнать о произведении по его пересказу, к вопросу, что можно узнать по тому же пересказу о пересказывающем, но, очевидно, не отрицается категорически и возможность иногда составить некоторое представление о качествах произведения по его содержанию, сюжету, и мы, так сказать, не выйдем из «правил игры», принятых самой Леваковской, если начнем проецирование ее романа на жизнь с содержания, сюжета.

Молодой столичный писатель, из модных, Феликс Гуров, несколько зазнавшийся от успеха своей первой книги, однако парень не безнадежный, не желающий показаться

«азнашкой и снобом», сожалеющий, что «не умеет он быть добрым с людьми», вылетает на Север, в родной Северск, где не был два года и где готовится к печати его вторая вещь — повесть.

Это первые страницы романа Леваковской «Сентябрь — лучший месяц». Однако не достаточно ли только их беглого пересказа, чтобы стало ясно, что наша литература обогатилась еще одним произведением о молодом скептике? Можно безошибочно предсказать, что скептик-писатель (как и раньше его собраты скептики-студенты, школяры) на лоне суровой северной природы приобщится к такой жизни, встретит таких людей, под влиянием которых в корне перекуется, переменит взгляды. Именно так все и происходит в романе.

В Северске Феликс Гуров получает рецензию на свою рукопись, написанную начальником прииска Ракитиным, который протестует против «выдуманного клина между поколениями», оправдания пьянства и прочего. Рецензия эта вызывает первые сомнения молодого писателя в своей правоте. Он не торопится опубликовать свое произведение. Замещающий главного редактора приспособленец Шапов, рвущийся во что бы то ни стало напечатать вещь столичного писателя, предлагает в качестве компромисса зыкнуть из ее девятой главы «пьянку... и всю эту рефлексию... всего-то несколько страниц», после чего повесть станет «светлой, зовущей». Однако добрые начала, заложенные в Феликсе, мешают ему встать на этот легкий путь. Он начинает изучать жизнь, присматриваться к людям. Беседуя с земляками-северянами, представителями старшего поколения, Феликс чувствует, какой он невежда по сравнению с ними: они так

и сыплют такими именами, как Беркли, Фома Аквинский, Герберт Рид... Один из районных партийных руководителей прочитал Феликсу «полуторачасовую, очень интересную по материалу и по манере изложения лекцию об основных проблемах, стоящих перед областью», начав «аж с космогонии», изложив «сущность высказываний по этому вопросу Канта, Шмидта» и прочих. «Строение земли, золотые и оловянные пояса, комплексная добыча, внедрение гидравлики, создание почвы на Уле» — обо всем этот районный руководитель «беседовал свободно и с охотой...» Феликс принимается ликвидировать свою столичную отсталость: записывает, что узнает, видит, слышит, делает пространные выписки из «Основ геологии», проявляет интерес и внимание к списку книг, которым снабдил его вышеозначенный руководитель.

Впечатление «грома», более того — «взрыва ядра галактики» произвела на Феликса проведенная в родных местах читательская конференция по его первой книге. По ней проводилось уже такое множество конференций, что они порядочно надоели Феликсу, но только тут он осознал порочность своего творения, принесшего ему такой успех, потому что «некрасивая женщина... в очках» заявила, что нехорошо любоваться семнадцатилетней девочкой, которая «сегодня с одним спит, завтра с другим сходится», а кроме того, выявилось, что книга нравится типу с «самодовольными», да еще и «сальными глазами», «тяжелой нижней челюстью обжоры», «слизняку в панцире», который словно обволакивает «похотливой паучьей слюной», а к тому же по натуре еще и мелочный сутяга.

Совершив экскурсии на прииск и рыбозавод, которые он, по-видимому, только в этот приезд открыл для себя, хотя всю свою жизнь прожил возле них, попидав таких представителей молодого поколения, как артистически разделяющая рыбу инженер-технолог Теплых, как ее сестра учительница «Золотые Косы и Завитки», как поповский сын Нестор, порвавший с родителями, Феликс переделывает пресловутую девятую главу, пишет в высшие инстанции письмо в защиту несправедливо обвиненного ученика «Золотых Кос и Завитков» и уезжает, воодушевленный наме-

рением написать брошюру по обмену опытом, добиться дефицитных резиновых перчаток для укладчиц рыбы и создать книгу о «Самых Живых» — улучшающую жизнь «книгу-поступок».

Образ Феликса Гурова, по-видимому, задуман как полемический: с одной стороны, противостоящий идеализированным «звездным мальчикам», с другой — шаржированным молодым литераторам наподобие поэта Птушкова из романа В. Кочетова «Секретарь обкома». Леваковская тоже не очень-то любит своего героя: уже в конце романа, когда Феликс в основном «перевоспитался», автор рисует, как он едва не проявил в присутствии нравящихся ему «Золотых Кос и Завитков» панический страх перед домашним козлом. По литературным традициям, в духе которых выдержан роман, стопроцентно положительного героя автор никогда не поставил бы в такое унижительное положение. Однако при всей антипатии к типу, подобным своему главному герою, писательница старается быть объективной. Если, с одной стороны, она дает понять (через восприятие других героев), что первая книга Феликса пропагандирует разврат, то есть вредна, порочна, то с другой — считает, что деньги, которые Феликс получил за нее, он заработал «честно и нелегко»; если, с одной стороны, Феликс носит джинсы, мокасины со слишком острыми мысами, носки полосатые, «как «раковая шейка», то с другой — автор не может не отдать ему должного за то, что он не жалеет своих модных мокасин во время экскурсии по прииску, а на рыбозаводе не превращает в трагедию капли брызнувшей на его пиджак рыбьей крови. И даже в противоположность самому автору не считает это свое самопожертвование особой заслугой.

При «проецировании на жизнь» образ молодого писателя несколько раздваивается. В романе не уточняется, из каких именно побуждений он вздумал вбивать (по мнению Ракитина) «выдуманный клин между поколениями», оправдывать пьянство — добросовестно заблуждаясь, ради саморекламы любыми средствами, пусть даже средствами скандала или случайно, по недомыслию. Не ясно также — был ли он хорошим до отъезда в столицу и уже столица испортила его или почти до тридцати лет оставался невосприимчивым к благотворному влиянию Севера, где «родился и вырос».



Поэтому не вполне понятно, кого намеревался изобразить автор: ловкого конъюнктуриста или глупца, не ведающего, что творит, человека, меняющего убеждения, как перчатки, или недоросля, мировоззрение которого начинается лишь складываться, когда он прожил добрую половину жизни. Для автора это, видимо, и не важно: само собой разумеется, что раз литератор вбивал «выдуманный клин между поколениями» и тому подобное, значит был плохим, а прекратил заниматься такими делами — стал хорошим.

Каким же, с точки зрения жизни, Феликс Гуров сделался, перевоспитавшись, — то есть каким, по мнению автора, должен быть настоящий писатель?

Больших художников постоянно мучило, что тот, кто фактически кормит их, живет хуже них, — Феликсу же несколько не совсемно слоняться по рыбозаводу, где почти нет никакой механизации: укладчице вручную надо «вымывать за смену двадцать четыре центнера, уложить тридцать бочек. Только поднять, с места на место переложить двадцать четыре центнера и то нелегко, — признает автор. — А с этой солью, с водой... Вода и под резиновые перчатки... проникает», «соленая сырость пронизывает все платье, укладчицы, никакие фартуки, никакие перчатки не могут ее защитить». Все в порядке вещей для Феликса и на приiske, где старатели на дне оврага «копшились... в черных резиновых сапогах, и вода, в которой они работали, от высоких краев оврага тоже казалась черной... В ямы, полные черной грязью, вода набиралась снова и снова... Она мешает, и ее вычерпывают непрерывно консервными банками и снова и снова, сидя на корточках... покачивают лотки... О степени усталости людей можно судить хотя бы по тому, что кое-кто и отдыхает тут же, полулежа на холодных мокрых камнях». Люди здесь работают зачастую после основной работы: «бухгалтер моет, подавальщица из столовой». Значит, рабочий день у многих не семь узаконенных часов, а гораздо больше. Но Феликса не интересует, почему эти самые бухгалтеры, подавальщицы, работа которых сама по себе далеко не курорт, после нее вместо того, чтобы отдохнуть, почитать, заняться детьми, берут галон на промывку золота — из стремления к подвигу и чтобы «попытать счастья», как предлагает Асе и Феликсу Ракитин. или из более существенной нужды?

На рыбозаводе Феликс, правда, все же разглядел один недостаток: отсутствие резиновых перчаток. Вот добьется, чтобы их выдали, напишет книгу о «Самых Живых», в которой воспоеет трудовые подвиги, совершаемые простыми людьми на приiske и рыбозаводе, и поедет в туристскую поездку в Египет уже с сознанием исполненного долга — того, что он вложил свою лепту в дело строительства коммунизма.

Ни автору, ни тем более Феликсу и невдомек, что, воспевая подобные подвиги, они оправдывают неумение организовать производство на современном уровне, а порой безразличие к людям. Да, к делу надо относиться добросовестно, но тут речь уже не о добросовестности, а о том, что покрывается чья-то бездарность, безрукость или недобросовестность. При современном уровне производства ручной труд любого напряжения, любой интенсивности не делает погоды. А во что духовно обратятся люди, которые безвыходно будут сидеть в грязной яме приiske? После таких «подвигов», которые по чьей-то вине вынуждены совершать рабочие на приiske, дома лишь завалившись в постель в полубесчувственном сосоянии. А женщинам-работницам надо еще обслужить семью — накормить, постирать, поштопать. Где уж тут условия для духовного роста: учебы, чтения, наслаждения искусством, природой? Для воспитания детей хотя бы? Но у Феликса не возникает вопроса: что надо сделать, чтобы труд этих людей стал более достойным человека? И чем может тут помочь именно он, Феликс, как писатель — выразитель нужд общества, его радостей и его боли?

Писательница сочувственно цитирует слова Твардовского о литераторах, которые приедут, «потычут палочкой в бетон, сверяя с жизнью первый том». Но чем отличается от этого тот способ изучения жизни, который она сама рекомендует в качестве идеала, — тем, что к тыканию палочкой добавляются еще такие великие жертвы, как пиджак и мокасины? Нет, писателю не обязательно работать плечо к плечу со своими героями: со старателями на приiske, с укладчицами на рыбозаводе. У писателя свое рабочее место, свой писательский подвиг, который, может быть, потруднее первобытной промывки золота. Великие подвижники искусства готовы были идти

за свои убеждения на костер, рисковали не только благополучием, но и жизнью. Но когда к подвигам призывают из своей благоустроенной квартиры, с помощью этих призывов приумножая блага жизни для себя лично, то это не столько урок подвижничества, сколько наглядное обучение прямо противоположному.

Теперь «спроецируем на жизнь» персонажей, которые сыграли наибольшую роль в перевоспитании Феликса и, очевидно, в дальнейшем послужат прототипами его положительных героев. Таков, например, Шеремет, насколько можно догадаться, руководящий управленческий работник; под впечатлением его личности Феликс переделал из отрицательного на положительный образ одного из представителей старшего поколения в своей новой повести. Шеремет «уверен, спокоен и устойчив, как линейный корабль», — говорит о нем Ася Васильевна. Без профиля Шеремета, говорит другой герой романа, был бы невозможен герб Севера, будь он учрежден (профиля не в смысле профессии, а в буквальном смысле). Даже еще не перевоспитавшийся Феликс считает, что «какая книга о Севере без Шеремета». Более конкретно мы узнаем об этом необыкновенном человеке, что он не любит носить «регалии» (ордена и прочие награды), умеет даме ручку поцеловать, а в молодости свою невесту, будущую жену, звал по имени-отчеству, — понимает, значит, деликатное обхождение. Шеремет не уходит на пенсию, хотя имеет на это право. Однако весьма напоминает пенсионера, завернувшего ненароком в памятные места: там-сям посидит, с тем-сем поболтает.

Однако в конце книги Шеремет совершает поистине выдающийся поступок: несмотря на свой преклонный возраст, просится в экспедицию. Потому что, как дает понять автор, желает еще более приблизиться к народу и потому что кабинет ему тесен, а также сознавая, что устаревает, должен дать дорогу молодым.

Более подробно, обстоятельно изображен другой положительный герой — начальник прииска Ракитин. Высокий, плечистый, загорелый, похожий на норвежского моряка, как несколько раз повторяет автор, воспитанный в те благословенные времена, когда не было еще ни стилига, ни джинсов, ни мокасин, ни модной литературы, Ракитин тоже чрезвычайно любезен с дамами. Даже несколько старомодно любезен, что, однако,

лишь еще больше украшает его. А как внимателен, предупредителен с Асей Васильевной, которую нежно и страстно любил с первого взгляда, несмотря на ее сорок с лишним лет. И его сорок с лишним. Он охраняет ее от малейшего ветерка, переносит (буквально!) на руках через канавку. Сопровождая Асю Васильевну и Феликса на прииск, Ракитин захватил для них резиновые коврики, чтобы спутники могли сидя любоваться с обрыва перспективной прииска. Значительно меньше Ракитин заботится о подчиненных. Это у него на приiske, там, куда «механизмы... уже нет выгоды вести», старатели консервными банками вычерпывают воду и устают до того, что отдыхают «полулежа на холодных мокрых камнях». Зато Ракитин добился самой низкой себестоимости золота на овоем приiske. А с каким пиететом (любимое выражение писательницы) Ракитин относится к плану! «Вы понимаете, что такое план?» — вопрошает Ракитин. Однако у читателя возникает вопрос, не лучше ли было бы и для плана заменить, например, консервные банки какими-нибудь черпаками. И хотя бы доски набросать какие-нибудь, чтобы люди могли отдохнуть по крайней мере без особой опасности для своего здоровья. Тем более что рабочих на приiske не хватает и следовало бы дорожить теми, которые есть, чтобы и они не разбежались.

Еще пример отношения Ракитина к подчиненным. «А мокасинчики давайте, — говорит он Феликсу, самоотверженно промочившему ноги. — Ребята в общежитии за ночь высушат, к утру начистят, принесут». Даже принесут, не заставят именованного гостя затрудняться! Наввно было бы спрашивать, взаимно ли Ракитин и «ребята в общежитии» оказывают друг другу подобные услуги в свободное от работы время.

Быть может, автор желал нарисовать в лице Ракитина тип вовсе не положительный, а как раз напротив? Но нет. Разве можно представить, чтобы отрицательный герой любил так пламенно, так нежно и чтобы его так беззаветно полюбила положительная героиня? Кроме того, Ракитин дал толчок перевоспитанию Феликса, первым указав на порочность его новой повести. Обладает Ракитин и другими чертами, которые могут быть присущи лишь положительному герою. Он такой оптимист, что, даже будучи репрессированным, в ла-

герях вносил рационализаторские предложения, тайком читал Киплинга, «урисовал» стены техкомбината картинами, портретами, почему-то изображая без бород бородатых, по свидетельству автора, Кибальчица и Обручева.

Не будем во всех подробностях «проецировать на жизнь» увядающую, но все еще пленительную Джульетту — Асию Васильевну, к «глазищам» которой не остается безразличным даже добродетельный Шеремет. Джульетта она и есть Джульетта: страсть нежная — основная ее сущность. Как о редакторе мы узнаем лишь, что она сначала всячески помогала Феликсу, а при первой же отрицательной внутренней рецензии — рецензии Ракитина — сейчас же переменила свое мнение о повести Феликса.

Немолодая Джульетта порхает по прииску — чтобы не отрываться как от своего Ромео, так и от жизни, — тоже героически, не щадя своих «мелких туфель-калошеч». Сколько она зато увидела интересного! Какая «забавная» была опробищица Валя «в больших резиновых сапогах», с руками, красными от холодной воды. Этой Вале надо «за смену промыть лотков восемьдесят». Хороша забава! Еще одна деталь характера Аси Васильевны. Вышестоящие — как

отрицательный Шапов, так и положительнейший Шеремет — говорят ей «ты», а она им — почтительное «вы», не испытывая при этом ни малейшей неловкости, ни малейшего чувства протеста. Наоборот, когда как-то Шапов «обратился к ней на «вы», Ася внутренне и внешне подобралась, лицо стало холодно-приветливым» — отеческое «ты» со стороны начальства ей, видно, и привычней и приятней. Впрочем, это норма отношений между героями романа. Субординацию они чувствуют весьма тонко: знают, кому «тыкнуть», кому «выкнуть». Столичному писателю Феликсу никто из местных начальников не «тыкает», хотя он Асе Васильевне в сыновья годится.

Таковы главные воспитатели Феликса — те, на чем положительном примере, очевидно, должен воспитываться и читатель, по замыслу автора. Вернее, по тому типовому проекту, по которому построен роман. Однако искусство, как известно, не терпит стандартов. Их употребление в литературе может привести при сверке с жизнью к результатам, которые прямо противоположны задуманным.

**В. БОРНЫЧЕВА,**  
*лаборант.*

## ТРАДИЦИОННОСТЬ ИЛИ ШАБЛОН?

Я прочитал недавно сборник стихов В. Фирсова «Преданность» (издательство «Московский рабочий», 1964), и мне показалось, что поэт поторопился с изданием своей книги.

Выход «серой» книги — это, по-моему, бедствие. Трудно даже подсчитать, насколько она портит вкус читателя, как сводит на нет, что воспитано и завещано настоящей поэзией. Вот почему я и решил написать о своем мнении.

Любимый мир В. Фирсова — края «берез и трепетных осинков», земля «с поблекшею травой», росистые рассветы и туманные вечера. В. Фирсов декларирует свою «навечно» верность колхозным нивам и весьма настоятельно относится к городу, где живут несимпатичные ему «мальчики с улицы Горького», где некие поэты с московских

бульваров бредут «с ухмылкой по параболу там, где бы надо — по прямой».

Позиция, как видим, недвусмысленно ясная. Но стоит заметить, что, хоть «город» и неприятен поэту, поэт все же весь в нем, в его кипенье, а любимую им деревню пишет скорее как гостя, по памяти юных лет. Но при этом образы земли с ее красками, звуками, запахами, с ее неповторимой живой прелестью — это лучшее, что есть в стихах В. Фирсова. Любовь к родной земле, к родине не раз подсказывает поэту точные слова, с волнением воспринимающиеся образы.

Выразительно рисует он, например, послевоенные полустанки.

Где, лицо по-монашью  
Угрюм до бровей,  
Ищут женщины наши  
Своих сыновей...

Именно эти поэтические удачи дают, мне думается, право на откровенный, нелестно-приятный разговор с поэтом.

«Я весь в плену традиционной рифмы», — не то досадуя, не то рисуясь, признается В. Фирсов и, как бы предупреждая возражения, говорит:

Опять пишу  
Традиционным ямбом  
Весьма традиционные стихи.  
Пишу о том,  
Что выметалась рожь  
И над дорогой пыльно нависла.  
А рифмы-то какие: рожь — хорош,  
Лишенные  
Новаторского смысла.

Свою будто бы нарочитую простоту В. Фирсов противопоставляет эстетствующим фокусникам, рифмующим «базар с бальзамом» и ради созвучий пренебрегающим грамматикой.

Обычные рифмы В. Фирсова: ветвей — соловей, заблестала — устало, ты — цветы, ты — суеты; и, словно подчеркивая пренебрежение к изыску, поэт восклицает:

Ах, московская синевал —  
Ради рифмы тебя называю.

Что и говорить, поэт не утруждает себя понском рифм, «чтоб враз убивали, нацелясь». Впрочем, «базар с бальзамом» встречается и у него: бани — бабы, представляете — в отставку, бубен — разбудит, спелым — спетой и даже снег — нет.

Если это не эстетическая позиция автора, то что же это? Может быть, это от небрежности к рифме вообще?

Но и других небрежностей в стихах много.

Надо жить,  
Понимая строже...—

несколько невразумительно говорится в одном стихотворении.

Еще более не в ладах с грамматикой строки:

А попадись в пути река,  
Я б из нее весь день не вылез!

Если «весь день», то уж, безусловно, должен быть глагол «не вылезал» (со значением многократности). «Весь день не вылез» — просто не по-русски.

А как много неточно употребленных слов! Это приводит к смысловому ущербу:

Пока в сырой земле лежит поэт,  
Его убийца делает карьеру.

Пока? А потом? Поэт не будет лежать в сырой земле? Или, может быть, презренный убийца пустился делать карьеру на веки вечные?

«Весьма традиционные стихи» приводят к тому, что В. Фирсов использует в разных коллизиях одинаковые образные решения. «Ты глядишь светло и весело», — встречаем мы в стихотворении «Ровеснику». «Тепло, светло и весело бывает», — читаем в стихотворении «Дождь». Почти одинаково строится образное сравнение глаз коня и... девушки: «В глазах коня — заря отражена», «А в глазах (у девушки). — И. Г.), что в озере — заря». Красные они, что ли?

Взять бы «звездных» городских юнцов на выучку в колхоз, читаем в одном стихотворении, «взять бы этих девочек за город, но без гитар, без сигарет и вин», — читаем в другом.

Еще более заметны поэтические просчеты в поэме «Россия от росинки до звезды». Взята ответственнейшая тема, но как облегченно подошел автор к своей художественной задаче!

Автор претендует на широкое обобщение истории России, но строит поэму по грубо сколоченной схеме, в перечислительном плане ведет читателя по хронологической канве, не замечая совершенно нестерпимых штампов:

Земля, земля!  
О, скольких ты видала  
Во тьме кровавых, гибельных ночей  
Скуратовых, биронов, остерманов,  
Своих и чужеземных палачей!..

Или:

Сияют золотые эполеты  
И храмов золотые купола.

Здесь ни глазу, ни слуху невозможно заметить какое-нибудь новое звучание, сколько-нибудь самобытный образ. Это уже не традиционность, а трафарет.

Стремительный пробег по времени, шаблонное решение темы, важной и дорогой для нашей литературы, плакатное изображение пьянствующего до икоты купечества и толстазадых заспанных жандармов, неряш-

ливость речи — все это свидетельствует, что тема оказалась не по силам автора.

Удручает однообразие поэмы, образная ее бедность. Облегченная, перечислительная передача событий, движения истории, народных масс подсказывает поэту периоды со словами «сквозь», «шагали», «шли», которые многократно повторяются: шла молодость неудержимой лавой, шли коммунисты на огонь обрезов, мы... шагнули к новой доле, шли бурлаки, шли мужики, дети и мужья... шли под пули, шагали интернационалисты, идут... все новые и новые друзья, Россия шла... шагая, и даже «шел... воздух».

И это не предвзято надерганные строчки, а основной прием «развития» образа!

Поэма избилует штампами:

Когда рождались фабрики, заводы  
И все сильнее огонь сердец горел...

Эти строки «стенгазетного уровня» можно дополнить и таким традиционным оборотом, как «Днепрогэса ширились огни». Кстати, огонь стал с давних пор, пожалуй, наиболее избитым штампом выражения страстей, зрительного представления о стройках и городах. Этот «образ» лежит под рукой, и неразборчивые авторы очень охотно пользуются к месту и не к месту испытанной «заготовкой».

Что можно сказать Владимиру Фирсову? Так писать нельзя. Нельзя было торопиться с опубликованием незрелой поэмы. Высокие идеи не могут излагаться тускло и стандартно.

**И. ГУБАНОВ,**  
*учитель.*

Московская область,  
г. Балашиха.



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**И. Х. БАГРАМЯН.** Город-воин на Днепре. Политиздат. М. 1965. 160 стр.

Глубокое волнение испытываешь, читая эту суровую книгу, достойно пополнившую нашу военно-мемуарную литературу. Мемуаров теперь выходит в свет все больше и больше. Особенно много было их издано в связи с двадцатилетием со Дня Победы. Очень хорошо, что за перо взялись и крупные военачальники нашей армии. Отрадно, что, кроме Военного издательства, которое сделало большое и важное дело, начав выпуск мемуаров, этим занялись и другие издательства, например, Политиздат. Пора преодолеть чрезмерно осторожное отношение к мемуарам. Их ждет читатель. Они нужны, ибо обогащают наше знание истории, в частности истории Отечественной войны. Естественно, в мемуарном потоке не все равноценно. Здесь нередко еще сказывается субъективное толкование различных событий и фактов.

Тем приятнее отметить появление серьезной книги маршала Баграмяна. Она восстанавливает подлинную — героическую и одновременно трагическую — картину битвы с врагом, которую наши армия и народ вели на юго-западе страны, у берегов Днепра. Не замыкая события четырьмя стенами фронтового КП, книга повествует о тяжелом ратном труде огромных воинских коллективов. Автор анализирует собранный им архивный исторический материал, не отказываясь, естественно, и от личных записей. Соединив все воедино, он создает панораму сражения во всем напряжении и масштабе.

Автор справедливо подчеркивает значение битвы за Киев. Семьдесят дней этот город-герой сражался в неравном бою с превосходящими силами врага. Именно героизм армий Юго-Западного фронта вынудил Гитлера снять с Московского стратегического направления значительную часть своих сил и перебросить их на юго-запад. Мужество защитников Киева более чем на месяц задержало наступление гитлеровцев на Москву. Незабываема стойкость войск Юго-Западного фронта, которые в результате ошибочных концепций Ставки оказались в труднейшем положении и несли тяжелые потери. В этом смысле особый интерес имеют впервые публикуемые документальные свидетельства о причинах тяжелого поражения, которое испытали окруженные войска,

о трагической медлительности Ставки, в результате которой на этом фронте наши войска, несмотря на то, что они сражались с подлинным бесстрашием, все же оказались перед фактом катастрофы.

Маршал И. Х. Баграмян написал правдивую книгу, показывающую истинное уважение к фактам истории.

**Н. Мар.**

★

**В ЕДИНОМ СТРОЮ.** Сборник. Воениздат. М. 1965. 231 стр.

Для борьбы с силами социализма и демократии империалисты США и Европы организовали в 1949 году агрессивный военно-политический союз — Североатлантический пакт (НАТО). В мае 1955 года в НАТО вошла Федеративная Республика Германии, армия которой при поддержке американских империалистов превращается в его главную ударную силу для борьбы против социалистических стран.

Социалистические страны Европы в связи с усилением военной опасности вынуждены были принять меры для обеспечения своей безопасности. Одной из этих мер было подписание в мае 1955 года в Варшаве договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между восемью европейскими социалистическими странами.

«Высокая обороноспособность и боевая готовность социалистических стран, — говорит Янош Кадар, — военная мощь Организации Варшавского договора стоят на страже неприкосновенности социалистического лагеря и мира во всем мире».

О боевом содружестве армий Варшавского договора, о вкладе каждой из них в укрепление обороноспособности мировой социалистической системы рассказывает сборник «В едином строю». Красной нитью проходит через все его материалы живительность идеи пролетарского интернационализма.

О многих интересных фактах участия интернационалистов в гражданской войне в рядах Красной Армии, о боевых действиях чехословацких, польских, болгарских, румынских воинских частей в годы Великой Отечественной войны, плечом к плечу с Советской Армией сражавшихся с врагом, рассказано в статье Маршала Советского Союза А. А. Гречко. В сборнике помещены

статьи министров обороны стран—участниц Варшавского договора, а также очерки о боевой учебе и о культурных и спортивных связях братских армий.

**Ф. Молок.**

★

**А. Ф. ФЕДОРОВ.** Последняя зима. Воениздат. М. 1965. 384 стр.

Дважды Героя Советского Союза А. Ф. Федорова читатели хорошо знают по книге «Подпольный обком действует». Новая его книга — «Последняя зима», рассказывающая о партизанской борьбе на Волыни в более поздний период, зимой 1943 — 1944 года, является как бы продолжением и завершением первой.

«Годы уходят, а с ними постепенно уходят участники и свидетели минувших боев. Многим из нас есть еще о чем рассказать, о чем вспомнить. По-моему, это наш долг...» — так пишет сам автор в своем вступительном слове. В книге нет вымысла, нет стремления как-то приукрасить события. Отдельные зарисовки, очерки из партизанской жизни, тесно между собой связанные и дополняющие друг друга, скупы, лаконичны, безыскусственны. Это будни. Партизанские будни. А между тем почти в каждой строке книги, в каждом эпизоде — подвиг в настоящем смысле этого слова, подвиг, ставший повседневностью, ежедневно и ежечасно совершаемый людьми, борющимися за свободу родины в тылу у врага.

Из отдельных эпизодов встает перед читателем картина могучего, подлинно народного партизанского движения. Каждая взорвавшаяся мина, каждый взлетевший на воздух эшелон — это трудная, связанная с риском для жизни работа подрывника, безвестный подвиг человека «в драном кожаном, с автоматом на груди и небольшим ящичком в руках. Так же, как и автору, нам станвятся дороги и близки эти люди.

Слово «партизанщина» принято в какой-то мере отождествлять со словом «анархия». Но партизанское движение, о котором рассказал нам А. Ф. Федоров, не имело ничего общего с «партизанщиной». Высокая дисциплина, четкая организация делали четырехтысячную партизанскую армию могучей боевой единицей. В главе «Операция «Семечки» интересно описана будничная жизнь взвода Михаила Тущенко, расположившегося в самом глубоком, отдаленном от партизанского центра фашистском тылу, в деревеньке под Чарторийском. С утра у бойцов — физзарядка, чтение сводки Совинформбюро и политбеседа о событиях на фронте. «Затем все разошлись по своим делам. Бойцов ждали занятия по тактической подготовке, политрук отправился в «гражданскую» часть деревни, чтобы почтять людям газету, а Тущенко ушел к себе. С девяти утра у него — прием населения». Да, прием населения. Потому что партизаны были не только бойцами переднего края, но и представителями

советской власти. «Партизаны лечат, партизаны школы налаживают, партизаны землю дают».

Многие из участников партизанской борьбы погибли, о послевоенной судьбе других рассказывает последняя глава книги — «Много лет спустя». На руководящей партийной и советской работе Герои Советского Союза отважные партизаны В. Н. Дружинин, А. С. Егоров, Г. В. Балицкий; испытывает двигатель в одном из научно-исследовательских институтов Герой Советского Союза бывший минер Д. М. Резуто; доктором исторических наук стал другой герой книги, Герой Советского Союза минер В. И. Клоков; бывший партизанский хирург Т. К. Гнедаш — ныне заслуженный врач УССР. Радостно сознавать, что такие люди живут и работают среди нас.

**К. Бродер.**

★

**В. АНДРЕЕВ, В. СОСИНСКИЙ, Л. ПРОКША.** Герои Олерона. «Беларусь». Минск. 1965. 105 стр.

«Не забудьте... Терпеливо собирайте сведения о тех, кто пал за себя и за вас... Помните: не было безымянных героев».

Эти слова Юлиуса Фучика, поставленные эпиграфом к небольшой, но очень содержательной книге «Герои Олерона», как нельзя лучше отражают благородную цель, поставленную перед собой авторами. Многие ли из нас знали о самоотверженной борьбе русских патриотов на этом французском острове в Бискайском заливе?

«Характерная особенность работы русских — безымянность, — писала тогда французская печать. — Были случаи, когда подвиги, совершенные ими, вызвали сенсацию и... приписывались другим. Таков знаменитый взрыв немецких пороховых складов на острове Олерон». И вот недавно мы узнали, что этот сильнейший взрыв, произведенный 24 ноября 1944 года, — дело рук белорусского комсомольца Владимира Антоненко. Этим взрывом было уничтожено пять тысяч ручных гранат, огромное количество снарядов; несколько миллионов патронов.

Около двадцати лет мать ничего не знала о судьбе своего сына. А сейчас и она, и все мы узнали, что этот парень из Мозыря во главе группы русских патриотов героически боролся с фашистами на Олероне. На этом острове он и погиб в бою 30 апреля 1945 года — в день освобождения острова от немецких оккупантов. Тут он и похоронен. А рядом — его боевые друзья Евгений Красноперов, Михаил Ершов, Александр Ковалев и другие, как и он отдавшие свои молодые жизни за свободу народов. Важные сведения сообщили о них оставшиеся в живых олеронцы Владимир Орлов, Иван Тимохин и другие. В состав этой патриотической группы входили и авторы этой книги эмигранты Владимир Сосинский и Вадим Андреев — сын известного русского писателя Леонида Андреева.

Летом прошлого года В. Андреев совершил поездку из Швейцарии на Олерон. Об этой поездке он рассказывает в одной из глав. Мы узнаем, как свято чтут французы память об Антоненко и его боевых друзьях.

В книге нет фантазии, ненужной беллетристики. В ней приводятся подлинные имена и факты. Она документальна, и в этом ее большая ценность.

**Б. Виноградов.**

Минск.

★

**И. ЗИЛЬБЕРФАРБ.** Социальная философия Шарля Фурье и ее место в истории социалистической мысли первой половины XIX века. «Наука». М. 1964. 556 стр.

Эта книга написана двадцать лет назад. Однако выход ее в свет был невозможен: направление авторского исследования, его выводы расходились с «официальной» точкой зрения на утопический социализм, бытовавшей в нашей науке в сороковых — начале пятидесятих годов. В основе ее лежало положение И. В. Сталина о том, что Маркс был «врагом утопистов». В разряд врагов марксизма попал и Фурье, объявленный «буржуазным мыслителем».

Честный ученый И. Зильберфарб оставался верен своему исследованию. Углубляя и развивая его, он ничего не изменил, ни от чего не отказался в угоду директивным формулам, отгораживавшим марксизм от предшествующей общественной мысли. Его книга — ценный вклад в изучение развития марксизма от утопии к науке.

В центре внимания исследователя — самая существенная часть учения Фурье: его взгляды на общественное развитие, представления об устройстве будущего общества, о новом человеке. И. Зильберфарб убедительно и по-своему раскрывает близость отдельных положений социальной философии Фурье марксизму. Многие из того, что Фурье гениально предугадал, заглядывая в будущее человечества, Маркс доказал научно. Именно Фурье — этот «патриарх социализма», как назвал его Ф. Энгельс, — высказал мысль о труде как естественной потребности, источнике наслаждения для будущего человека, о государстве как органе управления хозяйственной жизнью страны, о воспитании, семье, любви в будущем обществе, о роли в нем женщины (Фурье первому принадлежит мысль, что степень эмансипации женщин есть мерило обшей эмансипации).

Впервые в литературе о фурьеризме четко и последовательно прослежена его определенная революционность. Автор справедливо критикует установившийся у нас одно время взгляд, нигилистически отрицавший влияние передовой западноевропейской мысли на развитие русского утопического социализма. Однако характеристика им революционеров тридцатых — сороковых годов как «русских фурьеристов» (это относится прежде всего к петрашевцам) представляется несколько односторонней. Он

недостаточно подчеркивает крестьянский характер социалистических идей, их неразрывное слияние с революционным демократизмом. Думается, что в революционной идеологии этого переходного периода фурьеризм не играл столь значительной роли, как это представляется увлеченному своей темой автору.

В книге показано, что научный социализм отрицает социализм утопический. Но это отрицание не голое, скептическое, а «отрицание как момент связи, как момент развития, с удержанием положительного...». Эту ленинскую мысль автор конкретизирует на основании тщательно подобранного и продуманного материала. Порой И. Зильберфарб высказывает положения, расходящиеся с установившимися представлениями о Фурье. «Но ведь задача исследования, — говорит он, — не пересказ общепринятого, ведь именно в споре, как известно, рождается та истина, что движет науку вперед».

**В. Твардовская.**

★

**МАРИО МОУТИНЬО ДЕ ПАДУА.** Война в Анголе. Дневник военного врача экспедиционной армии. Перевод с португальского. Воениздат. М. 1965. 84 стр.

Марио де Падуа описал то, что видел своими глазами. Это — правда о «кровавой, реакционной и трусливой войне», которую ведут португальские колонизаторы в Анголе, о «необыкновенном cortege зверств, бесчеловечных преступлений, в котором участвует большая часть взбесившихся белых», о «радости преступников, действия которых санкционированы законом».

Дневник де Падуа надо было издать, даже если бы он был только непосредственным свидетельством очевидца: необходимо, чтобы о чудовищных преступлениях против человечности, совершающихся в разных местах земного шара, знало возможно больше людей. Всех преступников, больших и малых, вчерашних и сегодняшних, надо выставлять на всемирное позорище, срывать тот покров «государственной тайны», под которым они пытаются упрятать свои деяния. Нужно будить в людях гнев.

Но дневник де Падуа ценен не только этим. Перед нами человеческий документ исключительной силы. Это очень не просто — вести дневник, каждая страница которого раскрывает образ мыслей автора, весьма предосудительный с точки зрения ПИДЕ — тайной политической полиции Салазара. Еще труднее принять решение, которое становится поворотным пунктом в жизни.

Де Падуа восхищается мужеством ангольского народа, отчетливо сознает правоту его дела. «Я горячо желаю, — записывает он в дневнике, — чтобы повстанцы уничтожили, раздавили нас и вызвали бы этим крах фашистов, которые ведут наш



народ к позору». В этих строках — высокое чувство гражданского мужества. Казалось бы, безоружный врач, оказывающий помощь раненым португальским солдатам и ангольским пленникам, не может нести ответственность за действия властей и «самодеятельных» банд активистов салазаровской партии. Казалось бы, у младшего офицера нет иного выхода: он должен повиноваться, а не подвергать сомнению приказ. Слишком многие в подобном положении удовлетворяются этой несложной «мудростью».

Но Марио де Падуа присуще чувство личной ответственности за то, что совершается вокруг него, в самом высоком смысле слова. «Мне кажется, — пишет он, — что я уже не имею права радоваться... когда в других частях мира добро побеждает зло. Не знаю, имею ли я право радоваться, если моя служба в фашистской армии пачкает меня в моих собственных глазах».

В конечном счете автор перешел на сторону врагов официальной Португалии. Чувство долга, основанного на традиции, на бездумной вере и предрассудке, было побеждено долгом, неизмеримо более достойным, — долгом, в основе которого лежит нравственная ответственность человека за все то, что совершается вокруг.

**В. Шейнис.**

Ленинград.

★

**И. И. РОСТУНОВ.** Генерал Брусилов. Воениздат. М. 1964. 245 стр.

До последнего времени историков, писавших о Брусилове, интересовало главным образом его участие в первой мировой войне. Что же касается его службы в царской армии до 1914 года и послереволюционной службы в рядах Красной Армии, то эти этапы, как правило, оставались вне поля зрения исследователей и писателей. Единственный источник, откуда можно получить некоторое представление об этих периодах жизненного пути Брусилова, — его мемуары. Но и они обрываются событиями первого полугодия 1917 года.

Начавшееся в середине сороковых годов изучение личного архива Брусилова было вскоре прекращено, а имя полководца предано забвению. Только после XX съезда КПСС возобновились многие исследовательские работы, в том числе и те, что нашли воплощение в рецензируемой книге. В ее основе — архивные документы, значительная часть которых все еще ждет своего публикатора. И. И. Ростунов широко использовал также мемуарную литературу и некоторые произведения иностранных авторов.

Центральное место в книге отведено освещению роли Брусилова в первой мировой войне, и в частности осуществлению Луцко-го (названного впоследствии Брусиловским) прорыва австро-германского фронта в 1916 году. Надо сказать, что здесь автор, к сожалению, не добавил ничего существенно нового к тому, что уже многократно было описано в нашей литературе, а лишь под-

вел какой-то итог в изучении этого важного вопроса современной военно-исторической наукой.

Наиболее ценное в книге, по нашему мнению, заключается в том, что в ней впервые глубоко и без всякой предвзятости раскрыто отношение Брусилова к февральской и Октябрьской революциям и обстоятельно показана его военная деятельность в годы советской власти.

К сожалению, неумеренное цитирование И. И. Ростуновым мемуаров Брусилова в известной мере сквало его самостоятельное авторское повествование.

**М. Попов,**  
кандидат исторических наук.

★

**ТОЛЕГЕН КАСЫМБЕКОВ.** Хочу быть человеком. Повесть. Авторизованный перевод с киргизского Л. Лебедевой. «Советский писатель». М. 1965. 141 стр.

Юноша, закончив школу, отправляется в столичный город поступать в вуз, проваливается на экзаменах, возвращается домой и здесь, приобщившись к труду, становится человеком. Нехитрая схема, повторяющаяся в различных произведениях много раз. Будто учеба — это не работа, не труд, а студенчество не та среда, где может воспитаться характер современного молодого человека.

Повесть киргизского писателя Т. Касымбекова «Хочу быть человеком» начинается именно с возвращения его героя Асылы домой после неудачи с институтом. Естественно, это настораживает читателя. Но чем дальше развивается повествование, тем больше рассеиваются первоначальные опасения и возрастает доверие к автору.

Оказывается, Асыл поехал сдавать экзамены в институт не потому, что ему tilbилась та или иная специальность, а чтобы выполнить волю отца. А для отца «выйти в люди» значит обязательно получить диплом и «солидную» работу в каком-либо учреждении.

В день, когда Асыл после неудачной поездки во Фрунзе возвращается домой, в семье происходит еще одно печальное событие: отца увольняют с должности фининспектора и с него, как позолота с елочной игрушки, слетает вся важность и напыщенность. «Я слушал, смотрел на него и удивлялся... — говорит герой. — Отец похудел, постарел и сморщился. По-чудному, как индюк, вытягивает шею, трясет головой».

Юноша не сразу выбирает свою жизненную позицию. Он еще ходит и присматривается, но работа друзей и вся их жизнь, их взаимоотношения — все помогает юноше понять несостоятельность этических норм, которыми живет отец. Казалось бы, какое отношение к умонастроению Асылы имеет то, что приключилось с Дильде — ее похитил Мыкты, с которым Асыл вместе ездил во Фрунзе сдавать экзамены. Бездельник созвал уже родственников на свадьбу, но Дильде убежала, а Мыкты за эту

историю просто посадили на пятнадцать суток. В Асыле, кроме тревоги за Дильде — он ее любит, — эта история вызвала еще и восхищение девушкой, которая уже на другой день, ничуть не смущаясь, «вышла на улицу и держалась просто, как всегда».

В Асыле зреет протест против устаревших обычаев и жизненных правил, настает момент, когда он осмеливается возразить отцу, наконец-то устроившему сына на «хорошую должность».

Пока еще Асыл не знает, что он станет делать — может быть, поедет в Шамалды-Сай электростанцию строить, а может, останется в колхозе (трактор тоже интересная вещь), — но ясно одно: он не станет жить по советам отца. Асыл хочет быть человеком. В повести Т. Касымбекова перед нами — рассказ человека молодого, еще несколько наивного, но уже приобретшего достаточный жизненный опыт, чтобы взглянуть со стороны на поступки своей юности, оценить их и посягаться над собственными злключениями и подтрунить над крохотным мешанским честолюбием «нищего, но гордого» отца.

Повесть Т. Касымбекова лирична, в ней есть обаяние молодости, непосредственности, но она еще лишена тонкости психологического рисунка. «Хочу быть человеком» — первая вещь молодого писателя, переведенная на русский язык, и есть все основания надеяться, что герои следующего его произведения будут обрисованы многограннее и глубже.

Е. Усыкина.

★

**В. СКОБЕЛЕВ.** Александр Неверов. Критико-биографический очерк. «Советский писатель». М. 1964. 196 стр.

Творчеству Александра Неверова в последнее время уделяется много внимания. При этом приятно отметить, что инициаторами выпуска собрания сочинений и ряда работ о Неверове выступили литераторы Куйбышева — земляки писателя.

Критико-биографический очерк В. Скобелева «Александр Неверов», ныне вышедший в Москве, не только последняя по времени работа, но и лучшая по сравнению с предыдущими. Она содержательна, написана сжато, энергичным слогом.

В первой главе автор рассматривает творчество Неверова в дореволюционные годы. Связь с деревней после революции 1905 года, общение с Короленко, Горьким — вот решающие факторы в биографии молодого писателя. В. Скобелев раскрывает своеобразный путь Неверова в литературу, но в то же время видит и общее в судьбе Неверова и таких писателей из крестьян, как И. Вольнов, И. Касаткин, А. Чапыгин, С. Подъячев. Автор сравнивает ранние рассказы Неверова с вольновской «Повестью о днях моей жизни», с одной стороны, а с другой — с «Деревней» Бунина. Автор очерка прекрасно понимает, что степень дарования Бунина неизмеримо выше, чем у

Неверова и Вольнова, но эти писатели-демократы сумели отобразить такие стороны революционной деревни, какие не видны были первоклассному художнику.

Не декларативно, не в общих фразах, а конкретно и наглядно автор очерка дает нам представление о том, что Неверову принесла Октябрьская революция. И тут дело не столько в перечне всего написанного за какие-нибудь пять-шесть лет. В. Скобелев останавливает наше внимание на таких художественно значительных вещах, как «Я хочу жить». В своих рассказах и повестях А. Неверов изобразил революционную эпоху пусть не с такой силой, как это сделано в «Партизанских повестях», «Чапаеве», «Барсуках», «Железном потоке», «Разгроме», «России, кровью умытой», но он сказал в свое время первое слово, он расширил дорогу для тех, кто шел за ним.

Автор справедливо считает лучшей книгой Неверова повесть «Ташкент — город хлебный». Недаром и глава, посвященная ей, одна из лучших в очерке. Здесь В. Скобелев не только дает анализ повести, но и пытается решить вопрос о соотношении романтизма и реализма в творчестве Неверова, сопоставляя «Ташкент — город хлебный» с «Андроном Непутевым». Автор справедливо утверждает, что в первом произведении «героизация достигается не романтически-приподнятым изображением героя», а путем «поэтизации человека из народа, в прославлении его здравого смысла, жизнелюбия и веры в людей». Жаль только, что исследователь под этим углом не рассматривает поэтические средства повести, это сделало бы более убедительным его теоретическое обобщение.

Заключительная глава отводится разбору повести «Гуси-лебеди». Я думаю, что исследователь прав, не ставя это незавершенное произведение в один ряд с лучшими советскими романами первых лет, как это часто делают. Неверов явился зачинателем многих новых жанров и образов, но он не стал зачинателем советского романа. Однако то, что он сделал в советской литературе, обеспечивает ему право на наше внимание.

Мих. Минокин.

Орел.

★

**ВЛАДИМИР ПОЗНЕР.** До свиданья, Париж! Роман. Перевод с французского Н. Жарковой. «Художественная литература». М. 1965. 312 стр.

«До свиданья, Париж!» Владимира Познера написан почти четверть века назад. Это первый роман о поражении Франции, об уходе парижан из города под бомбами нацистской авиации. Потом об этом напишут многие. В «Коммунистах» Луи Арагона эти дни будут воссозданы и шире и детальнее — время даст ему возможность сделать обобщения. Роман же Познера, как и «Военный летчик» Сент-Экзюпери, — это еще даже не воспоминания: настолько близко случившееся

ся, то, что происходило с ним самим. Владимир Познер был солдатом французской армии, шофером, как и его герой Кайоль.

Интересно сравнить, как два бойца — Антуан де Сент-Экзюпери и Владимир Познер, — вынужденные волею обстоятельств эмигрировать из оккупированной Франции, осмыслиют события; откуда черпают они уверенность, что фашизм ненадолго подмял французский народ. Их объединяет страстная вера в человека, который не только остается человеком в условиях войны, но как бы способен возвыситься над самим собой, подняться в кровавом зареве всеобщего бедствия над мелочным, будничным. Но Владимир Познер — коммунист — гораздо конкретнее в анализе социальных причин, приведших Францию к катастрофе.

Коммунист Кайоль и кадровый офицер Карвен. Подлинная и мнимая сила характера, подлинные и мнимые ценности, ради которых живут один и другой. Самоотверженный патриотизм солдат — и трусость, растерянность, предательство командования.

Кайоля и шоферов его подразделения заставляют вывозить из Парижа абсолютно ненужный архив, ради спасения которого они готовы погибнуть, так как думают, что спасают ценные документы — залог будущей победы. Трое солдат чудом проводят танк от границы Бельгии до Луары, где, они верят, состоится решающая битва с противником. В солдатах, в народе раскрываются подлинный гуманизм, мужество, неисчерпаемый запас любви к родине. Но офицеры бегут. Нет карт. Оружие устарелое. И в час, когда немецкая армия уже входит в столицу, старшина Биссьер — в мирное время заводчик — охотится за коммунистом Кайолом, которого он ненавидит больше, чем немецких фашистов: Биссьер не может забыть Народного фронта, забастовок, посягательства рабочих на его права хозяина.

Роман кончается в день подписания перемирия. Солдаты начинают понимать, кто виноват в поражении. Полковник Карвен сломлен. Кайоль же незаметно становится вожаком — он из тех, кому предстоит возглавить Сопротивление.

Бессмысленность смерти, трагедия полонных судеб, чудовищная гибель от случайной бомбы роженицы и новорожденного ребенка, которого принимают в лесу солдаты, принимают как саму жизнь, — весь этот страшный мир войны нарисован Познером резко, честно. И Кайоль — коммунист, солдат, интеллигент, шофер — показан без всякого хрестоматийного глянца. Поэтому убедительна его нравственная победа — победа партии, притягивающей людей из народа, победа партии, которой боится и перед которой пасует кадровый офицер Карвен.

Л. Зонина.

**МУЛУД ФЕРАУН.** Дорога, ведущая в гору. Роман. «Молодая гвардия». М. 1965. 176 стр.

Кабилия — суровый край северо-восточного Алжира. Арабы называют его краем Джурджуры в честь горной гряды с высокими снеговыми вершинами, почти всегда окутанными туманом. Эти серые хребты отделяют Кабилию от мира, от цивилизации. Непрístupные горы, маленькие деревушки с ветхими лачугами и узкими кривыми улочками, бесплодные поля, чахлые травы. Патриархально-общинный уклад жизни на уровне прошлых веков.

Такова Кабилия кануна великих революционных боев алжирского народа, Кабилия, изображенная в романе талантливого алжирского писателя Мулуда Ферауна «Дорога, ведущая в гору».

Действие романа происходит в одной из небольших мусульманских деревенок этого голодного края — в Игил-Незмане. Каждодневная борьба за существование, суеверия, мелочные пересуды — вот удел ее жителей. Каждое утро унылое, зябкое и печальное пробуждение, каждый день тяжелый труд и стремление уверить себя, что есть все-таки в жизни что-то, ради чего стоит жить.

Герои книги Амер и Дехбия с ранних лет окружены атмосферой ненависти и лицемерия. Прав тот, кто сильнее, — вот неписанный закон игилнезмандцев. Их нравы, их мораль не приемлет Дехбия, они вызывают яростный протест у Амера. Амер — полуфранцуз, полукабил. Еще в юности он был создателем коммунистической ячейки, мечтал о мире, где кабилы были бы полноправными людьми. Он много думает, много размышляет над судьбой своих собратьев.

Каждое новое поколение, исполненное радужных надежд, рвется во Францию, она для кабил — земля обетованная, край надежд и мечтаний. Но возвращаются они на родину с израненными сердцами и такими же нищими, как и уехали.

«Там тоже есть богатые и бедные, есть бандиты и голодранцы, но мы не принадлежим ни к одной категории. Мы только североафриканцы», — так с огромной болью говорит Амер. Во Франции арабы — чужаки, «грязные бико», парии XX века. Но — удивительное дело — у себя на родине они тоже не хозяева, они туземцы, то есть «коварные дикие хищники, которых надо опасаться и терпеливо приручать». Алжир не принадлежит арабам, он всего лишь французская колония.

Амер и Дехбия любят друг друга, но они не могут быть счастливы. Амер протестует, бунтует, его душат слезы ненависти, но отстаять свое право на лучшую жизнь он не умеет. Его рассуждения подчас сбивчивы, противоречивы, он терзается сомнениями, но в одном он убежден твердо: не в бегстве из родной страны надо искать спасение. Амеру не хватает решительности и смелости, он еще не встал на путь революционной борьбы, но лозунг «Алжир — алжирцам!», под которым пошли в бой сотни

тысяч алжирских патриотов в ноябре 1954 года, был дорог герою книги Мулуда Ферауна.

Амер не дождал не только до победы народа, но и до начала ее. Он мечтал о счастье для своей родины, мечтал о мире, освобожденном от угнетения, несправедливости и расизма. Этой красной, возвышенной мечтой была наполнена вся его жизнь, как и жизнь самого Мулуда Ферауна, зверски расстрелянного оасовцами в 1962 году.

Л. Васильева.

★

**ЕВГ. БРАНДИС.** От Эзопа до Джанни Родари. Зарубежная литература в детском и юношеском чтении. «Просвещение». М. 1965. 312 стр.

Произведения литературы, пришедшие к нам из-за границы, нередко находят у нас вторую родину, как, например, роман Э. Л. Войнич «Овод».

В повести «Кондуит и Швамбрания» Лев Кассиль описывает остров Лукоморье, на котором помещался Заповедник героев. Там жили «вне времени и сюжета» герои любимых детских книг: «Принц и Нищий, Макс и Морич, Бобус и Бубус, Том Сойер и Гек Финн, Оливер Твист, Маленькие Женщины и Маленькие Мужчины, они же ставшие взрослыми, дети капитана Гранта, маленький лорд Фаунтлерой, двенадцать егерей, три пряжи, семь мудрых школяров...» Кроме того, на острове был расположен сборный эскадрон: Неизвестный Рыцарь, Всадник без головы, Дон-Кихот, Санчо Панса, ну и, конечно, там жил Робинзон Крузо, и Нат Пинкертон, и Шерлок Холмс, «гуляли Голубые Цапли и летали Синие Птицы...».

Хотя в этом Заповеднике были и русские герои (тридцать три богатыря и еще отдельно — Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич), все же в основном, как говорится, остров Лукоморье был заселен героями книг мировой литературы, которая долгое время была преимущественным чтением русских детей.

В нынешнем Заповеднике наши ребята поселят еще и Чапаева и Павку Корчагина, Тимура и Чука и Гека, Петю и Гаврику и Володю Дубинина, дядю Степу, и старика Хоттабыча, и других героев советских детских книг, а зарубежным новичкам — славному Чиполлино и королю Матюшу Первому — будет оказано самое радушное гостеприимство.

Книга Е. Брандиса — ленинградского литературоведа, автора монографии о Жюль Верне и ряда других работ — путеводитель по этому Заповеднику героев.

Автор, в сущности, впервые у нас рассказывает увлекательную историю о том, как мировая литература пришла в руки к русскому ребенку. Он строит свое повествование в хронологическом порядке, что дает возможность отчетливее видеть историческую перспективу, кратко характеризует каждое произведение, переведенное на рус-

ский язык, рассказывает историю его создания, биографию писателя и специальное внимание уделяет переводам этого произведения на русский язык.

Одновременно мы узнаем и о запретах царской цензуры, которым подвергались многие книги иностранных писателей. Некоторым из них иногда на целые десятилетия была закрыта дорога к русским детям.

Подробно останавливается автор на постоянном и внимательном отношении русской критики к книгам, переводимым на русский язык. Суждения Белинского о разнообразных переделках для детей романа Дефо «Робинзон Крузо» и о сказках Гофмана, статьи и рецензии Чернышевского и Добролюбова о произведениях Андерсена, Диккенса и других, цитируемые Брандисом, убедительно свидетельствуют об этом.

Освещена в книге и роль русских писателей в приобщении ребенка к шедеврам мировой литературы. Ведь И. Тургенев написал специальное предисловие к русскому переводу сказок Перро, Лев Толстой пересказал для детей «Робинзона», а Алексей Толстой — «Приключения Пинноккио», сделал из них «Золотой ключик». Всенародно известны работы С. Маршак и К. Чуковского — их прекрасные переводы для русских детей произведений английского фольклора и книг английских и американских писателей.

Во второй части книги, посвященной советскому периоду, читатель найдет характеристику переведенных у нас произведений для детей, созданных современными писателями — и в капиталистических странах, и в странах социалистического лагеря.

Подробное оглавление, тщательно составленные указатели имен писателей и названий упоминаемых произведений значительно облегчают пользование книгой и раскрывают ее богатое содержание.

Труд Е. Брандиса — одновременно серьезное исследование и емкий справочник; путеводитель по истории детской литературы и руководство по детскому чтению, строгий учебник и увлекательная книга для чтения.

Е. Таратута.

★

**И. М. ФИЛЬШТИНСКИЙ.** Арабская классическая литература. «Наука». М. 1965. 312 стр.

До сих пор на русском языке не существовало книги, в которой история арабской литературы освещалась бы достаточно полно и вместе с тем в доступной форме. Этот пробел в значительной степени восполняет работа И. М. Фильштинского «Арабская классическая литература».

Интерес к арабской классической литературе вполне понятен: это литература огромного исторического периода, включающая в себя такие выдающиеся произведения, как бедуйская и городская поэзия, великолепные памятники художественной прозы, а также известные во всем мире и нерасцен-

ные на множество языков сказки «Тысячи и одной ночи».

В первых главах книги автор увлекательно и живо повествует о зарождении древнеарабской поэзии в своеобразных условиях кочевой жизни племен Аравийского полуострова, о характерных особенностях этой поэзии и ее основных темах. Здесь же помещены переводы произведений выдающихся бедуинских поэтов. Нужно сказать, что древняя бедуинская поэзия и в настоящее время пользуется большой популярностью в арабских странах, отдельные ее образцы изучаются в школах и высших учебных заведениях.

В главе, посвященной Корану, священная книга мусульман разбирается как литературный памятник, стиль которого оказал огромное влияние на последующее развитие средневековой арабской литературы.

Переходя к изложению истории литературы раннесредневекового периода, автор характеризует политическую и сатирическую поэзию в Сирии и любовную лирику в Хиджазе. К сожалению, здесь не освещено творчество мятежников-хариджитов, бунтарские стихи которых могли бы представить значительный интерес и помочь более глубоко понять процесс политической и литературной борьбы в то время.

Центральное место в книге правомерно уделено расцвету арабской классической литературы (VIII—XII века). Удачно написан вводный исторический очерк, дающий представление о культурном уровне жизни ближне- и средневосточного общества, об основных философско-этических учениях, получивших распространение в Ираке, Сирии и других областях халифата в это время. Начало новой эпохи ознаменовалось новым стилем и в поэзии и в прозе. Блестящим поэтом-новатором был Абу Нувас. Автор книги несколько отошел от традиционной трактовки творчества этого поэта, подчеркнув прогрессивные стороны его.

В разделах о крупнейших арабских поэтах-философах аль-Мутанабби и Абу-ль-Аля аль-Маари И. М Фильштинский обнаруживает глубокое понимание причин, породивших эту своеобразную поэзию.

Ценно, что отдельный раздел посвящен народному и рыцарскому роману и зарождению новеллы в арабской средневековой литературе.

Книга написана на уровне современной литературоведческой науки. Обращают на себя внимание удачная периодизация, хороший справочный аппарат.

★  
Б. Шидфар.

★  
Л. Д. БЕЛЬКИНД. Томас Альва Эдисон. 1847—1931. «Наука». М. 1964. 327 стр.

Имя гениального американского изобретателя-самоучки Томаса Альвы Эдисона издавна пользовалось в России уважением.

Алексей Максимович Горький, обращаясь к молодежи, говорил, что надо помнить о том, «что среди творцов культуры много

простых рабочих, каким был знаменитый физик Фарадей, каков Эдисон». Он просил Герберта Уэллса написать книгу «об Эдисоне, об его жизни и трудах. Вы понимаете, как необходима книга, которая учит любить науку и труд»

Уэллс такой книги не создал. Когда же в 1933 году по инициативе Горького начала издаваться серия «Жизнь замечательных людей», вышла книга М. Я. Лапирова-Скобло об Эдисоне. В этой работе главное внимание уделялось биографии изобретателя и сравнительно мало рассказывалось о существовании самих изобретений, их влиянии на развитие технических идей.

Недавно в научно-биографической серии издательства «Наука» вышла монография об Эдисоне, принадлежащая перу историка электротехники заслуженного деятеля науки и техники РСФСР профессора Л. Д. Белькинда.

Эта книга явилась плодом многолетней работы автора, тщательно изучившего всю зарубежную литературу об американском изобретателе. Л. Д. Белькинд довелось в 1928 году встретиться с Эдисоном и осмотреть его лабораторию. При этом пояснения давал сам изобретатель.

Автор предпослал биографическому очерку главу «Основные этапы развития электротехники», ознакомление с которой даже технически не подготовленному читателю дает возможность оценить вклад Эдисона в историю техники.

Г. Менделевич.

★

ЭНЕДЗО ХАМАМУРА, ТАКАСИ СУГАВАРА, ДЗЮНДЗИ КИНОСИТА, ХИРОСИ МИНАМИ. Кабуки. «Искусство». М. 1965. 204 стр.

«Замечательнейшее явление театральной культуры», — так писал С. М. Эйзенштейн летом 1928 года по поводу приезда в Москву труппы японского театра кабуки. Москвичи и ленинградцы запомнили и второй приезд труппы кабуки в 1961 году. И вот третья встреча, на этот раз на страницах книги.

...Деревянная колотушка возвестила о начале спектакля. Зазвучал оркестр, представляющий настоящую сокровищницу восточных инструментов. По помосту с поэтичным названием «ханамити» — «дорога цветов», — протянувшегося через весь зрительный зал, к сцене прошел красивый юноша в доспехах розового цвета. Розовый цвет символизирует юность. В конце представления на герою будет одежда черного цвета, обозначающего славу. Затем по ханамити проходит изящная принцесса в ярком наряде. Длинное платье, расшитое разноцветными нитями, стелется вокруг ног актера, играющего принцессу. (Напомним, что в этом театре все женские роли играют мужчины — так называемые ояма. Игра ояма — вершина искусства кабуки.)

Диалог — речь и движение артистов — поясняет сказитель гйдаю. Начинается пантоми-

ма — каждое строго определенное движение показывает тех или иных персонажей и их переживания. Спектакль кабуки — это сочетание музыкальной драмы и своеобразного балета.

Подробным описанием представления и начинается книга, посвященная всемирно известному японскому театру. Ее написали драматург, искусствовед, видный театрал — деятель и доктор философии. Поэтому в ней перемежаются рассказы об актерском быте и глубокий анализ эстетики кабуки, характеристика жанра и пересказы пьес. Эта небольшая, кстати сказать, отлично изданная книга с тщательно подобранными иллюстрациями, позволяющими зрительно представить себе спектакль кабуки, оказалась очень емкой: в ней нашли место история театра, методика репетиций, система обучения молодых актеров, подробные сведения о гриме, костюмах и т. д. Чрезвычайно интересны, на наш взгляд, наблюдения авторов, свидетельствующие о том, что исторически театр кабуки развивался параллельно с западной драмой. Специальная глава посвящена роли театра в современной Японии, его влиянию на быт и нравственное воспитание народа. Больше двухсот тысяч зрителей заполняют ежемесячно залы кабуки. В каждом университете Токио есть клуб, изучающий историю театра. Кабуки, быть может, сейчас стал менее популярен, чем в прошлые времена, — как-никак, театр почти не изменялся с XVII века. Однако идеи и чувства, нашедшие отражение в его драмах, так же как некоторые манеры и обычаи, типичные для кабуки, упорно сохраняются в быту среднего японца.

Кабуки — театр традиций. Литературных — одни и те же пьесы не сходят со сцены в течение трехсот лет. Актерских — когда кому-то из исполнителей удастся найти оригинальное решение роли или своеобразный стиль грима, это становится правилом для целой династии актеров и передается из поколения в поколение по наследству. Философских традиций — авторы книги специально останавливают внимание на том, что кабуки выражает чувства и мысли, характерные для морали феодальной эпохи.

И тем не менее кабуки не музей. Драмы кабуки, утверждают авторы, искусство живое и развивающееся, так или иначе воздействующее на современный мировой театр.

А. Шерель.

★

**В. КРАСОВСКАЯ.** Анна Павлова. Страницы жизни русской танцовщицы. «Искусство». Л.— М. 1984. 220 стр.

Имя Анны Павловой вот уже более полувека не сходит со страниц мировой печати.

На Западе творчеству Павловой посвящена громадная литература, но она по вполне понятным причинам освещает лишь зарубежный период деятельности балерины. В советской литературе нет работ, посвя-

щенных творческой судьбе Павловой, и книга В. Красовской в достаточной степени восполняет эту страницу. В. Красовская — автор фундаментального труда по истории русского балетного театра, а также ряда работ, посвященных советскому балету, отдельным его представителям. Ее новая книга — не чисто биографическое исследование, это скорее эскизы к творческому портрету балерины, соединенные строгой хронологической последовательностью. Здесь же собраны свидетельства современников Павловой, детально проанализированы театральные рецензии того времени. В результате мы получили единую картину творческого пути артистки, начиная со школьных лет и кончая ее отъездом за границу.

Вполне понятно стремление автора рассмотреть именно начальный период жизни и деятельности Павловой, когда она окончательно сформировалась как балерина и как артистка. На петербургской сцене, в окружении блестящего состава исполнителей, каковыми в то время обладал Марининский театр, крепло и развивалось великое искусство русской балерины. Автор верно, на наш взгляд, подмечает тот факт, что, покинув Россию, Павлова жила традициями русского балетного искусства, но полностью удовлетворить свою жажду настоящего, большого искусства она уже не могла. За границей Павлова была лишена возможности выступать в больших хореографических спектаклях, где бы смогла выявить свои блестящие способности. Это утверждение отнюдь не означает, что балету малой формы не свойственны большие задачи: достаточно вспомнить такую миниатюру, как «Лебедь». Нет, речь идет о том, что Павлова была вынуждена идти на известные компромиссы со своей творческой совестью, отсюда, вероятно, и выступления в балетах невысокого художественного уровня. Павлова, несомненно, чувствовала это, и единственным протестом против этой атмосферы оставалось одно — работать. И Павлова работала как величайшая труженица. Артур Фрэнкс, балетный критик, сообщал: с 3 октября по 10 декабря 1927 года Павлова танцевала в сорока восьми английских городах. Сол Юрок, американский импрессарио, в своих воспоминаниях о Павловой писал: «В другом мире, при другой системе ее берегли бы, как драгоценный алмаз, она бы работала только по несколько месяцев в году и танцевала бы не более двух-трех раз в неделю. У нее было бы время и для работы, и для отдыха, и для любви, и для детей, и для трудного искусства быть счастливой».

Автор анализирует исполнение Павловой таких партий на петербургской сцене, как Жизель, баядерка Никия, Китри в «Дон-Кихоте», Аспиччия в «Дочери фараона», Медора в «Корсаре», участие в первых балетах Фокина, успех зарубежных гастролей и триумф в первых русских сезонах в Париже, эмблемой и символом которых ста :

силуэт Павловой на афише Серова, запечатлевшего ее в полете сильфиды.

Много хорошего можно сказать по поводу этой книги, которую с удовольствием прочтет и исследователь, и простой зритель, любящие замечательное искусство танца.

**Ю. Емельянов.**

★

**М. А. РОЖНОВА, В. Е. РОЖНОВ.** Легенды и правда о гипнозе. «Советская Россия». М. 1964. 191 стр.

Еще одна книга о гипнозе. Ведь их столько издано! И мы уже привыкли к тому, что в них повторяются одни и те же, всем известные факты об этом удивительном биологическом явлении. Однако новая работа выгодно отличается от многих своих предшественниц глубокой постановкой вопроса и занимательным содержанием.

В течение тысячелетий природа гипноза оставалась неразгаданной. Церковники, мистики, мракобесы, хотя и не поняли существа гипноза, поставили его на службу своим низменным целям.

С интересом читается экскурс в историю вопроса.

Древний Египет. Здесь впервые мысль человека ознакомилась с явлениями острого сонного состояния человека, в которое он вводится искусственно и в котором проявляет изумительные свойства.

Но страны Востока не сумели раскрыть дары «самой щедрой кудесницы», как называют авторы деятельность высших функций центральной нервной системы. Это сделано в Европе. Перед читателем проходит галерея людей, которые стояли у колыбели изучения гипноза как полноценного раздела научной мысли, очищенной от плевел мистики и суеверий. Читатель узнает о магнетическом флюиде Франца Антона Месмера, об исследованиях доктора Льебо, дискуссии между школами Бернгейма и Шарко и наконец о замечательном вкладе отечественных ученых А. А. Токарского, В. М. Бехтерева, И. П. Павлова и многих других в изучение гипноза.

Рассказу о знаменитых опытах изучения гипноза в лабораториях великого физиолога И. П. Павлова отведена центральная часть книги. Читатель узнает об основных процессах высшей нервной деятельности — о сне и торможении, ознакомится с силой внушенного слова и наконец с результатами перенесения достижений науки о гипнозе в кабинет врача.

К сожалению, некоторые проблемы остались неосвещенными. Скажем, такие, как обучение в гипнотическом состоянии. Думается, что следовало также объяснить, почему при столь важных лечебных свойствах гипноза он так редко применяется.

**Л. Сухаревский,**  
доктор медицинских наук.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**Атеистические пословицы и поговорки народов мира.** 144 стр. Цена 14 к.

**Генеральный Совет Первого Интернационала. 1870—1871. Протоколы.** 500 стр. Цена 93 к.

**П. Герасимов.** Доблестный командарм (О Н. Д. Каширине). 80 стр. Цена 11 к.

**И. Зверев.** Что за словом? (Предисловие К. Чуковского). 240 стр. Цена 23 к.

**Н. Крутикова.** На крутом повороте (К возвращению В. И. Ленина в Россию в апреле 1917 г.). 128 стр. Цена 15 к.

**Ленин — мастер революционной пропаганды.** Сборник. 336 стр. Цена 62 к.

**Ленинская партия — против ревизионизма и догматизма.** 144 стр. Цена 16 к.

**Марксистско-ленинская философия.** Учебное пособие. 544 стр. Цена 88 к.

**В. Муштунов.** Рядовой ленинской гвардии (О Н. А. Емельянове). 88 стр. Цена 13 к.

**Немецко-фашистский оккупационный режим (1941—1944 гг.).** Сборник статей. 388 стр. Цена 90 к.

**А. Омаров.** Техника и человек. Социально-экономические проблемы технического прогресса. 272 стр. Цена 85 к.

**Ответы верующим** (Популярный справочник). Выпуск второй. 384 стр. Цена 42 к.

**С. Радомирский.** Сквозь огонь и пули. 128 стр. Цена 17 к.

**А. Ракитин.** Именем революции... (Очерки о В. А. Антонове-Овсеенко) 192 стр. Цена 23 к.

**А. Роготченко.** Пусть всегда будет солнце (О поэте Н. А. Рыбалько). 40 стр. Цена 5 к.

**М. Рыльский, Ю. Смолич.** О хорошем в людях. Очерки. Перевод с украинского. 224 стр. Цена 25 к.

**Словарь-справочник экономиста промышленного предприятия.** 368 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Справочник секретаря первичной партийной организации.** 296 стр. Цена 37 к.

**И. Уханов.** Образы художественной литературы в трудах В. И. Ленина. 296 стр. Цена 54 к.

**Г. Фучикова.** Воспоминания о Юлиусе Фучике. 424 стр. Цена 83 к.

**В. Шапко.** В. И. Ленин — создатель социалистической законности. 144 стр. Цена 17 к.

**Б. Шуфчук.** Веселы по экономике строительства. 224 стр. Цена 33 к.

## «МЫСЛЬ»

**И. Акимущин.** Куда? и Как? 263 стр. Цена 62 к.

**А. Антипова.** Канада. Природа и естественные ресурсы. 319 стр. Цена 1 р. 17 к.

**Борьба народов против колониализма.** 229 стр. Цена 82 к.

**Л. Воловик, Э. Дроздова.** Истина в марксистской и домарксовой философии. 224 стр. Цена 70 к.

**А. Востриков.** Теория познания диалектического материализма. 382 стр. Цена 1 р. 20 к.

**П. Гальдяев.** Критика современной буржуазной социологии. 93 стр. Цена 29 к.

**Э. Горбунов.** Темпы, уровень и структура промышленного производства в СССР. 188 стр. Цена 31 к.

**Е. Голубовская.** Йемен. 121 стр. Цена 21 к.  
**Лекции по истории КПСС.** Выпуск первый. 654 стр. Цена 83 к.

**Марксистско-ленинская философия.** 276 стр. Цена 56 к.

**П. Наумов.** Бонни — сила и бессилие (Записки журналиста). 382 стр. Цена 1 р. 29 к.

**А. Оленев.** Урал и Новая Земля. Очерк природы. 215 стр. Цена 74 к.

**А. Румянцев.** О категориях и законах политической экономии коммунистической формации. 389 стр. Цена 1 р. 36 к.

**К. Селезнев.** Роль К. Маркса и Ф. Энгельса в создании рабочей печати. 94 стр. Цена 12 к.

**А. Серлин.** Острова, где дуют муссоны. Перевод со шведского. 181 стр. Цена 35 к.

**В. Скатерщиков.** К изучению основ марксистско-ленинской эстетики. 87 стр. Цена 12 к.

**А. Степунин, И. Степунина.** Эфиопия. 35 стр. Цена 13 к.

**Н. Сучков.** Там, где течет Иравади. 103 стр. Цена 18 к.

**В. Тельпуховский.** Основные периоды Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 148 стр. Цена 18 к.

**Л. Фейербах.** Сущность христианства. 414 стр. Цена 54 к.

**Я. Чадаев.** Экономика СССР в период Великой Отечественной войны (1941—1945). 389 стр. Цена 1 р. 41 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Бочаров.** Э. Казакевич. Очерк творчества. 248 стр. Цена 67 к.

**П. Бровка.** Труби, мой бор! Новые стихи и поэма. Перевод с белорусского. 148 стр. Цена 18 к.

**М. Гали.** Солнце и слезы. Стихи и поэма. Перевод с башкирского. 100 стр. Цена 17 к.

**Э. Давыдов.** Как оживает камень. Стихи и поэма. Перевод с татарского. 80 стр. Цена 17 к.

**Е. Дорош.** Дождь пополам с солнцем. Очерки. 300 стр. Цена 58 к.

**М. Духанов.** В сердце и в памяти. 300 стр. Цена 38 к.

**И. Зиедонис.** Смола и янтарь. Стихи. Перевод с латышского. 92 стр. Цена 13 к.

**В. Катаев.** Маленькая железная лъеръ в стене Лирический дневник, посвященный В. И. Ленину. 204 стр. Цена 33 к.

**И. Керлер.** Хочу быть добрым. Стихи. Перевод с еврейского. 96 стр. Цена 14 к.

**К. Киньябулатова.** Травника. Стихи и поэма. Перевод с башкирского. 80 стр. Цена 14 к.

**И. Крамов.** А. Малышкин. Очерк творчества. 228 стр. Цена 46 к.

**С. Кузнецова.** Соболи. Стихи. 104 стр. Цена 14 к.

**В. Лидин.** Сердца своего тень. Рассказы 1962—1964 560 стр. Цена 1 р.

**К. Ломиа.** Лунная тишина. Стихи и поэма. Перевод с абхазского. 108 стр. Цена 19 к.



**А. Михайлов.** Лирика сердца и разума. О творческой индивидуальности поэта. 390 стр. Цена 88 к.

**И. Мотышов.** Михаил Пришвин. Критико-биографический очерк. 248 стр. Цена 50 к.

**Навои.** Стихотворения и поэмы. 672 стр. Цена 66 к.

**О. Неклюдова.** Девочка. Повесть и рассказы. 260 стр. Цена 54 к.

**Г. Некрасов.** Шаги. Стихи. 108 стр. Цена 25 к.

**Б. Пастернак.** Стихотворения и поэмы. 732 стр. Цена 1 р. 24 к.

**Р. Рашидов.** Живое к солнцу тянется. Стихи. Перевод с даргинского. 68 стр. Цена 14 к.

**А. Рубашкин.** Публицистика И. Эренбурга против войны и фашизма. 380 стр. Цена 69 к.

**Н. Рыленков.** Пятое время года. Стихи. 184 стр. Цена 16 к.

**А. Сароян.** Чаша жизни. Стихи. Перевод с армянского. 76 стр. Цена 15 к.

#### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Березной.** «Чапаев» Дм. Фурманова. 132 стр. Цена 19 к.

**П. Боборыкин.** Воспоминания. В двух томах. Том первый. 568 стр. Цена 1 р. 1 к. Том второй. 670 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Б. Браинина.** «Цемент» Ф. Гладкова. 126 стр. Цена 15 к.

**Венгерская новелла.** Перевод с венгерского. 668 стр. Цена 1 р. 61 к.

**М. Грубешлиева.** Заботы и радости. Рассказы. Перевод с болгарского. 271 стр. Цена 66 к.

**Десять вечеров.** Японские народные сказки. Перевод с японского. 371 стр. Цена 80 к.

**И. Кальвино.** Барон на дереве. Роман. Перевод с итальянского. 248 стр. Цена 67 к.

**Н. Ростов.** В. Г. Короленко. 112 стр. Цена 16 к.

**А. Сурнов.** Собрание сочинений в четырех томах. Том первый. 616 стр. Цена 85 к.

**Прамудья Ананта Тур.** На берегу реки Бекаси. Роман. Перевод с индонезийского. 208 стр. Цена 55 к.

**Эстонские народные сказки.** Перевод с эстонского. 292 стр. Цена 40 к.

#### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Журавлев-Печорский.** Зеленый дождь. Рассказы. 126 стр. Цена 25 к.

**К. Луцеской.** Войди в новый дом. 144 стр. Цена 33 к.

**Н. Рыленков.** Сказка моего детства. Повести, стихи. 335 стр. Цена 69 к.

**Ю. Тувим.** Паровоз. Стихи. Перевод с польского. 15 стр. Цена 16 к.

**Р. Фатуев.** Легенда о Серго. 48 стр. Цена 7 к.

**В. Чичков.** Остров отважных ребят. Рассказы. 96 стр. Цена 24 к.

#### «НАУКА»

**Н. Бельчиков.** Пути и навыки литературоведческого труда. 334 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Г. Буров.** Вычегодский край. Очерк древней истории. 197 стр. Цена 66 к.

**Генезис социалистического реализма в литературах стран Запада.** 398 стр. Цена 1 р. 23 к.

**Горький и Леонид Андреев.** Неизданная переписка (Литературное наследство. Том 72). 630 стр. Цена 3 р.

**В. Григорьев.** Словарь языка русской советской поэзии 223 стр. Цена 65 к.

**И. Григулевич.** Культурная революция на Кубе. 302 стр. Цена 1 р. 43 к.

**Касты в Индии.** 347 стр. Цена 1 р. 42 к.

**Л. Киселева.** Творческие искания А. Фадеева. 247 стр. Цена 56 к.

**Я. Линков.** Революционная борьба А. И. Герцена и Н. П. Огарева и тайное общество «Земля и Воля» 1860-х годов. 475 стр. Цена 2 р. 10 к.

**В. Максимова.** Горький — редактор. 1918—1936. 278 стр. Цена 76 к.

**В. Малышев.** Древне-русские рукописи Пушкинского дома. Обзор фондов. 230 стр. Цена 50 к.

**В. Марковин.** В ущельях Аргуна и Фортанги. 127 стр. Цена 38 к.

**Б. Михайловский.** Творчество М. Горького и мировая литература 1892—1916. 648 стр. Цена 1 р. 68 к.

**Ю. Мусабенов.** Марселен Бертло. 1827—1907. 231 стр. Цена 72 к.

**С. Обручев.** Над тетрадами Лермонтова. 111 стр. Цена 17 к.

**Пути реализма в литературах стран народной демократии (20—30-е гг.).** 256 стр. Цена 87 к.

**П. Раппопорт.** Древние русские крепости. 87 стр. Цена 24 к.

**М. Соминский.** Абрам Федорович Иоффе. 644 стр. Цена 2 р. 33 к.

**З. Степанов.** Рабочие Петрограда в период подготовки и проведения Октябрьского вооруженного восстания. Август—октябрь 1917 г. 299 стр. Цена 1 р. 48 к.

**Тетушкин пирог.** Новеллы вьетнамских писателей. 72 стр. Цена 20 к.

**В. Шишмарев.** Избранные статьи. В 2-х томах. Том первый. 486 стр. Цена 1 р. 91 к.

**М. Штранге.** Демократическая интеллигенция России в XVIII веке. 306 стр. Цена 1 р. 25 к.

#### «АМАЗТАН» (ЕРЕВАН)

**Брюсовские чтения 1963 года.** 570 стр. Цена 1 р. 11 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТАШКЕНТ»

**Лирика военных лет.** Стихи поэтов Узбекистана. 215 стр. Цена 30 к.

**Песни столетий.** Антология узбекской поэзии. В 3-х томах. Том I. 442 стр. Цена 1 р. 37 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**И. И. Виноградов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 28 VI 1965 г.

Подписано к печати 27/VII 1965 г.

Формат бумаги 70×108/16.

9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)

А 03863.

Зак. 1530.

Тираж 127.600.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636